7 1971

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

7 ИЮЛЬ 1971

СОДЕРЖАНИЕ

ЗОЛТАН ГАЛАБАРДИ — Так устроен мир *(Повесть)* 3

БЭГЗИЙН ЯВУУХУЛАН — Стихи *(Вступление Риммы Казаковой)* 47

ЗИГФРИД ЛЕНЦ — Урок немецкого *(Роман. Окончание)* 53

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ — Ниобея *(Вступление Арсения Тарковского)* 135

ТОМАС ВУЛФ — Паутина земли. Смерть — гордая сестра *(Повести. Послесловие Д. Урнова)* 151

Критика

В. ИВАШЕВА — Три новых имени (Движение молодых и английская литература 60-х годов) 222

И. ЗОРИНА — Книги и встречи 231

Публицистика

САМАРИЙ ВЕЛИКОВСКИЙ — Бастующая интеллигенция 238

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

С. Мамонтов — «Литература должна стать частью нашей революции...» Вл. Гусев — Шаг за «ничто». М. Харитонов — «Свободные писатели», «надомники» или... 248

Отклики, встречи, впечатления

Е. КНИПОВИЧ — Генрих Манн и Советский Союз 257

Наши гости

М. ФРИДМАН — Дыхание жизни (Захария Станку и Александру Ивасюк в «Иностранной литературе») 260

Среди книг

Издано в СССР

Борис Слуцкий — Поэзия венгерского Марта ◇ Александр Дейч — Голоса вагантов 263

Издано за рубежом

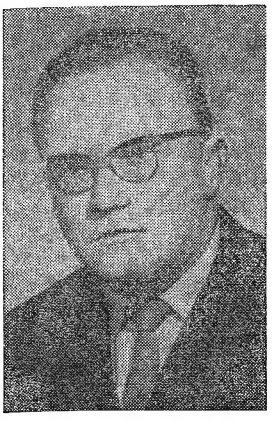
С. Прожогина — Шаг надежды. ◇ Е. Гениева — Слова, слова, слова... ◇ Владимир Шагаль — Время бегства на север 266

Из месяца в месяц (Хроника) 273

Авторы этого номера 287

На обложке: деревянная маска мужчины. Остров Ситка. Работа индейцев Северо Западного побережья Америки.

На вкладке: из экспонатов музея изобразительных искусств Монголии в Улан-Баторе.



ЗОЛТАН ГАЛАБАРДИ

Так устроен мир

ПОВЕСТЬ

Перевод с венгерского И. САЛИМОНА

Солнце озарило полыхающим лучом суровую синеву неба, земля пришла в движение, закружилась, заклокотала и пошла прямо на него. Потом, задыхаясь в каком-то удушливом, вязком тумане, он почувствовал, как его подняли и торопливо куда-то понесли. Впереди ударил пулемет. Как он лает, лает взахлеб! Должно быть, на тех, кто сразил его оттуда, с края ржаного поля. Выстрела он не слышал. Человек, сраженный пулей, не успевает его услышать — все заглушает страшный треск в голове... А пулемет все стучит и стучит,— господи, какая же длинная у него лента! Стоит ему замолчать, как начинают палить с той стороны, и тогда санитары вываливают его на землю и, распластавшись, ползут в укрытие, волоча за собой пустые носилки. Так делать нельзя, это нарушение устава, но кому здесь следить за уставом?! Те двое пока целы, и почему бы им, спасая свою жизнь, не избавиться от того, кто все равно обречен на смерть? Судьба каждого тут брошена на весы, и надо быть глупцом, чтобы не подтолкнуть чашу весов в свою пользу, если есть возможность.

Он очнулся, когда санитары, одолев ухабистое жнивье, вышли на дорогу к деревне. Голова раскалывалась на части и гудела, все тело ныло, словно скованное свинцовым обручем, сквозь едва приоткрытые веки он видел над собой яркое небо и плывущие мимо стройные, припудренные дорожной пылью неподвижные деревья.

Нет, это не пулемет строчит впереди, а гремит тягач, и он раскачивается не на носилках, а на шуршащей прохладной и мягкой соломе. Но как же... значит, он не убит... Значит, жив... Что же тогда произошло? Почему он не может шевельнуться? Почему голова...

Паралич. Наверняка паралич. Все случилось в какое-то мгновенье... После обеда, когда они снова приступили к работе... Он почувствовал такой же тупой раздирающий удар, как в семнадцатом году в Галиции, где его ранило. Но тогда была война! А сейчас мир...

За тягачом в клубах пыли шагает его сын, размеренно поводя плечами, понуро опустив голову. Он всегда ходит, опустив голову, словно что-то ищет у себя под ногами, а когда растерян, поводит плечами. Так было с ним и на свадьбе. Каждый раз, когда происходит что-нибудь необычное, он ни с того ни с сего начинает поводить плечами.

Чуть поодаль идет невестка. Она стряхивает с себя пыль, снимает с головы платок и, вытерев лицо, снова повязывает...

Идут они молча, не разговаривая и даже не переглядываясь. Кто же управляет тягачом? Впрочем, не все ли равно. Как бы только узнать, о чем они думают.

Он хотел окликнуть их, но язык и губы не повиновались. Свисавшая над дорогой ветка акации задела его, прошлась по лицу — он хотел было отвернуться, но безжизненные мускулы шеи не подчинились этому инстинктивному желанию.

— Как с дедушкой... — вздохнул сын. Эти слова были сказаны совсем тихо, и все же, несмотря на шум мотора, он услышал: «Как с дедушкой...» Невестка кивнула головой, и снова заговорил сын: — С ним точь-в-точь то же случилось. В косовицу...

Точь-в-точь. Тогда он сам вез на подводе разбитого параличом отца, подложив под него развязанный сноп. В то лето рожь уродилась хорошая, колосистая, высокая... Как видно, с той поры эта дорога нисколько не изменилась. Наверно, здесь же лежал камень, на который сейчас наехало колесо тягача. Да и зачем дорогам меняться? Люди проходят отмеренный им путь, одни быстрее, другие медленнее, но все равно — спеши не спеши, а в конце пути ничего не увидишь иного, кроме того, что было год назад или раньше, что есть сейчас и будет вечно. И с ним произойдет то же самое, что с его отцом. К утру вернется речь, немного отпустит одну сторону, а через три, может, четыре недели он умрет.

Его вновь окутал мрак, увлек в беспамятство. Откуда ему было знать, что сознания его лишила последняя мысль — постигнутая неотвратимость конца. Теперь он не видел и не чувствовал, как возились с ним у дома, как переносили в комнату. На безлюдной, опаленной солнцем улице, ухмыляясь, наблюдал за ними сквозь позеленевшие планки ограды лишь один несчастный Бёсме, почти потерявший человеческий облик урод. Кто знает, какой инстинкт руководит им, но без него не обходится ни одно событие в деревне — престольный праздник, свадьба или похороны,— он появляется, ухмыляясь, показывая щербатые черные зубы, и, если ему очень нравится зрелище, нет-нет да и заржет, как жеребец при виде кобылицы. Если хоронят кого-нибудь, он скулит. Похороны всегда наводят на него уныние. Когда четверо мужиков, опуская гроб, наклоняются над ямой, его страшное лицо искажается нетерпеливым волнением: а вдруг они тоже свалятся вниз. Когда же они выпрямляются, он начинает завывать, скалить зубы и его недоуменный визгливый вопль дополняет глухой стук падающих комьев земли и искренний или притворный плач родственников.

— Этого тоже, видно, бог сотворил в дурном расположении духа,— говорят о нем. А когда тяжкие заботы становятся особенно невыносимыми, добавляют: — Ему лучше всех. Никакого горя не знает, нет у него ни забот, ни хлопот...

Так же внезапно, как и лишился сознания, он снова пришел в себя. Сначала ему показалось, что он попросту проснулся, как бывало раньше, если естественная надобность или какой-нибудь необычный для ночного времени шум прерывали глубокий сон. Попытался шевельнуться, приподняться, чтобы взять сапоги, повернуть тело, но так и не смог — теперь он знал, что ему не сдвинуться с места. Тело его парализовано, только мысли сменяют одна другую да где-то внутри притаилась неведомая, таинственная боль.

Он принялся ощупывать глазами комнату, погруженную в полумрак. По срезанному диску луны догадался, что до рассвета еще нескоро. Светать начнет, когда серп луны пересечет верхний квадрат окна. А как быстро он движется! Знай себе плывет и плывет. Торопится. Спешит, скупо отмеряя границы ночного покоя, спешит по вечерам поздней

осени, когда, едва появившись на стремительно блекнущем небосводе, он уже зовет ночь, и вот сейчас спешит, и бег его нельзя остановить! Ни силой, ни мольбой — ничем.

Глупые эти пути-дороги. Можно подумать, что и луна потому кочует по небу, что ей нужно пройти до конца свой путь и столкнуться лицом к лицу с тем, что находится в конце его, хотя ее дорога — это сама бесконечность, и по сравнению с ней любая земная дорога всего лишь мгновение.

Когда же все-таки рассветет? Если измерять вершками по стеклу, остается всего каких-нибудь два вершка, а по времени? Часа полтора? Или больше? И на сколько больше? А один час — это много? Какой он, один час, в такую пору?

Он не ощущал, тихо сейчас в комнате или нет. В голове сплошной гул и грохот. И если бы не знал, что этот шум исходит откуда-то изнутри, подумал бы, наверно, что во дворе, под навесом, работает веялка. Свист, треск, шорох, напоминающий шуршанье чистой пшеницы, когда она плавно сыплется в сусек... И все же он слышит посапывание на соседней кровати, где спят его сын и невестка. Молодуха, как всегда, наверно, во сне обвила руками шею сына. Из кухни доносится запах картофельного супа.

Дар речи к нему вернулся. Он мог бы позвать сына. Разбудить его и попросить потеплее укрыть, принести воды или просто произнести его имя, чтобы тот проснулся. Но ему не холодно, одеяло на месте, пить тоже не хочется, да и сказать нечего. Разве что расспросить о чем-нибудь? Хорошо, если бы сын сам подошел к его кровати, сел рядом и сказал, как быть. Что будет после случившегося вчера. Ведь это произошло вчера, вчера в полдень? Не мог же он проваляться без памяти два или три дня? Одним словом, как дальше...

Но надежды его оказались пустыми. Тогда он тоже не подошел к кровати, не сел рядом с отцом, чтобы тихо, с тревогой высказать то, о чем упорно думал: видишь, мол, отец, паралич сковал тебя и сковал оковами две молодые жизни, ты будешь вечно обременять нас, да-да, ты стал обузой, непосильным бременем. Ведь даже скотина и та норовит при первой возможности избавиться от тяжести, что же тогда остается человеку, которому и без того нелегко! Нет, у него язык не повернулся сказать это своему отцу, он молчал, а поступал так, как подсказывала необходимость. Сын тоже ничего не скажет. Промолчит и поступит так, как вынужден будет поступить.

А если все-таки скажет,— правда, вряд ли это возможно,— ну а если скажет, что тогда ответить? Пожалуй, единственное: вы, мол, правы, и все. По себе, мол, знаю. Раз я был прав, значит, и вы правы. Так уж устроен человек, в какой-то мере он вечен — на смену одному приходит другой, и, хотят они того или нет, у них те же дела, те же горести, те же радости, а то, что меняется, происходит помимо их воли. Поэтому и судьба у них одна, независимо от того, везут ли их домой с поля на подводе или на громыхающем по дороге тягаче.

Как быстро плывет луна! Край ее скрылся, его уже не видно, и теперь она похожа на отвалившийся рог, впившийся острием в подоконник. Ничем не остановить ее бега — ни приказом, ни мольбой. Нет такой силы, которая могла бы заарканить луну, воздвигнуть преграду на ее пути. Поэтому-то вечна бесконечность, что против нее нельзя восстать...

Он молчал до самого утра, дожидаясь, пока молодые встанут. А те не торопились — не спеша натягивали на себя одежду, невестка зевнула, похлопывая ладонью по губам, сын поглаживал щетинистый подбородок.

— Обо мне... обо... мне не надо беспокоиться... Слышишь, сынок? Обо мне... не надо...

Он испугался собственного голоса. В нем не было прежней суровой хрипоты, а появилась какая-то пискливость, и слова с трудом прорывались сквозь зубы. И хотя мысли плавно сменяли одна другую, он все время заикался, как базарный клоун.

Молодые же ничуть не удивились, услышав, что он говорит заикаясь. Сын что-то пробормотал, спросил, больно ли ему, пообещал завтра пригласить врача, здешний-то как раз в отпуске, а пока что, мол, надо лежать и ни о чем не думать...

Да, врач действительно уехал в отпуск. Два дня назад он сам видел, как тот утром торопился на станцию. Он еще подумал: «Вишь ты, и года не отработал, а уже отпуск полагается...»

Невестка принесла поесть. Она кормила его тем самым картофельным супом, запах которого он ощущал всю ночь. Мучаясь, с трудом проглатывая пищу, он неотрывно смотрел в большие глаза склонившейся над ним невестки. Их красотой она славилась на всю деревню. Что же таится в них теперь?

А что в них может таиться? Сколь вечен невысказанный вопрос, столь вечен и немой ответ. Что еще может светиться в этих больших карих глазах, кроме злости, протеста и пугливого отвращения. Нелегко ведь ухаживать за стариком, прибирать за ним. Это, именно это может быть в карих глазах женщины. И что-то еще...

Он устал смотреть, закрыл глаза, сомкнул искривленные губы. Невестка пыталась сунуть ему в рот еще одну ложку, но сын остановил ее:

— Хватит, разве не видишь? Теперь ему...

В голове шумела кровь, перед его взором шуршащими цветастыми полотнищами колыхалась комната — плыли расписанные крупными розами стены, темно-коричневый потолок, сверкающий полировкой бок шкафа, икона — Иисус Христос с терновым венцом на голове и прижатыми к сердцу руками. Замысловатые прожилки на облицовке шкафа, сливаясь, принимали странные причудливые формы. Боли в каком-то определенном месте он не чувствовал и не мог бы сказать, где у него колет или режет,— сплошная боль охватила все его тело.

Что теперь будет? Сейчас они оба уйдут, работа не ждет, ведь в бригаде не скажешь, что сидели со стариком,— сиди не сиди, все равно ему не поможешь, а накормить они его накормили и все убрали. Да, они уйдут, конечно, уйдут, но как же с попоной? Принесут ли попону?

Дважды стукнул молоток в оконную раму — это сын вбил два гвоздя, затем накинул на квадратный проем окна тяжелую шуршащую попону.

— Пусть тебя не тревожит яркий свет, отец... Лучше поспи. Сон тебе сейчас полезен.

Пусть не тревожит яркий свет... С этого начинается. Попона плотно закрывает окно — пусть терзается мятежная душа в темноте, пусть снова и снова приходят возникшие ночью мысли, пусть скроется живой мир так далеко, чтобы человек и верить в него перестал.

Дневной мрак! Если и есть на свете настоящий, сжимающий сердце страх, то его рождает дневной мрак. В кромешной дневной темноте мерещатся ужасы Страшного суда. Ведь даже в Библии сказано, что в день Страшного суда земля погрузится во тьму. Ночь дарит темень для отдыха и покоя, и ночной мрак имеет свою прелесть, он наполнен убаюкивающими, милыми, знакомыми шорохами и звуками: чуть слышно скрипит балка, точит древесину жук, ворочается во сне скотина, лает собака; подобно хлебу, ночь имеет свой запах и вкус. А в дневной темноте не замечаешь, час прошел или два, а может, всего одна-две минуты, и в страхе начинаешь гадать, не погрузился ли ты в вечный мрак могилы.

Только вчера земля ушла из-под его ног, а теперь исчезает реши-

тельно все. Чтоб ничего не видел, ничего не слышал, чтоб спросил самого себя: зачем ты нужен, если вокруг темным-темно и пусто, зачем дышишь, вздыхаешь, зачем живешь?

Правда, он мог бы подать голос. Мог бы попросить сына не приносить попону. Но зачем говорить? Надо смириться. Так проще. А если он скажет, поднимется ненужный крик, плач, ему станут лгать, но ничего не изменится, все будет идти своим чередом. Пусть уж все идет своим чередом, без крика и перебранки...

Конечно, бывало и раньше, особенно по воскресеньям после обеда, окно тоже завешивали попоной — приятно было немного вздремнуть, отдохнуть после целой недели труда! Но тогда его завешивали не совсем, а всегда оставляли небольшой просвет... И что проку в том, что его ни с того ни с сего называют сейчас отцом? Отец! Вчера еще называли папой. Только и слышал, бывало: папаша да папаша—я, мол, сделаю, папаша, идите обедать, папаша... Кто говорит «отец», тот прощается. С каким бы чувством ни произносили это слово, оно теперь означает «прощай»...

В комнате не было жарко, а он обливался потом. Простыня и подушка под головой стали влажными, хоть выжимай. Сколько хлопот и забот доставляет парализованный, больной человек! Это тяжкое, невыносимо тяжкое бремя для всех — для него самого, потому что он стесняется говорить, мучается, терзается, до боли кусая губы, для сына и невестки, потому что за ним надо как-то присматривать, кормить его, поить, держать в чистоте. Хуже ребенка. Ребенок и тот унялся бы, если бы понимал, сколько он доставляет хлопот, сколько отнимает сил... Взрослый отнимает их неизмеримо больше — с ним прямо мука. Лежит пластом, работать никогда уже не будет, а надо с ним считаться в любом деле, советоваться по любому поводу — еще одна обуза помимо тех, от которых нельзя избавиться, сбросить со своих плеч.

Лежи — и не обижайся. Ни на кого. Ни на невестку, ни на родного сына — нет у него на это права, как не было такого права и у его родного отца. Правда, заботы ныне другие — нужды особой нет, и деньги не переводятся, и еда лучше, но мир вечен, законы его неизменны, приговор его теперь не подлежит обжалованию, и тот, кто приводит его в исполнение, действует безотчетно, не беря греха на душу. С этим надо смириться. Разве можно остановить луну, плывущую за окном? Даже разбей стекло, осколки его не задержат луну — силой не изменить порядка в мире. Надо смириться.

Так всегда было. Кому что написано на роду. Такому, как он, крестьянину — работа, работа, работа без отдыха и срока. И он становился человеком лишь с того момента, когда в силах был работать, и оставался им, пока... Для такого, как он, жизнь чем-то напоминала более или менее приличную лавку. Трудиться, производить надо было не покладая рук, а в лавке что-то отпускали за труд, в зависимости от прихоти лавочника. Давай — сколько только можешь, получай — сколько дадут, а в долг — и не думай.

На следующий день прибыл врач. Правление выделило подводу, и сын привез его из соседнего района. К тому времени отошла и левая сторона. Ожила! Можно шевельнуть рукой, вытянуть или поджать ногу. Вот и все. Ни сесть, ни сдвинуться с места, ни выйти во двор! Или на работу!

Неохотно, заплетающимся языком, запинаясь отвечал он на вопросы врача, а сам ничем не интересовался и не спрашивал, что с ним будет дальше... Разве врач знает то, чего ему не дано знать? Да если бы и знал, все равно не смог бы прописать исцеляющее лекарство.

Он отыскал глазами сына. Тот стоял, опершись о стол, в задумчивости и недоумении, то и дело поводя плечами. Вот он что-то зашептал

жене... Какие у них глаза! Как они переглядываются и следят за движениями и невнятным бормотанием врача! Им не терпится. Они хотят точно знать, что с ним, чтобы сделать все, что полагается. Чтобы он не мог пожаловаться и чтобы в деревне все знали: врач был, сделали все, что могли, значит, судьба...

Врач быстро поставил диагноз — кровоизлияние в мозг — и стал собираться. У него дел хоть отбавляй. И свой-то район не так уж мал, а тут еще в соседний выезжать приходится, только успевай поворачиваться! Что-то в последнее время многие стали болеть. Кто бы раньше поверил, что среди крестьян столько болящих! И болезни-то самые диковинные! Наци Чаплар растрезвонил по всей деревне, что у него в носу полипы. Полипы — не что-нибудь! До тех пор похвалялся ими, пока их не вырезали, а уж после стал ниже травы тише воды. Но говорят, на поправку дело пошло, скоро совсем выздоровеет.

Доктор молча кивнул головой и направился к выходу. В дверях обернулся, сверкнув на солнце очками в золотой оправе, и лишь в сенях начал что-то объяснять. Сын в ответ только бормотал, врач, должно быть, оправдывался, затем донесся раздраженный голос невестки:

— Три недели? Ну нет, плохо они меня знают! Две недели и то много. Неделю еще куда ни шло...

Значит, неделю... Ну что ж, дети мои, подумал он с благодушным сожалением, словно увидел человека, пытавшегося поднять непосильную тяжесть, зря вы торопитесь, всему свой черед. Понадобится больше недели... Не поднимете же вы руку на меня!

Внезапно мелькнувшая мысль вызвала у него горькую улыбку. Вот уж поистине странное дело — он сейчас сильнее их. Сильнее, потому что знает ход событий, знает с точностью почти до минуты, когда это произойдет, почему и как должно произойти. Поэтому он спокоен, и ему не нужно ни у кого просить пощады. А они? Краснеют, дрожат, стыдятся своих мыслей, боятся высказать их друг другу, да такие мерзкие мысли и выразить-то нельзя. А если и сорвется что с языка — позора не оберешься. Но зачем же позориться, краснеть, злиться, молчаливо терзаться — всему свое время! Тут и врач не поможет, и нечего было звать его и совать ему деньги...

Прошла минута-другая. Приободрившая его мысль уже не казалась столь спасительной; в сенях доктор щелкнул замком саквояжа, сын опять что-то пробормотал, послышалось ржание Бёсме, затем заскрипели колеса, и упряжка тронулась с места... Нет, вранье! Смириться нельзя! Неправда, что он сильный, откуда же взяться силе?! Он слаб, беспомощен, обречен, он должен дрожать каждый час, каждую минуту этой стремительно покидающей его жизни.

— Ну вот, отец,— сказал сын, когда они с женой вернулись в комнату. Издалека доносился хохот Бёсме, наверно, он бежал за подводой и выпрашивал у врача деньги.— Кажется, все улажено. Придется немного подождать, а потом вас положат в больницу...

Сначала ему не хотелось слушать. Пусть говорят что хотят, не все ли равно... Но при упоминании о больнице он встрепенулся. Заметил, что невестка как-то недоуменно смотрит на него широко раскрытыми глазами, а сын поводит плечами.

— Что... что ты лопочешь? — Он пытался заглянуть сыну в глаза, но тот уставился в пол.— Разве я... заслужил?

— Но, послушайте, отец... Ведь в больнице... Там за вами...

— Молчи! Я все знаю... Знаю, на что обречен. Так зачем же еще и дурачить меня?..

— Что вы говорите, отец?!

Он видел, как невестка приложила палец к губам и тревожно покачала головой, делая знак сыну.

— Убирайтесь вон! — прохрипел он. Его охватила ярость, кровь прихлынула к лицу, и левая щека стала лиловой.— Вон отсюда! Мошенники! Вы хотите... вы меня хотите...

— Но поймите... — пытался прервать его сын.

— Я все понимаю! До чего пришлось мне дожить! Мошенники, какие же мошенники! Уходите... уходите прочь!

Невестка уцепилась за рукав сына и потащила его из комнаты. Сын в дверях обернулся и сказал:

— Успокойтесь, отец! Сейчас для вас это важнее всего. Доктор строго наказал: вам нельзя волноваться. Главное — спокойствие...

— Замолчи! — крикнул он вслед сыну, в ярости комкая простыню левой рукой.— Не смей говорить мне больше о докторе и о больнице! Ни слова! Слышишь?..

Но тот уже был за дверью. Он тоже затих, ярость сменилась какой-то тихой удушливой горечью. До чего они дошли! Лгут прямо в глаза! Утешают, скрывают правду да еще, наверно, благодарности ждут за свою ложь.

Больница! Ишь чего задумали. Паралич не та болезнь, что проходит бесследно, сколько ни лежи. Если парализованный и встанет на ноги, он никогда не сможет работать. Взять хотя бы Банди Фейтё, что живет на краю деревни. С грехом пополам оправился после удара и еще скрипел лет восемь. На крохотном дворике кое-как нянчил детей, а их у него было больше, чем нужно, сидел в холодке, кормил домашнюю живность, но большего с него и не спрашивали. Зачем же тогда сын и невестка хотят, чтобы он выздоровел? Нет, это не в их интересах. Надо же так обнаглеть: без зазрения совести врут отцу прямо в глаза! Трусы! Да, трусы — только трусы надеются прикрыть свои подлинные намерения ложью. Но я не сдамся, подумал он, не стану пешкой в их игре. Пусть знают, что я начеку, вижу их насквозь, вижу, что́ они задумали сделать со мной...

Они ушли. Конечно, в них нуждаются. Сейчас все в поле — ведь уборка в разгаре. Тягачи и подводы еще возят снопы, а тракторы идут чуть ли не по пятам вязальщиц и уже лущат стерню.

Он представил себя в самой гуще страды. Но как далек он теперь от всего этого!

Далек? Почему же далек?! Собственно говоря, стоит только встать с постели, натянуть штаны, сунуть за пояс оселок, напиться воды из колодца и айда! Встать с постели — казалось бы, что может быть проще? В действительности же он больше не существует отдельно, а только вместе с постелью, врос в нее корнями и расстаться с нею может лишь так, как расстается с землей засохшее дерево. Когда корни не держат — дерево должно повалиться. Если оно не рухнет само, его свалят.

Случается, что засыхает только одна половина дерева. Другая продолжает жить, покрывается листвой, приносит плоды. Правда, они не настоящие, но все же листья, плоды. А что происходит с такими деревьями? Рано или поздно и на них находится топор. Нужно место, нужен воздух — почему должна стоять половина дерева на том месте, где здоровое дерево может принести пользы в два или три раза больше?

Ага, опять та же самая мысль. Куда ни кинь, все клин! Все сводится к одному: дерево надо срубить...

Если только...

Если только кто-нибудь не заступится и не скажет: погодите, мол, пощадите это старое дерево, пусть себе стоит, пока есть от него хоть какая-нибудь польза, может быть, со временем оно избавится от болезни, а если и не избавится, ну так что ж, мы ведь дорожили им, когда оно было здоровым, давайте же ценить и больное! Если только кто-нибудь скажет: дорого мне это дерево...

Ему очень хотелось жить. Пусть парализованным, неподвижным, прикованным к постели, но только жить!

Что же это за штука — жизнь?

Нет, неправда, что она — только работа. Это все вокруг, весь мир, потому что она всегда полна и совершенна, даже если едва теплится. Если бы он только лежал в постели тихо, спокойно, воспроизводя в памяти давно минувшие дела и события, если бы он только живо представлял себе все происходившее тогда, все, что сделал за свою жизнь, удачно или неудачно, если бы только воскрешал в памяти тайны детских сказок, вспоминал о первой вечеринке, о первом танце, о пройденных путях и минутах отдыха, даже о бесхвостой корове — решительно обо всех мелочах, то и этого было бы достаточно, то и это была бы уже жизнь. Смотреть на яркий квадрат окна, на движение солнца, содрогаться от зловещего цвета грозовых туч, от сверкания молний, наблюдать, как весна и осень раскрашивают кусты сирени в палисаднике, прищурив глаза, разглядывать свисающие с крыши сосульки, следить за тенью проходящих по улице людей, слышать долетающие обрывки человеческой речи, сытое посапывание возвращающейся с пастбища скотины, а на рассвете рожок пастуха — ради всего этого стоит переносить все недуги грешного тела. А какое наслаждение выпить кружку холодной воды из колодца или стакан кислого вина, погрызть горбушку сухого хлеба, съесть полное блюдце матово-синих слив или гроздь винограда; в хорошую погоду лечь отдохнуть во дворе, неподалеку от ворот, откуда видно все вблизи и вдали, перекинуться несколькими словами с прохожим — как, дескать, поживаешь, что новенького; видеть людей, идущих на работу и с работы, окинуть взором хлеба, перекатывающиеся волнами на склоне холма, поздороваться с уборщиками винограда, когда те идут на праздничное гулянье; упиваться чарующими звуками музыки, которая доносится с бала виноградарей и наполняет вечерний воздух... Знать, что окружающий тебя мир дышит и живет, трудится и борется и дает тебе столько, сколько ты можешь взять единственной способной двигаться рукой. Если только это и есть жизнь, ни на йоту больше — тоже хорошо, тоже очень много, ради одного этого стоит цепляться за нее, да и как же иначе, за что же еще можно цепляться, как не за нее...

Цепляться... Но если дерево одиноко, что поможет ему удержаться? Кто остановит поднятый на него топор, кто скажет: не троньте его, это дерево мне очень дорого?

Он не станет просить пощады, и никто не придет ему на помощь. А между тем он не всегда был одинок... Была у него подруга жизни, терпеливая труженица, добрая жена, настоящий друг. И если сейчас, особенно в эту минуту, он оглянется назад, то, право же, положа руку на сердце должен признать, что в его одиночестве есть доля и собственной вины.

■

Славной женщиной была его трудолюбивая, многострадальная жена. Умерла она четыре года спустя после того, как его отец дошел до конца пути, на который и он сейчас вступил, разбитый параличом. Отец быстро прошел свой роковой путь. Теперь уже нечего греха таить: он повинен в смерти отца, как и сын его будет виновен в его смерти.

На чью же душу ляжет больший грех?

Жена долго болела. Все началось после родов. Ребенок появился поздно, они уже подумывали, что останутся бездетными, но он все-таки родился. С тех пор и пристала к жене хворь. Правда, врач говорил, что болезнь и раньше была у нее, но беременность ее обострила, вызвав потрясение всего организма.

Любил ли он свою жену? Как сказать... наверно, любил... В молодости гулял с другой, но когда дело дошло до женитьбы, безропотно покорился воле отца. Прежняя любовь скоро забылась, ее вытеснила новая, которая хотя и не пылала ярким пламенем, но во всяком случае была вполне достаточной для создания прочных супружеских отношений.

Как же он потерял жену? Прожили они бок о бок половину своей жизни. Прежний румянец и статность скоро исчезли, и некогда стройная девичья фигура оплыла — тяжелый труд превратил ее в согнутую бледную женщину с толстыми бедрами, голос утратил звонкость, волосы рано поредели, и только походка осталась прежней. Она ходила так красиво, так легко ступала своими крохотными ножками, будто к лодыжкам у нее были приделаны ласточкины крылья.

Они почти не ссорились. Только один раз он поднял на нее руку. В то утро он зашел в конюшню и увидел одну из своих лошадей, подохшую от заворота кишок. Ударил он жену позже, перед самым обедом. Ударил сзади по голове. Она вздрогнула, сжалась в комок и, поправляя сползший набок платок, бессмысленно смотрела перед собой, словно считала капающие слезы. Но он не услышал и слова упрека, она даже виду не подала, что плачет.

И по сей день осталось тайной, какая хворь свела ее в могилу. Врач попытался объяснить: у нее вроде непропорционально увеличились внутренние органы — сердце и легкие расширились до того, что уже не могли нормально работать, давили друг на друга, пока не загубили весь организм... Что-то в этом роде говорил врач и еще сказал, что жизнь ее можно продлить, если она поедет куда-нибудь в горный санаторий. Горный воздух, покой, полный отдых могут задержать развитие болезни. Будучи человеком здравого ума, врач только раз упомянул об этом, да и то вскользь. Не настаивал, не предписывал в рецепте, что больную необходимо послать в горы. И даже сказал, сколько придется платить за один-единственный день в горном санатории.

Их тогда было трое: муж, жена и ребенок. Обычная крестьянская семья. Двенадцать хольдов земли, дом, скотина, инвентарь. На жизнь хватало, они никогда не нуждались, но излишков тоже никаких не было. Если случалось несчастье, например, когда пала лошадь, требовались годы, чтобы оправиться. Все это следовало принять в расчет, прикинуть, сколько понадобится средств, чтобы продлить мученическую жизнь жены. Если бы они продали весь, до последнего зерна, урожай, то вырученных денег хватило бы только на двухмесячное пребывание в санатории. За третий месяц пришлось бы расстаться со скотиной, за четвертый, пятый и шестой — с домом. После шести месяцев уже нечем было бы платить за санаторий, и тогда—прощай, горный воздух. Остались бы они втроем — мужчина, женщина и ребенок — нищими на всю жизнь в чужом углу, не имея ни кола ни двора. Все это нужно было как следует учесть. Оставить жену на произвол судьбы или расстаться навеки с крестьянским хозяйством, загубить землю, дом, скотину, инвентарь — и тогда через одно-два поколения в деревне забудут об Иллешах, которые обратили все в деньги ради горного воздуха.

Два дня подряд он пытался решить этот неумолимо жестокий вопрос. Начал он мучить его в субботу, в конюшне, и продолжал терзать в воскресенье, в церкви. Сидел он на своем обычном месте, в третьем ряду, изредка негромко подпевал, слушал проповедь: «Тогда поведал Иисус такую притчу...» И в этот момент его осенило: он нашел ответ, единственно приемлемый ответ.

По дороге из церкви домой он выбросил из головы решительно все. Докторам нельзя верить, они ошибаются. Чего только не пристанет к человеку, но потом все равно проходит. Бывало, то кашель мучит, то голова кружится, да мало ли что, но крестьяне — крепкий народ, пока

трудятся на земле, не сдаются. Поди посмотри на кладбище — на крестах большей частью обозначено: шестьдесят, семьдесят лет.

Жена не докучала своей болезнью, наоборот, старалась не подавать виду. Он сам оберегал ее, отговаривал от тяжелой работы, мол, не женское это дело. Да и какой муж не окажет жене посильную помощь? К тому же она никому не жалуется, вот только дышать стало труднее и в воскресенье после обеда часами сидит неподвижно в затененной кухне. Как только помоет посуду, наденет праздничное платье, сядет на стульчик и просидит на нем сложа руки до самого вечера.

О чем она думала? Никто не знал, потому что мыслями своими она ни с кем не делилась. Но ясно одно: о горах, о горном воздухе, о санатории у нее и мыслей не было. Ведь доктор не сказал ей, что́ мог бы значить для нее санаторий.

«Горный воздух может задержать развитие...»

Когда умерла жена, он был в городе. Поехал по каким-то делам, кажется, в сберкассу и на мельницу. Домой он вез четыре мешка пшеничной муки. А у самой околицы ему повстречался деревенский сторож, он-то и сказал ему:

— Поторапливайся, Имре. Твою Анну, поди, уже одели...

Сторож хотел еще что-то сказать вроде: «Ничего не поделаешь, на все воля божья...» или еще что-то, но промолчал, приподнял шапку и медленно, не спеша, побрел дальше. Пустая сума, висевшая на боку, в такт шагам хлопала по латаной-перелатанной штанине.

Он не поверил, не хотел верить. Влетел во двор, соскочил с козел и, не распрягая лошадей, побежал в дом. В углу комнаты плакал ребенок, возле кровати стояли пять-шесть соседских старушек в черном. Лицо Анны распухло, пальцы закоченели в судороге, ноги согнуты в коленях, из полуоткрытого рта высовывается посиневший язык, как у повешенного или у тех, кто на фронте попадал под газы... Нет, это не его жена! Покойница случайно оказалась здесь, случайно, случайно... Ну, конечно, это не его жена!.. Ведь она просто вышла куда-то. Стоит спросить у сынишки, размазывающего слезы по лицу, и он наверняка подтвердит, что мать ушла...

Такие мысли не покидали его до самых похорон и даже после них. Он, конечно, никому ничего не говорил, а то высмеют: мол, поглядите-ка, бедный Имре совсем спятил, тоскуя по жене... Правда, он и сам не верил в это и все же, когда боль утраты становилась нестерпимой, часами и днями как спасительную истину твердил одно и то же: она просто вышла и вернется... А к тому времени, когда он перестал тешить себя этой надеждой, душа его уже обрела покой, она уже не требовала все испепелить и уничтожить, перепахать только что показавшиеся всходы и отсюда, с пустыря, проклясть небо, чтобы господь бог и его поверг в прах...

■

Который теперь час? Молодые обычно приходят обедать домой, но когда они ушли? Полчаса или несколько дней назад? Хорошо бы взглянуть на часы. Но часов нет. Их унесли в кухню. Как только его привезли на тягаче домой, зеленый будильник перекочевал на кухню. Почему? А все по той же причине, по какой попона уже в первый день оказалась на окне. Сегодня они сняли ее — он попросил, чтобы окно не завешивали. Но эта потеря чувства времени, слияние воедино понятий «настоящий момент» и «вечность» хуже непроглядного мрака.

Как бы узнать время? В комнате это невозможно. От гладкого земляного пола одинаково веет прохладой как в полдень, так и утром. мебель загадочно светится лаком, скамья рядом со шкафом вздыбилась,

словно оседланная лошадь, заждавшаяся своего седока. Кругом тихо, удручающе тихо, лишь скрипнет порой кровать и, словно вторя ей, скрипнет где-то балка, но время определить по этим звукам никак нельзя. Он мог бы посмотреть в окно. Во дворе солнечно — деревья, крыша дома, ограда отбрасывают тень, и от лохматой ветки тень падает как раз на середину окна. Но даже она ничего не говорит ему. Когда лежишь, мир представляется иным — беззвучным, безмолвным, не таким, каким он был раньше. Словно ураганом занесло его в чужую страну, к чужим людям, у которых и речь иная, и иные мысли, и иные поступки. Все вроде бы знакомо и вместе с тем чуждо. Должно быть, тут и кроется та грань, что разделяет людей. Те, кто много лежит, видят мир иначе, чем те, кто большую часть своей жизни проводит на ногах. Но чем же тогда лежебоки отличаются от тех, кого болезнь или жестокая судьба свалила в постель, на мягкие подушки?

Который теперь час? Сколько длится один, хотя бы вот этот миг? Говорят, в большом горе мозг работает быстрее. В мгновение он охватывает целые годы, потому что нагрянула беда. Может быть, и с ним так же — прошел лишь миг с той поры, как он в первый раз спросил: который теперь час? Да и поесть уже пора. Раньше он не поверил бы, что человек и лежа может проголодаться. И вот на тебе! От голода появилась настоящая резь в животе, но больше всего хотелось пить — выпить большую кружку до самого дна, не пролив ни капли. И хотелось услышать человеческий голос или хоть шорох; хорошо, если бы тишину сменил шум, а покой — движение. Да мало ли чего еще хотелось, но ничего нет, даже не известно, который час...

Тень от густой ветки передвинулась по стеклу чуть в сторону. Рядом вырисовывалось на свету темное круглое пятно. Оно раскачивалось, стучало по стеклу, ворчало, затем вдруг резко, нетерпеливо заржало. Бёсме! Конечно же, Бёсме! Он подсматривает и ждет, когда дом наполнится людьми в черном, которые потом медленно зашагают на кладбище. Что ж, пусть ждет. Может, когда-нибудь один из тех людей все-таки упадет в яму...

Бёсме родился уродливым, бесформенным существом, лишенным разума,— теперь ему будет лет тридцать пять, тридцать шесть. Говорили в ту пору, что мать, будучи на сносях, что-то делала с собой, другие нашептывали, что он дан деревне как небесное знамение, потому что настало время, когда человекоподобные чудовища начнут населять землю как провозвестники приближающегося конца света. Его даже не окрестили, поскольку не считали за человека. Когда ему было три года, умерла мать, и с тех пор никто толком не знал, чем он жил, как рос, лишь строили всякого рода догадки. Обитал он в деревне и ее окрестностях; то исчезал в лесу на закате солнца, то до смерти пугал какую-нибудь хозяйку, когда она, открывая утром дверцу курятника, шарахалась в сторону от выпрыгивающего оттуда лохматого, всего в перьях Бёсме. Многие клялись, что животные понимают его голос, выкрики и ржание, ведь в какой бы курятник он ни забрался ночью, куры не кудахчут. Однажды кто-то божился, что видел, как в лесу толстая змея обвила ему руку и он разговаривал с ней.

Из поведения людей Бёсме усвоил лишь то, что за деньги можно купить в магазине конфет и что нельзя снимать штаны, а то беды наживешь. Иногда он исчезал на несколько дней или недель, будь то зима или лето. Но в деревне хорошо знали — случись что-нибудь, он обязательно появится. Престольный праздник, свадьба, похороны не проходят без Бёсме, так же как они немыслимы, скажем, без карусели, невесты или покойника.

В старое время утомительно однообразными зимними вечерами, когда одуревшим от безделья парням уже совсем нечем было развле-

каться, они принимались за Бёсме. Парни собирались у сапожника, в той комнате, где висел на стене огромный, как простыня, календарь с интересными картинками и рисунками, а на шкафу лежали прейскуранты. Сапожник умел рассказывать странные истории, происходившие в неведомых краях. Трое или четверо парней втаскивали сюда за руки и за ноги Бёсме, когда им надоедали календарь, прейскуранты и рассказы сапожника. Чего только они не проделывали с ним... Как-то раз усадили его во дворе в таз с водой, а мороз стоял градусов двадцать, и до тех пор не давали ему встать, пока вода не замерзла и он не прирос к тазу. Что тут смеху было — хохотали все: парни, сапожник, вся деревня. Потом людям было стыдно смотреть в глаза друг другу, но проходила неделя-другая, и парням опять надоедали календарь, прейскуранты и рассказы сапожника...

Теперь его почти никто не обижает. Да и некому. Парней в деревне мало, а у тех, кто остался, дома говорит радио не хуже, чем в мастерской сапожника; слушать скулеж и завывание Бёсме никогда не было интереснее, чем, скажем, смотреть, как в кино целуются, острят или дерутся. Бёсме уже устарел, вышел из моды вместе со старым миром. Теперь применяют к нему силу только осенью, когда инвалид Шоваго загоняет его в здание Совета, где с него сдирают потрепавшуюся за лето одежду и натягивают другую — чьи-нибудь поношенные брюки и пиджак. Он, конечно, ничего не понимает, вопит, скулит и вырывается из рук Шоваго и секретаря Совета, как когда-то вырывался из рук парней. Страх преследует его до самого магазина, куда он вбегает и бросает на прилавок форинт, полученный в утешение от Шоваго...

Время будто остановилось, заупрямилось. Оно застыло и затаилось.... Тень передвинулась еще дальше, исчезла призрачная голова Бёсме из окна, а время все стоит...

Если б не умерла жена, она бы сейчас крутилась возле него: «Может, принести чего? подать? убрать? что-нибудь рассказать?..» Второй раз он не женился. Знал, что будет невероятно трудно содержать в порядке дом, вести хозяйство, воспитывать сына, подавлять желания здорового тела, и все-таки не женился. Такой женщины ему все равно не найти. Верность покойнице — той, что ушла и, как ему временами казалось, еще вернется,— мстила ему теперь за то, что он позволил ей уйти. Сейчас он расплачивается за свою верность: ведь рядом нет другой женщины, которая хлопотала бы возле него: «Может, тебе принести чего? подать? убрать? что-нибудь рассказать?..» Впрочем, другая женщина, возможно, сказала бы, что он лжет,— не верность удержала его от решения, которое диктовалось здравым смыслом, а страх. Что, если и с другой случилось бы то же самое? Смог бы он на этот раз крикнуть коварной судьбе: забирай все — дом, хозяйство, скотину, инвентарь,— только оставь жену? Он знал, что на его дороге может оказаться яма, и осторожно, все взвесив, свернул с пути, но яму, видно, не обойдешь. Как ни рассчитывал, как ни прикидывал, а все же в итоге в эти томительные часы, должен признать, что ошибся в расчетах, и нет такого карандаша, чтобы можно было зачеркнуть все расчеты, нет бумаги, чтобы все начать сначала...

Прошло двое суток. Два дня и две ночи. Дважды по двадцать четыре часа, а минут — и не счесть. И они никуда не спешили. День не спешил кончаться, а если и уходил — неизвестно куда и почему — наступала ночная темень, которая тоже казалась бесконечной. Что же из них милосерднее — день или ночь?

Ничто не изменилось ни в нем самом, ни вокруг. В голове по-прежнему гулко стучала кровь, прерывая и без того нестройный ход мыслей. Парализованная, бесчувственная половина тела лежала рядом с другой половиной, словно то были два совершенно самостоятельных,

посторонних друг другу тела, спаянных воедино каким-то неведомым сплавом. Сил хватало лишь на то, чтобы поправить на себе одеяло либо согнать севшую на лоб или щеку муху. Здоровые люди просто не поверят, что самую обыкновенную ничтожную муху он сгонял лишь после настоящей тактической подготовки: сначала отодвигал локоть, потом сгибал руку и высовывал ее из-под одеяла...

Здоровые... Они только ходят вокруг да вздыхают, когда бывают дома, и молчат, и опять вздыхают, пялят глаза, перешептываются. Разве что сын иногда пролепечет что-нибудь вроде:

— Что ж, отец... нужен покой. Нельзя волноваться. Ни в коем случае...

И все. От невестки и того не услышишь. Накормит, уберет молча, а в глазах все та же мрачная угроза, какая таилась в них в первое утро...

И воды не дают. Пить! Как только ушел доктор — с тех пор прошло... сколько же дней? сколько же... один или два?.. — невестка принесла из магазина желтую губку. Сначала он подумал, что сама будет пользоваться ею,— мазать тело или лицо всякими пахучими снадобьями — целый шкаф набит ими. Раньше в крестьянском доме такого и в помине не было, а она пудру даже завела. Но потом, когда попросил пить, невестка смочила губку в тазу и провела ею ему по губам. Смочила, но пить не дала. Хорошо, если за день удастся выпросить полстакана воды. Он стонал, охал, умолял, требовал, без конца повторяя: «Воды! Воды!» — но больше полстакана, хоть умри, не давали. В воскресенье оба целый день были дома и все равно воды не дали.

На третий день он крикнул сыну:

— Слушай, сын... Когда мой отец... твой дедушка вот так же лежал, я, по крайней мере, воды не жалел, давал сколько душе угодно! Слышишь?.. Даже вина давал. Пусть пьет себе на здоровье... Слышишь, ты?! — Первые слова он выпалил гневно, но запал быстро исчез, и он с трудом стал выдавливать их сквозь зубы: — Д-д-а же... в-в-и-на...

— Ладно, ладно, отец... успокойтесь... — промолвил сын.— Много жидкости вам нельзя... Понимаете... Одним словом, не тревожьте себя ничем...

— Я хоть воды не жалел для отца... Слышишь?

— Откуда вам было знать,— вмешалась невестка,— что вода в таких случаях...

— Помолчи! — оборвал ее сын.— Не надо... А вы, отец, потерпите. Придет время...

Потерпите! Как ему не совестно говорить такое? Заставляет терпеть отца, который вырастил и воспитал его! Ишь чего захотели — чтобы он спокойно смотрел, как они решают его судьбу, чему он, видимо, уже ничем не сможет помешать. Ведь даже скотина содрогается, когда на нее поднимают дубину! Чего же можно требовать от человека, который знает, что дубина эта уже давно заготовлена для него! Убежать он не может, а тут ему еще приказывают терпеть. Неужто в этом и все перемены? Неужто теперь еще бессердечнее стали... в таких делах...

В таких делах... Что же это за «дела»? Он опять бежит от себя, не смеет сказать даже самому себе, что это такое. И ныне так же, как всегда: беспомощный старик не нужен. Не нужен, и все тут! Если он сам не спешит, его понукают. А понукания те же самые, они переходят по наследству от одного поколения к другому, как испытанное временем кнутовище, отшлифованное воловьей шеей ярмо, удобные вожжи. Если старое поломается или порвется, делают новое, но все равно кнутовище остается кнутовищем, ярмо — ярмом, вожжи — вожжами...

Как невыносимо мучает жажда! Мертвая тишина, они не придут до самого обеда, а пить хочется смертельно. Он где-то слышал или читал,

будто на море тоже умирают от жажды. Ну уж это, наверно, враки! Те гибнут по другой причине. Ведь море — это вода, правда, соленая, но все равно влажная, холодная, ее можно проглотить и приятной прохладой погасить сжигающий все нутро огонь... Если бы он мог сейчас прыгнуть в огромный океан, в море, реку, в любую воду! Он бы забрел на глубину, чтобы вода доходила до самого подбородка и даже выше, нырнул бы и растворился в ней. Если он испытывает такие муки, когда воды нет, то раствориться в ней, наверно, полное блаженство, конец всем страданиям.

Но почему же ему не дают воды? Ну ладно — сын, невестка, но другие-то почему не дают?

Не успел он в полузабытьи произнести этот вопрос, как тут же спохватился и попытался оттеснить его в самый дальний и темный уголок своей памяти, где он гнездился до сих пор. Но никуда не денешься. Никуда не уйдешь ни от вопроса, ни от ответа!

Раз уж нельзя положиться на сына или невестку, если нет рядом жены, почему он не может рассчитывать на кого-нибудь другого, почему рядом или поблизости нет никого, кто считал бы своим долгом, узнав о том, что с ним случилось, за день раз десять, раз сто заглянуть к нему, посидеть рядом, спросить: дорогой мой друг, Имре, не нужно ли тебе чего?

Какой же неограниченной властью обладает страдание, если заставляет его так просто ставить вопрос и тут же давать на него ответ! Почему так устроен мир: если что-нибудь начало падать, то оно обязательно рухнет на землю?

Он всеми силами старался думать о чем-нибудь другом, но прекрасно знал, что на сей раз все напрасно, что на сей раз нужно посмотреть правде в глаза и произнести именно те слова, которые, слившись воедино, уже много лет ждут своей очереди. До сих пор в житейской суете их можно было не вспоминать, но теперь, когда мир уже не движется, они заявляют о себе и не спасешься от них ни хитростью, ни мольбой...

■

По правде говоря, он даже не заметил, когда пришли сын и невестка. Может, они и спрашивали о чем-нибудь или что-либо говорили, а если и говорили, то он не обратил внимания,— управившись по хозяйству, они, как обычно, легли спать...

Он не спал. Разглядывал сгустившийся в комнате мрак. Луна уже давно покинула небо, лишь звезды кое-где сверкали в вышине. Кругом леденящая тишина, и только изредка где-то тявкнет собака, как бы для того, чтобы напомнить: слышите, мол, как тихо, очень тихо кругом... И вот из-за туманной завесы прошлого явственно встает перед его глазами старая история, доподлинная, как исповедь, написанная уже давно,— надо только прочитать ее, громко и внятно произнося каждое слово.

Исповедуюсь всемогущему... кому? Богу, истине, самому себе, страху? Тому, кто может наказывать. Исповедуюсь. Был у меня когда-то друг. Звали его Йошкой, Йожефом Петро. В деревне все его звали Дубиной. А что он Петро, многие и не знали. Он не был здоровенным детиной, но отличался недюжинной силой, выдержкой и твердостью. Так что прозвище вполне подходило ему. Дубина...

Из нашей деревни мы первыми попали в армию, еще в четырнадцатом году. Через два дня после объявления всеобщей мобилизации. Из дому отправились в разное время, но по дороге в Будапешт случайно оказались в одном взводе, и когда наш полк отправляли в Сербию, мы забрались в украшенный цветами товарный вагон как два неразлучных друга. Я был младшим сержантом, а Дубина — рядовым солдатом. Мне

можно было ехать в унтер-офицерском вагоне, там не так тесно, но не мог же я бросить Дубину! Да и не хотелось оставаться наедине со своими тревогами и мрачными предчувствиями. С ним было лучше и легче — как говорится, все нипочем. Слова, вздохи, жесты, взгляды напоминали нам о родине, о деревне и доме. Под нами перестукивали вагонные колеса, и каждый из нас думал об одном: не ему ли отбивает дробь барабан? Не ему ли придется оставить там свою молодую жизнь, а может, только руку, ногу, вернуться с подорванным здоровьем? Кому как повезет. А то и целехоньким вернешься... Молитв в вагоне не было слышно, все больше пели — кто во что горазд. Но чаще всего горланили песню «Мы в Белграде станем лагерем...». Несмотря на залихватский мотив, в каждом слове ее слышалась мольба: «Господи, спаси нас!» В блуждающем взгляде любого можно было прочесть со стыдом скрываемый вопрос: «Ты или я?» Он возникал у каждого помимо воли, впрочем, все уже шло помимо нашей воли — и этот поезд, и наши думы. Оставалось лишь глазами спрашивать друг друга: ведь каждый понимал, что не все вернутся домой с букетиками на каске или с цветком в дуле винтовки. Хотя о цветах, конечно, рано думать — их нам пообещали к осени, а пока что даже патронов не выдали.

Дубина буквально не закрывал рта — у него всегда было в запасе что-нибудь интересное. Полдня, бывало, развлекает вагон, не умолкая, так и сыплет всякими прибаутками, шутками, анекдотами. Мы любили слушать его, особенно нам нравилась его манера рассказывать. Он переводил взгляд с одного лица на другое, обращался поочередно к слушателям, но, доходя до главного, всегда поворачивался в мою сторону, обязательно щелкнув каблуками:

— А потом, смею доложить, господин младший сержант, поп и говорит...

Бесконечно длинная и в то же время быстро убывавшая дорога была ему нипочем; он шутил, рассказывал то громко, то шепотом всякие забавные истории, неизменно заканчивая их словами:

— А потом, смею доложить, господин младший сержант...

Мы были благодарны ему за то, что он отвлекал нас от невеселых дум, и отплачивали чем могли — ведь слушая его старые басни, мы забывали о том, куда мчали нас стучащие по рельсам колеса.

Он как сейчас стоит перед моими глазами. Чуть выше меня ростом, на угловатом лице ветрянка оставила беловатые пятнышки, густые темные волосы спускаются на лоб почти до лохматых сросшихся бровей. Глаза похожи на черные угольки, в которых всегда теплится чуть заметный огонек, будто смягчая выпавшую на его долю суровую судьбу. Был он сыном батрака и сам батрачил. Им помыкали, и своего у него ничего не было, даже лохмотьев, на которые вечером валился он от усталости. До армии мы почти не встречались, если не считать того единственного случая, когда в престольный праздник чуть было не подрались...

Сильным и крепким парнем был Дубина. Не знаю, где таилась сила — в коротких жилистых руках, в неутомимой спине или в плечах,— но была она у него как щит, как порука.

— Едем и едем, а куда и зачем — не знаем, и вернемся ли домой — тоже неизвестно, а неплохо бы знать... — иногда ворчал он под стук колес.

Этим обычно и ограничивались его высказывания о событиях тревожного мира, и в таких случаях лицо у него вытягивалось и краснели оспинки.

Не помню уж — давно это было,— сколько трясло нас в вагоне, на каких станциях простаивали и как затаив дыхание слушали известия о скором перемирии. А вот одну сербскую деревушку цепкая память сохранила ясно. Почти месяц мы стояли лагерем неподалеку от нее. К тому

времени нам уже пришлось понюхать пороху. Мы убивали, и нас убивали — на войне как на войне. Мы потеряли половину роты убитыми и ранеными, еле-еле успевали пополнять ее резервистами. В моем пулеметном отделении тоже не хватало людей — всего нас осталось четверо: наводчик, подносчик, Дубина и я.

Деревушка. Я ее хорошо помню. В мирное время в ней жило, наверно, человек восемьсот, а сейчас осталось не больше половины — кто бросил все и бежал, когда мы подошли, кого взяли в солдаты, да и фронт собирал свою жатву. Трижды деревня переходила из рук в руки, хотя и находилась далеко от дорог, от железнодорожных путей, а о промышленных предприятиях уж и говорить нечего. Но с военной точки зрения она представляла некоторую ценность, потому что через нее протекала не очень широкая мелкая речка, и в нее, особенно весной во время разлива, могли заходить из Дуная военные катера.

Красивой была эта деревня или нет,— право, не знаю. Нам она нравилась просто за то, что была деревней — дома, скотные дворы, конюшни, кузница. Если бы мы только прошли через нее, на другой день никто бы о ней и не вспомнил. Мало ли деревень пришлось нам пройти! Но на окраине этой деревни мы стояли лагерем. Жили там чуть не целый месяц, можно сказать, не зная никаких тревог, как в мирное время. Правда, иногда раздавались выстрелы: ведь на противоположном берегу реки извивались траншеи противника. Но в ту пору мы больше воевали со вшами.

Странное было время. Несмотря на середину сентября, нельзя было заметить никаких признаков приближения осени. Правда, на рассвете над рекой проплывали рваные облака тумана, но стоило взойти солнцу, как наступал самый настоящий летний день. По вечерам земля излучала ласковое тепло. Ночами мы подолгу смотрели на знакомые звезды и гадали, где же проходит граница нашей родины.

Многие нет-нет да и бегали в деревню — уж в который раз обшарить пустые чердаки и подвалы — в надежде найти съестное, потому что нас немилосердно терзал голод. Все мы с нетерпением ждали того дня, когда с полными котлами прибудет кухня.

Дубина и здесь был таким же, как в вагоне. Выдумывал новые истории или старые пересказывал на новый лад, и те немногие, кто остался в живых, с удовольствием его слушали. В десятый раз мы готовы были хохотать над его шутками, даже сербы, вероятно, слышали наш смех на той стороне реки, поскольку их смех тоже доносился к нам. Однажды после раздачи почты к нему подошел писклявый ефрейтор с Затисья, повис на шее и взмолился:

— Дубинушка, дружище, расскажи что-нибудь. Одному мне. Ты только посмотри, что пишет мне жена, распутница проклятая...

И Дубина не отказал. Так хорошо рассказывал, что тот совсем повеселел. Потом даже запел своим тоненьким голоском. А под вечер хандра снова напала на него. Он отошел в сторону, выдернул шнур в ручной гранате и стал отсчитывать:

— Двадцать один, двадцать два, двадцать три... — на счете «двадцать четыре» поднес гранату к уху, будто прислушиваясь к тиканью часов. Все в ужасе бросились к нему, но поздно. К счастью, взрыв никому больше не причинил вреда...

Мы любили оставаться вдвоем, беседовали или просто, лежа на спине, смотрели в голубое небо. Если Дубине приходилось заступать на пост, я был рядом с ним, мы тихо переговаривались и, когда одолевал сон, не раз я засыпал у его ног.

Однажды Дубина высказал вслух то, о чем я думал уже не раз:

— Хоть эта дурацкая война никому и не нужна, а нас она все-таки сдружила.

А я еще подумал: вот только бы попасть домой — любому, кто посмеет сказать, что я, сын хозяина, дружу с каким-то батраком, расквашу нос. Да, мы с ним друзья, это точно. Нам никогда не наскучит быть вместе, беседовать, стоять друг за друга. Только бы попасть домой. Подведу я Дубинушку к своему отцу и скажу: «Отец, вот кому я больше всего обязан тем, что остался жив и вернулся домой...»

Текла бы эта речка, размечтался я как-то, мимо нашего дома, взял бы я лодку — метров триста выше деревни их полно,— мы бы сели в нее и вдвоем отправились в путь, а к утру, глядишь, и дома...

На следующий день уровень воды в реке начал подниматься. Так продолжалось несколько дней подряд. Чем это было вызвано, толком никто не знал. По-прежнему сияло солнце, на голубом небе — ни единого облачка. Какой-то умник из соседнего отделения высказал предположение, что где-то открыли шлюз, оттого вода и прибывает.

Мы предчувствовали, что повышение уровня воды в реке положит конец мирной передышке. Пока что никаких приказов или указаний не поступало, но зато зачастили штабные офицеры, которые рыскали в прибрежных зарослях ивняка; на том берегу тоже заметно было оживление. Оттуда подстрелили одного нашего кадета — пуля угодила ему прямо в переносицу. Хоронили его без особых почестей, просто зарыли и все. Уже по одному этому мы поняли — что-то назревает.

— Интересно знать,— однажды утром задал вопрос Дубина,— какая сторона поднимется первой? А то, что она поднимется, это точно...

Он не ошибся.

Четвертого октября — никогда не забуду этот день — пришел ординарец и передал, что меня вызывает к себе командир роты господин старший лейтенант Рудольф Йовари. Там уже собрались все младшие командиры роты.

— Наступаем на рассвете,— сообщил старший лейтенант.— Форсировать реку придется в трудных условиях: пополнения не будет и, кроме того, полк не сможет оказать артиллерийской поддержки. Это, конечно, усложняет задачу, очень усложняет, но мы и без поддержки артиллерии переправимся: на противоположном берегу у противника всего-навсего неполная рота. Главную силу их представляет хорошо оборудованное пулеметное гнездо.

Все получили задания и разошлись. Меня старший лейтенант отозвал в сторону.

— Вы, кажется, командуете пулеметным отделением? Ну, докладывайте, как у вас дела?

— Осмелюсь доложить, в отделении всего четыре человека,— отчеканил я, надеясь получить пополнение, но так этого и не дождался.

— В четыре часа,— перебил он меня,— за час до атаки, один ваш боец должен форсировать реку и по сигналу ракеты связкой гранат уничтожить вражеский пулемет.

— Слушаюсь...

— Прислугу своего пулемета не трогать, поняли? У наводчика и подносчика будет своя задача. Выполнение задания возложите на кого-нибудь из оставшихся... Повторите приказание!

По личным наблюдениям я прекрасно знал, что тот, кто будет послан на задание, назад не вернется. Если даже допустить, что он сумеет подкрасться к вражескому пулемету и бросить гранаты, все равно ему не уйти. Не успеет рассеяться дым после взрыва, как его изрешетят. Не знал я, в самом ли деле полк не имел артиллерии или дело просто в том, что старший лейтенант Йовари хотел украсить свою грудь орденом «Сигнум Лаудис».

Сколько раз я проклинал с тех пор старшего лейтенанта! Почему он не сказал, почему не приказал, кому именно идти на задание? На-

водчик и подносчик в счет не идут. А кто идет в счет, тот останется там!

Когда я вернулся на позицию, там уже побывала кухня. С полным котлом, с увеличенными порциями. Солдаты выливали из котелков суп, вываливали картошку, ели только куски мяса. Всем хватило, даже добавки давали вволю.

— Ну, что я говорил? — встретил меня Дубина.— Предстоит наступление!

Я отказался есть. Отошел в сторону, повалился навзничь на дно окопа, смотрел на медленно загоравшиеся звезды и собирался с мыслями. Сначала они вертелись вокруг приказа. Я пробовал отогнать их, развеять, но они назойливо сверлили мозг.

Наводчик и подносчик в счет не идут. Тогда, значит, речь может идти только о нас двоих — о Дубине или обо мне. Приказавшему важно, чтобы приказ был выполнен, остальное его не интересует. Но кроме приказов на свете существует еще многое другое... И если из двух овец одну надо отдать на съедение волкам, хозяин оставляет себе ту, которая дает больше молока, шерсти. Это спасает ее...

Я отыскал глазами Дубину. Он сидел метрах в десяти от меня у раскрытых дверей блиндажа, освещенный слабым светом коптилки. На кончике его ножа торчал большой кусок мяса. Это был старый нож с красивой перламутровой ручкой и длинным острым лезвием. Нож этот — единственное его богатство. Больше у него ничего не было в жизни. И не будет. Что его ждет дома? Пойдет опять гнуть спину на других, если будет в нем нужда. Впрочем, была бы шея, хомут найдется. Все будет решать хозяин, распоряжаться каждым его шагом, каждой минутой. Он никогда не сможет назвать что-нибудь своим или сказать: я хочу так, а не эдак, потому что его не считают за человека. А кого считают? Того, кто может сказать: это мое. Человек — тот, кто может поступать по своей воле, как ему вздумается. Кто не может этого делать, тот лишь по видимости человек, поскольку лишен самого главного. А мир существует только для человека! Остальные — только случайные гости, да и гости до тех пор, пока кто-нибудь не крикнет: «Пошел вон!» Любая хозяйская лошадь может лягнуть его, ведь за многие годы труда у него не было минуты, чтобы приласкать ее, приручить. Жизнь батрака длится от юрьева дня до юрьева дня...

Как может сразу, внезапно измениться любое чувство, любая мысль! Так же внезапно способен измениться для человека весь мир...

Потом ко мне подсел Дубина. Остальные пытались уснуть: сон теперь не укорачивал жизнь, а чуть подальше отодвигал смерть.

— Значит, Имре, утром выступаем против них?..

Я ответил не сразу. Не глядя на него, спросил:

— Как по-твоему, что такое человек?

— Человек? — Дубина хмыкнул, подергал ус.— Что такое, спрашиваешь, человек? Человек — это тот, кто сам все делает на этой земле, кто все знает, кто запанибрата с нуждой... Так примерно... Одного только он не знает — ради чего нужно идти против них...

— А они хотят идти сюда. На нас...

— Они ведь тоже как и мы... Слышишь скрежет?

— Нет.

— Тихо работают наши саперы. Готовят понтоны...

— А знаешь ли, Дубина, что на той стороне у них есть пулеметное гнездо?

— Еще бы! Я уже давно засек его...

— Что, что? Как ты сказал?

— Говорю, давно засек его. Не дай бог оказаться поблизости, когда начнут строчить оттуда...

— Значит, засек, говоришь... Так вот, Дубина, то есть солдат Петро! Встань-ка по стойке «смирно» да щелкни тихонько каблуками...

Я хотел было прикрикнуть на него, когда увидел, что он действительно встает и вытягивается во весь рост, высовывая голову над бруствером, как раз там, где луна немного подзадержалась, прежде чем пойти вниз по темной глади неба...

— Я стою. Сам видишь, ведь луна еще светит. Каблуками тоже прищелкнул...

— Ладно, не обижайся. Так положено... На рассвете, в четыре часа, переберешься на тот берег и связкой гранат уничтожишь вражеский пулемет. Ты пройдешь по нашему берегу вверх по течению метров триста, там сядешь в лодку, если она окажется на приколе, собьешь цепь, сильно оттолкнешься, ляжешь на дно и поплывешь по течению. Оно отнесет тебя к противоположному берегу, как раз к нужному месту... И уничтожишь пулемет... Раз ты засек его...

Дубина сам виноват. Не знаю, может, это только теперь мне кажется, но если бы он сказал тогда хоть слово, я бы не сдержался, бросился к нему на шею и сказал, что сам пойду или пойдем вместе, друг мой дорогой, потому что не могу я потерять тебя... Но он ничего не сказал, еще раз щелкнул каблуками и, низко наклонясь, отошел в сторону.

Потом я видел, как он нанизывал на ремень гранаты. Двенадцать штук. И тогда я возненавидел его, смертельно, непримиримо. Ничтожество! Жалкий батрак! Из-за таких вот все беды в мире! Дома они зарятся на чужое, их надо остерегаться, из-за них приходится надрываться на работе, а стоит только имущему крестьянину хоть сколько-нибудь поволынить — и станешь вот таким, как этот Дубина. Говорят, и война из-за них. Правильно говорят! Потому что они как сорняк, который надо рубить под корень, как прожорливая саранча. Беда лишь в том, что на войну берут и тех, у кого есть свое место на чистой пашне. А на войне всякое случается, все рискуют! Только где тот глупец, который упустит случай толкнуть чашу весов в свою пользу? Разве несправедлив этот приказ? Гнилье пусть гибнет! Он уже кончил возиться с гранатами. Теперь достает нож, отрезает лишний кусок ремня. Нож с перламутровой ручкой, с длинным и острым лезвием. Он бы пырнул меня этим ножом, если бы нас не разняли тогда, на престольном празднике. Из-за какой-то девушки, всего-навсего из-за одного танца. Он бы всадил в меня этот нож. Из-за пустяка!

Я надеялся, что он уйдет, не сказав ни слова. Задание понял, вопросов нет, о чем еще говорить? А вдруг, не дай бог, захочет проститься! Подойдет и скажет: «Ну, прощай, Имре...» К счастью, он не собирался прощаться. Всю ночь молчал, даже не подходил ко мне. И только на рассвете, перед тем как уйти, спросил:

— Имре, это приказ старшего лейтенанта?

— Приказ, и все! — вспылил я, а сам думаю, если спросит еще что-нибудь, быть драке.— Приказ не обсуждают, а выполняют!

Он повесил на руку связку гранат, похожую на какое-то странное дурацкое ожерелье.

На восходе солнца, когда наша рота, потеряв половину людей, прекратила бессмысленные попытки продвинуться вперед и оставшиеся в живых вернулись в окопы, я пытался угадать, не лежит ли среди валявшихся на том берегу убитых труп Дубины. Тешил себя надеждой, что он попал в плен и бредет под охраной вместе с другими пленными в тыл. А может, думал я, человек, по сигналу ракеты взорвавший пулеметное гнездо и метнувшийся вверх по берегу, был не Дубина. Я видел, как этот человек бежал, затем подпрыгнул, словно хотел взлететь к тому самому месту, где восходящее солнце обозначило свой огненный путь на небосклоне И вдруг полет его оборвался, и он упал, как подбитая

птица. Его буквально скосили всполошившиеся или, может быть, бывшие наготове солдаты... Вскоре мне надосло обманывать самого себя — лучше ни о чем не думать, ни на что не надеяться. Шла война... Несколько дней я хранил окурок, который выбросил Дубина, отправляясь на задание с тем странным дурацким ожерельем в руках. Но потом вытряс из кармана табак и с той поры бросил курить, а когда впервые увидел сына с сигаретой в зубах, шлепнул его по губам и строго запретил курить.

Вот и все... Я вечно буду терзаться и каяться в своем грехе, так как оскорбил им беспредельно доброго и милостивого господа бога... оскорбил свою судьбу... самого себя...

■

Девятнадцать лет спустя, в тридцать третьем году, казалось, пришло отпущение его грехам. До того он старался не думать о Дубине. Что было — быльем поросло. Что случилось, того не вернешь, жизнь знает, что она делает. Видно, Дубине на роду было написано умереть там, как и ему не удалось избежать ранения в семнадцатом году.

В тридцать третьем году душа его еще раз подверглась испытанию. В ту пору, в июне, во время уборки, батраки что-то замыслили. Дело не дошло даже до того, чтобы они высказали свои требования, они, пожалуй, и сами не знали, чего добиваются. Но наутро два жандарма забрали всех заводил. Пятерых. Двоих по дороге в город застрелили при попытке к бегству. Один из них высвободил руки из веревки, которой они были связаны, и бросился бежать. Другой побежал за ним следом со связанными руками. Высокий жандарм, еще новичок, хотел было догнать их, но старшина, грузный и толстый, изнемогавший от жары, остановил его, прицелился и двумя выстрелами уложил обоих. Беглецы попались неловкие, даже петлять не умели. Если бы Дубина и вернулся с войны, он наверняка по своей натуре оказался бы среди заводил, его погнали бы в город, он тоже попытался бы бежать и умер от жандармской пули. Теперь же его имя занесено на мраморную доску, висящую над входом в церковь, рядом с его именем вбит крюк и на нем каждый год в день поминовения усопших горит свеча — вместе с другими тринадцатью свечками.

А тот батрак, который первым бросился бежать, вспомнил, что дома, в его батрацкой лачуге лежит больная жена и, поскольку его увели как бандита, никто не подаст ей и стакана воды...

Стакан воды... Почему жизнь устроена так, что где бы человек ни жил, никого не найдется, кто подал бы ему воды?

Больше он ни с кем никогда не дружил. Даже боялся смотреть на тех, кто душевной теплотой мог привлечь его к себе. «Черствый человек» — говорили о нем, а он вовсе не был черствым. Ему так не хватало задушевного друга, с которым бы его связывало очень многое в прошлом. Разве не было бы приятно в воскресные зимние вечера посидеть у винного погребка и вспомнить прошлое? Дескать, вот что случалось у нас на фронте. А помнишь, как погиб белобрысый паренек из Будапешта? Или как Элек Бакач выплюнул двенадцать зубов после удара ружейным прикладом, а один зуб проглотил и все искал его в уборной, так как боялся аппендицита. Или как старший лейтенант Йовари в дурном расположении духа велел подвесить на дыбе полроты. Или... Да, чужие грехи человек со временем может простить, только свой не забывает, а если даже и забудет, то грех напомнит о себе и жестоко отомстит...

Раньше он боялся признаться, теперь же, в минуты страданий, может сказать прямо: совесть его не чиста перед Дубиной. Лежит на душе грех, который до сих пор прятался где-то в лабиринте лет, а сейчас, улучив

подходящий момент, выполз и с криком «ура», со штыком наперевес идет в атаку. И не искупить его ни покаянием, ни мольбой — ничем. Он покарает того, кто его совершил. Отомстит.

Все было бы иначе, если бы рядом был друг. Если бы был Дубина. Он позвал бы его к себе... да и звать бы не пришлось, сам прибежал бы сюда и часами не отходил, ловя каждое его слово, угадывая каждое желание. Он сказал бы ему: «Знаешь, Дубина, этим... сыну и невестке, я не очень-то нужен в нынешнем моем положении, потому-то я всецело доверяюсь тебе, ухаживай за мной, не оставляй меня, давай мне пить, лучше ты корми меня, а не женщина, отсчитывающая дни моей жизни... Дай еще попить, и когда придет мой час, приготовь смертное ложе».

А тот час, когда понадобится приготовить смертное ложе, уже не за горами.

Простыня промокла насквозь. Одеяло влажное. Сколько же пота может выделить больной организм! Откуда берется столько влаги? Ведь те полстакана воды, которые он выпивает за день, испаряются вместе с дыханием...

Сколько дней уже прошло? Вроде бы пять. Пять дней лежит он пластом, и — ни улучшения, ни ухудшения, только уверенность изо дня в день становится все реальнее. Сын и невестка тоже не меняются — по-прежнему не разговаривают с ним: скажут самое необходимое, и все. А что им говорить и зачем? Все идет своим чередом, без сучка и задоринки, именно так, как они задумали. Однажды ночью он слышал, как невестка что-то шептала сыну. Тот пробормотал в ответ: «Не обращай, Тери, внимания, главное, чтобы не волновался он, покой для него — самое важное». Вот именно, покой! И правда, чего ему волноваться? Беспокоиться должен тот, кто не совсем уверен в своей судьбе. А кто хорошо знает, какая опасность нависла над ним, может испытывать только страх. Страх и беспокойство — не одно и то же. Раз ты беспокоишься, значит, у тебя еще есть надежда на что-то, хоть маленькая искорка надежды. Страх же убивает прежде всего беспокойство, а вместе с ним и вспыхивающую изредка ободряющую искорку надежды. Беспокойство может еще побудить к борьбе, но страх делает человека беспомощным, повергает наземь. А раз так, то и в самом деле, какого черта старику беспокоиться? Достаточно того, что он боится... И в страхе, с ужасом следит за тем, как заканчивают все приготовления к тому, чтобы оборвать его жизнь. И пусть следит. Пусть видит, что ему готовят. У них есть основания делать так. Именно у них двоих они более веские, чем у других людей. Потому что, помимо докуки возиться с больным стариком, неприязнь к нему подогревается еще и местью. Особенно это касается невестки. В то первое утро, когда она наклонилась к нему, чтобы покормить картофельным супом, право же, ее красивые глаза сказали ему больше, чем самые разящие слова. В них вспыхнула крохотная искра, и он отчетливо прочел угрозу: ну, погоди, старик, теперь-то ты заплатишь мне сполна за тот год. За пятьдесят четвертый...

В пятьдесят четвертом женился его сын. Когда подошло время, он и сам частенько напоминал ему о женитьбе. Год-полтора назад ему было совершенно безразлично, кого сын возьмет, кого приведет в дом. Лишь бы не боялась работы, была аккуратной, знала, как и из чего готовят суп и не воротила нос, когда нужно пощупать несушку. Пусть женится на ком угодно, ему все равно. Давно прошли времена, когда отец обязан был подыскать невестку! И совсем неважно, есть у нее приданое или нет, пожалуй, даже лучше, если она ничего не принесет в дом: меньше придется дрожать за то, что уже есть. Правда, он не попал в список зажиточных, к нему не применили никаких чрезвычайных мер, а секретарь партийной организации даже сказал ему: «Слышь, дядя Имре, сам Ленин говорил, что ты наш верный союзник». Тем не менее его не оставляли

в покое, совали нос во все его дела, на деревья в саду и на скотину повесили бирки, запретили ему по своей воле распоряжаться ими, спускали план и проверяли его выполнение — и то он обязан, и то должен... И за всем этим стояло государство с явным намерением когда-нибудь соединить воедино земли, согнать в один гурт скотину, людей, и тогда уже не восходящее солнце, а бригадир будет созывать на обязательные работы.

В середине пятьдесят первого года организовался в деревне производственный кооператив; приглашали, агитировали и его вступить. «Становитесь, товарищи, на сторону прогресса» — был главный аргумент, об этом постоянно и твердили. Больше ничего не могли придумать. Убедить тоже было нечем: кооператив по уши увяз в неполадках, хотя и получал помощь от Совета, от машинно-тракторной станции, беспрерывно приезжали инструкторы. Со временем члены кооператива общими усилиями кое-как выкарабкались из беды, но он-то все равно понимал, где хуже, а где лучше.

...Осенью сын заявил, что как только закончат уборку он женится на Тери Юхас и уже до рождества справит свадьбу. Сын говорил долго и невнятно, бубнил что-то и поводил плечами, так что он не все понял толком.

Тери Юхас! Дочь того самого Юхаса, который оказался самым стойким из членов кооператива. Конечно, ведь у него, кроме артельного, ничего своего не было — если все опять разделят, останется гол как сокол с семью или восемью малышами. Он знал, что огнеглазая Тери славится в деревне своей красотой, к тому же трудолюбива, не боится никакой работы и никогда не жалуется на бедность. Но ведь она дочь Дежё Юхаса! А сейчас, после многих перетрясок, стало наконец проясняться положение крестьянина: теперь, думал он, снова будет, как раньше! Словно на дрожжах поднимались цены на скот и на землю; больший вес приобретала поземельная книга, хранившаяся в Совете. Власти будто поняли, вернее, может быть, вынуждены были понять, что без самостоятельного, верящего в свои силы крестьянина не может быть сильной страна и прочным общество. Теперь уже не все равно, на ком остановит свой выбор его сын. Он полагал, что стоит присмотреться к тем хозяевам, которые хотя и с опаской, но радуются уничтожению списков зажиточных и у которых взрослые дочери в трудные годы засиделись в девках, и они с радостью примут такого жениха, как его сын,— не только потому, что он, хоть и глупо ведет себя сейчас, все же славный парень, но и потому, что они, очевидно, охотно согласятся стать звеном в той крепнущей цепи, которая снова сольет воедино старые нравы и законы.

После недели настойчивых уговоров сын категорически заявил:

— Если не дадите согласия, уйду, сниму комнату или угол в любом доме, потому что нет такой силы, которая могла бы отнять у меня Тери.

Еще неделю он упрашивал сына, грозил, убеждал. Взывал к его разуму и сердцу, пытался пробудить в нем мужицкую гордость, уважение к нерушимым традициям предков, которые холили, оберегали и расширяли свои земельные наделы. Все напрасно — сын упорно стоял на своем: «...нет такой силы, которая могла бы отнять у меня...» И на этот раз уже не мямлил, не поводил плечами, а внятно и четко произносил каждое слово.

Пробовал он поговорить начистоту и с девушкой, с Тери Юхас. Просил ее отказаться от сына, мол, времена переменились, и каждый должен рубить дерево по себе, сообразно своему положению. Девушка выслушала его, подняла свои красивые глаза и с задором, не то шутя, не то серьезно, сказала:

— В наше время, насколько мне известно, люди делятся только на порядочных и бесчестных. Иного деления я не признаю. О чем же может быть разговор?..

Он не стал спорить. Считал недостойным вступать с ней в пререкания, но, по правде говоря, не знал, что ей ответить.

В конце концов, ему скрепя сердце пришлось уступить. Не мог же он позволить, чтобы его сын жил в чужом доме, не имел ни кола ни двора и стал просто одним из членов кооператива, которые, как это ни странно, способны жить, почти ничего не имея. Ведь если кто-нибудь из порядочной семьи унизится до такой степени, тень упадет и на остальных ее членов.

Сыграли свадьбу (он даже не хотел было идти в церковь). Тери переехала к ним, и, казалось, ничто не омрачало счастья молодых. Только он. А он умел добавлять ложку дегтя в бочку меда! За восемь лет невестка не услышала от него ни одного ласкового родительского слова. Даже потом, когда снова слита была воедино вся земля, исконная и полученная после реформы, и нет ей теперь ни конца ни краю. Невестка пыталась найти дорогу к его сердцу. Звала отцом, старалась угодить во всем, готовила по его вкусу, считалась с его желаниями. Как-то раз, года через три после свадьбы, она со слезами упала к его ногам:

— Отец, дорогой отец, зачем вы обращаетесь со мной, как с нищенкой? Разве я не жена вашего сына? Ну чем я плохая жена?.. Слышите, отец?

Он не поднял ее с колен и не сказал в ответ ни слова. С тех пор она больше не угождала ему, перестала подлаживаться. Говорили они друг другу только самое необходимое. Невестка чинила его одежду, готовила обед, ходила в магазин и, казалось, примирилась со своим положением, поняла, что войти к кому-нибудь в дом легче, чем в душу человека, да еще обиженного. Лишь изредка в глазах ее вспыхивали еле заметные искорки, те самые, что так грозно сверкали в то первое утро. Будто в открытую говорили — пришел час расплаты...

Каким же глупым может быть человек! Прошло вот уже больше двух лет, как создан кооператив, как стойкие, упрямые члены его подняли всю деревню. Разве это не доказало правоту сына? Разве он не мог бы давно уже жить в ладу с невесткой? Что же душит его, не дает шевельнуть рукой и приласкать ее? Что это — стыд? Страх? Боязнь, что если сейчас признает их правоту, должен будет признать, что он был неправ и прежде?

Ох, и трудно признавать свои ошибки да заблуждения! Особенно такие закоренелые, глубоко вросшие в землю, которые и заметить-то можно, лишь наклонившись и пристально в них вглядевшись. Ну, а если человек привык высоко держать голову и смотреть на все свысока?! Многие люди до тех пор не осознают своих пороков, пока сами, беспомощные и поверженные, не грохнутся оземь. Тогда каждая ошибка, каждое заблуждение разрастаются до таких ужасающих размеров, что способны раздавить своей неимоверной тяжестью. И тут уж нет пощады: молись, кайся во всех прегрешениях — совершенных, а подчас и не совершенных — или дерзко кляни все на свете и с притворным бесстрашием кричи: приемлю все, что уготовано судьбой, знал, на что шел, и готов держать ответ!

Разве он этого хотел? Нет, он хотел чего-то другого, а вышло иначе. И с этим надо примириться. И с мыслью о том, что напрасно надеяться на какую-то пощаду со стороны сына и невестки. Они жаждут расплаты, с нетерпением ждут часа, чтобы расправиться с ним, и не у кого искать защиты, некому заступиться за него. Некому крикнуть: не смейте, мол, посягать на жизнь своего отца, а не то беды наживете! Кто бы мог призвать их к порядку? Никто, хотя нынче немало развелось всяких указчиков! Приказывает правление, председатель, бригадир, агроном, только тут никто не прикажет: ни правление, ни...

Правление! Боже мой, правление!.. С быстротой молнии пронеслась в его голове эта мысль. Он даже забыл, в каком сейчас состоянии, и

хотел было встать, а потом несколько минут не мог сообразить, что же мешает ему вскочить на ноги. И внезапно мелькнувшая мысль так же внезапно исчезла.

Правление... Правление производственного кооператива. У этих людей есть свои цели и намерения, они доказывают свою правоту или признают ошибки, соглашаются и возражают, высказывают свои пожелания и соображения, они не довольствуются даже самыми смелыми планами — им хочется сделать больше того, что позволяют подчас весьма и весьма ограниченные возможности. Они взвалили на себя заботу о всех людях, они испытывают ответственность за их судьбы и, наверно, именно поэтому способны сделать даже то, что в иных случаях, если бы речь шла только о них самих, возможно, и не стали бы делать. А может быть, они могут вмешаться своим авторитетом и властью в такие дела, в какие обычно не принято вмешиваться. Если, конечно, это вмешательство пойдет на пользу коллективу... Да, правление может вступиться за него, если он с умом подойдет к этому делу. Если взамен укажет им сокровище, огромный клад, который ценнее любого богатства, любого рожденного в поте лица плана, дороже всяких денег, хранящихся в фирменных сейфах.

Он вновь и вновь возвращался к этой мысли, подробно анализировал ее, и постепенно чувство гордости охватывало его. Нет, не мольбами собирается он снискать благосклонность правления. Да и не нужна ему благосклонность. Пусть оставят ее при себе! Он предложит сделку: баш на баш...

И он сказал сыну, чтобы передал председателю просьбу зайти к нему поговорить. Сын, сославшись на врача, сначала отговаривал: «Вам, отец, нужен покой, нельзя волноваться», но он так настойчиво требовал, что тот в конце концов пообещал вечером сходить к председателю, поскольку-де раньше его все равно не будет дома: утром уехал автобусом в город.

В город! Тем лучше! Наверняка будут обсуждать там виды на урожай, они в этом году не ахти какие, и срочно надо что-то предпринимать. Правление, конечно, не сидит сложа руки, старается с каждым годом добиваться большего, но как далеко еще до того, что хотят получать члены кооператива! В правлении подсчитывают каждый форинт, каждый филлер, а горячие головы уже хотят распределять сотни и тысячи. Но это хорошо, если другая сторона понимает, что время не терпит: быстрее и вернее можно будет договориться...

На следующий день пришел председатель. (Сын с невесткой еще утром ушли убирать валки.) Они всегда недолюбливали друг друга, особенно с тех пор как образовался кооператив. Свежевыбритое лицо председателя слегка подергивалось — не то от волнения, не то от сознания торжественности момента: он осторожно прикрыл дверь и, смущенно улыбаясь, извинился за то, что так громко скрипят сапоги. Сел у кровати, крякнул, достал портсигар и тут же спрятал его обратно, снова улыбнулся.

— Ну, так... ты звал меня, Имре... Сын передал, что ты хотел меня видеть. Ну, как живешь-можешь?

Он и не думал притворяться более немощным, чем есть на самом деле, и все же застонал, стал судорожно дышать и заговорил так тихо, словно боялся, что его подслушают. В этот момент он рад был, что из-за болезни приходится говорить заикаясь и запинаясь.

— Да вот... Скриплю еле-еле... Иногда чуть полегчает, а потом опять... Удушье... Сам видишь, даже говорить... и то трудно. Очень трудно...

— Что поделаешь...— Председатель заерзал на стуле.— Беду человек не кличет, сама идет, никого не обходит... Главное, лежать в покое, не волноваться, а болезнь сама знает, куда ей повернуть...— Тут он осек-

ся, покраснел и торопливо поправился: — Известное дело, к лучшему повернет... Нынешние времена, понятно, не те, что раньше...

Ишь спохватился, подумал он. Говоришь, знает, куда ей повернуть? Ну что ж, об этом-то и надо нам потолковать...

— Слушай, Пали! Я хочу... Словом, если мне не изменяет память... Помнишь, тогда, на общем собрании, речь зашла об орошении... Словом, насчет поливки овощей и прочих культур...

— Да, да, как же не помнить...— торопливо закивал председатель.— Верное дело. Трудодень сразу подскочил бы, как пить дать. Но чем прикажешь орошать? В шляпе же воды не принесешь.

— У Купинного холма... Там можно бы...

— Можно. Мы так же думаем, но ничего не получается. Тот источник — на противоположном склоне холма — не наш, значит, а если бы даже был нашим, в нем же воды мало. Для моего огорода и то не хватит. А там сто — сто пятьдесят хольдов... На меньшей площади расчету нет...

— И все-таки можно, даже на большей... Слышишь, Пали? Есть там вода. На нашем склоне...

Председатель краем глаза покосился на дверь.

— Ладно, ладно, Имре, тебе сейчас не до того. Лежи себе спокойно, все образуется со временем, известное дело...

— Слушай, Пали, я дело говорю. Не думай, что болезнь лишила меня рассудка... Можешь мне поверить...

— Хорошо, Имре, я верю тебе, хотя, известное дело, будь там вода, были бы хоть какие-нибудь признаки, то есть я хочу сказать, что вода дала бы о себе знать...

— Признаки! Ну так вот, слушай, Пали... Помнишь, я строил на склоне винный погреб. Ты подсоблял мне тогда за то, что я давал тебе подводу... Помнишь, Пали? Вы всегда месили влажную глину. Я подвозил только влажную глину, ведь там не было ни бочек, ни ведер, а глина все-таки была влажная. Помнишь?

— Да, да...— Председатель выпрямился на стуле, поднес было руку к подбородку, но тут же опустил ее.— Действительно! Как не помнить!

— Так вот: я копал ее... У Купинного холма. Я один. Там столько воды, что... на противоположном склоне... в ручей стекают только излишки. В одном месте... понимаешь... ее легко найти...— Он умолк на полуслове, закрыл глаза, здоровой рукой судорожно провел по одеялу.— В том самом месте...— с трудом выдавил он чуть погодя.

— Ну... это...— чуть не простонал председатель, словно тоже заболел.— Известное дело, очень бы повысился вес трудодня. Всему кооперативу радость-то какая... И где же она, вода-то? Потому как весь холм не разроешь. Купинный холм большой... да что тебе говорить — ты лучше всех знаешь...

— Родник в том месте... Я точно помню...

Председатель видел, что больному вдруг стало плохо, но чем ему помочь?.. Потянулся было к нему и тут же отдернул руку, растерянно посмотрел на дверь, хотя и знал, что, кроме них, никого в доме нет.

— Ну, Имре, Имре, ты только не теряй сознание, слышишь?

— Дай попить!.. Посудину найдешь на кухне... Есть там литровая кружка... Так ты ее принеси, полную...

Председатель долго шарил на кухне: никак не мог найти кружку, затем хотел было побежать к колодцу, но увидев стоявшее на скамейке расписанное розами ведро, зачерпнул из него.

— Немного замешкался,— оправдывался он.— На, попей, Имре. Знаю, больной человек готов море выпить.

Подвижной рукой он схватил эмалированную кружку и на какое-то мгновение забыл обо всем на свете — о председателе, о своем намерении, даже о беде своей. Сколько воды, бог ты мой, сколько воды! Выпить!

Одним духом всю сразу. Пережить то невыразимое, блаженное чувство, когда вода смочит губы, рот, волной разольется по всему телу. Разве здоровому человеку понять, какое наслаждение может доставить одна кружка воды?! И разве дано ему знать, какую радость доставляет одна лишь способность двигаться, вставать, ходить, брать что нужно...

Теперь-то я перехитрю невестку, подумал он и с жадностью выпил чуть ли не половину кружки. Председатель смотрел на него с легким испугом, такая сильная жажда показалась ему странной — шуточное ли дело столько воды выпить. Он еле дождался момента, когда можно было забрать наполовину опустевшую кружку.

— Оставь здесь. У кровати... Я еще попью...

— А не многовато ли, Имре? Как бы чего...

— Нет. Как раз в меру. Оставь здесь...

Председатель снова сел, опять достал портсигар, но тут же сунул его обратно в карман.

— Так как же насчет той воды, Имре?..— произнес он вкрадчиво.

Отчего таким торжественным, осторожным становится голос человека, когда он разговаривает с больным? Может, ему уже мерещится покойник и он ведет себя, как посвященный в самую сокровенную тайну мироздания? Но что означает его вопрос: «Так как же насчет той воды?» Если он не ошибся, сделка может состояться. Баш на баш. Он им — воду, они ему заботу, а забота для него сейчас дороже всего, потому что она означает жизнь.

— Завтра,— прошептал он чуть слышно.— Приходи завтра. Я почему-то... совсем ослаб... А еще лучше... послезавтра... Тогда и скажу...

Председатель спросил, не нужно ли ему чего, не занавесить ли окно, потом на каблуках, чтобы не скрипеть сапогами, направился к выходу.

— Что ж... береги себя, Имре,— произнес председатель уже у самой двери.

Именно это ему и хотелось услышать: «...береги себя, Имре». В голове загудело, парализованная сторона отяжелела, будто на нее свалилась внезапно какая-то тяжесть. Наверное, не случайно сказал председатель, чтобы он берег себя.

— Послушай, Пали,— остановил он его.— Я очень одинок. Ты бы сказал сыну... пусть они присматривают за мной. Что тебе стоит?

— Да ты что, Имре,— шагнул к нему председатель.— Откуда ты взял, что они не присматривают за тобой? И врача вызывали...

— Но ты все-таки скажи. Как-никак председатель...

Председатель что-то буркнул себе под нос, попрощался и вышел. Было слышно, как он закрывал калитку, как на ее скрип с другого конца двора отозвался рассерженный петух.

Мысленно он благодарил председателя за то, что тот не спросил, почему до сих пор он молчал о воде. А если бы спросил, пришлось бы лгать или... Нет, пришлось бы только лгать, потому что как раз ему, председателю, он не мог рассказать историю той воды.

■

История эта началась года три назад, когда агитаторы наводнили деревню. Они никому не угрожали, насилия и в помине не было. Но почище всякого насилия действовала на всех жителей деревни их уверенность в своей правоте. На каждые пять домов приходилось двое агитаторов, так что хватало времени поговорить обо всем. Долго возражать им не мог даже тот, у кого было такое намерение. Подобно тому как с наступлением весны исчезает гололедица на дорогах, так час за часом таяло число единоличников. Сопротивляться? Если и уцелеет во время таяния кое-где упрямый кусок льда, ему все равно не спастись: поток

увлечет его за собой, и тогда он не столько тает от солнечных лучей, сколько разбивается на крошки в стремительном потоке, дробится, раскалывается до тех пор, пока, наконец, не растворится окончательно. Открывались и закрывались ворота, хлопали двери, случалось, что рядом с подписью одни оставляли мокрое пятно от слез, как какую-то своеобразную печать, другие прикидывали в уме, вспоминали результаты тех, давнишних кооперативов, затем отправлялись на виноградник, собирались у чьего-нибудь винного погребка, спорили, пили, и каждый заводил свою любимую песню. В деревне тоже звучали песни — как только в Совет поступало сообщение о вступлении в кооператив нового члена, сразу же ставили пластинку. «В честь» нового члена. Старый Карой Бокоди сказал:

— Мой отец хоть и любил погулять, но за целых три года спустил за песни всего пять хольдов земли. А я сейчас за одну-единственную песню отдал девять...

Заявление он подписал не последним, но в числе последних. Сын давно уже зачастил в Дом культуры, в «главный штаб», водил по домам агитаторов. Вот, наверное, можно было посмеяться до слез, когда сын, заикаясь, хмыкая и поводя плечами, принимался агитировать! На первых порах он не раз хотел было спросить, какую ему должность обещали, что так старается, но промолчал. Чего доброго, скажет еще такое, за что потом отвечать придется. А к ответу обязательно потянут, когда нужно будет найти виновников неполадок, промахов, бестолковщины. Тогда и Карою Бокоди припомнят его слова насчет песни и девяти хольдов. Лучше не связываться с такими людьми...

В пятницу, совсем под вечер, и к нему пожаловали агитаторы. Он не пригласил их в дом, а тут же у ворот сказал, что все, мол, знаю, даю свое согласие, приходите утром, сейчас некогда, надо еще успеть кое-что сделать.

Понимал, конечно, что это глупо, только лишние терзания, пойти бы лучше и ему на виноградник, к кому-нибудь в погребок, и там орать, жаловаться и спорить вместе с другими. Но он не пошел туда. Побрел в хлев. Четыре коровы, телка, пара лошадей — меньше у него никогда не было, а больше и сам не хотел. Для двенадцати хольдов земли вполне достаточно. Любо посмотреть на скотину — упитанная, сразу видно, что в хороших руках. Сегодня еще... Завтра, может быть, уже завтра придут за ними и погонят в общий хлев. Сегодня они еще принадлежат ему, сегодня еще есть кличка и у лошади, и у коровы, а завтра будет только номер; какое-то время будут говорить, это, дескать, лошадь Имре Иллеша, а потом забудут. Лошадь, корова — и все тут, точно так же, как завтра или послезавтра и люди станут безликими...

— Что ж, надо прощаться,— прошептал он старой корове, но тут же устыдился. Глупости — не пристало человеку разговаривать со скотиной. Только бы в глаза они не смотрели! Ведь если посмотрят и он увидит то оживление, с каким они встречают хозяина, когда тот, открыв хлев, приходит кормить их, не выдержит он, заплачет, со стоном бросится какой-нибудь из них на шею, и завтра утром агитаторы не найдут здесь ни его самого, ни скотины, ничего... Зашел в кладовую, отыскал новые веревки. Он купил их в конце пятьдесят четвертого года, но так и не пользовался ими ни разу. Знал, что другие даже старые веревки снимают со скотины и заменяют совершенно непригодными, измочаленными — для кооператива и такие сойдут; но его скотина не пойдет, как у других! Пусть видят все, что с его двора гонят вычищенную до блеска лошадь, лоснящуюся корову, пусть у них на шее будут далеко видны новые поводья.

Он повязал новые веревки, а старые бросил в угол хлева. Снял с гвоздя кнут, взял в руки кнутовище и ножом порезал его на мелкие

части. Это он мог себе позволить. Изрезал рукоятку, ремень и даже нейлоновый хвостец, который привезла как-то из города невестка...

— Теперь он никому не нужен.— Он ногой отбросил на подстилку то, что недавно было кнутом.

Оставаться во дворе не хватало духу. Сначала просто так, без всякой цели он вышел на улицу, потом незаметно оказался на дальнем конце деревни. Если бы не отвращение к громким словам, он назвал бы себя несчастным. Перед ним была вся деревня: дома, старые и новые, на одном крыша из красной черепицы, на другом — из соломы, поросшей мхом, неподвижно застыли заборы вокруг дворов, ревут коровы, скрипит журавль, плачет ребенок — взглянешь, прислушаешься, и все кажется вечным, незыблемым. А завтра с утра на этом месте будет совершенно другая деревня; что-то оборвалось, ушло безвозвратно. Утром и солнце взойдет по-иному, иначе будет светить, уже не ему, а другим людям. С завтрашнего дня надо будет говорить, думать, делать все по-другому; что сегодня законно, завтра потеряет свою силу; кажется, будто чья-то огромная рука, подчиняясь неведомой воле, зажала деревню в ладони и, как мягкий воск, месит ее, формует, обновляет. Так, наверное, Лот оставил позади себя город, в котором должен был свершиться божий суд. Но Лот мог уйти и в другом месте найти то же самое, к чему привык у себя дома, теперь же меняется облик всей страны, а возможно — да, возможно! — и всего мира.

Он вышел из деревни, вновь оглядел расплывчатые тени садов, домов, хозяйственных построек, затем резко свернул в сторону и зашагал по дороге к Купинному холму. Холм возвышался в добрых полутора километрах от околицы. Лошади за полчаса добирались туда с груженой подводой. Склоны сравнительно невысокого холма легко поддавались обработке, и лишь самая вершина круто поднималась к небу. Здесь и были в одном массиве все его двенадцать хольдов. Двенадцать хольдов в одном массиве — это гораздо больше, чем дважды по шесть или четыре раза по три хольда в разных местах. Вершины холма никогда не касался плуг, там росло лишь то, что случайно заносило ветром. И это «случайное» было щедрым по своему многообразию даром природы. С ранней весны до поздней осени на той вершине буйно росли травы, цветы, карликовые кусты. В не нарушаемой никем буйной растительности обитали легионы птиц. С весны до осени на вершине кипела жизнь, и многокрасочный покров ее не терял своих ярких тонов даже тогда, когда внизу поля изнемогали от зноя и засухи.

— До чего ж хороша эта вершина такая, как она есть,— воскликнул он как-то в восторге.— Ни за что на свете не стал бы ее трогать. Она как букет над моей землей...

Однажды он сказал это и жене, когда решил не приносить в жертву, не губить свое крестьянское бытие, раз уж все равно не было надежды на ее исцеление.

— Как букет...

Недалеко от холма на дороге валялась крепкая сухая палка. Он нагнулся, поднял ее и взобрался наверх, на самую вершину. Уже спустились густые сумерки, на небе зажглись звезды, десятидневная луна ярко сияла посередине небосвода. Он никогда не поднимался так высоко и теперь с трудом угадывал тропу. Да и не было никакой нужды забираться сюда, букет рос сам по себе. Палка увязала в рыхлой земле, даже сквозь сапоги чувствовалась легкая прохлада ранней росы. От его нетвердых шагов тихо шелестела высокая трава, шуршали кусты; птица с испуганным криком вылетела из своего гнезда. Птенцы жалобно пищали, пока их мать, набравшись смелости, не вернулась в гнездо и не прикрыла их своими крыльями.

— Сегодня еще букет...

Он сел и откинулся на узловатые ветки ильмовника. Обвел взглядом округу, тающую в мягкой дымке серебряной ночи. Как же можно равнодушно смотреть на этот непостижимо красивый мир, трепещущий в своей кажущейся вечной неподвижности,— каждая частичка его уже чревата чем-то другим, новым, терзается в родовых муках, и борются в ней силы отмирания и созидания. И разве не следовало бы, упиваясь этой красотой, прогнать с небес бога?.. Но небеса в недосягаемой дали, за равнодушно мерцающими звездами... И уж лучше не смотреть на эту картину. Он опустил глаза и не сразу понял, почему они стали влажными — то ли от росы, то ли от внезапно нахлынувших слез. Все вокруг погрузилось в глубокую напряженную тишину: давно умолкла птица над своими уснувшими птенцами, ветерок уже не шелестел травой на вершине холма, и только издали доносились отголоски задорной песни. Земля дышала теплом, густой аромат зелени, подобно ладану, дрожал в неподвижном воздухе.

Он уставился на свои сапоги, но, заметив на их голенищах игриво блуждающий блик луны, поджал ноги под себя.

Никогда еще он не чувствовал себя таким одиноким, как сейчас. Нет, пожалуй, это уже случалось: когда мертвый Дубина остался лежать перед вражескими окопами. И еще когда ушла жена... Как ушла? Умерла она — и из-за этого самого холма тоже... Но даже жена не оставила после себя такой жуткой пустоты. А может, и оставила бы, если б не умерла, а ушла к другому? Если бы в один прекрасный день пришлось увидеть ее легкую походку, услышать ее голос, смех и сознавать, что теперь она принадлежит другому вместе со своей походкой, голосом, смехом, вместе со своими заботами. Другому? Вот тогда, пожалуй, его одиночество было бы не менее жутким...

Он повалился навзничь на росистую траву. Какая мягкая земля! Как буйно здесь все растет, стоит только попасть сюда зернышку, занесенному ветром, на крыльях птиц или как-нибудь еще. Да, это букет, настоящий букет... Но с завтрашнего утра он уже будет красоваться не для него. Если бы сейчас кто-нибудь спросил, зачем было принимать столько мук, зачем было прибегать к борьбе, лукавству, вероломному вмешательству в дела природы,— если б кто-нибудь задал такой вопрос, что бы он ответил? Он делал то, что было ему предопределено — ни больше, ни меньше. И вот рождается другая судьба, против которой не пойдешь. Труд всей жизни, и кто знает, труд скольких поколений перечеркнут той подписью. Бороться? С кем? Попытаться увильнуть? Куда? Зачем? Он мог бы остаться в стороне, ему не отрубили бы за это голову. Но что поделаешь, если жизнь то быстро движется, то еле тащится, то стоит на месте! Остаться островком в безбрежном потоке? На такой случайный островок обрушиваются тысячи бед, на нем застревает всякий плавающий в воде мусор, его загаживают птицы, вода вокруг застаивается, ветер и течение с одного его берега смывают ценный перегной, а на другой — громоздят песок, грязную гальку. Единоличников, надо думать, размежуют так, что понадобится полдня, чтобы привезти подводой картошку; а сколько еще появится всяких непредвиденных расходов, налогов, издержек. И нет ничего удивительного в том, что все знания и опыт будут обращены в пользу тех, кто не желает стать островком... Так уж лучше быть вместе со всеми. А вдруг все пойдет хорошо, как обещают... На обещания-то не скупятся... Только сбудутся ли они? Время покажет. Говорят, в других областях, в старых кооперативах люди живут с размахом... Может быть... А если обернется к худшему? Легче будет кричать, потому что кричать он будет не один, а вместе со всей деревней, со всей страной. Одинокий голос, к кому бы ни был обращен, не слышен далеко, толпа просто оттолкнет одиночку в сторону, растопчет, если

пойти ей наперекор. Что может значить цитра рядом с мощным духовым оркестром, даже если она и красиво звучит?..

Стало быть, нет утешения ни в душе, ни в окружавшем его внешнем мире. Этот мир исчез, он не существует, а значит, опустела и человеческая душа. Ведь человек—тот, кто может сказать: это мое. Человек—тот, кто может сказать: хочу, чтобы было так или эдак... И разве можно считать человеком того, кто не в состоянии сказать: это мое, кто не только лишен воли что-либо желать, но должен подчинить свои мысли чужой воле? Странным будет этот новый мир. Хорошо в нем будет только тем, кто ни вчера, ни раньше ничего не имел. Они выигрывают. Их жизнь не зависит от времени года, что лето, что зима — им все равно, их фамилии часто встречались лишь в метрических книгах, а в поземельной описи очень и очень редко. Пожалуй, они были правы. Чем он с завтрашнего дня будет отличаться от своего свата Дежё Юхаса? Поставьте рядом его упорядоченную жизнь с нищенским существованием Дежё Юхаса и попробуйте определить, кто из них был прав?

Там, далеко внизу, деревня, вокруг, под покровом тишины, поля, в стороне маячит гора с виноградниками — целый мир, который ждет обновления и, возможно, дождется его, но к этому не будет причастен тот, кто столько выстрадал ради него. Или, может, это страдание вызвано покаянием? Но в чем каяться? Или, может, всякое причиняющее боль прощание и есть покаяние?

Какой холодной стала земля! Как бы избавиться от тяжких мыслей. Ведь бороться стоит лишь тогда, когда есть хоть малейшая надежда одержать верх. А одолеть эти мысли никак нельзя... Но отчего же земля такая холодная? Мягкая, как и прежде, но тепло ее сменилось влажностью, словно она полита водой.

Он схватил палку, оперся на нее и попытался подняться; это почти уже ему удалось, когда изогнувшаяся под его тяжестью палка внезапно вошла в почву. Сначала он хотел было оставить ее в земле, но потом все-таки вытащил. И когда коснулся ее ладонью, почувствовал, что она мокрая. Стало быть, не зря он подумал о влаге — с палки прямо-таки стекала вода!

Снова он воткнул палку в землю и теперь явственно услышал, как чавкала вода, будто забродивший виноград в кадушке. Попробовал рукой расковырять землю и уже на небольшой глубине ощутил кончиками пальцев, что земля там гораздо влажнее, чем от росы или от дождя, выпавшего две недели назад. Вот, значит, осенило его, почему здесь всегда цветет букет! Вот почему глина, которую он копал для своего погребка, была сырой! Значит, тут есть вода! Больше, чем в мелком ручье, журчащем на противоположном склоне. В свое время на курсах им рассказывали нечто подобное: вода таится в подземных слоях, которые как губка удерживают ее, но если какая-то сила — давление, напор — начнет на них воздействовать, слои сожмутся и отдадут воду в любом количестве. На таком принципе и основано действие артезианского колодца: бур достигает водоносного слоя, и нарушенное равновесие непрерывно гонит воду вверх. Непрерывно — днем и ночью, зимой и летом — льется вода, чтобы утолить жажду людей, напоить живительной влагой высохшие поля.

Несколько раз еще он втыкал палку, и здесь и ниже — палка оказывалась мокрой. Стало быть, воды много, на той стороне, очевидно, вытекает лишь ее излишек. Если не жалея сил поработать буром на этом склоне холма, возвышающегося над окрестными полями, вода сама пойдет на любое расстояние по небольшим каналам, канавкам или же трубам...

Он разразился злобной бранью. Громко, скабрезными словами поминал бога и святую богородицу, ломая палку на мелкие куски. Почему

только сейчас, именно сейчас должна была открыться ему эта тайна? Почему он раньше не мог прийти сюда, забраться на эту вершину и поразмыслить на ней какой-нибудь час, сидя под кустом? Искусственное орошение! Наперекор капризам погоды дать воду поднимающимся посевам, давать ее днем и ночью, утром и вечером. Эта жила могла бы стать дороже золота! Она бы обогатила, осчастливила десять, сто таких хозяев, как Имре Иллеш, и он узнаёт об этом только сейчас, когда сам уже не хозяин.

Что же, может, пойти в правление и сказать, что вот, мол, я не только землю, не только весь свой скот — всю свою крестьянскую душу вношу в кооператив, но и воду вдобавок? Нет! Не такой он дурак. Пусть пока воду не трогают. А там увидим. Теперь выдернут все межевые столбы. Ну, а если все повернется обратно и их придется снова вбивать? Тогда и можно будет раскупорить склон холма... Все может перемениться... Спешить нельзя. Всему свое время, сказать он еще успеет, когда придет черед...

Терзаемый горестными думами, он медленно спустился с холма и побрел в деревню. Луна оказалась у него за спиной, впереди раскачивалась огромная черная как сажа тень, сапоги глухо стучали по накатанной пыльной дороге. Холм остался далеко позади, когда он вдруг вспомнил, что завтра выдернут межевые столбы, а послезавтра, или на будущей неделе, или через месяц бросят в огонь и поземельные книги. Старые границы если и останутся, то только в памяти, и не будет больше точных указателей, где была чья земля. А что, если опять придется вбивать эти колья?!

Он торопливо вернулся к холму, отыскал каменный межевой столбик. Столбик стоял в высоких зарослях клевера, прильнув к земле. Конечно прильнув, ведь его поставили здесь уже с полвека назад. Он достал нож и принялся с его помощью разрывать землю; обливаясь потом и тяжело дыша, выдернул столбик, затем стал углублять яму. Прокопал с полметра, свалил в яму столбик, засыпал землей и плотно утрамбовал, чтобы не осталось никаких следов. Перешел на другую сторону, к противоположной меже, и проделал то же самое с другим столбиком.

Остались надежные метки. Отсюда — досюда...

Ни в те дни, ни позже он не говорил о воде. Между тем сколько раз председатель и агроном, вздыхая, заводили разговор об искусственном орошении! Дескать, насколько бы лучше пошли дела, хотя и без того идут неплохо. Кооператив оказался неплохой затеей. Уже через год большинство его членов убедились, что они не прогадали. Первым признался в этом Карой Бокоди, тот самый, кто, когда создавали кооператив, за одну песню отдал все свое состояние.

Так никому и не сказал он о воде, лишь однажды вскользь заметил председателю:

— Вершину Купинного холма не надо бы трогать. Уж очень красива! Как букет...

— Кто ж ее тронет? — удивился тогда председатель.— Хотел бы я знать, какая скотина или машина сможет забраться на нее. Хватает забот и с удобными участками. Да и в самом деле, красота-то какая! Как букет...

Потому-то он и должен был почитать за счастье, что председатель не спросил: «Что ж ты, дорогой Имре, до сих пор молчал?» Да для него хорошо, что не сказал. Теперь эта вода — сущий капитал и, умело употребив его, можно получать проценты — проценты жизни. Пока он не выдаст тайны, правление будет присматривать за ним, а если и выдаст в подходящий момент, то поставит такие условия, которые, возможно, избавят его от всех бед и несчастий...

■

Молодые пришли домой в сумерках. В комнате было уже темно. Невестка зажгла свет и, по обыкновению осматриваясь, увидела возле кровати кружку. Подскочила, схватила ее и со злостью поставила на стол.

— Сколько же вы выпили? — негодуя, спросила она.— Может, целую... кружку? Отвечайте!

— А может, и не одну,— с издевкой ответил он.— Самое малое две...

— Кто же этот... глупец, кто дал ее вам?

— Значит, есть такой человек... Так что вы, смотрите, поосторожнее со мной...

— Да ведь опасно для вас столько воды! Неужели понять не можете! Или вам плевать на врача... — Невестка повернулась к сыну; тот, опершись на комод, пытался знаками утихомирить разбушевавшуюся жену.— Что ты там кривляешься? — прикрикнула она на него.— Лучше бы втолковал ему...

— Молчи! — необычно строго приструнил ее сын.— Зачем поднимать скандал? Не надо...

— Председатель! — шипела невестка.— Ясное дело, больше некому.

— Да-а, председатель,— подтвердил он,— это председатель дал мне воды. И будьте уверены, вмешается и в другие дела! Сам будет присматривать за мной. Так что повторяю: поосторожнее со мной! Председатель не даст меня в обиду!..

— Вот я ему... — заговорила было невестка, но сын бросил на нее такой взгляд, что она мигом выскочила из комнаты.

— Ладно, отец,— примирительным тоном произнес сын.— Только не волнуйтесь. Это главное... — и тоже вышел.

Дорого бы он дал, чтобы насладиться видом пораженных ужасом сына и невестки. Как воришки на месте преступления! Испугались председателя. Правления. Боятся, как бы их не вывели на чистую воду! Теперь действительно можно было облегченно вздохнуть, освободиться от гнетущего страха, но вместо облегчения он ощущал обжигающий все нутро нестерпимый жар, в голове неистово, неудержимо стучала разгоряченная кровь. Он испугался. Не приближается ли второй удар? Говорят, он чаще всего кончается смертью. Но отчего? Неужели не удастся хоть немного еще потягаться с недугом?

Он промучился всю ночь, испытывая все новые и новые приступы жара. Ни на минуту не уснул, даже думать сил не хватало. Раньше, бывало, в часы бессонницы, мысли так и роились в голове, а теперь они как-то ускользали; едва он пытался ухватиться за одну из них, она тут же исчезала, и вместо нее на миг появлялась какая-нибудь другая и тоже исчезала. Ему казалось, будто рушился мир, будто все сдвинулось с места, а единственной прочной опорой во вселенной было его больное тело, и именно потому, что оно больное, он вынужден неподвижно смотреть, как мимо со свистом несется, стремительно мчится весь этот мир... На другой постели о чем-то шептались молодые. Он ничего не понимал, лишь один раз невестка вполголоса проворчала: «Больше откладывать нельзя... На что они надеются...»

— Воды... воды...

Услышав его просьбу, невестка тотчас встала с кровати и вытерла ему рот влажной губкой. Пить, конечно, не дала. И долго не даст. Горько поплатился он за ту кружку воды!

Порой на какое-то мгновение он все же засыпал, впадал в забытье. И каждый раз ему снилось, будто он по шею погружался в озеро, кото-

рое клокотало и кипело от его накаленного тела, но тщетно пытался нагнуться и попить — вода исчезала, оставляя лишь горячий пар и клокотанье, как в аду.

— Воды... воды...— стонал он и тотчас ощущал прохладное прикосновение губки.

В мученьях прошла ночь и весь следующий день. К вечеру стало легче, но есть не хотелось, только терзала жажда. Невестка спросила, почему он отказывается от еды, может быть, не нравится пища? В кооперативном хлеву теленок сломал ногу, пришлось его зарезать и мясо распределить — можно приготовить жаркое, а может, зарезать цыпленка — так она мигом. Он от всего отказался и, раз ему воды не давали, молча отвернулся к стене. Заснул только перед рассветом.

Скрипнула дверца шкафа, и чуткий сон улетучился. Невестка доставала праздничную одежду. Вечером они, кажется, говорили, что поедут в город. Вот и собираются сейчас. Темно-синий костюм сына уже висит на стуле, невестка снимает пушинки со своей розовой кофты. Зачем им понадобилось ехать в город? Они не сказали. Спрашивать не стоит, все равно не ответят, а если и ответят, то правды не скажут. Вполне возможно, что собираются разузнать, во сколько обойдутся приличные похороны. Если даже едут они по другим делам, все равно остановятся у магазина похоронных принадлежностей, заглянут в окно, а может, и зайдут. Так уже водится: надо знать цены, чтобы все заранее прикинуть...

Вдруг у него мелькнула мысль, что он уже второй день голодает. Молодые не вернутся домой до самого вечера, вот когда представляется случай... О, такой случай нельзя упускать! Невестка закончила одеваться и теперь готовит завтрак. Без всякого видимого интереса, по тени, скользившей по высокой спинке кровати, следил он за суетившейся женщиной. Вот она вышла, вот вошла — шуршит юбка, ярко светится кофта. Волосы взбиты, она то и дело на ходу поправляет прическу. Вот она несет на тарелке хлеб, мясо, четыре помидора к мясу, ставит на стул, прикрывает от мух и пододвигает стул, чтобы он мог сам достать, когда проголодается. Пока все делается как надо. Но до каких пор стул будет стоять на этом месте? Ну вот — сын уже во дворе, что-то там делает, невестка тоже сейчас уйдет... и на ходу как бы нечаянно задевает стул ногой. Да еще и ойкает вдруг она, будто случайно наткнулась. Стул отодвинулся немного, ровно настолько, чтобы он не мог до него дотянуться.

Он хотел было крикнуть им вслед — они бы услышали, ведь еще не скрипнула за ними калитка,— но возмущение и обида, а может быть, отчаяние сдавили ему глотку. И когда из нее вырвался стон, они были уже далеко.

Стул рядом, а на нем вкусная еда: свежий, мягкий хлеб, ароматное жареное мясо — значит, и в самом деле зарезали несчастного теленка,— четыре желтых блестящих томата. Полстакана воды... Всего в одном шаге от него, но все же тщетно стал бы он протягивать слабую руку, все равно не достать. Между тем он протянул бы ее, да еще как — ведь от голода подводит живот. Второй день маковой росинки не было во рту!

Когда его отец лежал разбитый параличом и два дня ничего не ел, на следующее утро жена тоже приготовила ему еду и поставила на стул рядом с кроватью — вкусную картошку с подливкой из сладкого перца и копченую грудинку. Комнату наполнял аромат, от которого можно было сойти с ума. Еда была на стуле, стоявшем точь-в-точь, как сейчас,— ни дальше, ни ближе... Они незаметно вышли из дому, потом со двора и — в поле. Раньше не случалось, чтобы они уходили на целый день, а в тот раз до самой луны работали на кукурузном поле. Тогда

луна тоже шла на убыль. Они пололи, словно слепые, не замечая, что уже изрубили четверть хольда кукурузы, не смотрели даже друг на друга, только размеренно поднимали и опускали тяпки и все думали про этот стул. Оба знали, что в полдень, самое позднее под вечер, голодный отец, напрягая последние силы, попытается привстать, протянуть руку, чтобы достать до стула, и, не дотянувшись до него, вывалится из кровати. Он будет лежать на холодном и твердом земляном полу с подвернутой рукой, которую не сможет высвободить из-под себя, с ушибленной головой, которую не сможет ощупать, и от ушиба может произойти кровоизлияние в мозг; а когда почувствует, что замерзает, теряет волю и гибнет от мучительной боли, рядом не окажется человека, которого можно было бы позвать.

Они не торопились домой, пололи вслепую, молча, стиснув зубы, кряхтя и тяжело вздыхая, будто хотели оправдаться друг перед другом, что сегодня, мол, обязательно надо работать допоздна. В вечерних сумерках замычали коровы, закудахтали куры, заржали лошади — всяк мог догадаться, что происходит у них, всяк мог понять, что они убивают своего отца...

Убивают... Надо произнести и это слово! Какой смысл говорить обиняками: они убили его. Все было точно так же, как сейчас. По гвалту голодных животных все могли догадаться, что они убивают своего отца, но кому какое дело? Что они, первые?! Не в их дворе впервые рев некормленой скотины заглушал слабые стоны умирающего старика. Так было испокон веков и так, вероятно, будет всегда... Сам мир утвердил этот закон, и нет такой силы, которая могла бы изменить его; он исчезнет, если когда-нибудь, как говорят, перестанет существовать мир, вымрет человечество. Только тогда...

Он смотрел на стул, на еду. Голод все настойчивее заставлял его пошевелиться, но страх приказывал лежать неподвижно. И так нехорошо, и так плохо. Попытался думать о чем-нибудь другом, стал прислушиваться к радио; по его просьбе оно всегда оставалось включенным. Женский голос рассказывал о том, что цимбалы переживают ренессанс, что этот благородно звучащий инструмент, воскресший из мертвых, начинает новую жизнь; слышна была странная бренчащая музыка, затем пел детский хор... Позже он вроде бы уснул, впрочем, ему это только показалось, ибо взгляд его был прикован к стулу, к еде. Он начал тихонько стонать. Нет, он не собирался жаловаться, просить помощи — кому какое дело до него? Каждый должен делать то, что ему уготовлено! Когда станет смеркаться, даже скотина не будет реветь. Всех коров сдали. «Не буду я возиться с ними»,— сказала невестка. Пустует конюшня, пустует хлев, пусто во дворе. Поэтому-то ни соседи, ни прохожие не узнают, что в комнате опять кого-то убивают.

Неужели это и есть новый мир? Славное, счастливое время? Ведь все, буквально все устроено так, чтобы перерезать слабую нить жизни умирающего старика! Вот даже и скотину угнали. Неужто все, о чем говорили с таким жаром, неправда? Или это правда до тех пор, пока человек может поднять руку? Тогда к чему все это? Зачем? Зачем менять одно, если остается неизменным другое? Зачем столько слов, столько клятв, столько испытаний, столько обещаний, столько лжи? Ведь и сейчас некому повязать ему на шею салфетку и сказать: «Ешь, старик, хоть ты и больной, тебе все-таки полагается кусок хлеба!»

Он заплакал. Слезы смешивались со струившимся со лба потом, растекались по заросшему щетиной лицу и, как соленые ручейки, стекали в открытый, безмолвно причитавший рот. Радио передавало веселую цыганскую музыку; по блестящей нитке спускался с балки паук, раскачиваясь и сверкая в ярких лучах солнца, затем быстро полез вверх. Где-то далеко тарахтел трактор, на колокольне звонили к обед-

не. Жизнь, всюду жизнь, многоголосая, шумная жизнь, а он не в состоянии свернуть с дороги неумолимой смерти...

— Почему никто не идет? — произнес он вполголоса.— Почему нет здесь председателя? Правления?.. Неужто я им не нужен?

Вдруг в освещенном квадрате окна мелькнула тень. Наконец-то! Председатель! Нет, это кто-то другой. Сквозь стекло показалось искривленное в ухмылке лицо, послышалось пронзительное, раскатистое ржание...

— Бёсме! — крикнул он.— Бёсме! Заходи! Слышишь? Не бойся, заходи!

За окном снова раздалось ржание, немного погодя открылась дверь, и, вращая своими мутными, бесцветными глазами, подозрительно озираясь по сторонам, вошел Бёсме. С порога он осмотрел комнату, к чему-то прислушался, затем, нелепо подпрыгнув, очутился у шкафа и высунул из-за него голову.

— Слушай! Бёсме! Еда... На стуле моя еда...

Бёсме, не сразу поняв, чего от него хотят, вышел из своего укрытия, схватил тарелку и направился к двери, но на чердаке что-то затрещало и заставило его снова юркнуть за шкаф.

— Эй ты, Бёсме! Дай мне! Слышишь? Принеси тарелку сюда.

Тот все еще прислушивался, подняв голову вверх, к чердаку, из его большой, как бочка, груди вырвалось странное, тревожное ворчание. Но вот, пронзительно гикнув, Бёсме запустил пятерню в тарелку и, чавкая, хрипя, проглотил сначала четыре помидора, потом принялся за мясо.

— Хлеб! Ты хоть хлеб оставь!

Бёсме собрался было расправиться и с хлебом, но, испугавшись крика, тотчас бросил его на пол посередине комнаты.

— Стало быть, все слопал, Бёсме... Ну что ж, видно, так тому и быть... Раз уж надломился... Бог начал, а ты кончаешь. И все вы так делаете. И все вы знаете, почему так делаете. Бог потому, что такова его воля, а ты потому, что хочешь набить свою утробу. И ты прав, и бог прав — все правы. Видишь, тут ты впервые становишься равным среди людей...

Последние слова он говорил уже в пустой комнате: Бёсме нагнул голову, осклабился, крякнул, резко распахнул дверь и выбежал. Через мгновение его раскатистое ржание доносилось с улицы.

■

Горькие мысли о господе боге и о немытых руках Бёсме, собственно говоря, и не дали ему вывалиться из кровати. Как только они завертелись в его сдавленной болью голове, он забыл о голоде и уже не пытался дотянуться до мягкого хлеба, валявшегося посередине комнаты. Не хотелось уже ничего. Даже когда поздно вечером вернулись из города молодые. Невестка наскоро приготовила яичницу, накормила его. Он молча глотал и не отвечал на ее расспросы, почему это он бросил хлеб на пол, почему тарелка оказалась в углу комнаты. Еще не хватало, чтобы он сам подсказал им: Бёсме тоже можно использовать, он тоже может стать орудием в их руках...

В течение следующей недели к нему трижды приходил председатель. Он каждый раз говорил немного больше, но всю правду утаивал — берег, как берегут последний филлер. Однажды председатель пришел с агрономом; тот заговорил о насосах, дренаже, инженере, о рыбном хозяйстве и ерзал на стуле так, будто в любую минуту готов был приняться за дело. А он притворялся слабым, умышленно искажал голос, стонал, вздыхал и, когда подходил к самой сути разговора, делал вид, будто теряет сознание.

Он не знал наверняка, верит ему председатель или нет, но ясно видел по его глазам и догадывался по голосу, что одно лишь упоминание о воде и орошении приводило того в волнение. Когда с ним приходил и агроном, они показывали ему наспех составленные расчеты, рассказывали, от чего и на сколько подскочит стоимость трудодня.

— Знаешь, Имре,— дрожащим голосом произнес как-то председатель, сопровождая застенчивой улыбкой свои торжественные слова,— можно сказать, что начинается совершенно новая эра в жизни кооператива. Придет время — и тебя будут вспоминать как человека, которому обязаны прежде всего...

— Будут вспоминать, Пали? Когда меня будут вспоминать?

Председатель спохватился:

— Ну, конечно, тогда, когда ты будешь ходить вместе со всеми на работу. Не беспокойся, ты еще заработаешь не один трудодень!

— Какая жалость, дядюшка Имре, что вы раньше не сказали об этой воде,— поспешил ему на выручку агроном,— что вы так долго не могли вспомнить о ней...

Он тотчас закрыл глаза и, делая вид, что не в силах превозмочь слабость, простонал:

— Приходите через денек-другой, к тому времени мне наверняка станет лучше.

Председатель, намереваясь непременно довести дело до конца, сказал на ходу:

— Если, паче чаяния, тебе, Имре, захочется уйти на пенсию, можно будет устроить. Возраст у тебя подходит... Теперь крестьяне могут иметь пенсию...

С того памятного дня число заботившихся о нем увеличилось — Бёсме неудержимо влекли сюда воспоминания о вкусной пище. Хотя в комнату он и не осмеливался заходить, независимо от того, дома молодые или нет, в проеме окна то и дело появлялись расплывчатые очертания его уродливого лица. Бёсме заглядывал в комнату, желая убедиться, стоит ли возле кровати стул и есть ли на нем мясо. А когда надоедало подсматривать, громко вскрикивал и, если ему не отвечали, недовольно ворча, уходил.

Но однажды снова послышался зов лежащего старика:

— Бёсме! Слышишь? Заходи!

На этот раз Бёсме осмелился и через минуту был уже в комнате. Старик опять лежал один, но ни стула, ни еды около него не было; Бёсме недоверчиво заворчал, подозревая подвох, и, скуля, направился к выходу.

— Бёсме, не бойся... Ну! Слышишь, не бойся!..

Бёсме успел уже спрятаться за выступом шкафа, прижался спиной к стене и высунул только бесформенное, пестрое от струпьев и шрамов лицо.

— Ну, Бёсме, выходи оттуда! Видишь комод? Вон тот!

Бёсме осторожно вышел и голой пяткой постучал по блестящему боку комода.

— Открой! Ну, открой! Хорошо! Там бумага, во-во, она, она. Голубую тоже... Дай сюда! Да, получишь деньги. Деньги, Бёсме! Сахар! Принеси мне!

Бёсме подал ему бумагу, конверт, но карандаш, очевидно, ему самому очень понравился. Бёсме размахивал карандашом, как копьем, сунул в рот и принялся грызть. Потом вдруг вскрикнул и бросил его на кровать. Игра ему пришлась по душе: похрюкивая, Бёсме двинулся к кровати, чтобы снова взять карандаш.

— Убирайся прочь! А то схлопочешь! Садись на пол!

Он попытался писать левой рукой, да и то не всей, а только половиной. Двумя пальцами прижимал к простыне бумагу, двумя другими держал карандаш.

Два дня он обдумывал этот план. Сначала родилась мысль, что у него есть полное право обратиться к правительству, лично к премьер-министру. Такое право он заслужил тем, что, с тех пор как помнит себя, трудился на этой земле, в этой стране. Ну и что ж, что были не те времена? Но каждая минута, каждый час его труда обогащали эту землю! Старание, честные желания, пот — следы всей его жизни можно найти в ней точно так же, как и в его жизни остались следы всех бед, которые постигали страну и давно, и совсем недавно. А разве он не отдал в общее пользование свою землю, скот, все свое хозяйство? Отдал безо всяких проволочек. Какую внутреннюю борьбу он пережил, какое глубокое отчаяние потрясло его душу, этого никто не знает, даже правительство. Утаил, не сказал о воде? Ну и что с того! До сих пор о ней не знали, а это все равно, что ее и нет вовсе. Она не в счет, ее нельзя принимать во внимание. Поэтому как полноправный гражданин страны он может просить, может требовать, чтоб о нем пеклись, заботились. Устройте здесь, на месте, или увезите куда-нибудь, все равно куда, только защитите, спасите! Защитите, иначе все его надежды исчезнут как дым. Нет никаких признаков, что сын и невестка собираются менять свое отношение к нему. Председатель же или ничего не замечает, или просто не считает возможным вступиться за него и своим авторитетом (конечно, и ради той самой воды) припугнуть их: вы, мол, не смейте посягать на жизнь своего отца! Так к кому же, куда ему обращаться? Почему бы не обратиться к правительству, к верховной власти, неужто он ничем не заслужил такого права?..

Но есть еще и другая сторона дела. А она, собственно говоря, гораздо больше весит на шатких весах надежды, чем сознание приобретенных, существующих прав. Ведь это правительство, этот строй, с тех пор как он существует, провозглашает: человечность, человеческое достоинство, благополучие каждого путем преодоления общих трудностей. Так вот, эта власть не раз доказывала, что свои обещания она выполняет. Разве не выполнила она, например, свое обещание покончить со старой крестьянской жизнью, разве не заявляла, что будет новая, другая жизнь, будут созданы производственные кооперативы? Значит, она должна сдержать и другие свои обещания и, если где-то человек взывает о помощи, его вопль не должен остаться гласом вопиющего в пустыне.

Он всячески подогревал свою уверенность, но тщетно, писать в требовательном тоне духу не хватало... Одной рукой писать было мучительно неловко, он с трудом водил карандашом по бумаге, буквы получались крупные, неуклюжие, строчки — неровные, но не беда: если захотят, прочтут.

«Господин премьер-министр! Дорогой мой товарищ! Спасите меня...»

Письмо было кратким. Он писал, что его жизни угрожает смертельная опасность, на нее посягают, ни на кого он не может положиться и просит присмотреть за ним, позаботиться о нем, оказать помощь в критическую минуту.

Он совсем обессилел, пока заклеивал конверт и такими же большими буквами надписал адрес.

— Эй, Бёсме! Открой второй ящик!.. Второй, слышишь! Видишь, там деньги... Возьми двадцать форинтов... Да это же сто! Ну, не беда, возьми их. Купишь на них сахару, слышишь?! Сахару... Но на это письмо надо наклеить марку. Отнесешь на почту... На поч-ту! Понимаешь?

Бёсме, взвизгивая, ударял кулаком то по языку, то по столу, то по языку, то по столу. Точь-в-точь как делают на почте. Дескать, понял.

Отнесет письмо на почту, там наклеят марку, и оно уйдет. Конечно, уйдет, не станут же его задерживать, видно же, что адресовано правительству!

— Ну, ступай, Бёсме! На поч-ту...

В тот же миг Бёсме выскочил во двор, размахивая в одной руке письмом, в другой — стофоринтовой ассигнацией. Дверь осталась открытой, в комнату хлынул раскаленный воздух, и откуда-то издалека, с необозримых просторов, словно на волнах, донесло густой аромат полей.

Интересно, какие сейчас поля? Что там за околицей? В округе?

Наверное, красиво. Но почему так устроен мир, что человеку вроде него своя деревня, свой родной край представляются красивыми только тогда, когда они далеко от него?

В начале тысяча девятьсот сорок пятого года, когда власть нилашистского правительства распространялась уже всего на несколько комитатов, его призвали в армию. Бежать, скрываться он не рискнул: жандармы, нилашисты в назидание другим показали, как они расправляются с дезертирами. Поэтому ничего не оставалось, как собраться, прихватить еды, надеть самую старую одежонку — и в дорогу. За два дня добрался он до той задунайской деревни, до которой, между прочим, всего полдня ходьбы. Там явился к командиру роты, некоему старшему лейтенанту Кашне, и сразу попросил освободить его от службы—ведь он уже стар, да и здоровьем слаб, стоит только взглянуть на него, чтобы убедиться в этом. Старший лейтенант кричал, ругал его на чем свет стоит, но не трудно было догадаться, что вся его строгость объяснялась присутствием в комнате какого-то штатского с повязкой на рукаве.

— Черт бы побрал таких трусов! Старшина, имеет малую серебряную медаль, и, вместо того чтобы бежать сломя голову по зову родины, он, видите ли, жалуется на здоровье! Станьте как положено!

Не успел человек с повязкой выйти, как старший лейтенант подобрел, покачал головой и, оглядев пустую комнату, почти шепотом произнес:

— Послушайте, старик, я бы с удовольствием отпустил вас домой, хоть на все четыре стороны. Но от меня здесь мало что зависит. Пусть вас не сбивают с толку эти две звездочки на моих погонах. Вы видели, как таращил глаза этот Пёрнеци? Ну так вот, с ним шутки плохи. Лучше не связываться, у них короткий суд...

— Слушаюсь... но, видите ли, я уже в годах... И смею доложить, имею небольшое хозяйство...

— Ладно, ладно,— прервал его старший лейтенант,— посмотрим, может, и удастся что-нибудь сделать. Пока не буду посылать вас в часть. Идите в обоз к сержанту Зеленке и скажите, что вы откомандированы на кухню... Впрочем, погодите, я напишу приказ... Без него небезопасно ходить...

Начальник обоза, сержант из-под Сегеда, ворчал, качал головой — зачем, дескать, призывают таких стариков, ну что ж, может быть, на кухне пригодится.

Он рубил дрова, носил воду, мыл посуду, топил плиту; к растянувшемуся на три километра фронту не имел никакого касательства, лишь изредка слышал какой-нибудь случайный выстрел из орудия. В ту пору жаркие бои шли в районе Бакони. Еды было вдоволь, нилашисты грабили дворы и порой привозили столько продуктов, что больше половины гибло без всякой пользы.

Порученную работу он выполнял молча, хмуро, как и другие. Кое-кто из легкомысленных, живущих сегодняшним днем парней пытался вступить с ним в разговор, но он сдержанно отвечал на их шуточки, и его оставляли в покое. Делал он только то, что заставляли, а все его помыслы были дома. Иной раз ему даже казалось, будто надо пойти в

конюшню или сад, чтобы заняться каким-то неотложным делом. Жилье устроил себе в забитой хламом каморке. Заканчивал дела и тотчас скрывался там: ложился на соломенный тюфяк, покрытый старым солдатским одеялом, и, прикрыв глаза, вспоминал свою деревню, родные края. Только там, на службе, он по-настоящему понял, как удивительны и благодатны те места, где он провел большую часть своей жизни. Он и раньше, конечно, замечал эту красоту, иначе не тосковал бы так теперь; беда лишь в том, что дома некогда было любоваться природой — обильно стекавший со лба пот застилал глаза. Кто весь день, не разгибая спины, работает мотыгой и косой, подобно рабу какого-то странного божества, кто на ухабистой дороге пытается вилами поддержать воз сена, кто уже до восхода солнца успевает наработаться до устали и потом до вечера не может от нее избавиться, у того нет ни желания, ни сил любоваться темными массивами лесов, обилием красок, живописным изгибом дороги.

Вода, воздух, хлеб приобретают ценность лишь тогда, когда остро начинаешь сознавать, что ты лишен их. Так и родные края начинают бередить душу, когда тебя отделяют от них мучительные расстояния. Он тоже пытался избавиться от чувства мрачного одиночества и в своей нетопленной, сырой каморке с волнением художника снова и снова рисовал картину, которая всю жизнь была рядом и которой он не придавал ровным счетом никакого значения.

Сколько раз он говорил себе: только бы вернуться на родину, только бы снова очутиться дома. Каждый день, каждый час и минуту он будет впитывать в себя, принимать душой и сердцем образ деревни, родного края со всеми его цветами, запахами, ароматами. Будет жить счастливым и свободным человеком, осознавая свою свободу,— ведь жить в чужом краю все равно что жить в рабстве или еще того хуже. Спустя полтора месяца его отпустили домой: старший лейтенант Кашня сдержал свое слово, написал отпускное свидетельство и даже подбодрил, что если, мол, поспешить, можно добраться домой до того, как туда подойдет фронт. На обратный путь потребовалось три дня. Он до последней минуты клялся и божился, что каждый день, каждый час и минуту... но взобрался на вершину холма, с которого вся округа как на ладони, увидел деревню, поля вокруг, и в то же мгновение рассеялись все мечты... Посмотрел на возвышавшийся вдали Купинный холм и тут же подумал, что пора, пока не поздно, сажать картошку, сеять кукурузу. Посмотрел на свой дом: срочно надо починить ограду. Взглянув на цветущий луг, уже прикидывал, какую часть скосит, а какую пустит под выпас... Когда же открыл калитку, так приятно заскрипевшую на петлях, был уже не странником, вернувшимся к желанному родному очагу, а хозяином, у которого, словно пчелы в улье, роятся в голове свои заботы и тревоги и который неотступно думает о том, как ему восполнить полтора месяца, впустую потраченные не по его воле.

Не раз потом он пытался найти вокруг себя те картины, ощутить те ароматы, о которых тосковал в чужом краю, но безуспешно. Видно, разъедающий глаза пот размывает очертания чудесных картин, и их можно увидеть в полной красе, лишь омыв глаза слезами.

Сейчас он снова видел деревню и всю округу такими, какими представлял их себе там, в полной опасностей стороне. В его воображении, подобно сказочным цветам, вставали тогда дома, улицы, сливающаяся с полями околица, холмы, луг,— теперь он хотел бы только избавиться от этих видений. Тогда он жил надеждой снова увидеть их, а теперь предчувствие приближающейся смерти омрачало любую мысль о соприкосновении с внешним миром.

Внешний мир! В каких необозримых далях затерялся он? И в то же время он здесь, близко, настолько близко, что иногда его звуки, запахи

врываются в открытое окно. Он существует, но существует не для него, он исчезнет навсегда, если кто-нибудь не протянет ему руку помощи.

Но когда и кто ее протянет? Ведь время идет так медленно, так невыносимо медленно! Очнувшись в первую ночь, он проклинал луну за то, что она быстро пробегает по оконным стеклам, а теперь будто кнутом ее кто подгоняет. Хоть бы что-то случилось! Что-нибудь! Услышав шум автомобиля, он готов был кричать: «Сюда, ко мне!» А когда шум удалялся, его снова охватывал страх. Сколько понадобится дней, чтобы письмо дошло по назначению? Скоро ли до его письма дойдет очередь там, куда, наверное, приходит очень много таких писем? Поймут ли, прочитав его, что нет ничего более неотложного, чем его беда?

Дрожащими пальцами он то и дело ощупывал постельное белье. Скомкалось. Чувствуется, что скомкалось. А он так следил! Боялся шевельнуться даже лишний раз. Но что поделаешь, белье смялось, скомкалось, оно влажное от пота, слез, на нем видны следы пролитой пищи — вот ведь какая напасть! Как было б хорошо, если бы письмо пришло раньше, чем сын и невестка соберутся сменить белье. Потому что паралич сам по себе — это еще не смерть. Смерть наступит наверняка только в том случае, если ей помогут. Если сделают одно, другое, а под конец постелят чистое белье, давая тем самым понять, что смерть уже не за горами...

А председатель! В последний раз он уже не проявлял такого интереса, как вначале. Очевидно, считает дело пустой затеей, а может, догадывается обо всем и ему это надоело. Ну что ж, он по-своему прав, ведь у него тысячи дел, неприятностей, забот. Надо бы действовать похитрее, но что поделаешь, он всю жизнь не умел по-настоящему торговаться. На базаре тоже называл только две цены, иной и слышать не хотел, сразу отворачивался. Вот и поплатился теперь: как неумеючи-то торговаться?.. Одно притворство с обмороком чего стоит! Председатель небось сразу раскусил его и, возможно, больше носа сюда не покажет. Постой, постой... когда он обещал прийти? Сегодня суббота, вчера сказал, что придет во вторник... Если придет... Сегодня в доме никого нет: молодые опять уехали в город на попутной кооперативной подводе... Но неужели правление только о них и заботится? Пожалуйста, может, в город подбросить? Ну ничего, пусть придет во вторник председатель! Если не придет, он попросит сходить за ним и все выложит начистоту: так, мол, и так, заберите меня отсюда куда угодно, хоть в закуток, что рядом с конторой, я не привередливый, дадите что-нибудь поесть, воды напиться, а главное — покой, и я скажу, где найти воду, только чуть-чуть пробуравить...

Или, может, председатель потому не интересуется им, что они сами отыскали воду? Поднялись на Купинный холм, попробовали в одном месте, в другом, да там и пробовать не надо: вершина сама навела на след... Букет... И еще, поди, смеются над ним, дескать, ну, старый Имре Иллеш, в другой раз дурачь дурака, а мы сами нашли воду, и нет нам дела до тебя, как и тебе до нас. Даже на смертном одре хотел нас провести... Все может быть... Если рылись во многих местах, могли наткнуться и на межевые камни... Тогда ему и подавно не на что надеяться, потому что правление все может простить, только не эти два камня. Правда, как потом выяснилось, другие тоже закапывали межевые столбы, в том числе и Карой Бокоди. Но уже после отчетного собрания в прошлом году он напился пьяным, пришел в правление с только что выкопанными столбиками и потребовал, чтобы все правление хором повторяло за ним: «Карой Бокоди был круглым дураком!» — так что пришлось силой увести его домой и уложить спать. Долго потом смеялись над ним, говорят, он даже фигурировал в каком-то докладе как положительный пример. Вот, дескать, как меняется крестьянская душа...

Все равно — лишь бы скорее вторник, скорее бы приходил председатель: все выложит ему, напрямик, без утайки, как человек человеку! Найдет с ним общий язык!

■

В понедельник утром он проснулся, охваченный страхом, как затравленный зверь, который от усталости задремал в казавшемся ему надежном убежище и даже видел безмятежный сон, а очнувшись, понял, что попал в ловушку и нет ему спасения: смертельный страх лишил его возможности не только бежать, но и шевельнуться.

Невестка из нижнего ящика комода достала чистое постельное белье. Сын задумчиво стоял посередине комнаты и, почесывая подбородок, мерял глазом обе кровати.

— Что... что вы затеяли? Что собираетесь делать... с тем бельем?

— Ничего особенного, просто хотим сменить, и все.

— Зачем? Слышишь? Что вы задумали?

Невестка выпрямилась. В руках у нее была простыня, наволочка на подушку и пододеяльник; на наволочках рельефно выделялись замысловатые монограммы.

— Сынок! Ведь я твой отец... Зачем же вы так поступаете со мной, сынок...

— Успокойтесь, отец. Это ведь сущий пустяк. Вмиг все сделаем...

Когда его подняли, он ожесточенно, яростно протестовал. Стиснул зубы, пытался оттолкнуть здоровой рукой невестку, а сына пинал ногой.

— Лучше... лучше бросьте!.. Бросьте на пол! Перережьте мне глотку!.. Растопчите мою жизнь!

Может, из-за того, что он беспомощно брыкался или из-за поспешности, с какой его переносили, он с силой шлепнулся на жесткий матрац второй кровати.

— Сын... Сынок... Я же родитель твой!

— Что вы говорите?! — с ужасом отпрянул сын. Невестка перетряхивала и разравнивала матрац на его кровати, покрыла его чистой простыней, заправила края под доску.

— Зачем вы так, отец? Ведь за вами скоро приедут!

— Сын...

Слезы снова потекли по его лицу, в искривленный мольбой рот струился соленый ручеек. Он не слышал, не хотел слышать, что говорит сын,— все равно они лгут, лгут, это заметно по их неумолимым глазам, по торопливым движениям невестки. Разум его помутился. Было мгновение, когда ему хотелось повернуться к ним заплаканным лицом, но тут же мелькнула мысль — единым страшным проклятьем обрушить на них месть всех земных и небесных сил.

— Сынок... Неужто нельзя мне простить то, что я в таком состоянии?.. Я же говорил: не надо заботиться обо мне... Я сам... Не губите меня...

— Но в таких случаях...— переступая с ноги на ногу, сын посматривал на суетившуюся жену, как бы поторапливая ее.— Нельзя же иначе, за вами приедут сегодня. Надо постелить чистое белье...

— Не стели! Прекрати, слышишь! Не смей!.. Председатель...

— Ладно, председатель тоже придет...

— Вы не имеете права так поступать со мной... Я написал премьер-министру. Он защитит меня... Слышишь?

Невестка вскрикнула, потому что на нижней наволочке оторвалась костяная пуговичка и, быстро вращаясь, ударилась о стену.

— Ой, отец! — сердито произнесла она.— Неужто вы думаете, что ваше письмо...

— Вы что, перехватили его... отобрали письмо у Бёсме? Оно не пошло?

— Бог ты мой,— пробормотал сын.— Врач предупреждал, что вам всякое будет мерещиться, но чтобы такое...

Огромный горький клубок подкатил к горлу и там остановился — тяжелый, неподатливый, как камень. Он поднял глаза к потолку и заговорил тихо, словно разговаривая сам с собой или произнося предсмертную молитву:

— Что ж, ладно, сын мой... Так уж устроен мир: каждому воздается за его грехи... Как я сам поступил со своим отцом, так же теперь ты поступишь со мной. Нечего жить старику, коли он ни на что не пригоден...

— Отец, потерпите еще немного. Совсем немножечко, а потом увидите, все будет как нельзя лучше...

— Как нельзя лучше? Вы позаботитесь об этом...— Продолжая смотреть в потолок, он тихо, плавно произнес: — Воды не дали...

— Врач сказал... что вам стало плохо от воды. Ведь председатель напоил вас?

— Врач говорил, а? Но врач не велел вам так ставить еду, чтобы я не мог до нее дотянуться. Чтобы я свалился с кровати, когда сильно захочу есть. Этого врач не мог вам говорить...

Невестка с визгом выскочила на середину комнаты.

— Как? Я поставила, чтобы вы свалились? Так вот вы, значит, какого мнения о нас?

— О боже, прекрати наконец!— вздохнул сын.— Не хватает только нового приступа...

— А ваши кислые лица. А ваши вздохи. А то, что стали называть отцом, а не папой, как раньше... Я все понимаю... Опять же свежая постель... Думаете, не знаю, зачем она?

Невестка сжимала руки, пытаясь что-то сказать, но сын строгим взглядом заставил ее молчать и, воспользовавшись минутной паузой, поглядел в открытое окно.

— Ну что ж, делай свое дело, сынок. У тебя есть на то право... Кто дал его — бог, люди, этот скверно устроенный мир, не знаю. Но оно у тебя есть. Поступай так, как поступил когда-то и я. Но знаешь ли ты, по крайней мере, ради чего идешь на такое дело? Я хоть наследство получил от отца! Мне земля осталась. А ты что рассчитываешь получить после меня? Хочешь получить в наследство мое заявление о вступлении в кооператив?.. Ну что ж, пусть. Тебя ждет такая же участь. Я ведь теперь редко сплю, все слышу, как ты прерывисто дышишь, всхлипываешь, как вздыхаешь. Придет время, и тебя свалит с ног паралич, может быть, как раз в разгар уборки. Тогда и ты узнаешь, почем фунт лиха. Тебе тоже постелят чистое белье. Тогда вспомнишь мои слова...

— Бредит,— прошептал сын жене.— Скорее бы приезжали...

Его перенесли на кровать. Он не кричал, не вырывался, покорно предоставил им делать с собой все, что хотят. Они имеют право... Он тотчас почувствовал, что все сделано, как полагается. Кровать приготовлена по всем правилам — так, как принято готовить в таких случаях. Сплошные вмятины, неровности, жесткие комки — здесь давит, тут жмет, а там колет. Нарочно, чтобы полумертвому телу не было ни минуты покоя. Пусть сдавит желудок, легкие, сердце. Он не в силах шевельнуться, а если с большим трудом и повернется, ямы станут еще глубже, бугры — жестче... пять, шесть дней, и жизнь в конце концов откажется от напрасной борьбы...

Его отец целую неделю пролежал на свежей постели.

Свершилось. Все кончено. Все бесполезно: и лукавая игра с правлением, и письмо, и все, все, но больше всего жаль, что паралич не прикончил его сразу.

Свершилось. Лежит он в постели, приготовленный к смерти, беспомощный и осиротелый, как отломленная ветка. Нет сил ни стонать, ни умолять, в умирающем сердце не осталось ни раздражения, ни протеста. Он одинок, так одинок, что даже представить себе невозможно. Потому что мир не ушел от него, не выбросил его прочь — он тут, рядом, готовый к прыжку, чтобы свершить свой суд. Человек, оказавшийся после кораблекрушения на необитаемом острове, может смотреть в глаза своей злой судьбе. Способен бороться, победить, у него есть надежда когда-нибудь встретиться с другими людьми. И если даже ему суждено погибнуть, его последняя мысль стремится туда, к потерянному миру. А он одинок в самом центре реального мира и обречен на гибель в своем мрачном одиночестве. Потому что ничего он никогда не любил, кроме земли и скота, и теперь, когда их нет, превратился в мыльный пузырь, готовый лопнуть в любую минуту. Земли простерлись за деревней, изменили свой облик и называются теперь иначе; скот тоже согнан в один гурт, и если о чем-нибудь думает, то, конечно, не о своем бывшем хозяине, а скорее о пыхтящих тракторах: ведь это они сняли с его шеи ярмо непосильной работы. Правда, так могло бы быть и в том случае, если б не обобществили земли и скот. Но все равно ничто и никогда не придет на помощь тому, кто вложил в них всю свою жизнь...

Нет! Неправда, что он любил только землю и скот. Любил он и своего отца, и жену, и Дубину, и сына, но почему же все так нехорошо получилось? Почему так вышло, что он оказался виновным в смерти своего отца, жены, в гибели Дубины, зачем зло насмехался над счастьем своего сына? Ведь он наверняка мог бы спасти свою жену, если бы в расплату за сомнительную, слабую надежду ему не грозила участь бездомного бродяги. На противоположном берегу той реки все равно кому-то пришлось бы остаться. А разве он желал зла своему сыну? Эх, никогда мы не совершаем большего греха, чем в минуту бесконечной слабости. Извечно существовал неписаный закон, что крестьянин сначала должен обрести твердую почву под ногами и только потом слушать веления своего сердца. Беспощадная, чуждая воля руководила его поступками, и только ими мог он защитить себя. Именно эта воля, эта страшная слепая сила предопределила судьбу и его отца. Но если так — а это, несомненно, так,— если только такой ценой можно выжить, то устои крестьянской жизни таят в себе какую-то ужасную ошибку — ошибку, за которую нужно расплачиваться человеческими жизнями, и в конечном счете она не щадит даже того, кто бессознательно приносил ей все новые жертвы...

Бессознательно? Как бы не так! Он сознательно, хоть и не желая того, уступил смерти жену, послал на гибель друга, помог умереть отцу. И вот теперь они пришли сюда, стоят в углу и оттуда злорадно смотрят, как свершится над ним возмездие. Но ведь тот, кому уже вынесен приговор, не виноват?!

— Я не виноват! Не виноват! — зарыдал он и, словно защищаясь, прикрыл лицо еле двигающейся рукой.

Он не думал, что говорит вслух, взор его помутился, невестка поплыла в тумане, сын, странно, нелепо взмахивая руками, парил в комнате, где, казалось, были и многие другие, перед кем он в долгу. Он не слышал гула мотора, не видел промелькнувшего в окне белого пятна, а людей, появившихся в дверях, принял за ангелов возмездия. Кровать терзает его тело, во рту щиплет от слез, сын и невестка вдруг начали двоиться, троиться, белоснежные простыни закружились, и кто-то незнакомый сказал: «Ну, папаша, поехали, будете некоторое время на попечении у государства...» И только тогда он по-настоящему смог догадаться о том, что происходит, когда машина «скорой помощи» тронулась с места. Его вернули в реальный мир, может быть, рев мотора, или уда-

ривший в нос запах лекарств, или же взволнованные вопли Бёсме, но он сразу все понял. Врач раскладывал свои инструменты — ну, конечно. ведь он только что ощутил слабый укол в руку и еще подумал, что это солома колется, а оказалось, вишь ты, инъекция. А как врач ругает его невестку! Пристала как смола эта молодуха — очередь еще не дошла, а она уже добилась своего: его везут, везут, потому что, упаси бог любое медицинское учреждение от языка этой молодухи, покоя им не давала, звонила по телефону, из Совета... Да, язык у нее подвешен — лучше не надо... Ворчит врач, но не сердится, иначе не улыбался бы и не потрепал бы Тери по щеке; стало быть, он не сердится, вот и хорошо, это очень важно... В углу машины сидит его сын, придерживая пляшущий рядом узел. Что в нем может быть? Конечно, вещи, необходимые в больнице. И сын в который уже раз повторяет: «Вот видите, папа, я же говорил...» Папа! «Вот в больнице вас подремонтируют, а вы не верили... Теперь вам понятно, зачем понадобилось перестилать постель,— так полагается, если к больному приходит врач или поп; но вам надо успокоиться, спокойствие сейчас самое главное...» Что говорит его сын? Поп? А Банди Фейтё? Он тоже долго жил!

Как сразу, внезапно, может измениться любое чувство, любая мысль! Нежданно-негаданно может измениться весь мир!

Он пристально смотрел сквозь узенькую прозрачную щелку над матовым стеклом на уходившие вдаль деревья, столбы, слышал удаляющееся ржание Бёсме — ну, Бёсме, не будет у тебя теперь развлечения! — ощутил, как машина въехала на большак, и все это время из головы его не выходила одна мысль: о какую же скалу ударившись, так быстро завертелся земной шар, что и понять-то ничего по-настоящему нет возможности?! Ведь говорил сын, говорил и председатель... Председатель! Он непременно должен увидеться с ним, будет умолять его прийти в больницу; пусть люди пользуются той водой и пусть он поднимется на ноги, и тогда пойдет, обязательно пойдет, возможно, ночью, но пойдет и выкопает те два межевых камня: пусть навеки утвердится над бесконечными просторами беспредельная человечность...

БЭГЗИЙН ЯВУУХУЛАН

Авторизованный перевод с монгольского и вступление РИММЫ КАЗАКОВОЙ

Монгольский поэт Явуухулан — мой ровесник, его поэтический голос зазвучал впервые в начале пятидесятых годов. Может быть, поэтому мне особенно интересен мир, увиденный его глазами. Сейчас, к семидесятым годам, стихи Явуухулана переведены уже на 50 языков мира. В чем причина такого успеха? Явуухулан — поэт глубоконациональный, и поэтому так безошибочно действует на читателей, подкупает в его стихах самое интернациональное чувство — чувство родины.

В стихах Явуухулана есть та нервная напряженность, то индивидуальное, предельно обостренное видение мира, которое делает его гражданские стихи интимно-лирическими, а самую интимную лирику — гражданственной. Определенность позиции, говорящая о духовной зрелости, сочетается в его стихах с юношеской непосредственностью и увлеченностью.

Явуухулан — поэт. Пожалуй, это короткое слово — первое, что надо о нем говорить. Из каждой строчки Явуухулана рвется неровное, встревоженное дыхание сдержанного темперамента, цельной и многообразной человеческой личности.

Не знаю, удалось ли мне оживить потухший костер подстрочника с таящимся в нем и ежесекундно готовым родиться духом огня. Но делала я это с искренним желанием, чтобы огонь горел, и без опасения обжечь пальцы.

■ ■ ■

Не напрасно я родился в мире пестром,
разбудив отцовской юрты тихий остров.
Терпеливо мать ждала день ото дня
девять месяцев лишь сына, лишь меня...
Не напрасно я родился в мире пестром.

Нет, недаром я родился в мире светлом,
чтобы лазить по деревьям, спорить с ветром,
птичьи гнезда разорять, но, перемучась,
тех, кто слаб, не обрекать на злую участь...
Нет, недаром я родился в мире светлом.

Не напрасно я родился в мире пестром,
чтобы встретиться в нем с первым чувством острым.
До сих пор воспоминания больны
тем простором, где стерег я табуны,
и несбывшейся любовью сны полны...

Не напрасно я родился в мире пестром,
в мире бренном, где все просто и непросто,
где ребенком в дом отцовский я принес
и счастливый смех, и горечь первых слез,
где и мне познать отцовство довелось.

Не напрасно в мире пестром и просторном
подарила мать мне со счастливым стоном
жизнь, а с нею песню, чтоб потом я смог
каждый вздох степей вместить в короткий слог
и взамен их одарить дыханьем строк.

Нет, недаром я родился в мире этом —
он огромен, он веселым залит светом! —
в той стране, что как широкая спина
звонко скачущего степью скакуна,
чтоб любить ее любовью верной сына
и сказать об этом трепетно и сильно.
Нет, недаром я родился в мире этом.

■ ■ ■

Когда шумит хангайский летний лес:
«Живи. Дыши. Вперед не забегай!» —
захочется вдруг стужи позарез,
такой, чтоб до костей промерз хавтгай! [1]
А в январе, в гобийской тишине,
на зимнике, где ветры дуют люто
и трескаются зубы у верблюда,
когда мороз сжимает горло мне,
вдруг вспомнишь лето, дни иных забот,
родной Хангай увидев как воочью,
и лося пробивает жаркий пот,
шерсть на тугих боках свалявши в клочья!
Весною степью на коне лечу,
топча цветной ковер травинок нежных,
и почему-то осени хочу,
заметив первый маленький подснежник.
А осенью в заснеженных горах,
где мирно бродят гладкие косули,
опять мечтаю о степных ветрах,
о зелени, пылающей в июле.
Прислушиваясь, как трубит олень,
я слышу: и встревоженно, и тонко,
приветствуя степной весенний день,
звучит с рассветом блеянье ягненка...
Таков характер мой. И жизнь мою
не может заменить ничья другая.
Не смог бы никогда я жить в краю
без гор, степей, без Гоби и Хангая.
Без той страны, с которою в ладу
и снег, и солнце, и ветра, и воды,
где все четыре времени в году
одновременно мне считают годы.

[1] Дикий верблюд.

Первый снег

Однажды я утром осенним глаза
открыл, их надеясь наполнить
тем пестрым пожаром, которым нельзя
о лете себе не напомнить.
Горячее солнце лилось сквозь стекло,
к щекам и ко лбу прикасалось,
по коже незримым потоком текло
и вправду июльским казалось.
И так же дыхание мне духота
стесняла, как в жарком июле.
Но дверь приоткрылась, как будто уста,
которые ветра вдохнули.
Мир был не костром и не грустной золой
с прощальными угольками —
прикрыт ослепительно-белой полой
невидимыми руками.
Земля словно наново создана —
мятежному сердцу награда,—
и свадебно светится белизна
простого ее наряда.
А небо синеет — ни тучки на нем.
Стал мир так бесспорно двуцветен,
как будто мы красок уже не вернем
других — в добавление к этим.
И — в отсветах неба, которых не смог
рукой отвести оробелой,—
я первого снега сжал первый комок
над снежной равниною белой.
Он таял в ладони и тихо темнел...
Влекомый могучею силой,
глядел я на снег, и молчал, и пьянел
от воздуха родины милой.

■ ■ ■

Всю ночь звучали музыкой во мне
стихи, не став отчетливостью нотной.
Я закурил и форточку в окне
открыл, измучен тишиной дремотной.

А ночь была морозна и чиста.
Я воздух пил, не в силах им напиться.
Но в тот же миг с соседнего куста
вспорхнула перепуганная птица.

Я уместить бы мог ее в горсти.
За свет из окон мне не надо платы...
Прости меня, пожалуйста, прости,
коричневый ребенок мой крылатый!

К утру суров особенно мороз.
Где маленькой пичужке приютиться?
Мир серебрится, словно лисий хвост.
На ветке — одинокой шишкой — птица...

Стою возле окна, смотрю, курю,
все думаю о той, что робко грелась,
как у огня, у света... Все корю
свою неустоявшуюся зрелость.

Познавший колыбельное тепло,
живу в тепле, вдруг осознав до боли:
тепло лишь там бывает, где светло,
и птица здесь была не оттого ли?

Так возвращайся к светлому окну
с кустов, в снегу по пояс погребенных,
вернись, тебя я больше не спугну,
коричневый крылатый мой ребенок!

Любовь бывает и такая...

Любовь бывает вот такая:
во всем друг другу потакая,
как дух велел и плоть хотела,
соединяются два тела.
Любовь бывает и такая —
тревожная, как жизнь людская.
И не дано желаньям сбыться,
как двум рогам козленка — слиться.
А он любил, она любила,
и столько слов высоких было...
Куда их унесла обида?
От ссор растаяли? От быта?
И даже первенца рожденье —
лишь временное наважденье.
Оно б подлило в пламя масла,
да пламя-то давно погасло.
Любовь бывает вот такая:
летит, с собою увлекая!
Но не дано надеждам сбыться,
как двум рогам козленка — слиться.
По тонкой досточке разлуки
уйдет любовь, ломая руки.
И вы за ней следите сами
давно спокойными глазами.
Любовь бывает вот какая:
во всем друг друга упрекая,
расходятся два мира разных,
уставших от надежд напрасных.
В степи бескрайней много места,
а рядом навсегда им тесно,
и не дано мечтам их сбыться,
как двум рогам козленка — слиться.
О, этот черный час разрыва!
Он будет долго и тоскливо —
в пути далеком, одиноком —
и в нем и в ней звучать упреком.
Любовь бывает вот какая:
людей на горе обрекая,

мстит им за то, что в жалком гриме
обречена на гибель ими.
Все в этой жизни многолико,
различно и разновелико,
как пальцы на руке, и в этом,
быть может, ключ к ее секретам.
К разнообразию привыкший,
я жажду все же правды высшей
и злюсь, в суть вялых слов вникая:
«Любовь бывает и такая...»!

■ ■ ■

На вершине хребта луна
себе на ночь приют нашла...
Ночевал я в степи, ждал тебя дотемна.
Отчего ты ко мне не пришла?
И зажглась надо мной звезда,
и на запад к утру уплыла.
Своенравная, свет моего «навсегда»,
отчего ты ко мне не пришла?
Родилась на востоке заря,
золотые раскинув крыла.
Ждал всю ночь, ждал до первой росы я и — зря.
Отчего ты ко мне не пришла?
Скоро встретится с солнцем луна
и сгорит под лучами дотла.
Мое солнце, ведь солнце мое — ты одна,
отчего ты ко мне не пришла?
Не пришла, как приходит рассвет,
так стремительна и светла.
Не пришла, не пришла ко мне, нет тебя, нет!
Отчего ты ко мне не пришла?

Монгольские мелодии

Как будто мстит гладь опала
узорным инеем алмаз,
игла на черный диск упала,
и ввысь мелодия взвилась.
Пластинка, что сперва понуро
плелась, верша за кругом круг,
услышав голос моринхура,
рванулась в пляс веселый вдруг.
О, как отрадно ей крутиться,
печатать круглые шаги!
Так на воду садится птица —
и по воде идут круги.
И вьется песня паутинкой
про новый день, про день былой,
и, словно лебедь, над пластинкой —
головка белая с иглой.
Но все стремительнее лепет

волн песни — и передо мной
уже не гордый белый лебедь,
а удалой скакун степной.
Он скачет через долы, горы
и улетает от земли
туда, где бороздят просторы
космические корабли.
В бездонной тишине небесной
парю на крыльях рядом с ним
я, вознесен монгольской песней,
ее дыханием храним.
Она дорогу мне открыла
в недостижимое, в мечту.
Она мне щедро подарила
гагаринскую высоту.
Там, где лишь вечный мрак и сонность,
летящих в никуда светил,
в ее объятьях невесомость,
как космонавт, я ощутил.
Но патефон остановили,
и замер беспокойный диск,
и умер звук, в котором были
огромный мир, полет и риск.
А день земной так лучезарен...
Поклон творящему лучу!
Но если снова, как Гагарин,
подняться в космос захочу,
как русский гений в поднебесье
вознес бесстрашного его,
монгольский конь и наши песни —
вот крылья неба моего.

ЗИГФРИД ЛЕНЦ

Урок немецкого

РОМАН

Перевод с немецкого Ю. СЕМИКОЗА и А. КАРЕЛЬСКОГО
Под редакцией П. ГЛАЗОВОЙ

13. Естествознание

Тетиус Пругель сатанел быстрее других учителей и бил чувствительней. А поскольку он злее всего бил не за леность, глупость или тугодумство, а за невнимательность, то никто из класса не решался взглянуть в направлении окон, которые все утро содрогались и звенели от дальних разрывов, и никто не отваживался провожать взглядом самолеты, выныривавшие со стороны моря из-за дамбы над самой землей или чертившие на бреющем полете виражи над шоссе, так что ясно были видны английские опознавательные знаки, и улетавшие к Хузуму. Пругель саркастически закатывал глаза к потолку, когда моторы кромсали его связную речь, пережидал, пока шум не утихнет, и продолжал фразу как ни в чем не бывало, даже заканчивая ее должным сказуемым. Широкоплечий лысый здоровяк, купавшийся до самых заморозков, он иногда так распалялся, что становилось душно если не во всей школе, то, во всяком случае, в классной комнате. Сейчас он не видел ни малейшего основания отменять последний урок и упрямо вдалбливал нам свое естествознание, хотя буханье взрывов и мельтешенье самолетов то и дело прерывали его речь.

А мы сидели на своих местах, вытянувшись, положив руки на наклонную поверхность парты, и, не сводя с него глаз, силились усвоить сообщаемые его устами познания. Сведения о рыбах — нет, о размножении рыб,— нет, и это не совсем верно: о чуде возникновения новой жизни у рыб. И это чудо он намеревался нам сегодня показать, в этот душный день в конце апреля или начале мая, на уроке естествознания, с помощью своего собственного микроскопа, который он притащил в класс. Микроскоп был установлен, рядом лежали две плоские жестяные коробочки с заключенным в них таинственным, подтверждающим чудо материалом. Класс, в лице Гейни Бунье и Петера Паульсена, уже успел получить предупреждение: им досталось по три очень метких, причем совершенно неожиданных удара линейкой по пальцам; тем самым в классе было установлено и на некоторое время гарантировано всеобщее внимание.

Словом, он говорил и говорил, а в это время вдали — на таком расстоянии, что нам вроде бы и необязательно было замечать,— ему аккомпанировали зенитки, калибры которых мы уже хорошо различали по силе выстрела и взрывной волны. Он хладнокровно и неподвижно стоял у доски — точь-в-точь мишень для аттракциона с ножами —

Окончание. Начало см. в №№ 5, 6.

и гипнотизировал нас взглядом, а потом тихим голосом призвал нас погрузиться в царство рыб.

— Сколько видов,— говорил он,— и малых и больших, сколько названий! Вы только представьте себе, оболтусы, эту жизнь, попробуйте на минуту вообразить эту бесконечно многообразную жизнь на дне моря: акулы, понимаете ли, сарганы, макрели, угорь, круглопер, навага, треска и, конечно же, воробей морских просторов — сельдь. Что произошло бы,— вопрошал он себя,— если бы рыбы перестали вдруг плодиться и размножаться? — И сам себе отвечал: — Все виды вымерли бы один за другим. А что такое море без рыб! — восклицал он. И отвечал опять: — Мертвое море, разумеется.

И он пошел распространяться по поводу изумительной целесообразности, царящей в природе, где, кажется, все, абсолютно все продумано и предусмотрено. Он заверил нас, что жизнь невозможна без сгорания, привлек в качестве примера паровую машину, не забыл упомянуть о естественном отборе, после чего снова нырнул головой вниз, в глубины своего рыбьего царства.

— Итак, даже бессловесные рыбы,— захлебывался он,— да и, кстати говоря, не такие уж они бессловесные, обладают половыми признаками, половыми отверстиями. В период метания икры особи обоих полов собираются гигантскими косяками и в поисках мелководий, удобных для нереста, покрывают огромные расстояния, поднимаясь даже, как вы, вероятно, уже слыхали, вверх по течению рек и преодолевая иногда — например, лососи — значительные препятствия. В спокойном, богатом кормом месте самка откладывает яички-икринки, зачастую склеенные в большие комки, а самцы оплодотворяют икру молоками. Правда, костистые рыбы,— тут Пругель прервал свою речь и с полным самообладанием, в котором выражалась вся глубина его презрения, выждал, пока утихнет рев пронесшегося над нашей спортплощадкой самолета, а затем пустился рассуждать дальше: — и большая часть акул производят живых детенышей — впрочем, это так, к слову, вы же все равно это забудете, остолопы. Главное — яйцо: жизнь заключена в яйце, в икринке. И самое поразительное — это то, что лишь немногие рыбы заботятся об отложенной ими икре и тем более о вылупившихся из нее мальках. Правда, крохотная колюшка — та сооружает себе гнездо, стережет икринки и некоторое время даже охраняет мальков. А есть такие виды рыб, которые заглатывают свою икру и носят ее под жабрами, пока не образуются личинки, которые затем выплывают на волю. Но в большинстве случаев рыбы бросают свое потомство на произвол судьбы, не заботясь ни о развитии, ни о воспитании малышей. Что же между тем происходит с малышами? Они вырастают не в икринках, остолопы. Вылупившись, они поначалу лежат на икринке и постепенно от нее отделяются.

Сейчас вы сами в этом убедитесь,— провозгласил Пругель,— я принес вам сегодня вещество,— он сказал «то драгоценное вещество»,— из которого возникает жизнь. А ну-ка давайте рассмотрим это поближе, через микроскоп. Вы увидите, что в каждой икринке таится чудо. Только представьте себе: в каждой икринке — самостоятельная жизнь. Многие из этих жизней рано обрываются, служат пищей другим живым существам и все такое прочее, выживают лишь самые сильные, самые выносливые и крепкие — словом, лучшие, лишь они способны все выдержать. Именно они и сохраняют вид, это общий закон всего живого, за исключением таких остолопов, как вы. Никчемная жизнь обречена на гибель — во имя поддержания и сохранения жизни более достойной. Так предписывает порядок природы, и нам остается одно— признать его.

— Головастик! — заорал Гейни Бунье.— Там такой малюсенький головастик!

— Ну вот видишь,— сказал Пругель и поправил его:— Это личинка, она вот-вот отделится от яйца, смотри внимательней.

— Так он же мертвый,— ляпнул Гейни, а Пругель на это:

— Расточительность, вот она вам — расточительность природы. Сотни — да нет, что я,— тысячи, более того: сотни тысяч икринок — и все это лишь в надежде на то, что выживут две-три дюжины и позаботятся о продолжении вида. Отбор, поняли? То есть беспрестанная борьба. Слабые погибают в борьбе, остаются сильные. Так среди рыб, так и у нас. Запомните: сильный живет за счет слабого. Вначале у всех равные возможности, каждая из миллионов икринок заключает в себе жизнь и питает ее, но потом, когда начинается борьба, недостойный,— он так и сказал «недостойный»,— подыхает в борьбе.

Выметав нам всю эту муру, Пругель вызвал меня к микроскопу, велел сесть и объявил:

— Ну-с, а теперь послушаем, что скажет нам Йепсен, какими открытиями он нас порадует.

А сам со своей линейкой встал рядом. Не успел я нагнуться к микроскопу, как он потребовал:

— Ну?! — Гони ему, значит, наличными.— Ну?!

Я судорожно окинул взглядом беспорядочный узор из серовато-зеленых, сплюснутых, похожих на желатин шариков, начал лихорадочно соображать, что это такое, а линейка уже щекотала меня под коленкой и ласковым холодком прошлась вверх по ляжке.

— Ну, что? — спросил Пругель.— Ничего не видишь?

— Пикша,— брякнул я наобум.— Похоже, что это икринки пикши.

И представьте, он отвел линейку и подтвердил:

— Совершенно верно, пикша.

Но вряд ли кто-нибудь услышал его подтверждение, потому что тут раздался вопль: «Англичане, англичане!» и класс ринулся к окну.

На школьном дворе стоял весь запыленный бронетранспортер, его длинная антенна еще покачивалась, дуло пушки — я бы сказал, довольно невзрачной — было нацелено прямо на наши футбольные ворота, а из люка вылезали двое, они явно смахивали на англичан. Изнутри им передали автоматы, двое крикнули что-то в ответ и направились к школе, оглядываясь по сторонам, готовые в любую секунду отразить нападение. Они были совсем молодые, оба в комбинезонах цвета хаки и шнурованных высоких ботинках, оба с засученными рукавами.

Мы так и прилипли к дрожащим оконным стеклам, но Пругель скомандовал: «Построиться!» и так как мы повиновались недостаточно быстро, пустил в ход линейку, кого шлепая по спине плашмя, кому поддавая тычком. Он отогнал нас от окна и выстроил всех в шеренгу между кафедрой и дверью; Йобсту, Гейни и мне было разрешено сидеть.

Он и глазом не моргнул, этот Пругель. Другой учитель на его месте хотя бы спросил: «На чем мы остановились?» А этот, несмотря на то, что во двор въехал вражеский бронетранспортер и в школе уже были англичане, просто сказал:

— Это действительно икра пикши, Йепсен определил правильно. Пикша служит пищей многим другим рыбам. А что еще можно обнаружить в икре? Бертрам!

Калле Бертрам откинул пепельно-белокурый вихор со лба и склонился над микроскопом, в то время как все мы — за исключением Пругеля — замерли с раскрытыми ртами, скосив глаза на дверную ручку. Шаги!.. Нет, это Калле на кафедре от напряжения переставил ноги. Заговорили по-английски? Ручка шевельнулась! Точно! Калле Бертраму так и не пришлось высказаться по поводу чуда, сокрытого

в икринке,— дверь распахнулась настежь, но никто не появился; мы подумали было, что защелка отомкнулась сама собой, однако в тот самый момент, когда Пругель, вероятно, уже собирался произнести: «Йепсен, закрой дверь», те двое вошли в класс, оба белокурые, светлоглазые, с раскрасневшимися лицами.

Они дошли до середины класса, повернулись к нам и долго нас разглядывали, будто старались узнать кого-то из далекого-далекого прошлого. Один из них сказал:

— Война конец, капут война, все домой.

Мы, наверно, на них тупо вытаращились, а они, напротив, испытующе вглядывались в нас, но, правда, недолго, потому что их, как видно, неотразимо тянуло к доске, к кафедре. Один из них взял губку, выжал ее и швырнул обратно в ящик; другой потоптался вокруг кафедры и, не говоря ни слова, движением руки предложил Пругелю сесть. Пругель не сел, но англичанин и не подумал настаивать на выполнении приказа — вероятно, потому, что заметил микроскоп. Он подошел к микроскопу, окинул нас подозрительным взглядом, прильнул к окуляру, потом как-то ошарашенно выпрямился и сделал знак своему товарищу; товарищ подскочил к нему, и на его лице появилось вопросительное выражение. Первый англичанин показал второму на микроскоп. Второй, в свою очередь, наклонился над прибором, да так и прилип к окуляру, прямо впился в него, будто обнаружил там сирену, только что вылупившуюся из икринки, или какое-нибудь вымершее ракообразное — в общем, что-то такое, что мы все, вместе с нашим учителем естествознания, проморгали. Что он там увидал? Что он обнаружил в икринке пикши?

Он оторвался от микроскопа лишь после того, как приятель постучал ему пальцем по затылку. Они обменялись кивками: мол, теперь мы видели все, что надо. Друг за другом они прошли вдоль окон к задней стене классной комнаты, где стоял наш шкаф с наглядными пособиями: двухстворчатый, стеклянный, вечно запертый на замок — один из ключей от него давно уже красовался в моей коллекции. Они придвинули лица совсем близко к стеклу, чтобы не отсвечивало, и вся заключенная в шкафу дохлятина оскалилась в ухмылке. Ухмылялось чучело хохлатого нырка, ухмылялись набитая лысуха и карабкавшийся по полированному обрубку черный лесной хорек, ухмылялись чучела полевого зайца-русака и во́рона, препарированная голова щуки, отливавшая пергаментным блеском, ухмылялась даже скрученная в три погибели, законсервированная в круглой банке веретеница. Оба англичанина безмолвно созерцали эти сокровища, а чтобы разглядеть скелет тюленя, опустились на корточки, и один из них безуспешно попытался открыть шкаф. Тут они опять кивнули друг другу и направились к двери; мы уже решили, что они так и не скажут нам ничего на прощанье — или что им нечего сказать,— но на пороге оба остановились, окинули взглядом весь класс, и один повторил:

— Война конец.

После этого оба смотали удочки.

А Пругель? Неужели он про нас забыл? Неужели он забыл про микроскоп и про чудо, совершающееся в икринке? Почему его линейка вдруг перестала наводить дисциплину в наших рядах? Как это он допустил, что некоторые из нас опять прилипли к оконным стеклам? Я только отчетливо помню, что он раздавил в руке кусок мела. И еще помню, что губы у него искривились и он, закрыв глаза, откинул голову и часто, прерывисто задышал; я помню его окаменевшее, бледное лицо — ни дать ни взять надорвавшийся тяжеловес или гимнаст, не рассчитавший своих возможностей. Изнеможение, разочарование, растерянность, злоба — вот что было на его лице. По его телу медленно прошла судорога. Из груди вырвался хриплый вздох. А потом, помню,

он, шатаясь, доплелся до кафедры, кое-как взобрался на возвышение и, напрягши последние силы, схватился за стул, рухнул на него, и весь наш класс был свидетелем того, как Пругель спрятал лицо в ладони и некоторое время так просидел, а потом провел ладонями по лицу, осторожно и неторопливо, будто стирая шелушащуюся кожу. И я отчетливо помню, как он затем натужно выпрямился, словно преодолевая неслыханное сопротивление, и закрыл обе жестяные коробочки; плечи у него дернулись, он посмотрел на класс; он явно хотел что-то сказать, наш естествовед Пругель — и не смог. Минуту спустя он все же выдавил из себя: «По домам!» Мы лихорадочно кинулись собирать свои книжки и тетрадки, но сам он не делал ни малейших поползновений оставить классную комнату; он просто стоял рядом со своим микроскопом в совершенной растерянности и нерешительности, пропустил всех нас к выходу и никому не ответил на наше «До свидания»,— таким я и запомнил учителя Пругеля.

Дома дверь была открыта нараспашку. У крыльца стоял велосипед Хиннерка Тиммсена. Отец в кабинете разговаривал по телефону,— еще проходя мимо сарая, я услышал его голос:

— Принять оружие, слушаюсь, военную подготовку прошли все, слушаюсь, все до единого.— Я припустил бегом.— Обеспечить охрану шоссе, слушаюсь,— орал отец и после паузы повторил:—Слушаюсь.— Я в два прыжка взлетел по цементированным ступеням и пулей ворвался в коридор.— Нарукавные повязки, слушаюсь,— ревел отец, явно имея в виду повязки, положенные на наш кухонный шкаф (они бросились мне в глаза еще с порога).

У стола стоял Хиннерк Тиммсен; он встретил меня словами:

— Ну, теперь держись.— И, не пускаясь в дальнейшие пояснения, указал на оружие, громоздившееся на столе: ручные гранаты в новеньких ящиках, несколько фаустпатронов, карабины. Я спросил Хиннерка, кто натащил это все в нашу кухню.

— Ах, Зигги, Зигги,— ответил он,— кто бы мог подумать, что и мы еще понадобимся.

— Из Хузума? — допытывался я, но вместо ответа он взял со стола фаустпатрон, поставил прицел, навел на наш будильник, словно намереваясь его расстрелять, потом так же бесшумно изничтожил по очереди все вражеские банки для риса, манной крупы и саго. Осмотрев карабины, он на каждом разобрал клеймо, установил, что это итальянские трофеи, но голос его при этом звучал не очень-то бодро. Ручные гранаты он поставил под стол, пересчитал обоймы с патронами и сказал отцу, как раз вошедшему в кухню:

— Выстрелов на шестьсот, Йенс.

— Люди уже на подходе,— объявил отец,— посты распределены, нам поручено охранять шоссе.

— Нам с тобой? Одним?

— Нет, придут еще Кольшмидт и Нансен.

— Нансен?

— Да, а теперь надень нарукавную повязку. Фольксштурм встает под ружье.

Потом оба сели и молча стали ждать. Говорить, собственно, было не о чем — все решено, никаких неясностей, а донос свой на Тиммсена Бульт-Иогани забрал назад после беседы, в которой принял участие и участковый инспектор Ругбюля. Я стоял у окошка и не отрываясь смотрел на луга: кто придет первым? Фольксштурм вставал под ружье.

Первым пришел художник; я видел, как он шел через луг,— длинное синее пальто, на голове шляпа, руки засунуты в карманы.

— Дядя Нансен идет,— доложил я.

— Да уж пора,— отозвался отец.

— Зачем ты, Йенс,— тихо спросил Тиммсен,— зачем тебе его-то сюда тащить? Сейчас ведь, может, уже конец?

— Как раз поэтому,— ответил ругбюльский участковый инспектор,— как раз потому, что, может, сейчас уже и конец. Вот и лучше ему быть ко мне поближе. Это я тебе говорю, Хиннерк, так оно лучше будет.

— Скажи еще, что ты ему доверяешь!

— В том-то и дело: если бы я ему доверял, ни к чему мне было бы звать его сюда.— Отец поднялся и стал смотреть в окно на приближавшегося художника, который был теперь уже не один и не первый,— он задержался под указателем «Полицейский участок Ругбюля», помахал рукой в сторону Зёльринга, подождал, помахал еще раз, не так энергично, кивнул головой в знак приветствия и сделал несколько шагов навстречу птичьему караульщику Кольшмидту. Пожимают друг другу руки. О чем-то горячо говорят. Кольшмидт неистово жестикулирует, пытаясь, видимо, убедить художника или, по крайней мере, заручиться его согласием — согласием на что? — а художник, похоже, никак не решается; продолжая слушать, он берет Кольшмидта под руку, ведет к нашему дому, тащит вверх по ступенькам крыльца.

Не успели еще раздаться в сенях их шаркающие шаги, как участковый инспектор Ругбюля уже приготовился к их прибытию — можно сказать, стал во фрунт. Он подтянулся, слегка расставил ноги — в общем, прочно, удобно, но без намека на расхлябанность воздвигся посреди кухни и таким образом сразу обрел авторитет, каким должен обладать инструктор вечерних военных занятий и теперешний командир так называемого фольксштурма. Тиммсена, собравшегося было скрутить цигарку, он начальственно одернул:

— Здесь курить воспрещается!

Итак, он принял позу, по его понятиям наиболее подходящую к случаю, и на приветствие вошедших ответил так, что не оставалось ни малейшего сомнения, кто кого должен приветствовать первым. Он указал им на кухонную лавку:

— Садитесь туда, к Хиннерку.

Они сели. Только тогда он позволил себе расслабиться, подошел к столу, положил руку на ложе итальянского трофейного карабина, начал его поглаживать и, в общем, добился-таки напряженного выжидательного внимания. Но первым заговорил не он. Заговорил малокровный птичий караульщик Кольшмидт — он вдруг дернулся, словно высвобождаясь из невидимых тисков, привстал и очень внятно произнес:

— На кой черт нам лезть в это дерьмо? Они уже вышли к Эльбе, они в Лауэнбурге, даже в Рендсбурге, а передовые части, может, уже и здесь. Все бросают оружие, а мы — нам, видите ли, надо начинать эту карусель сначала! Этими хлопушками мы их задержим?! Этими рогачами?! И хоть бы был какой-нибудь смысл, а то ведь никакого же смысла, одно слово — дерьмо!

Разгорячившийся было Кольшмидт опять съежился, сел, достал из нагрудного кармана свою коротенькую трубку, залатанную черной изоляционной лентой, и сунул ее в рот.

— Здесь курить воспрещается,— снова заявил отец и собрался уже было отвечать, но его опередил Хиннерк Тиммсен, владелец «Морских далей», все такой же неудачник, несмотря на бесчисленные периоды временного преуспевания,— итак, Хиннерк не считал сопротивление бессмысленным; именно сейчас, когда все шло к концу, именно сейчас и надо было продолжать борьбу, это наш долг перед самими собой,— легко быть храбрым, когда дело идет хорошо, а вот он к себе

предъявляет такое требование: держаться до последнего, даже если и не уверен в скором успехе; вообще, он лично никогда не сдавался без боя, и кто сказал, что так уж прямо все и погибло,— ведь можно, в конце концов, подать пример, ну, хотя бы заставить врага призадуматься, да! Никто не требует, чтобы мы сопротивлялись до бесконечности, но неожиданный и твердый отпор — это все-таки кое-что, может, еще и продержимся.

Раз уж они начали высказываться, хоть их и не просили, отец после речи Хиннерка сознательно сделал паузу и посмотрел на Макса Людвига Нансена так, что тот должен был понять: ну, теперь ты давай выкладывай, чего молчишь? Художник не замедлил с ответом. Он сказал:

— А что же мы в доме-то сидим? Сидеть и ждать можно и на улице.— Больше он не добавил ничего; даже когда отец попросил его пояснить свою мысль, художник не произнес ни слова, он просто остался при однажды высказанном мнении и не захотел точнее определять свою позицию.

А участковый инспектор Ругбюля? Инспектору тоже, разумеется, следовало заявить вслух, что́ он думает, от него зависело если и не все, то самое главное, но он не спешил — должно быть, взвешивал про себя положительные и отрицательные аспекты высказанных суждений, потом подвел черту и прикинул итог. В общем, после долгих натужных раздумий он провозгласил, что есть приказ, что приказы даются не зря, их надо выполнять, и выполнять буквально, в данном случае это значит — взять на себя боевую охрану шоссе.

— Итак,— заключил отец,— с этой минуты мы берем на себя охрану шоссе. У кого нет повязки, пусть наденет, и пойдем оборудовать позицию.

Окоп начали рыть перед самой мельницей,— я притащил им две лопаты. Дважды меня отсылали домой, дважды я возвращался, но когда отец предупредил меня в третий раз — спокойно, со зловещей расстановкой,— я понял, что́ меня ждет, если я сунусь к ним в третий раз, и, сбивая головки лютиков, я поплелся в сторону дамбы, там сделал крюк, прокрался незаметно от наших ополченцев к мельнице и быстро вскарабкался в свое хранилище под куполом, убрав за собой лестницу, чтобы не залез кто-нибудь еще.

Меня удивило с самого начала, как это нашим бравым фольксштурмистам не пришло в голову устроить наблюдательный пост на мельнице; ну, а раз они это прозевали, я имел полное право рассматривать себя как их личного боевого дозорного, хоть они меня на это и не уполномочивали,— я, так сказать, действовал по собственному почину: ведь можно и без дозволения приносить пользу, а я бы на свой страх и риск просигнализировал им сверху обо всех замеченных танках или бронетранспортерах, но ни на переднем плане, ни на горизонте никаких боевых машин и в помине не было. Просто поразительно, ну, показалось бы хоть что-нибудь, достойное обстрела,— решительно ничего. Горизонт был чистехонек. Вояки внизу, видно, смекнули, как обстоит дело, потому что через полчаса напряженного, но безрезультатного выжидания они, судя по всему, пришли к выводу, что пустой горизонт охранять всем не обязательно, и после краткого совещания маленький отряд разделился на два поменьше; теперь только двое пялились вдаль, а двое других расположились, так сказать, на перекур — уселись на дне окопчика и поклевывали там носом, набираясь сил, и все такое прочее. Как я понял, отец с художником были в первой смене, а Тиммсен и Кольшмидт — во второй. В общем, мы ждали. Я помирал со скуки и, чтобы скоротать время, начал собирать твердые сухие кусочки штукатурки и осколки стекла. Набрав целую кучку, я для пробы запустил кусок шту-

катурки в окоп фольксштурма — и угодил Хиннерку Тиммсену по затылку. Тот хоть и не счел себя раненым, но решил, что это работа Кольшмидта, и так крепко поддал в бок своему оторопевшему соседу, что птичий караульщик чуть не ткнулся носом в землю. До меня донеслись обрывки короткой перебранки, но отец тут же ее пресек, сославшись, вероятно, на серьезность положения. Через минуту они уже угощали друг друга махоркой.

Я решил обрушить на наш фольксштурм целый град битого стекла и штукатурки — теперь уже на отца,— однако не успел осуществить свой замысел, потому что вдали показалась человеческая фигура.

Фигура вприпрыжку обогнула шлюз, проскакала вдоль канавы, потом резко завернула и, ничего не подозревая, направилась прямо к позиции: Хильке. Так-то уж ничего не подозревая? О нет — в руках у Хильке были корзинка и чайник; она держала корзинку в правой руке, а чайник в левой, лихо размахивала ими взад и вперед, как спортивными булавами, и, увлекаемая этими взмахами, неслась по заросшей тропинке к мельнице, по сочной зелени холма прямо к окопу наших оборонцев. Будь моя воля, я бы покормил их и пораньше, но Хильке пришла только сейчас; она протянула корзинку с чайником в окоп, хотела было и сама туда спрыгнуть, но отец не позволил, и сердобольной кормилице пришлось усесться на бруствере — крестовине из двух полусгнивших балок. Фольксштурмисты ели бутерброды и запивали их чаем, но участковый инспектор Ругбюля при этом еще и проверял каждый раз, чем намазан его бутерброд и достаточно ли густо намазан,— он единственный из всех разъединял ломтики хлеба, обследовал содержимое и потом без всякой радости поглощал свою порцию. Хиннерк Тиммсен, расшалившись, делал моей сестре всем понятные намеки, зазывая к себе в окоп, но Хильке только улыбалась и отнекивалась, давая понять, что этот номер не пройдет. Художник не ел, лишь пил чай и курил, прислонившись к стенке окопа; Кольшмидт жевал сидя и всем своим видом показывал, до чего ему осточертела эта отцовская затея. И только один человек не забывал за едой обозревать местность: отец.

Тут я не выдержал: мне страшно захотелось есть. Я спустился вниз и так незаметно подкрался к окопчику, что Хильке вздрогнула от испуга, а хозяин ресторана воскликнул:

— Вот пострел! Запахло едой — и он тут как тут. Откуда ты взялся?

Я только неопределенно повел головой в сторону дамбы.

— На крыльях прилетел, что ли?

— Ага,— подтвердил я. Мне дали чаю и бутербродов — тех, к которым не притронулся художник. На этот раз отец не прогнал меня — и я остался.

После еды как-то незаметно дозор перенял художник, а трое остальных мужчин уселись на дно окопа и стали раздумывать, чем бы заняться. Не худо бы перекинуться в картишки — может, кто прихватил с собой карты? Карты нашлись — старая, потрепанная колода — в кармане у Хиннерка Тиммсена; в свое время они были для него «орудием ремесла», когда он, в пору расцвета своего заведения, пугал клиентов фокусами. Ну, начали — кто сдает? Художник, не отрываясь, смотрел вдаль, а за его спиной, сначала неслаженно, то и дело прислушиваясь, но потом все самозабвенней и бесшабашней трое остальных убивали время за скатом; кто-то сожалел, что пошел не с той карты, кто-то сетовал, высчитывал, пересчитывал: если бы ты тогда, то я бы, как раз две взятки... в общем, все как положено.

Наконец, уже к вечеру, показались самолеты — несколько «спитфайеров» и «мустангов», они вынырнули со стороны Фленсбурга и

Шлезвига, на бреющем полете сверкнули над нами и исчезли в направлении моря. Их еще не было видно, как Тиммсен уже начал палить из своего итальянского трофейного карабина. «Рассеянный огонь»,— заявил он потом в свое оправдание. За ним открыли стрельбу другие, в том числе и Кольшмидт — Кольшмидт даже особенно рьяно. Они заряжали и строчили, не пытаясь даже прицелиться в свои молниеподобные мишени.

А художник? Художник Макс Людвиг Нансен тоже стрелял — иногда по самолетам, а иногда — от спешки — по мельничному пруду, где взметались фонтанчики брызг, а из прибрежного камыша в панике поднимались дикие утки и, вытянув шеи, проносились над позицией фольксштурма. Самолеты не отвечали на огонь — то ли они уже сбросили все свои бомбы и расстреляли пулеметные ленты еще раньше, то ли наш огонь — но тут я не берусь судить — просто оставался незамеченным, хотя Тиммсен готов был поклясться, что в один самолет он несколько раз «попал вдогонку», как он выразился. А может, все дело было в дамбе? Уж не собирались ли они обрушить бомбовый удар на дамбу, чтобы нас затопило море? Нет, они низко пролетели над ней и, молниеносно сжавшись в темные черточки, на горизонте превратились в точки и исчезли в морской дали. Теперь фольксштурмисты могли поставить карабины на предохранитель.

Мы снова принялись ждать, прождали до сумерек — опять ничего, ни танков, ни самолетов. За плотиной садилось солнце, точь-в-точь как наказывал ему художник на своей плотной, не впитывающей воды и масла бумаге: оно опускалось сквозь полосы красного, желтого и серниcто-желтого света и падало расплавленной каплей в море; гребни волн расцветали синей чернотой, а не тронутую закатом часть неба заливали охра и киноварь; границы между двумя цветами были нечеткими, тона ложились размытыми мазками, как-то даже неаккуратно, но Нансену это нравилось. «Плевать я хотел на аккуратность! — сказал он однажды.— Это не по моей части». Закат получался медлительный, неуклюжий и, пожалуй, даже отдававший какой-то героикой, а краски, вначале еще кое-как разграниченные, сливались под конец в одно целое, так сказать, мокрое по мокрому, и вот такой закат стилистически безупречно повторялся сейчас за окопом нашего фольксштурма.

В картах тем временем шансы распределились примерно поровну, пререканий после каждого круга было меньше. Хиннерк Тиммсен время от времени интересовался, не маячит ли вдали «тумба» — он имел в виду Иоганну, свою отставную супругу, которая должна была прийти к нему из «Морских далей» с едой и питьем; но уж мы бы с художником сразу его известили. Туман, который в такие дни обычно поднимается с наступлением сумерек, сегодня что-то опаздывал, однако коровы, как всегда по вечерам, принялись мычать. Сначала откуда-то издалека, из-за горизонта донеслось низкое вопросительное мычание одинокого невидимого животного; другие черно-бело-пятнистые звери стали за нашей позицией разворачиваться на этот звук и еще не отвечали, но лишь когда далекий зов повторился, по телу одного из них пробежала судорога, и, подняв морду, вытянув шею, дыша белесым паром, животное отозвалось, но прямого ответа не получило, зато в перекличку вступил еще один трубный голос, растревоживший уже другого невидимого зверя, где-то у Рипена, с невообразимо зычным басом,— его-то, возможно, и вопрошало издалека первое животное, потому что оно сразу откликнулось; но прежде чем зычный бас успел ответить ему, к хору присоединилась одна из наших коров.

Я мог до бесконечности слушать по вечерам этот рев, наполнявший воздух от горизонта до горизонта, сегодня я тоже заслушался и

в наступавшей темноте не заметил перемены, которая произошла с художником: он что-то задумал, что-то собирался отколоть. Внезапно он рывком поднялся из окопа, отряхнул пальто, повернулся к другим ополченцам и сказал:

— Вы скоро и карт не будете различать. До завтра, стало быть.— И двинулся к шоссе.

Отец отшвырнул карты и крикнул:

— А ну-ка погоди, Макс! Стой!

Художник продолжал шагать. Участковый инспектор — с помощью Хиннерка Тиммсена — выбрался на бруствер. Придерживая фуражку, он побежал наискось к пруду, чтобы перерезать художнику дорогу. Вообще-то бежать было не обязательно, потому что художник шел медленно. Отец нагнал его, схватил за плечо и сказал:

— Ты что это? Тут тебе не в гостях — не понравилось, взял и ушел!

— Темно уже,— возразил художник.— В такую пору лучше сидеть дома.

Отец придвинулся к нему вплотную, выдержал его презрительный взгляд и медленно произнес:

— Ты, должно быть, забыл, что у тебя на руке повязка? Не знаешь, что это значит?

Художник молча снял повязку с рукава и протянул инспектору, но тот не взял ее, и художник в конце концов отдал повязку мне:

— Пускай побудет до завтра у тебя.

— Надень повязку,— приказал отец.— Пост — это тебе не лавочка, где можно начинать, когда вздумается, и уходить домой, когда хочешь.

— А вы играйте себе дальше,— проговорил художник,— я разве против? Играйте, пожалуйста.

Но скрытая издевка в его словах не произвела должного впечатления: отец был так возбужден, что просто не расслышал ее, а если и расслышал, то, вероятно, ему не хватало в этот момент спокойствия, чтобы оценить ее по достоинству и должным образом на нее ответить; судя по всему, он пытался уладить возникшее осложнение, опираясь на авторитет существующих предписаний, поскольку ему, конечно, были известны инструкции для подобного рода случаев, и прежде всего он сейчас думал о них, об этих инструкциях. Он сказал буквально следующее:

— Я делаю тебе повторное предупреждение.

С его стороны это было прямо-таки жестом великодушия. Тиммсен и Кольшмидт, наблюдавшие за происходящим из окопа, видимо, сообразили, что дело принимает серьезный оборот, и, чтобы ничего не пропустить, подошли к нам, но получили по заслугам за свое любопытство, потому что отец тотчас скомандовал:

— Всем оставаться на своих местах!

— Вот именно,— отозвался художник,— на своих местах, а мое место сейчас дома.

И он опять собрался идти, как человек, вполне вразумительно изложивший мотивы своего ухода. Но участковый инспектор Ругбюля придерживался другого мнения: рывком открыв кобуру, он выхватил пистолет и направил его на Макса Людвига Нансена, целясь ему куда-то в середину живота. Своего требования он не повторил. Он стоял и ждал. Сумерки густели. Кругом была пустота и безмолвие. Как спокойно его рука сжимала этот крупнокалиберный, почти еще не использованный пистолет! Как буднично и просто стоял он с оружием в руке! Дважды в жизни он пустил свой служебный пистолет в дело: один раз — когда бешеная лисица мертвой хваткой вцепилась в теленка;

другой — когда племенной бык Хольмсенов выбил на Глюзерупской станции все поезда из расписания.

— Не дури,— внезапно произнес Кольшмидт, но было неясно, кого он имеет в виду.

Так они и стояли друг против друга — молча и не то чтобы настороженно или прикидывая, насколько далеко решится зайти противник,— нет, стояли, скорее, ко всему готовые, будто оба знали заранее, чем все кончится, потому что, может быть, они уже не в первый раз стояли вот так: друг против друга. Полицейский строго, согласно инструкции, повторял одну только фразу: «Я делаю тебе последнее предупреждение». А я все держал в протянутой руке повязку, но художник на нее не глядел, он не спускал глаз с отца; наконец, тело его вздрогнуло, сбросило с себя скованно-напряженную неподвижность и слегка подалось вперед, словно преодолев и отбросив цепенящую угрозу пистолета. Зная их обоих, я не сомневался, что художник сейчас пойдет домой, как и задумал, не сомневался я и в том, что отец тогда выстрелит: ведь оба они были уроженцами Глюзерупа. И художник это подтвердил. Он сказал:

— Я все равно уйду, Йенс. Никто меня не удержит. И ты не удержишь.— Не получив ответа, он продолжал: — Вас уже ничто не изменит — даже катастрофа. Надо просто ждать, пока вы не вымрете сами.

Отец молчал; он пока что настаивал лишь на выполнении приказа — ко всему остальному можно будет вернуться потом. А приказ был отдан, и он ждал его выполнения.

— Если ты уйдешь, Макс,— заявил вдруг Кольшмидт,— я тоже уйду.— И он начал застегивать куртку.

— Хорошо,— сказал художник,— пойдем вместе.

— Ты пойми, Йенс,— уговаривал Кольшмидт отца,— от того, что мы всю ночь тут пролежим, никому легче не станет. Будто мы кого-то можем задержать! Дерьмо все это.

Полицейский инспектор словно и не заметил, что уже второй его боец собирается покинуть позицию,— он глядел только на художника, только с ним он хотел выяснить отношения.

— Брось, Йенс,— повторил Кольшмидт,— не дури, убери свою игрушку.— В подкрепление этих слов он вздумал похлопать инспектора по плечу, но вдруг чего-то испугался, его уже протянутая рука застыла в воздухе и нерешительно вернулась в прежнее положение.

Отец зашевелил губами, словно прожевывая будущую фразу, затем сказал Кольшмидту:

— Дезертиров... Вы что, не знаете, что полагается за дезертирство?

— А ты давай потише,— ответил Кольшмидт и, обойдя отца, стал рядом с художником, как бы образуя с ним единый фронт, общую линию неповиновения или, по меньшей мере, несогласия.— Чем громкие слова говорить, Йенс,— очень спокойно произнес Кольшмидт,— ты бы лучше глаза протер. Сейчас мы пойдем по домам, а утром будем снова тут, на месте.

— Если все сматывают удочки,— подал голос Хиннерк Тиммсен,— так и я пойду, что толку ночью-то тут сидеть. Да еще одному.— Он отделился от темноты и подошел к группе, образованной художником и Кольшмидтом, подтверждая тем самым окончательность своего решения. Но несмотря на эту взаимную поддержку и единодушие, никто из них не решался сделать первый шаг — правда, не столько из страха перед рукой, все так же спокойно державшей пистолет и целившейся в живот художника, сколько в надежде перетянуть инспектора на свою сторону и покинуть позицию вместе с ним.

Но отец продолжал упорно глядеть на одного лишь художника, как бы предоставляя ему возможность что-то сказать, а тот, как видно, ничего говорить не думал; Тиммсен ободряюще подтолкнул его сзади, но художник безмолвствовал: возможно, один только он понимал, что в тот момент, когда и другие решили разойтись по домам, отец отказался лезть на рожон. Художник просто-напросто предоставил инспектора самому себе. Он стоял с безразличным видом и ждал, тем самым обязывая и других стоять и ждать, пока одна из враждебных сторон не оставит другую в покое.

Я, конечно, мог бы еще немного продержать наших фольксштурмистов в этом положении, в сумерках, перед бескрылой мельницей. Но человек, который вспоминает, должен мириться с неизбежными потерями, как торговец при взвешивании товара; я к этому готов, и потому пускай уж отец отведет глаза от художника, в последний раз смерит всех троих быстрым, странным каким-то взглядом и, разорвав порочный круг, четкими шагами протопает мимо своих фольксштурмистов к окопу на холме — позиции, которую он считает своим боевым постом.

Мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним; он молча помог мне спрыгнуть в окоп, пододвинул ящик, я влез на него и обнаружил перед собой на бруствере карабин, но даже не дотронулся до него. Итак, мы остались одни с участковым инспектором Ругбюля; он раскурил трубку, прикрывая ее огонек ладонью, и как ни в чем не бывало, суровый и твердый начал всматриваться в сгущавшуюся темноту луга и дороги, над которыми теперь вставал ночной туман — туман безусловно был на руку врагу. Коровы смолкли, улегшись на отдых; их туши темными продолговатыми глыбами смутно вырисовывались за прудом. Туман собирался разрозненными узкими пластами, пласты соединялись вместе, разливались по всей низине и затопляли ее, и в них будто всплывали холмы окрестных хуторов, как всплывают лодки с отмелей во время прилива. Откуда-то издалека, с промежутками, напоминая скорее строительные взрывы, чем пальбу, набегали взрывные волны.

— Иди домой,— сказал отец.

— А ты? — спросил я.

— Иди спать,— повторил он.

Я недоверчиво посмотрел на него, но он явно имел в виду то, что сказал: он мотнул головой в сторону Ругбюля, и я выкарабкался из окопа, оставив позицию на него одного.

— А ты? — спросил я еще раз.

— Я? Я буду искать имя,— ответил он.

— Имя?

— Имя этому позору. Да, этому позору. И всему вообще.

— А как же ужин? — спросил я.

Он сначала пренебрежительно махнул рукой, но потом сообразил, о чем идет речь, пожал плечами и снизошел:

— Если еще осталась маринованная селедка, можешь отложить для меня. Я тут должен кое-что закончить.

Уйти, а потом сделать крюк и тайком прокрасться обратно, как днем, мне было лень, и я пошел домой, чувствуя спиною его взгляд, но ни разу не обернулся. Еще со двора я услышал надрывные телефонные звонки — почему они не берут трубку? В кухне свет; стало быть, они только что кончили ужинать — Хильке и мать — и сидели теперь наверху, в спальне. Они наверняка слышали телефон. Делают вид, что их нет дома,— ну и прекрасно. Мать, конечно, расположилась у себя на кровати, подумал я, а Хильке, наверно, расчесывает ее светло-рыжие волосы и, обхватив их пальцами на затылке, скручивает в

гладкий, блестящий узел. Или разводит в стакане воды, мешая ложкой по часовой стрелке, успокоительное. Или делает ей массаж своими сильными, ловкими пальцами. Входить в кабинет без отца мне не разрешалось, ну и плевать на телефон, пускай надрывается — меня тоже нет дома. В чуланчике стояла тарелка с маринованной селедкой, я отнес ее на кухню, съел одну из пепельно-желтых селедок, плававших в маринаде с гвоздикой и кружочками лука, съел лежавшую на тарелке сморщенную кожицу другой селедки, остальные две накрыл газетой, с которой на меня уставился тип по фамилии Дениц — глаза пронзительные и пустые. На клочке бумаги я написал: «Не ешьте!»— поставил восклицательный знак и придавил бумажку вилкой. Хлеб? Хлеба сам себе отрежет. Обглоданные рыбьи кости я вынес на крыльцо и бросил в темень двора, потом поднялся наверх, попробовал подслушать под дверями спальни — безуспешно — и, наконец, пошел к себе в комнату. Не затемнив окно и не раздеваясь, я лег на постель поверх одеяла и стал ждать возвращения отца.

Отчетливо помню: я лежал с открытыми глазами в темноте и прислушивался, и вдруг Хильке заиграла на рояле; она никогда не училась и вот все-таки играла осторожными пальцами на рояле, который стоял снаружи, у шлюза; над ней мельтешили чайки, а она играла, звук был такой, как будто с крыши сыпались сосульки — малюсенькие, побольше, совсем большие — и падали вниз, на листовое стекло, разбивались, и тут оказывалось, что они цветные, по большей части красные и желтые, а потом вдруг на Хильке упала тень от самолета, прилетевшего неслышно, без мотора, самолет был серый и довольно большой, он кружил над окопом моего отца, и от этого круженья веяло холодным ветром, а когда самолет, неуклюже скособочившись, приземлился, из распахнутой овальной дверцы высыпали мужчины и женщины, все знакомые, и, взявшись за руки, начали водить разудалый хоровод, в центре которого находилась отцовская позиция, круг танцующих сжимался все теснее, а тем временем у мельницы выросли крылья, они начали потихоньку поворачиваться и вдруг закружились, они кружились все быстрей и быстрей, пока над куполом не взвилась тонкая струйка дыма, и тогда вся мельница задымилась, а в воздухе запахло гарью.

Я вскочил с кровати и подбежал к окну, перед которым действительно поднимался узкий столб дыма. Внизу, на дворе, в лучах восходящего солнца стоял отец перед разведенным костром. Он медленно подкармливал огонь листами бумаги, которые вынимал из папок, и следил, чтобы ни одна обгоревшая бумажка не улетела, подхваченная языками разыгравшегося пламени. Он тут же ее возвращал и вообще старался подбрасывать листы так, чтобы огонь с ними справлялся аккуратно; как только пламя разгоралось сильней, он выжидал, перелистывал бумаги, читал их.

Я стоял и смотрел на него, пока он меня не заметил, и так как он не пригрозил мне и не позвал меня, я спустился к нему во двор и молча начал помогать ему ловить листы, уносимые пламенем костра. Он чувствовал, что я все время наблюдаю за ним, но долго крепился и лишь после продолжительного молчания спросил:

— Что ты так уставился на меня? Не узнаешь, что ли?

Я не стал ему ничего рассказывать про мельницу и про самолет, приземлившийся под звуки рояля, и только осведомился:

— А когда мы пойдем в окоп?

— С окопом кончено,— отрезал он,— вообще все кончено.— И продолжал выдирать листы из папок, комкая их, перед тем как бросить в костер. Лицо у него было серое, небритое, фуражка на голове сидела криво, на ботинках налипли комья свежей земли из окопа. Обвис-

шие плечи, замедленные движения. Охрипший голос. Увидишь такого человека — и сразу поймешь: этот сдался, у него нет больше ни жизни, ни цели, ни опоры. Заговорить с ним не решаешься: ведь знаешь про него все. Вот он и сидит перед тобой на придвинутой к костру колоде, а ты смотришь ему в затылок.

Он предоставил следить за пламенем мне, а сам только поддерживал его старыми, скорее всего никому не нужными бумагами; сидя на изрубленном торце колоды, он некоторые листы пробегал глазами — равнодушно, будто они ничего для него не значили; скормив пламени первую кипу, он сходил к себе в кабинет и притащил еще одну пачку — с годами их накопилось немало, а он вообще никогда ни с чем не мог расстаться, все копил этот хлам, откладывал, сохранял как вещественное свидетельство своей жизни, за которую ему когда-нибудь придется давать отчет.

Он был доволен старательностью, с какой я поддерживал пламя костра. В последний раз отправившись в дом, он притащил кроме двух папок еще какие-то книги, толстую тетрадь для черновых записей и пакет, завернутый в пергаментную бумагу и кое-как перевязанный шнурком. Значит, их тоже — невидимые рисунки.

— Ах, еще есть? — спросил я.

— Все в огонь,— произнес он глухо.— Надо сжечь все.— Он начал раздирать черновую тетрадку.

Но тут на крыльце появилась Хильке, она сбежала во двор и позвала нас к чаю, вернее, крикнула:

— От того, что вы здесь торчите, чай горячей не станет!

Через несколько минут она выскочила снова, подошла прямо к костру, повторила нудным голосом свое приглашение, глядя, однако, не на костер, а на меня, и вдруг сказала:

— Что это у тебя лицо такое старое сделалось, Зигги? Лет прямо двадцать восемь можно дать.— В этом вся моя сестра: она иногда говорит о человеке, как о какой-нибудь лошади.

Я ее отшил:

— Давай отваливай,— и когда она подобрала обгоревший лист и попыталась прочитать, я отнял его и швырнул в костер.— Катись отсюда, играй себе! — посоветовал я ей.

— Играй? — оторопела она.— На чем это я буду играть?

— На рояле,— ответил я.

— Зигги-то наш того,— заметила она, обращаясь к хмурому инспектору,— спятил!

Я уже понял, что, если сестрицу не поддеть как следует и не дать сдачи, она не отстанет, и я лихорадочно начал придумывать, чем бы таким пообидней ей отплатить. Вдруг Хильке завопила:

— Ой, глядите, глядите!

Мы повернулись и увидели, что на кирпичной дорожке стоит зеленый, точней — зеленовато-оливковый бронетранспортер. Так прямо и стоит на нашей дорожке.

Отец не спеша поднялся с колоды, машинально одернул китель и, вытянувшись — руки по швам,— стал ждать, не растерянно, а только— руки по швам. Бронетранспортер тронулся с места, въехал во двор и затормозил перед костром. Отец процедил сквозь стиснутые зубы — так, что расслышал я один:

— Быстро, жги все. Жги!

А как?

Носком ноги я начал пододвигать одну из папок к пакету, завернутому в пергаментную бумагу,— медленно, осторожно, сантиметр за сантиметром; еле слышно шурша, папка оставляла на песке плоский вытянутый след, будто там проползло какое-то животное наподобие

черепахи. Из люка показалось плечо, потом рука, потом солдат вылез до пояса, поманил отца к себе и о чем-то его спросил; отец ответил коротким кивком головы. Тем временем папка коснулась пакета, и, когда солдат совсем выбрался из люка и спрыгнул на землю, я улучил минуту, и, быстро подняв папку вместе с пакетом, начал незаметно пятиться к сараю, где просто выронил пакет из рук, и, держа теперь одну папку, вернулся к костру, обошел его кругом и стал за спиной отца, беседовавшего с солдатом.

Солдат не обращал на костер никакого внимания. Ни целые, ни полуобгоревшие листы не вызывали у него интереса. Запинаясь, но на нашем языке, то и дело заглядывая в бумажку, которую он вытащил из нагрудного кармана, солдат спрашивал моего отца, он ли вахтмейстер полиции Йепсен. Отец утвердительно кивнул.

— Здесь Ругбюль?

Отец опять кивнул.

Если это так, заявил англичанин, то он вынужден арестовать вахтмейстера полиции Йепсена из Ругбюля. Прямо сейчас. Бумажку он свернул и сунул обратно в карман. Подав знак бронетранспортеру — то есть не бронетранспортеру, а светлым глазам, поблескивавшим в смотровой щели и внимательно наблюдавшим за нами,— солдат движением руки приказал отцу лезть наверх.

Инспектор медлил.

— Кое-что надо взять,— проговорил он,— ведь можно с собой кое-что взять?

Солдат не знал, позволять или нет, и сначала справился у пары глаз в смотровой щели; глаза как будто не возражали; солдат обернулся к отцу и показал на дом. Отец пошел впереди, мы с англичанином за ним.

С каким страхом, с каким замиранием сердца я входил в дом; я ожидал всего, только не этого: что он даже и не попытается бежать, а так вот покорно, без всякого сопротивления, без единого слова соберет свои пожитки, сядет на бронетранспортер и уедет, как они ему приказали. Мы прошли на кухню, там на столе стоял завтрак: дымился чайник, радушно приглашая к столу. Отец взял свои бритвенные принадлежности, лежавшие на подоконнике у раковины. Потом мы прошли в кабинет — на полках было пусто; выдвинутые ящики стола были тоже пусты — будто они только что изрыгнули все свое содержимое.

Участковый инспектор поднял с пола портфель, вытащил из него футлярчик, в котором не было ничего, кроме запасного ключика от этого портфеля, и засунул туда бритвенные принадлежности. Гуськом мы поднялись наверх, подошли к спальне и несколько раз постучали; дверь чуть-чуть приоткрылась, и мать — в халате и с распущенными волосами — протянула две пары носков, полотенце и рубашку,— не говоря ни слова, потому что сквозь узкую щель между косяком и дверью ей не было видно ни солдата, ни меня. Мы завернули еще в мою комнату — отец по-прежнему впереди. Я спрашивал себя, чего ему тут брать, но он просто обошел вокруг стола, постучал по моей морской карте, по спинке кровати, первым вышел из комнаты и начал спускаться в кухню. Солдат держался шага на два, на три позади отца, он засунул пальцы за свой потертый пояс и не выказывал ни малейшего нетерпения. Он смотрел, как отец налил себе чаю; а тот, словно прося извинения, сделал неопределенный жест рукой и начал пить чай из неуклюжей фаянсовой чашки, глядя, в свою очередь, поверх нее на англичанина — презрительно, с затаенной неприязнью. Я держал портфель. И как только он мог пить с таким спокойствием, так неторопливо! И еще вторую чашку себе налил! Хотя англичанин уже поставил

ногу на стул и начал выжидательно покачиваться! Лишь выпив вторую чашку, отец взял у меня портфель и попрощался со мной за руку. Потом вызвал Хильке из чулана и с ней тоже попрощался за руку. Потом он вышел в переднюю, прислушался, не доносится ли каких-либо звуков со второго этажа, поколебался — подняться или не подняться, с кривой усмешкой посмотрел на англичанина, который не улыбнулся в ответ, и, наконец, крикнул наверх: «Ну, пока!» — и расправил плечи: готов.

Мы с Хильке проводили его за порог и остановились на площадке нашего каменного крыльца, на одном уровне с башней бронетранспортера.

— Я скоро вернусь,— крикнул отец,— я ненадолго.

Хильке потихоньку плакала — я знал это, не глядя; она всегда плакала так, как будто икала. Они уже стояли перед бронетранспортером; англичанин взял у отца портфель и показал пальцем наверх. Вдруг две обнаженные веснушчатые руки оттеснили нас с Хильке к стене по одну и по другую сторону двери.

Она все-таки пришла. С распущенными волосами, в коричневой безрукавке, она прошла между нами, ступая как бы ощупью, выпрямившись всем своим мягким, но сильным телом, откинув голову; она напомнила мне сейчас гордую злую царицу из сказки — из какой только? — так или иначе, увидев ее, солдат подтолкнул отца в бок и что-то сказал ему. Костер уже почти догорел. Мать остановилась перед костром и ждала, чтобы отец подошел к ней — ближе, ближе, вплотную. Тогда она раскинула руки — точь-в-точь, как рыбаки показывают размеры пойманной рыбы,— и обняла его. Горячо и неловко прижала к груди. Потом достала что-то из кармана безрукавки и передала ему — что-то маленькое, сверкнувшее на солнце,— по-моему, карманный нож; он взял нож и сделал короткое движение рукой, будто отвечая на какой-то тайный знак.

— Готовы? — спросил солдат.

Участковый инспектор Ругбюля взобрался на бронетранспортер и, пока они объезжали остатки костра, все время глядел на нас, а когда оливково-зеленая махина проползла чуть ли не впритык к крыльцу, он рывком выпрямился и принял преувеличенно подтянутый вид, тем самым даже в минуту прощанья давая мне понять, что я должен держаться молодцом.

14. *Учиться видеть*

Входная цена была полбуханки хлеба. За две буханки мы могли рассчитывать на четыре билета, и вот мы отправились: из Блекенварфа вдоль дамбы, потом через луга на Глюзеруп, потом на восток, к жиденькой рощице, находившейся уже на территории лагеря, или «запретной зоны»,— так теперь называлось все пространство между Клинкбю и Тимменштедтом. Да и вряд ли можно было назвать это лагерем: там не было ни колючей проволоки, про которую пишут во всех школьных хрестоматиях, ни бараков, ни сторожевых вышек, ни прожекторов, ни охранников, которые смогли бы уследить за всей обширной территорией, отведенной под «зону».

«Зона» эта была устроена для того, чтобы хоть как-то удержать около шестисот тысяч военнопленных, до которых, наверно, еще не до всех дошло, что они в плену; уткнувшись в карту, англичане прикинули: вот дорога из Клинкбю на Глюзеруп, возьмем еще кусок Хузумского шоссе, вот тут завернем на юго-восток к Фальтмору, а дальше

проведем границу на Тимменштедт: таким образом, вся запретная зона будет окружена кольцом дорог, а на дорогах будут патрулировать броневики.

Война, которая вначале была для нас такой выгодной,— кончилась. Всех, кто прибывал с севера, бежал с востока или вовремя дезертировал с юга, перехватывали патрульные бронетранспортеры и тепленькими сдавали в «зону», а там можно было не только свободно передвигаться, но и выбрать себе по вкусу место для палатки, и читать доклады — например, о бракоразводном законодательстве,— и собирать без специального разрешения щавель или такую питательную траву, как крапива; не возбранялось также устраивать театральные постановки, вечера песни или художественного слова. В артистах недостатка не было. На театральные представления допускались жители окрестных хуторов, а для поддержания бодрости тела и духа пленных мастеров сцены за вход взималось по полбуханке хлеба.

Не знаю, какое психологическое истолкование даст Вольфганг Макенрот тому обстоятельству, что первое свое знакомство с театром я оплатил полбуханкой хлеба — кстати говоря, хлеб-то был из армейского довольствия: через одного из интендантов он уплывал за пределы «зоны», а через нас опять туда возвращался. Итак, мы шагали к жиденькой рощице — я, Хильке, доктор Бусбек и художник, который нес оба хлеба в картонке. Погода? Перисто-кучевые облака, прямо как из учебника географии; ветер северо-западный, умеренный; пасмурно, с небольшими прояснениями. В общем, погода — самая что ни на есть театральная; тогда мне это не пришло в голову, но сегодня я охарактеризовал бы ее именно так. У входа мы сдали хлеб интенданту. Он нас пересчитал и пропустил в «зону»; там нас встретили патлатые матросы, изображавшие капельдинеров, и провели в первые ряды, к низенькой сцене, сколоченной прямо между деревьями — елями, буками, кустами ольшаника; сверху вместо крыши были натянуты сшитые плащ-палатки. На сухой лужайке, подобрав ноги, как портняжки, сидело тысяч двенадцать зрителей, пересмеиваясь, доскребывая ложками в котелках; многие дремали, другие — таких было просто на удивление много — ковыряли в пальцах босых ног. Время от времени в жидкую, но все же укромную рощицу залетали парочками сороки, однако не найдя, где приютиться, упархивали обратно. Чибисы уже давно покинули «запретную зону», эмигрировали и фазаны, а также дикие кролики, любящие покой и тишину.

Перед началом выступил тип в блестящих сапогах, со сморщенным лицом новорожденного — очень возможно, один из лагерных интендантов. Он вышел из рощи на сцену, дождался тишины и заговорил о вечном. Тут со всех сторон послышались хлопки — это мои соседи били себя по спинам и ляжкам, сопровождая каждый удар коротким ругательством: бедняг одолевали оводы и слепни; но представление — назло всем слепням — тем не менее началось.

Там рассказывалось про одного детину с буйной бородищей и железной рукой — настоящую, говорили они, он отдал за своего императора; все только и делали, что рассказывали, какой он храбрый, благородный и все такое прочее, и как он прорубался сквозь ряды вражеских рыцарей — прямо просеки прокладывал,— и как он гордился своими ранами. Против императора он ничего не имел, они с ним были друзья, а вот епископа и мелких князей терпеть не мог, потому что все они были порядочные гады, а раз он встал им на пути, то они, конечно, мечтали с ним разделаться, но друзья и храбрые рыцари долго не давали его в обиду; в конце концов его все-таки зацапали, обвинили в поджогах и убийствах и посадили в тюрьму в Хейльбронне. Надзиратель разрешил ему сидеть в садике на солнышке. Но

разрешение пришло слишком поздно: он скоро помер, однако и мертвый все еще отмахивался от кусачих слепней; князья и дамы тоже вовсю колотили слепней и оводов — такое на сцене тоже бывает.

Никогда бы я не подумал, что театр — такая тягомотина. В общем, очень скоро я уже не столько прислушивался к тому, что они талдычили друг другу на сцене, сколько к яростным шлепкам и проклятьям, которыми артисты и зрители отвечали на укусы наших летучих кровопийц. И должен заметить, мне было ни капельки не смешно, и я не испытывал ни малейшего желания хлопать в ладоши вместе со всеми, когда этот верзила с железной рукой вдруг взревел: «А он — так ему и скажи — пускай поцелует меня в зад!»

Заинтересовал меня один только брат Мартин — был там такой артист в монашеской рясе; я как увидел его — ну прямо Клаас: голос, походка и даже стоит чуть ссутулившись, ну, Клаас и Клаас; я взял и подтолкнул локтем художника, чтобы обратить его внимание на этого брата Мартина, а художник кивнул мне в ответ с таким видом, будто еще и не такое знал. Брату Мартину почти совсем не хлопали, зато остальным просто спасения не было от аплодисментов; особенно везло женщинам, хотя все они почему-то говорили низкими голосами: стоило этим красавицам выйти на сцену и потеребить цветочек или пустить слезу, как разражалась форменная буря, а когда у одной — при прощании в Ягстгаузене — съехал набок парик и оголил ровный мужской пробор, все двенадцать тысяч зрителей прямо-таки взвыли от восторга.

Хильке, конечно, расчувствовалась и всплакнула, а художник потом похвалил ее: мол, она единственная поняла эту пьесу — в театре, сказал он, это часто бывает. А меня сперва все подмывало юркнуть за эстраду, в рощицу — там наверняка было на что посмотреть; но представление чересчур затянулось, и у меня вся охота пропала: не все ли равно, что они там делают в тени буков и елей. Я принялся считать гражданских, прикидывая, сколько они натащили буханок хлеба, чтобы поддержать вечно голодное искусство: тридцать? Тридцать пять? Точное число, наверно, было известно одному лишь интенданту. А тем временем начало темнеть, на сцене пошли всякие «ахи» и «охи», и звучали они очень искренне, потому что, например, Вейслингену — прямо скажем, довольно мерзкому типу — мошкара так нажгла физиономию, что он весь распух; в общем, актеры голосили и вопили из последних сил, и я понял, что дело идет к концу. Да и субъект с железной рукой недвусмысленно давал понять, что он помирает не то с горя, не то от обиды, а может, ото всего сразу. Но мне на это было, прямо скажем, наплевать, и разделить с интернированными зрителями их восторг я не мог: слишком уж разочаровало меня первое знакомство с театром.

Я тянул всех домой, но у художника было что-то на уме: он велел нам подождать и исчез в кустарнике за сценой. Когда он вернулся, по его походке и выражению лица мы сразу догадались, что он кое-что узнал и ему не терпится сообщить нам это. Сжав губы, размахивая руками, он протискивался в толпе между кучками спорщиков и, не успев добраться до нас, выпалил:

— Это он! Это действительно он — Клаас! Завтра он будет дома.

Посыпались вопросы, Хильке подхватилась было бежать за сцену, в рощицу, но художник потащил нас к выходу, твердя:

— Нет-нет, не сейчас.— Так он довел нас до границы «зоны», и мы по настилу из поваленных елей прошли мимо караульного броневика.— Это Клаас,— повторял он.— Жив малый. Представляете себе — жив!

— Это тот, что был в рясе? — спросила Хильке.

— Я глазам своим не поверил,— сказал художник,— но это он.

— А как он в «зону» попал?

— Поймали, вот и все. Он дважды пытался пробраться домой, но оба раза его перехватывали и привозили сюда.

Как я понял, он долго пролежал в госпитале, а во время одного из налетов его бумаги — акты, протоколы и все такое — сгорели, а может, и просто затерялись, пока его переправляли в вермахтовскую тюрьму. После освобождения он из Альтоны пешком пустился сюда, ну, а тут — патрульные броневики... В общем, скоро его должны были выпустить: в первую очередь выпускали крестьян и людей искусства, вот Клаас и занялся искусством — к тому же и развлечение. Конечно, тут здорово помог и художник; они пообещали, что при первой же возможности... не исключено, что прямо завтра! Только представить себе — Клаас!

Художник говорил всю дорогу, не переставая. Мы изредка перебивали его, прося, чтобы он рассказал все-все, что ему бросилось в глаза при встрече, и если тогда это меня не удивило, то сейчас я поражаюсь тому, сколько он всего успел подметить. А его стариковская радость, эти бесконечные повторения одного и того же! Этот восторг! Один только раз он как будто помрачнел: когда Хильке сказала, что освободит свою комнату и отдаст Клаасу, он это заслужил.

— Прямо завтра с утра начну,— сказала она,— а он явится к обеду, и все уже будет готово.

— Подожди,— остановил ее художник,— вы пока на это не настраивайтесь.

— Но ведь он же придет?

— Да-да, придет, я сам его завтра заберу из лагеря, но сначала — первые два-три дня — он поживет у нас в Блекенварфе.

— Это он так сказал?

— Да, он попросил меня. Иначе, говорит, из «зоны» не уйду. Это ненадолго, дня два-три. Ему надо попривыкнуть на воле.

Что он подразумевал под этим словом «попривыкнуть»? Как это надо было понимать? Кого бы я ни спрашивал, все, после некоторого раздумья, пожимали плечами, сами спрашивали меня о том, о чем я — их, или говорили: «Поживем — увидим». В общем, я еле дождался возвращения Клааса.

Но и тут мне ничего не удалось узнать — ни вначале, ни позже: Клаас тоже не ответил на мои вопросы, потому что когда я, наконец, после долгой разлуки, встретился с ним, толку от него было мало: он спал. Он спал утром и днем, спал в дождь и в солнечную погоду. Они опять отвели ему ту недоделанную ванную комнату в Блекенварфе, и он спал прямо на полу на матрацах; правда, они убрали стремянку, вымели строительный мусор, гвозди, кучи известки, обрезки свинцовых труб. Он лежал на широком матраце под черно-зеленым полосатым одеялом, которое художник принес ему из мастерской; из-под одеяла иногда высовывался его бритый затылок, или нога, или покалеченная рука, на которую он натянул шерстяной носок.

Мне заходить к нему не разрешалось, и я часто подолгу стоял у окна, заслонив глаза ладонями от света, и завидовал Ютте, которая сидела у его матраца и смотрела на него: ей, как видно, приказано было оберегать его сон. Она приносила ему еду и смотрела, как он ест — полулежа, опершись на локоть; потом он откидывался на подушку, и она снова накрывала его одеялом. На меня она не обращала внимания, даже если я появлялся за окном в тот момент, когда она что-то уж чересчур долго приводила в порядок снятую моим братом одежду, прикидывала, подойдут ли ей его брюки или куртка, и уж только потом аккуратно все складывала. Стоило Клаасу устроиться

спать снаружи, в саду, где-нибудь в безветренном уголке под яблоней, как Ютта сразу же усаживалась рядом — угловатая, чуткая, словно сторожевой пес,— и меня не подпускала. В общем, Клаас вернулся, но его вроде бы и не было: смотреть — пожалуйста, а подойти — охрана не подпускает.

— Привет, малыш,— сказал он мне как-то. И все.

Так что мне оставалось одно — приноравливаться к его режиму: я мчался в Блекенварф, уже зная, что он еще спит, и он действительно спал; безрезультатно понаблюдав за ним некоторое время, я решал: ну ладно, нет, так нет,— и тихонько уходил искать художника; тот тоже не знал, сколько Клаас еще собирается проспать, но понимал, почему Клаасу не хотелось ничего делать, а только хотелось спать и спать. И хотя от Клааса невозможно было добиться ни слова — в лучшем случае мне перепадала мимолетная печальная улыбка, а то просто подмигнет и все,— я старался улучить любую минуту, чтобы сбегать в Блекенварф: наверно, мне просто хотелось быть рядом, когда брат наконец проснется, а может, я бегал в Блекенварф еще и потому, что в то время художник работал над своим автопортретом — он его начал вскоре после того, как ушел с позиции фольксштурма у мельницы.

Конечно, сперва я заглядывал к Клаасу, но обнаружив, что там все по-старому, мчался через сад в мастерскую; художник узнавал меня сразу по тому, как я приоткрывал дверь, и кричал мне из глубины мастерской:

— Живей, Вит-Вит, иди сюда.

Опять, значит, заело, опять война с цветом, насупленные брови. Это был последний его автопортрет.

Он избрал моделью самого себя и все больше убеждался, что не в силах добиться сходства.

— Я себя просто не вижу,— говорил он,— ничего не могу уловить, все так быстро меняется, и краски тут бессильны. Цвет почему-то перестал быть добрым другом, как прежде, он сделался неуловимым, как мгновение! Черт бы побрал эту его независимость,— говорил художник.— Откуда у него такая энергия? Ты только посмотри, Зигги, и попробуй это описать: ты сразу поймешь, как бесполезны всякие описания, когда цвет превращается в энергию. Когда он движется. Движется в пространстве.

Я сидел у него за спиной, чуть сбоку, на ящике, обтянутом полотном, и следил за его попытками «подстеречь» и запечатлеть самого себя в определенном месте, под определенными небесами, среди пейзажа, где лишь на заднем плане, вдали, маячил в своей огненно-красной лисьей дохе Бальтазар,— правда, совсем присмиревший, потому что художник по возможности постарался обезвредить его с помощью перспективы. Впитавшая в себя краску японская бумага напоминала материю, а лицо, разделенное пополам освещением,— невесомую, легкую маску, сквозь которую просвечивал мир. Левая половина лица — в приглушенных красно-серых тонах, правая — желтая, с зеленоватым отливом, все это — поверх пробивающегося пятнами охристого подмалевка. Таким глядел на него двойник. Обе половинки лица были разные, и только серые глаза, смотревшие как бы издалека, сквозь голубоватую дымку, выдавали пытливое усилие мысли. Скажи я об этом портрете: с приоткрытых губ готово сорваться слово,— восковой отсвет беловатого лба тут же меня опровергнет. Скажи я: голубоватые тени над переносицей соединяют эти неодинаковые половинки лица — и мне тут же пришлось бы признать, что, возможно, они-то их и разделяют. Все было смутно, все — загадка: рот, и глаза, и уши, показавшиеся мне искусственными, какими-то металлическими.

— Ну что? — нетерпеливо спросил он.— Что тебе говорит это лицо? Ты уже должен уметь передавать свои впечатления. Когда ты о чем-либо думаешь,— ты уже должен уметь рассказать об этом про себя. Когда смотришь — подыскивай точные выражения. Так что же?

Я не понимал, чего он от меня хочет, не понимал, чем его не устраивают эти две половины лица — красно-серая и желто-зеленоватая.

— Дело не в смысле,— продолжал художник,— смысла в картине искать не надо. Но в чем же тогда загвоздка? Нет, Бальтазар, краски на картине — это не что-то застывшее: вспомни, как у нас зимой однажды замерзла акварель на бумаге, а снег ее затушевал, и потом, оттаяв, краски перелились одна в другую — что получилось тогда? Обрел ли цвет энергию? Ту энергию, благодаря которой возникают и кристаллы, и мхи, и водоросли? Что ты скажешь, Вит-Вит? Почему у нас не сходятся концы с концами? В чем тут дело? В том, что мы не способны смириться? Или в том, что мы не умеем видеть? Вот Бальтазар считает, что нам надо заново учиться видеть. Видеть! Господи, в этом-то все и дело.

Он поставил на мольберт рядом друг с другом два эскиза к автопортрету и отступил назад, всем своим напряженно скособоченным корпусом выражая недовольство.

— Вот тут, Зигги, тебе станет яснее, что я хочу сказать: видишь, тут все слишком бедно, слишком гладко. Этот фосфоресцирующий синий цвет для всего лица — он убивает всякую возможность внутреннего движения. Знаешь, что значит видеть? Это значит дополнять. Проникать в суть предмета и выявлять ее. Или еще: открывать в предмете новое. Чтобы воплотить себя, ты должен себя открыть, увидеть себя как бы заново и не однажды, а всякий раз, когда на себя смотришь. Истинное воплощение получают лишь подлинные открытия. Вот здесь, в этой голубизне, нет жизни, нет трепета жизни, нет тревоги, оттого и нет чуда воплощения. Здесь не открыто ничего нового, здесь нет образа.

А когда ты видишь по-настоящему, ты и сам становишься видимым и, следовательно, даешь возможность другим открыть тебя. Видеть, о господи! Это ведь значит и вкладывать свой капитал в дело, и вечно быть в ожидании. Вот оно все перед тобой — вещи, люди, этот старик, но ты не сделал из них открытия, если не увидел по-своему, не привнес в них частицу себя самого. Видеть! Это же не просто запротоколировать! Тут надо всегда быть готовым к отречению, к отказу от однажды запечатленного. Тебе кажется, что работа закончена, ты оставляешь ее и уходишь, а когда возвращаешься, что-то уже переменилось. Нет уж, какие тут протоколы! Форма — она же не может застыть раз и навсегда, она зыбка, текуча, как сам свет. Свет ведь ты тоже не очень-то себе подчинишь.

Или вот, Вит-Вит, эта маленькая картинка, вся прогретая солнцем: Бальтазар протягивает мне крохотную мельницу на ладони, а я ее не замечаю. Понимаешь, если на картине есть, кроме центральной, еще одна фигура, должно ощущаться движение в ту сторону. Видеть — это своего рода взаимный обмен. А в результате получается взаимодействие, обоюдостороннее изменение. Возьми, допустим, линию горизонта, или вот эту протоку, или канаву с водой, или веточку шпорника: стоит тебе увидеть, открыть их — и они как бы открывают тебя тоже. Вы начинаете понимать друг друга. Поэтому видеть — значит также идти друг другу навстречу, сближаться, преодолевать некий пространственный барьер. Что еще? Бальтазар, например, считает, что это далеко не все. Он настаивает на том, что видеть — значит обнажать, может быть, даже разоблачать. То есть так раскрывать изображаемое, чтобы ни один человек уже не мог прикинуться непонима-

ющим. Не знаю, но мне эти разоблачения как-то не по сердцу. Сдери с луковицы все одежки — и ничего не останется. Я вот что тебе скажу: видеть начинаешь тогда, когда выходишь из роли обычного наблюдателя и открываешь то, что тебе нужно: это вот дерево, эту волну, этот песок.

А теперь взгляни сюда: говорит тебе о чем-нибудь этот портрет? Я решил резко разделить лицо: одна половина — красно-серая, другая — желто-зеленоватая. Я не знал, как выразить иначе то, что задумал, но не все концы здесь сходятся. Об этом автопортрете я мог бы сказать: он не имеет ко мне никакого отношения, потому что слишком многого в нем не хватает. Не хватает ощущения заложенных в нем возможностей — да, в этом вся загвоздка: что бы ты ни писал — лицо, предмет, дерево,— ты должен выявить все заключенные в них возможности. Есть на свете несколько удачных автопортретов: смотришь на лицо и видишь, какими болезнями болел человек, видишь даже, как обстояло у него с деньгами. А здесь просто слишком многого нет. Не увидено — потому и не запечатлено. Уметь видеть — значит также уметь запечатлевать, то есть подчинять себе материал. Попробую еще раз, сделаю все по-другому. Одобряешь?

Макс Людвиг Нансен мог говорить и так — правда, не всегда, а в определенные моменты, когда искал какое-то решение и раздумывал вслух. В эти минуты отвечать на его вопросы было вовсе необязательно, потому что он обращался скорее к себе самому, чем к собеседнику.

Я все сидел на ящике, когда в мастерскую явился Бернт Мальцан, долговязый тип с ввалившимися щеками и глазами, в поношенном пиджаке, который болтался на нем, я бы сказал, как на вешалке. Художник в это время высветлял синеву, делившую его лицо на две половинки. Мальцан объяснил, что будто бы ехал в Гамбург по делам, а сюда заскочил на минутку, мимоездом; под мышкой он держал свою книгу «Непокорившийся цвет».

— Ага,— буркнул художник и продолжал работать, не предлагая гостю присесть.

Он уже давно вынашивал мысль об этой поездке, продолжал Мальцан, он и написать собирался художнику еще несколько лет назад: столько надо прояснить, обсудить, поставить на свои места.

Он стоял за спиной художника, скреб указательным пальцем подбородок, переминался с ноги на ногу. Прежде всего, у него к художнику есть просьба. Слыхал ли Нансен о новом журнале, выходящем в Гамбурге?

— «Фольк унд кунст»? — ледяным тоном спросил художник.

Но гость, ничуть не смутившись, возразил:

— Нет, «Дас бляйбенде» — иными словами: «Вечно нетленное».— Сам Мальцан, правда, не состоит в редколлегии, но у него есть перспектива стать постоянным внештатным сотрудником; выходит журнал раз в месяц.

— Не слыхал, не знаю,— бросил художник, не отрываясь от работы.

Мальцан покосился на дверь — наверно, подумал: зря пришел, но раз уж пришел, да еще так издалека начал подъезжать, надо выкручиваться, теперь уже одно цепляется за другое, теперь выход один: поскорее закруглиться; да, так значит, журнал будет выходить раз в месяц, и рассчитан он на самую широкую публику. Но Мальцану известно и еще кое-что. Он, например, слыхал о некой серии набросков, о цикле под интригующим названием «Невидимые рисунки»,— нельзя ли ему будет хотя бы взглянуть на них? Он был бы крайне признателен. Нельзя ли будет журналу как-нибудь поместить на своих страницах

репродукцию одного или нескольких из них? Редколлегия сочла бы это для себя большой честью и так далее.

Маленькие бегающие глазки вцепились в художника: от этого первого ответа зависело многое. Художник покачал головой. Цикл не полон, он был в свое время конфискован, прошел через самые разные руки, при этом несколько листов — и как раз те, что были ему всего дороже,— пропали; сейчас, правда, рисунки у него, но показывать неполный цикл не имеет смысла. Ответ явно оказался благоприятней, чем Мальцан ожидал. Он сделал несколько деликатных шажков вперед, чтобы перехватить взгляд художника, и тут Нансен заговорил снова, обращаясь к своему автопортрету.

Не заблуждается ли редакция журнала «Фольк унд кунст», уделяя именно ему такое внимание? Нет ли здесь какого недоразумения? Мальцан попятился.

— Речь идет о совершенно новом журнале,— начал он с вымученной улыбкой.— Журнал называется «Вечно нетленное», редакция настроена весьма прогрессивно, это люди с широкими взглядами, преисполненные решимости наверстать все, что было упущено в годы прискорбного всеобщего ослепления, и так далее.— Художник кивал головой, в принципе он как будто ничего не имел против, но, что касается себя, выразил сомнение: сфера, в которой обретается «нетленное», для него как-то непривычна, там слишком много света, и лучше уж он, Нансен, останется в «паноптикуме», куда его в свое время препроводила редакция «Фольк унд кунст»; в паноптикуме ему как-то уютней, там у него много друзей, и вообще это как раз то место, о котором он всегда мечтал для себя и своих картин: среди всего, что в мире заслуживает отображения, ужасное занимает далеко не последнее место, и поскольку он, Нансен, достаточно часто пытался запечатлеть ужасы мира средствами своего искусства, то самое ему место в паноптикуме. Если господин Мальцан позволит ему высказать еще одно чисто личное соображение, то он, Нансен, хотел бы поблагодарить Мальцана за то, что именно он отвел ему это место: он, Нансен, прекрасно чувствовал себя все эти годы в паноптикуме и теперь просто умоляет, чтобы его оставили там.

Мальцан вздохнул, как-то винтообразно покрутил рукой и закивал — грустно, но отнюдь не безнадежно: да, конечно, подобные факты действительно имели место; теперь уж вряд ли кто сможет это понять, но хорошо, что разговор коснулся этой темы; он, Мальцан, собственно, и надеялся, что такой разговор состоится, это также одна из побудительных причин его визита: он предполагал внести ясность в некоторые вопросы, он хотел бы по мере сил способствовать тому, чтобы, наконец, «некоторые вещи были увидены в их истинном свете».

— В истинном свете? — переспросил художник.

— Да, в истинном свете,— поспешно подтвердил Мальцан,— ибо в свое время это поняли лишь весьма немногие.

Он уже разогнался продолжать, уже обдумал, как пойти на попятный, но художник заговорил опять все тем же ровным голосом: ничего, мол, не поделаешь, он видит в своих вещах именно то, что видел Мальцан,— бред и чертовщину, уродливую гримасу вырождения. Ведь так рассматривал Мальцан его творчество? Так он о нем отзывался? Что же тут надо теперь увидеть в «истинном свете»? Он, Нансен, действительно считает, что в нашем мире слишком много всякой нечисти и художник, пытающийся в своем творчестве обогнать время и заглянуть вперед, поневоле может показаться выродком. Вот Адольф Циглер из Германской академии художеств так и не смог этого уразуметь, потому и стал мастером клубнички в арийском вкусе, но зато удался в родню. Нет уж, пускай Мальцан и впредь называет его, Нансена,

так, как он назвал его когда-то: Мальцан с самого начала видел его в «истинном свете».

Мальцан скривил губы в улыбке: как видно, он и к этому подготовился. Он очень рад, что художник упомянул об этой двусмысленной формулировке, потому что именно на ней очень легко показать то, чего, к сожалению, в свое время почти никто не понял; бред и чертовщина, совершенно верно; так он действительно писал и говорил о картинах Макса Людвига Нансена, он этого нисколько не отрицает. Но разве не ясно, что он при этом имел в виду? В кого он метил? Дословно он тогда написал следующее: «Вас со всех сторон окружает бред и чертовщина». Вдумайтесь только: «Вас со всех сторон окружает» — ведь это же яснее ясного! Для него, Мальцана, было бредом и чертовщиной то, что происходило в Германии, а художник изображал эту политическую чертовщину средствами живописи, по-своему, и для него, Мальцана, важно было в завуалированной форме, так сказать с невинной двусмысленностью, намекнуть на связь между реальным миром и живописными образами. Он до сих пор не может понять, как это тогда почти никто не заметил подлинного смысла фразы.

Мальцан говорил все быстрее, он вошел в раж, доказывая, что существуют разные способы видения,— иногда совершенно неожиданные,— и был немало раздосадован, когда вдруг в самый разгар его разглагольствований скрипнула дверь.

— Это ты, Тео? — спросил художник. Доктор Бусбек, не отвечая, медленно подошел ближе. Только тут он увидел посетителя, и по его лицу скользнула тень удивления; он уже было повернулся, чтобы опять уйти.

— Вещи я уложил, Макс,— произнес он извиняющимся тоном.— Все готово. Я просто пришел тебе сказать.

— А к нам вот гости,— бросил художник и только теперь обернулся.

Тогда Тео Бусбек внимательней посмотрел на верзилу в поношенном пиджаке, поднял глаза: видно было, что он с трудом припоминает, кто это; наконец, он проговорил:

— Бернт Мальцан? — Мальцан ответствовал коротким поклоном.— Бернт Мальцан из редакции «Фольк унд кунст»?— повторил Тео Бусбек, как бы не веря своим глазам.

— Он самый,— подтвердил художник,— мой благодетель, мой тайный защитник; а ты об этом небось и понятия не имел. Он столько рисковал, а мы даже и не догадывались, как сейчас выясняется. Мы просто видели вещи в неверном свете.

Мальцан облизнул губы, поднял руку, будто прося слова, покачал головой и откашлялся. Глазки его перебегали с одного собеседника на другого. Он развел руками: «Позвольте мне договорить», но художник не захотел его слушать; он подошел к Мальцану, не выказывая ни злобы, ни презрения,— лицо его было непроницаемо,— ткнул пальцем в сторону двери и сказал, не повышая голоса:

— Вон!

Мальцан оторопел. Тогда Нансен повторил еще раз:

— Вон!

Что до меня, не хочу гадать, как бы я стал сматывать удочки после такого недвусмысленного предложения, но Мальцан качнулся, потом судорожно выпрямился, выдавил из себя «До свидания», старательно отчеканивая согласные, и ушел.

— Неужели это в самом деле был Мальцан? — спросил Бусбек.

— Уже полезли,— процедил сквозь зубы художник,— уже полезли изо всех щелей. Мы-то думали, что они хоть на первых порах куда-

нибудь запрячутся, присмиреют, прикинутся мертвыми, но мы и передохнуть не успели, а они уж тут как тут. Я, конечно, понимал, что рано или поздно они выползут, но чтобы так сразу, Тео, чтобы так быстро,— этого я не ожидал. Тут и не разберешь, чего в них больше: забывчивости или бесстыдства.

Он обнял Бусбека за плечи и подвел его к автопортрету, я тоже подошел ближе. Они рассматривали незаконченную вещь не так, как всегда,— сдержаннее, сосредоточенней, лишь изредка обмениваясь замечаниями. А когда почувствовали, что молчание слишком уж затянулось, художник сказал:

— Так вот: твоя комната твоей и останется, я туда никого не пущу, как все было, так и останется.

— Там у меня картонка, Макс, пусть побудет пока что,— сказал Бусбек,— надеюсь, она никому не помешает.

Он не отрывал взгляда от портрета, стоя спиной к художнику, а тот продолжал ровным дружелюбным голосом:

— Помни, наш уговор — навсегда. Захочешь тут пожить — приезжай, даже предупреждать не надо. Я вообще не понимаю, почему ты решил уехать.

— Теперь все кончилось,— сказал Бусбек,— я тебе больше не нужен, а кроме того, хочу попытать счастья еще раз. Ты знаешь, о чем я говорю.

— Знаю, знаю. Уж такие мы. Да, Тео, уж мы такие. Но наезжать-то ты будешь? Регулярно?

— Каждое лето, Макс, можешь не сомневаться.

— Ну, а эта штука? Как она? Автопортрет — получился?

— Не знаю, Макс. Надо бы еще приглядеться.

— Значит, не получился.

— Нет, вовсе нет! Но тут надо понять, что ты хочешь им сказать. Ну, наверно, мне уже пора.

— Мы тебя проводим, Тео. Мы с Зигги проводим тебя до Глюзерупа — а то как же? Посадим в поезд. Тут уж мы от него не отстанем, правда, Вит-Вит? Не отстанем!

Когда мы с чемоданами взобрались на дамбу, художник в последний раз спросил:

— Может, все-таки не поедешь, Тео?

Но Бусбек, глядя в сторону моря, ответил:

— Я еще вернусь, Макс, а сейчас лучше, если я уеду. Поверь мне.

Я шел впереди. День был весь в ласточках — они чертили замысловатые углы низко над землей, над горячим песком, взмывали в небо, стремглав падали вниз и взахлеб верещали, когда несколько птиц бросались к земле, как бы целясь в одну точку, а потом в самую последнюю секунду пролетали друг над другом. Они рассекали воздух над лугами, над дамбой, порывы ветра с моря то и дело подхватывали их и круто кидали в небо, откуда они свистящими стрелами снова неслись к земле.

— Мы вполне успеваем, Тео,— сказал художник.— Что ты все время смотришь на часы?

Вдруг они остановились, опустили на землю чемоданы и начали о чем-то переговариваться, глядя в сторону мыса.

— Неужели не видишь? Левей, левей, в ложбинке у самого берега. Не видишь?

— Ютта?

— Ну да, Ютта! А знаешь, кто лежит с ней рядом?

— Клаас?

— А то кто же!

Значит, Клаас наконец-то проспался, наконец-то решился выйти из своей берлоги в Блекенварфе. Он лежал на животе, а Ютта сидела перед ним на корточках в своем узком стареньком купальном костюме, заштопанном под мышками и на узких, крепких ягодицах. Рубашку Клаас снял, штаны вместе с подштанниками закатал до колен, и издали казалось, что он обут в ботфорты с грязно-белыми отворотами. Короткий ежик его волос торчал над невысоким песчаным валом, окружавшим ложбинку, а сапоги со свесившимися в разные стороны голенищами стояли рядом, как два усталых, диковинных живых существа. Ютта массировала ему спину, натирая какой-то мазью. Ее руки ритмично двигались взад-вперед, время от времени похлопывая Клааса по лопаткам. Когда он приподнимал ногу, она силой вжимала ее в песок, а когда он пытался поднять голову, она шутливо обеими руками сдавливала ему шею.

— Позвать их? — спросил я.

— Позвать? Не надо,— сказал доктор Бусбек,— я с ними уже попрощался, в саду. Зачем их беспокоить?

Настал черед Ютты; теперь она растянулась на животе, ловким движением спустила бретельки купального костюма, а Клаас как-то по-деревянному привстал и долго не мог найти баночку с мазью. Потом он нашлепал ей мазь по всей спине, потер руки и уже нацелился массировать, но вдруг замер, склонил голову набок и уставился сверху на Ютту. А она лежала вся расслабленная и, наверно, спрашивала: «Ну? Ну чего ты там?» Тогда он начал втирать мазь ей в кожу — както преувеличенно безучастно и при этом упорно смотрел то на море, то на горячий песок пляжа; понятно, что очень скоро он заметил и нас.

Он махнул нам рукой, толкнул Ютту в бок и показал в нашу сторону. Теперь они начали махать нам оба. Мы замахали в ответ. Но ни мы, ни они не двинулись друг другу навстречу. Потом мы опять подняли чемоданы, и я пошел сзади, пропустив взрослых вперед.

— Слава богу, что парень уцелел.

— Да, слава богу.

Вдали показался Глюзеруп, даже целых два Глюзерупа — в мареве солнечного дня второй Глюзеруп парил над первым, словно зеркальное отражение: обсыпанные серой пудрой корпуса цементного завода, водонапорная башня, ржавые газгольдеры.

— До чего же он неулыбчив, Макс.

— Ты о чем?

— О здешнем крае, Макс. Неулыбчива она, твоя родина, даже сегодня, в такой вот день. Выглянуло солнце, а она все такая же суровая, хмурая.

— Очень было тебе здесь тяжело?

— Меня не покидало ощущение, будто надо мной висит какой-то долг, будто что-то меня принуждает.

— Принуждает?

— Не знаю, Макс... Принуждает быть суровым, что ли. Суровым и немногословным. Здесь даже и в полдень человеку не по себе. Иногда мне казалось, у этой земли нет верхнего покрова, будто у нее — как бы это сказать,— ну, точно тут нет почвы под ногами, а есть одна глубь, грозная, бездонная, страшная для человека.

— Тебя страшит бездонность, Тео?

— Не знаю. Я просто хочу сказать, что земля, покрытая почвой, куда человечней.

— Понимаю, Тео. Но уж раз так пришлось, разве не должны мы стараться обжить эту землю, сделать ее уютней?

— Наверно. Но она вселяет тревогу, хотя, может быть, эта тревога порождается только настроением; может быть, весь ваш край и состоит сплошь из настроений, и если они известны тебе, ты уже не так беспомощен.

— Вероятно, наш край надо научиться видеть.

Так вот они и разговаривали на прощанье, стоя на гребне дамбы, будто боялись чего-нибудь недосказать.

— Не забудь про цветы,— напомнил доктор Бусбек.— К дню ее рождения, восьмого сентября.

— Уж как-нибудь я помню, когда у Дитте день рождения.

— Да, да, конечно. Я просто так сказал.

Когда мы добрались до станции, билеты уже начали продавать, и пассажиров впустили на перрон; у нас была платформа номер два, и мы растерянно стояли под палящим солнцем в огромной толпе глюзерупских жителей, решивших, как видно, всем скопом одновременно покинуть город: люди сидели на корзинах, рюкзаках, коробках, чемоданах, ящиках, волокли мешки, настенные часы, перины, кухонные столы, вешалки из оленьих рогов, незаметно, но упорно пробиваясь к краю платформы, чтобы занять позицию повыгодней для штурма поезда.

— Кажется, пора, Макс.

— Да, вон он уже свистит.

— Как мне благодарить тебя, Макс?

— О чем ты говоришь!

— За все эти годы.

— Перестань, Тео.

— Я будто из родного дома уезжаю.

— Да уж надеюсь. И пиши, как там, в Кёльне. Ну вот он, твой поезд.

Пыхтя и отдуваясь, все реже постукивая на стыках рельсов, поезд приближался к станции — приближалась пышущая жаром махина, горячая, обжигающая кожу волна; потом махина резко затормозила, дернулась, железо лязгнуло о железо, горячий пар хлынул в отдушины, под его напором захлопали вентили, и на буферах, крышах, подножках онемевшие от напряжения руки обмякли, расслабили судорожную хватку, с помощью которой люди, как мне почудилось, удерживали не только себя, но и весь поезд, облепив его своими телами и завладев им, как завладевают водоросли кораблем, когда пядь за пядью завоевывают его днище и замедляют его ход; поезд так был набит, так обвешан людьми, что казалось, будто они одолели его уже одним несметным числом своих тел, подчинили своему единодушному стремлению ехать, ехать дальше. И раз уж они добрались досюда, они ни за что не хотели уступать свои с трудом отвоеванные места тем, кто напирал с платформы, но все-таки под мощным натиском с перрона им пришлось податься внутрь, ужаться, впустить новичков, тут же принявшихся осваивать новое жизненное пространство. И самое удивительное: сквозь гвалт вагонных сражений, схваток, перемирий, побед отчетливо слышался голос дежурного по станции, повторявшего с промежутками: «Глюзеруп! Станция Глюзеруп!»

Кое-как мы втиснули в поезд и доктора Бусбека. Он только помахать нам не смог — кто-то из соседей помахал за него, а потом поезд после многочисленных сигналов тронулся и вскоре исчез, оставив за собой лишь серебристую ленту рельсов.

Возвращаясь домой, мы долго стояли на дамбе, спиной к морю. Потом художник обнял меня за плечи и повел дальше, вниз по длинному, пологому склону дамбы. Даже когда он молчал, когда замыкался в себе, так хорошо было идти с ним рядом — не потому, что при-

ятно было шагать с ним в ногу, а от одного лишь сознания его дружеской близости, все время державшей тебя в ожидании чего-то необыкновенного, какого-нибудь занятного вопроса или даже только взгляда; идти рядом с ним значило быть всецело захваченным таким вот ожиданием — о радости я уже не говорю.

15. *Продолжение*

Сегодня, 25 сентября 1954 года, мне исполнился двадцать один год. Хильке осчастливила меня пакетиком со сладостями, мать — грубошерстным пуловером, уже натершим мне шею, директор Химпель — традиционной у нас в колонии поздравительной свечкой, такой тоненькой, что она таяла на глазах; Карл Йосвиг, наш отец надзиратель, отвалил мне целых двенадцать сигарет и почти два часа вел со мной душеспасительную беседу,— словом, вот так мне скрасили день моего совершеннолетия. И если бы мне не надо было кропать свое сочинение в своей камере, я бы вместе с другими занял место в столовой, где стояли бы цветы — дохлые астры в банке из-под мармелада, братцы-преступнички пробасили бы в мою честь именинный хорал химпелевского сочинения, мне бы выдали лишний кусок мяса и пирога и, само собой, освободили бы от работ, а вечером позволили бы жечь свет на час дольше. Но долг есть долг.

С нынешнего дня, стало быть, все будут тыкать мне в глаза моим совершеннолетием: ты, мол, уже взрослый. А я, когда брился сегодня перед раковиной, не обнаружил в себе никаких перемен. Перечитывая свое сочинение, я жевал сладости, развлекался обществом свечки, таявшей на глазах и отвечавшей мне загадочным молчанием, и выкурил целую сигарету из запасов, оставленных Вольфгангом Макенротом. В конце концов эта чертова свечка меня доконала, и я начал вопрошать себя, хотя идиотская привычка к философствованию злила меня еще в моем деде, знатоке родного края и искателе смысла жизни: что ты собой представляешь, к чему стремишься, в чем твое назначение и всякая такая мура. И тут меня опять одолели воспоминания: пиршество подводной живности в день шестидесятилетия доктора Бусбека, Ютта на качелях, мои морские сражения, и как мы нашли Клааса на торфяном болоте, и как хоронили Дитте.

Я все думал-думал, но так и не придумал ничего путного, поэтому даже не расстроился, когда ко мне явился Йосвиг. Робко и вместе с тем бодро он пожелал мне доброго утра и сообщил, что он рад — «рад, Зигги, видеть тебя достигшим зрелости». Улыбаясь, он вытряхнул из рукава на мой письменный стол сигареты, уселся на край койки, участливо уставился на меня и смотрел долго, не говоря ни слова, а потом спросил, не пойдет ли у меня работа быстрее, если он мне скажет, что там все по мне соскучились. Все, включая Эдди.

— Нет, работа от этого быстрее не пойдет.

— Или, может, тебя так вымотала предложенная Корбьюном тема «Радость исполненного долга»? Уж очень ты кажешься мне испитым, нервным, раздражительным.

— Может быть, все дело в теме.

— Не резануть ли тебе в таком случае Химпелю прямо в лицо, что, мол, конец и точка?

— Нет, радости исполненного долга еще не кончились, и никакие ловкие трюки тут не помогут, иначе тема останется нераскрытой.

Йосвиг подпер ладонями подбородок, потупился и кивком головы дал мне понять, что я прав, совершенно прав, больше того: он всецело

одобряет мое упорство, считает мою настойчивость похвальной. Своими вопросами он только хотел испытать мою решимость, пояснил он.

— Штрафная работа, Зигги, есть штрафная работа. Радости исполненного долга многообразны, и надо же когда-то показать их в истинном свете.

— Одно дело — радости исполненного долга, как их понимает Корбьюн,— заметил я,— а другое дело — жертвы подобных радостей; о жертвах почему-то не говорят.

Йосвиг поднялся, обнял меня и одобрительно потрепал по плечу:

— Вот теперь по твоим рассуждениям видно, что ты уже совершеннолетний.

Я покивал головой, изобразив на физиономии готовность к самосовершенствованию и неотрывно глядя на тающую свечку, уносившую к потолку дым от моей сигареты, а Йосвиг разошелся, надавал мне кучу советов и предостережений: ему казалось, что он вот-вот обратит меня на путь истинный, и потом, покружив по камере, наконец, убрался.

Чем вот только от Йосвига пахло? Признаться, довольно-таки противно; всякий раз, как он побывает в камере, после него остается резкий запах дезинфекции; а может, он и вправду чем-то опрыскивается перед тем, как войти к очередному затворнику? Во всяком случае, мне пришлось открыть окно, чтобы проветрить помещение.

Эльба! Как потускнело осенью ее широкое течение! Той стороны и не видно — затянуло туманом. В тумане тонут деревья, одни только верхушки чернеют, выступая из мутно-белой пелены,— точь-в-точь лес, затопленный наводнением; приглушенно пульсируют моторы судов; эхо не откликается больше на грохот верфей; скрежет землечерпалки, поднимающей со дна ковши, еле-еле достигает моего слуха. Огни — бледные, медленно движущиеся мимо огни — как будто сигнализируют: выбиваемся из последних сил. Над туманом проплывают судовые надстройки и мачты — плывут будто сами по себе, по воздуху. Для меня эти мгновения в жизни Эльбы чем-то очень притягательны, если не сказать захватывающи,— начинает темнеть, над рекой сгущается белесая дымка, и на воде все делается призрачным и бесплотным.

Я уже чувствую, что из меня так и прет именинное настроение, так и тянет меня погрузиться в умудренное самосозерцание, но мне пора возвращаться назад, в глубь моей собственной Атлантиды, и снова кусок за куском поднимать на поверхность остатки ее былого, время торопит меня, долг меня зовет; велика ли важность — двадцать один год, если вспомнить, что капитан Андерсен прошлой весной отпраздновал свой сто второй год рождения, а на следующий день — то есть на сто третьем году жизни,— слегка опохмелившись, уже бодро снимался в кинохронике, только что вышедшей на экраны под названием «Человек и стихия». Велика важность — Эльба, со всем плавучим хламом на ней и туманом над ней. Спортсмены-лодочники давно уже пришвартовались под прибрежными полуоблетевшими ивами. Последний баркас ушлепал вверх по течению, лениво перемалывая текущую ему наискось воду. Меня все это не касается. Мне нет дела до того, кто подзаработает на результатах научно-исследовательской экспедиции, в которую отплывает вон то судно. С меня достаточно образцов ругбюльской воды и почвы, именно над ней, над этой хмурой равниной, я раскидываю свою сеть и вылавливаю все, что попадется, вплоть до мельчайшего планктона.

Как всегда, когда я извлекаю содержимое сети, первым на свет божий выползает мой отец, участковый инспектор Ругбюля; после кратковременного интернирования отец вернулся домой и снова стал

кем и был раньше, ничуть не удивив этим ни одного человека на всей территории между Глюзерупом и Хузумским шоссе. Три месяца в Ругбюле не было участкового инспектора, а потом он появился снова — с тем же каменно-сухим лицом, в тех же мешковатых штанах, появился и занял свой прежний пост: все очень просто, как будто побывал не в вынужденном, а в очередном отпуске; пришлось только подкачать шины у велосипеда — они за время отцовского отсутствия спустили.

Мать спорола ему с формы эту штуку с имперским орлом, потом отец сам отцепил кокарду с фуражки, но ни орла, ни кокарды не выбросил, а аккуратно сложил их в жестяную коробочку, спрятал в письменный стол и в тот же день, не дожидаясь официального восстановления в должности, оседлал свой велосипед и покатил вдоль дамбы, охотно задерживаясь перемолвиться словечком с каждым встречным и поперечным, чтобы в одних и тех же выражениях, одним и тем же презрительным движением руки охарактеризовать свою недавнюю отлучку: да, в Нёйенгамме; да как сказать: харч приличный; обращение, в общем, тоже: особых строгостей никаких и так далее.

Ни разу он не дал себе труда ввернуть какое-нибудь новое словцо или хотя бы опустить старое — кому бы он ни рассказывал о своем приключении, он ухитрялся ни разу не сбиться: одни и те же детали, одни и те же выражения, никто не мог бы сказать, что у него не сходятся концы с концами. Просто он возвратился к своим прежним обязанностям, которые был вынужден на время прервать, и все пошло снова точно так же и в том же порядке, как было у него заведено: он запер на замок служебный дневник, наколол дров, съездил в Глюзеруп, чтобы сдать пистолет, вскопал уголок в саду для посадки табака, посадил этот табак, силком утащил Хильке домой с танцев в «Морских далях», вывихнув при этом ей руку, несколько раз ездил в Хузум, откуда привез однажды «Новое положение о полиции», и тут же, не читая, тоже сунул его в стол под замок, колесил по служебным делам на своем велосипеде и в одно прекрасное утро, после завтрака, добрался до «этой истории с Клаасом».

Вряд ли стоит упоминать о том, что мы ели в то утро,— скорее всего, ту же овсянку, хлеб со сливовым повидлом и ячменный кофе; мы молча двигали челюстями, кто как умел, и каждый подсчитывал, кто сколько проглотил кусков; ни о чем особенном мы не думали или думали про что-нибудь такое, о чем уже думали не раз, и тут вдруг отец сказал Хильке:

— А ну-ка, принеси его карточку.

Моя сестра и без того, когда берет в рот ложку, с лязгом закусывает ее зубами, а тут у нее зубы так сцепились, что, наверно, проткнули ложку насквозь, а возможно, Хильке даже подавилась, и до того тупо, по-коровьи уставилась на отца, что ему пришлось повторить приказание: Хильке явно не могла взять в толк, чего от нее требуют.

— Фотографию Клааса,— пояснил отец,— да поживей!

Хильке выпустила из руки черенок ложки, но самой ложки изо рта не вынула, так и встала — с ложкой во рту — и только глазами спрашивала про то, про что не могла спросить ртом; наконец, она вышла и через две-три минуты вернулась, держа рамку с фотографией, со времени своего изгнания карточка брата прозябала во мраке одного из ящиков письменного стола.

Отец поднялся, поставил фотографию на подоконник, вцепился руками в спинку стула, выпрямился, откинул голову, впился глазами в Клааса и заговорил с фотографией:

— Теперь давай с тобой начистоту, не вечно же нам копить в себе свои мысли, когда-нибудь надо высказать все раз и навсегда. Вот мы сейчас собрались все вместе и давай поквитаемся. Мы все знаем,

что ты сделал. Конечно, времена переменились, но что ты сделал, то сделал.

Он остановился и закрыл глаза большим и указательным пальцами руки. Мать воспользовалась этой передышкой, чтобы ближе подвинуться к столу и сесть еще прямее. Хильке незаметно почесывала свои располневшие коленки. Участковый инспектор с шумом выдохнул воздух, опустил руку, снова пристально вгляделся в фотографию, покачал головой и продолжал:

— Надо кончать со всей этой историей, поставить на ней крест, чтобы все было ясно. Когда я там сидел, я целыми днями только и думал о том, что он нам устроил. Думал я и о том, что, вернувшись, он не пожелал даже переступить порог родительского дома. Не говорю уже — попросить прощения. Так нас всех осрамить — и даже не попросить прощения. Жил у *этого,* в Блекенварфе, а потом уехал в Гамбург и — ни слова родителям. Тут уж надо все сказать, раз и навсегда. Начистоту.

Отец не спешил — видно было, что говорит он неохотно, что борется с собой, подробно перечисляя нам — и самому себе — провинности Клааса: как тот нанес себе увечье, дезертировал, был арестован, а потом отказался вернуться домой; наконец, участковый инспектор дошел до главного: он велел Хильке передать ему фотографию, вынул ее из рамки, положил на стол и провозгласил приговор.

Приговор этот меня удивил. После такого грозного вступления он показался мне слишком беззубым. Клаас был всего-навсего изгнан из дома.

— Слушайте меня внимательно! Пока я жив, чтобы ноги его не было у нас в доме! — И нам было запрещено даже думать о Клаасе, даже называть его имя.— Вы должны навсегда вычеркнуть его из своей памяти.— После этого отец порвал фотографию на мелкие клочки и выбросил их в печку.

Мать встала из-за стола. Она, как видно, все уже знала; может быть, она все заранее обсудила с отцом,— да, вероятно, так оно и было. Она смахнула крошки с фартука, отправилась как ни в чем не бывало в чулан и занялась там своими хозяйственными хлопотами: закрыла пергаментом банку с повидлом, откупорила бутылку с сиропом. Мы с Хильке продолжали неподвижно сидеть за столом, но старались не смотреть друг на друга, а уж заговорить и подавно боялись. Инспектор? Он стал заводить будильник или, может быть, только собирался завести этого старомодного, хотя и надежного крокодила, наполнявшего утром весь дом своим омерзительным треском, как вдруг начал к чему-то прислушиваться и, все медленней и медленней крутя завод, весь насторожился — точь-в-точь пес, сделавший стойку,— весь напрягся, охваченный тем же странным, необычным для него возбуждением, которое впервые так поразило нас в Кюлькенварфе на вечере, посвященном то ли родному краю, то ли морю — в общем, кажется, нашему родному морю.

Да, он прислушивался, он что-то учуял, руки его мелко задрожали. Он поставил будильник обратно на кухонный шкаф, засунул пальцы за подтяжки и судорожно вцепился в них. Что он услыхал? Где? Его отрешенный взгляд был направлен куда-то наискось, на потолок, в сторону моей комнаты, но там ведь никого не было. На него как будто давило что-то, и этот гнет был так тяжел, что отец словно бы покачнулся, во всяком случае, ему пришлось даже опереться о стенку. Что еще? Ну, конечно, капли пота на лбу, дрожащая, отвисшая губа, вытаращенные и вместе с тем подернувшиеся пленкой глаза — ни дать ни взять провидец. Он против чего-то оборонялся и проигрывал, и никто не в силах был ему помочь. Потом губы его зашевелились, он отрывисто заговорил сам с собой, пошатываясь, доплелся до двери, в прихожей торопливо

натянул мундир, надел портупею, фуражку, и мы с Хильке, все еще обалдело сидя за столом, услышали, как он ринулся наружу, добежал до сарая, схватил велосипед и с размаху вскочил в седло.

Он уехал, даже не попрощавшись. Не подумайте, что мать, выйдя из чулана, обратила внимание на исчезновение отца. Когда Хильке взяла и ляпнула: «Ему вроде опять что-то привиделось», мать только коротко на нее взглянула, тут же спокойно включила радио и под песню «Светлячки, светлячки» принялась мыть посуду. И все. Я ждал хоть чего-нибудь еще, но больше так ничего и не произошло,и я потихоньку выбрался из кухни и отправился в свою комнату, которая теперь, после окончательного изгнания Клааса, отходила целиком мне одному.

Полки с его вещами. Рывком отодвинув в сторону тонкую занавеску, я увидел в самом низу перевязанную шнурком картонку, которую я поклялся Клаасу никогда не открывать. Все годы его отсутствия я твердо держал это слово; раза три-четыре меня, правда, подмывало открыть картонку, но я устоял перед искушением, а теперь меня вдруг бросило в жар, картонка как бы сама по себе снялась с места, шнурок развязался сам собой, я, кажется, и пальцем не шевельнул, а крышка уже открылась, и, поставив картонку на кровать так, чтобы можно было сразу ее спрятать, я начал вынимать из нее все по порядку, все, что Клаас собрал и поручил мне хранить. В кухне шла уборка. Отец уехал.

Разве не требовал мой долг перед Клаасом, чтобы теперь, когда брата насовсем прогнали из дома, я открыл картонку и сохранил в надежном месте то, что так для него было дорого? В этом наверняка был мой долг перед Клаасом. И я вынимал, осматривал, изучал каждую безделицу. Как сейчас помню баночку с красивыми переливчатыми ракушками, рогатку, книжку «Юный садовод»; грязный, в пятнах крови, носовой платок; тетрадки с сочинениями, шнурок, еще шнурок; помню еще кулечек с чертовыми пальцами, коробку с оловянными солдатиками — все до одного целые — и невысокий самодельный подсвечник, видимо подаренный художником; групповую фотографию одноклассников — восемнадцать молодых старичков и пять старушек с косичками; и еще — набросок к «Сборщику яблок», который я тут же сунул к себе под подушку; наконец, перочинный ножик с перламутровым черенком. И еще помню пачку перевязанных писем, которых я никогда бы не вскрыл, если бы это были чьи-нибудь чужие письма, но они все были написаны почерком брата и адресованы Хильке. Что ни письмо — то жалоба или угроза: то он жаловался, что она опять не пришла — на торфяное болото, на пляж, к маяку, то грозил, что «все будет кончено», если она и на этот раз не придет.

Я перебрал все содержимое картонки, кое-какие вещи перекочевали ко мне — прежде всего набросок к «Сборщику яблок»,— и тут внизу зазвонил телефон. Я прислушался. Трубку взяла Хильке, отрекомендовавшись, как обычно: «Хильке Йепсен, кто звонит?» Потом последовали только «Нет», «Да», «Да», «Нет», и когда Хильке бегом помчалась на кухню, я уже знал, что кто-то звонил отцу. Не успел я закрыть, перевязать и спрятать картонку, как началось: «Зигги, иди сюда! Зигги, да скорей ты!» Мне ничего другого не оставалось, как спуститься вниз. Хильке уже ждала меня. Наверно, я так на нее посмотрел, с таким прокурорским любопытством, что она невольно попятилась и, забыв, зачем меня звала, растерянно спросила:

— Что это ты так на меня вылупился? Глядишь, будто я тебе что-то сделала.

— Как хочу, так и гляжу,— отрезал я.

— Нет, ты глядишь прямо как удав на кролика,— пробормотала она.

— Валяй выкладывай дело,— говорю.

Она стала рассказывать, что в Блекенварфе начинается какая-то заварушка то ли сейчас, то ли часа через два: ожидается очень важный визит окружного комиссара или кого-то в этом роде — короче, приедет большая шишка, что-то они задумали насчет Нансена, и, разумеется, необходимо присутствие участкового инспектора.

— Беги, Зигги, разыщи отца, они звонили и сказали, что ему срочно надо в Блекенварф. И перестань так на меня пялиться, слышишь? Терпеть этого не могу.— Однако мой взгляд до того сбил ее с толку, что она подошла к зеркалу в передней, осмотрела себя, повернулась боком, проверила блузку, юбку и, ничего не обнаружив, рассвирепела: — Ну иди, марш, стал как столб!

К дамбе — первым делом к дамбе. Хмурый, но безветренный осенний день. Гладь моря чуть колышется, двое рыбаков, сидя в лодке, ловят макрель. В небе ни одной чайки, зато огромный птичий митинг на воде,— еле заметное течение несет его параллельно берегу. И нигде ни души на велосипеде — ни в направлении «Морских далей», ни в направлении маяка, а на самом горизонте — два тральщика-миноискателя. У подножия дамбы — джип, едущий в сторону Глюзерупа. Я решил идти к «Морским далям»; спрошу там, может, они видали отца. Только вот дался же я этим патлатым овцам: стоило мне свернуть к «Далям», как эти твари сразу затрусили ко мне навстречу, окружили и никак не хотели отставать, хоть я и отгонял их пинками. От их свалявшейся шерсти несло вонью.

Если бы не эта вонь, я бы еще раньше почувствовал запах гари и обнаружил отца за его занятием. А так я мчался вдоль мыса, отбивался от настырных овец и только случайно, оглянувшись, увидел, что у домика художника в конце дюны стоит велосипед; он, конечно, не обязательно должен был быть отцовским. Я бросился сломя голову вниз по склону дамбы, сразу отвязавшись от блеющих, вонючих овец, а они тупо поглядели мне вслед, не переставая жевать. В домике художника кто-то был. В воздухе пахло гарью. Огня не было видно, дыма тоже, но запах гари становился все сильней, пока я взбегал на дюну, а когда поднялся на ее гребень, вот тут-то я и увидел тонкую струйку дыма позади домика; необъяснимый страх охватил меня и помчал, понес вперед, какой-то незнакомый до той минуты страх — только и помню, что меня всего заколотило.

Велосипед был отцовский. Он стоял у боковой стены, дверь была распахнута, но отца в домике не оказалось, он был позади него, стоял там, курил и глядел на огонь, на остатки костра, тщательно пододвигая ногой к пламени полусгоревшие, тлеющие листы. Разозлился ли он или просто удивился, увидев меня? Он меня как будто даже не узнал — тяжело дыша, он невидящими глазами глядел на огонь. Не пошевельнулся он и тогда, когда я схватил палку и у самых его ног начал копаться в остатках костра. Все было кончено. Спасти уже ничего было нельзя. Уцелел один листик, крохотный синий клочок бумаги — обложка эскизного блокнота. Отец сжег блокнот художника с эскизами к циклу «Лица Приморья».

Я выпрямился и в ужасе посмотрел на него. Выражение скотского блаженства было написано на его лице: наконец-то он сделал свое дело и может спокойно постоять и покурить, как после честно выполненного приказа. И там, на оконечности мыса, над остатками костра, мне впервые стало по-настоящему страшно. Это не был страх перед отцовской силой, или хитростью, или упорством, а страх перед его непреклонной одержимостью; и страх этот пересилил ненависть, которая вдруг затопила меня и чуть не заставила броситься на отца с кулаками: бить его, бить по пояснице, по ляжкам. Это выражение скотского блаженства! Это подлое спокойствие! Я не мог больше смотреть на него — я опустился на корточки и начал забрасывать костер песком; мелкий песок сыпался тон-

кими струйками на обуглившиеся останки, пока не покрыл их совсем, и ничто уже не напоминало о том, что здесь был огонь.

А его, ругбюльского участкового, все это будто и не касалось. Он молча наблюдал за мной, несколько раз глубоко вздохнул, словно просыпаясь, но не проснулся, а снова впал в свое скотское блаженство. Я в ту минуту еще не обратил внимания на неожиданную тянущую боль в висках, на странное затмение, которое вдруг нашло на меня,— или нет, во мне просто частыми толчками бился страх, и под его воздействием я впервые осознал: ничто, ничто не может быть в безопасности, когда этот человек выполняет свои служебные обязанности. В своей чудовищной прямолинейности он отыщет любой тайник, и я тут же подумал о своей коллекции на мельнице и о том, что надо ее спрятать от него — но куда?

— Что ты так дрожишь? — спросил он.— Тебе-то чего так дрожать в твои годы? — Завтра же, думал я, нет, лучше сегодня, надо убрать оттуда все.— Ну,— продолжал он,— в чем дело? — В Блекенварф, думал я, художник поможет мне подыскать надежный тайник в Блекенварфе.— Ну, отвечай, живо! — приказал он.

— Ты не имеешь права,— выкрикнул я,— ты больше не имеешь права ничего забирать, ты не имеешь права разводить костры, ты больше ничего не имеешь права жечь.

— Кто тебе это сказал?

— Все, все это говорят, запрет заниматься живописью отменен, тебе не на что больше доносить. Если я расскажу, что ты сделал, художник этого так не оставит. То, что было раньше,— кончилось, все это говорят, а я видел и слышал все, что ты делал раньше, но теперь ты не имеешь права. Теперь ты для дяди Нансена никто, теперь он может поступать как хочет, я знаю, понял?

Он ударил меня, и я упал на колени в песок. Удар пришелся в нижнюю челюсть. Второй удар только задел меня по щеке.

— Вставай,— приказал он.

Я не вставал. Он схватил меня за ворот рубашки, поднял, притянул мое лицо вплотную к своему, так что я вынужден был стоять на цыпочках и касаться его всем телом. Последовал упорный поединок взглядов— на такие штуки мой папаша был спец,— но, как ни пристально он изучал мою сетчатку, я впервые выдержал его взгляд, я смотрел, не отводя глаз, прямо в его суженные зрачки — так близко мне редко приходилось его видеть. Оказалось, что лицо у него все в морщинах и искажено злобой,— ему даже шла эта озлобленность, она открыто свидетельствовала, что участковый инспектор недоволен поворотом дел в мире.

— Ишь ты,— сказал он,— и ты тоже, оказывается, кое-что знаешь. Наслушался! Тебе, стало быть, известно, что нынче дозволяется. Что началось и что кончилось — все тебе известно. И то, что настали новые времена, тоже для тебя не секрет! — Он отпустил мой воротник и оттолкнул от себя, но не очень сильно, я не упал.— Слыхать ты много слыхал,— продолжал он,— да вот одного не слышал: что надо быть верным себе до конца, что свой долг надо выполнять при любых переменах, при любых обстоятельствах: я имею в виду свой осознанный долг. Ты, значит, собираешься всем рассказать, что твой отец поступает так-то и так-то, потому что он осознает свой долг? Ну что ж, иди рассказывай всем встречным и поперечным, можешь и ему доложить, в Блекенварфе, ты ведь там днюешь и ночуешь. Иди, иди, доноси на отца. Только помни: я с Клаасом справился, а уж с тобой и подавно справлюсь.— Он вздернул голову: белые сжатые губы, стиснутые челюсти, презрительный — не злорадный, а просто презрительный взгляд. Но жесты неуверенные, нечеткие, как у человека, разговаривающего с самим собой.— Хочешь сказать что-нибудь еще?

К моему собственному изумлению, я, несмотря на то что собирался было отрицательно покачать головой, вдруг заговорил: я повторил еще раз, что он не имеет больше права шпионить, конфисковывать и уничтожать; я сказал ему, что никакого запрета заниматься живописью больше не существует и теперь никакой долг уже не обязывает его вмешиваться в чужие дела. Но я вовсе не угрожал и не стал говорить ему, как я его ненавижу. Однако он, наверно, это почувствовал, и мой страх тоже, потому что подошел ко мне и процедил:

— Не лезь в это дело, тогда у нас с тобой все опять пойдет на лад, не лезь в это дело, слышишь?

Он умолк, еще раз посмотрел на засыпанный песком костер, удовлетворенно кивнул головой, пошел к велосипеду, взял его за руль и повернул в направлении дамбы; на меня он даже не оглянулся, но, как видно, решил, что я иду за ним, потому что я слышал, как он что-то говорил и называл мое имя; я поплелся за ним и только у самой воды, обращаясь к его спине, передал ему поручение, из-за которого я и пошел его искать. Не подумайте, будто Йенс Оле Йепсен остановился, услыхав, что его ждут в Блекенварфе и что он должен туда явиться, поскольку там полицейский комиссар и всякие большие шишки, ну, и все такое прочее. Он молча выслушал мое сообщение, обошел дюну и поехал по берегу вдоль дамбы до того места, где можно было пересечь ее и прямо попасть на обсаженную ольшаником дорогу, ведущую в Блекенварф. С разгону он толкнул незапертые, как всегда, чуть раскачивавшиеся взад-вперед ворота, медленно въехал во двор, слез с велосипеда и первым делом посмотрел, как и я, в сторону Хузумского шоссе; оба мы сразу увидели две оливково-зеленые машины, заворачивавшие к Блекенварфу.

Отец хотел сначала прислонить велосипед к стене дома, потом отвел его подальше, к поленнице; в дом он не пошел, а распахнул ворота пошире и стал ждать; тут подоспел я, и подпирая спинами ворота, мы образовали жалкий караул для медленно подкатывавших машин, на секунду скрывшихся было за живой изгородью хольмсеновской усадьбы. С самого своего возвращения из лагеря отец ни разу не побывал в Блекенварфе, не обменялся с художником ни словом, ни приветствием, даже не осведомился, все ли там по-прежнему. Он терпеть не мог перемен и потому не спрашивал о переменах — во всяком случае, не спешил о них узнать. Сейчас он спокойно, но отнюдь не безучастно стоял рядом со мной у входа по стойке «вольно», и пока суд да дело, велел мне проверить, хорошо ли сидит на нем форма и сзади и спереди, потом пучком травы почистить ему сапоги — не до блеска, конечно, но смахнуть с них пыль.

Не знаю, чего я-то там стоял, как в карауле; а он, еще не различая лиц, уже приложил руку к фуражке, и так мы отсалютовали машинам, въехавшим во двор чуть не впритирку одна за другой.

А теперь я представлю вам четырех господ — разного роста, по-разному одетых, с разными физиономиями; я позволю им сначала осмотреться, обратить внимание на пруд, сарай, мастерскую, сад, на частично видимый приморский пейзаж,— тут мои господа с неизменным единодушием придут к одной и той же мысли, прочтут ее в глазах друг у друга: «Так вот, значит, где он живет, вот мир, окружающий его».

Итак, господа закивали друг другу — каждый осознавал значительность момента. Шоферы объехали вокруг пруда и поставили тяжелые оливково-зеленые машины вровень одна с другой.

Как бы мне получше описать четырех прибывших господ? Проще всего начать с Бодрячка — он единственный был в военной форме; итак, непокрытая голова, в углу рта изогнутая трубка, жиденькие усики, на груди — колодка орденских ленточек, лицо и руки в веснушках, на погонах — корона и большие звезды, одну ногу слегка волочит,— осклабив-

шийся тюлень. Окружной комиссар — точнее говоря, тот, что оказался окружным комиссаром,— рядом с ним производил впечатление совсем невзрачное: он был на голову ниже тюленя, хлипкий, сутулый, чуть ли не горбатый, руки засунуты в карманы, словно он продрог, пиджачишко обтрепанный — познакомьтесь: мистер Гэйнз. Самый молодой выделялся не столько своей костлявой физиономией, непрерывно курившейся сигаретой и замшевыми — на мой взгляд, невероятной величины — ботинками, сколько голосом: когда он говорил — а он был переводчиком и потому говорил вдвое больше других,— то начиналась такая трескотня, как будто на соседнем хуторе у Зёльринга все семейство вышло с трещотками отгонять скворцов от вишневого сада. Четвертый? Мягкая фетровая шляпа, очки в стальной оправе, пухлый портфель.

Я уверен, что в доме не только были предупреждены об этом визите, но и давно уже заметили гостей. Тем не менее дверь не открывалась, никто не выходил их встречать, и они стояли, глядя на осенние клумбы, в полном молчании — должно быть, откапывая в своей памяти названия цветов. На их лицах было написано преувеличенное выражение интереса, восхищения, чуть ли не благоговения. Потом они прошлись по саду, обозрели снаружи мастерскую, вернулись во двор, принялись показывать друг другу на уток, тревожно сбившихся в кучку посреди пруда, и, наконец, направились к нам. Мы с отцом вытянулись в струнку по обе стороны порога — я бы опять сказал: как жалкий караул; отец — поближе к ним, я — подальше. Мы ели глазами приехавших господ и своей упорной неподвижностью заставили их, наконец, обратить на нас внимание; они действительно нас заметили, судя по тому, как резко переменили шаг, перейдя от неторопливого, почти мечтательного променада к целеустремленному спорому маршу.

Отец отдал честь. Рукопожатия. Короткие вопросы, в благосклонном тоне. Такие же короткие, но без всякого выражения ответы участкового инспектора. Мне Бодрячок и переводчик тоже потрясли руку — правда, даже не взглянув на меня: мы-де люди важные, нам позволительна рассеянность. Переводчик спросил своим трескучим голосом:

— Ну, как дела?

На такие вопросы я принципиально не отвечаю. Отец — не из услужливости, а скорее по долгу службы — осведомился, не постучать ли ему, так сказать, вместо гостей. Окружной комиссар улыбнулся, дважды собственноручно постучал в дверь костяшками слабо сжатых пальцев и, приготовившись к ожиданию, повернулся было к своим спутникам, но в этот миг дверь перед самым моим носом распахнулась, что несколько ошарашило господина комиссара.

Конечно, эта квочка — художникова домоправительница — могла бы потерпеть и подольше, сосчитать хотя бы до десяти, прежде чем дернуть за ручку; но, как видно, нервы не выдержали: слишком долго она там простояла, в прихожей. В общем, Катрина, или Тринхен, как запросто звал ее художник, уроженка из Фленсбурга, дальняя-предальняя родственница Дитте, предстала перед окружным комиссаром, несколько скоропалительно протараторила: «Добро пожаловать» и вежливо отступила в сторону, тем самым приглашая гостей войти. Четверо господ исчезли в полумраке прихожей. Мы остались снаружи, раздумывая, как бы скоротать время, но окружной комиссар тут же вернулся и не только сделал нам знак следовать за ним, но даже пропустил вперед и сам закрыл дверь.

Из огромной гостиной в прихожую падал яркий свет. Мы вошли в комнату друг за другом. Я сразу протиснулся вперед и увидел художника. Он полулежал на длинном диване, где все эти годы, бывало, сидел Тео Бусбек; из-под темно-синего пальто виднелась ночная рубаха из грубого холста, на босых ногах, покрытых вздувшимися венами, были до-

машние туфли. И, разумеется, шляпа на голове. На столе, придвинутом к дивану,— трубка, табак, стопка нераспечатанных писем. Серое шерстяное одеяло сползло на пол — квочка с укоризненной поспешностью подняла его, свернула вдвое и прикрыла художнику ноги.

— Он только что после гриппа,— сообщила она.

Художник, словно желая от нее отделаться, распорядился:

— Сварила бы ты нам кофе да плесни туда чего-нибудь, а пока что не мешало бы принести сюда парочку стульев.

Она бросила на него возмущенный взгляд, и художник рассмеялся, протянул окружному комиссару руку, тот истово ее потряс, после чего Нансен поздоровался за руку со всеми: с Бодрячком, с переводчиком, со шляпой, со мной и, наконец, с участковым инспектором. Отец явно не рвался быть удостоенным этой чести, наоборот, он всячески пытался избежать рукопожатия, но, поскольку очередь была за ним, ему не оставалось ничего другого, как последовать примеру остальных: «Йенс?» — «Макс?» Никому и в голову бы не пришло, что тут было что-то особенное. Мы пододвинули стулья, сели полукругом перед диваном и уставились на полулежавшего художника; лоб у него был влажный от лихорадки и слабости, но хитроватые серые глаза смотрели на нас внимательно и довольно добродушно.

Как приступить к разговору, который в определенный момент должен принять официальный оборот, если главное действующее лицо лежит перед вами в ночной рубашке и в пальто, после болезни? О болезни, конечно, сразу и пошла речь: потолковали о гриппе (ах, как некстати, но это погода сейчас такая), потом, как от него лечатся в Шлезвиг-Гольштейне и в Англии: оказалось, по-разному. Окружной комиссар, например, никогда в жизни не болел гриппом, а вот жена так буквально каждую весну простуживается, и так далее. Художник сказал:

— Ну, от такого гриппа никто еще не окочурился, подержит и пройдет, надо его только почаще заливать кофе со спиртным. Что это Катрина так долго там возится?

Потом поговорили о художниковом саде, об осенних куртинах, о том, как осень перемешивает все краски,— господин с орденскими планками оказался прямо-таки знатоком флоры и блеснул, наведя разговор на губоцветные и мотыльковые. Тут подоспела квочка с кофе, и ни от кого не могли укрыться негодующие взгляды, которые она бросала на художника все время, пока накрывала на стол, разливала кофе по чашкам и под конец, возмущаясь уже в открытую, поставила на стол бутылку водки; художник сразу же взял бутылку в руки и откупорил, пояснив:

— Кофе без приправы — не кофе.

Гости — все, кроме меня,— плеснули себе «приправы». Переводчик, подняв чашку, провозгласил:

— Будем здоровы!

Художник ответил:

— Вот видите, когда мы пьем кофе, мы можем с полным правом желать друг другу здоровья.

Окружной комиссар, то и дело сам переходивший на немецкий, эту фразу попросил ему не только перевести, но и растолковать, а потом взял свой портфель, встал, нажал на защелки обоих замков и извлек из него что-то голубое, вроде папки, жесткое, большого формата — внушительное, что называется,— подержал в руках, подошел к дивану, и я увидел, что это действительно коленкоровая папка. Комиссар поднес ее художнику — может, и не с благоговейной, но, во всяком случае, с почтительно-шутливой церемонностью — и деликатно остановил Нансена, едва тот протянул руку к загадочному подарку: полагалось еще произнести речь, комиссар хотел кое-что сказать, и, пока он собирался с духом, мы по такому случаю все поднялись с мест.

Последовала самая тихая речь, какую я когда-либо слышал. В ней говорилось о Королевской Академии в Лондоне, которая, учитывая выдающиеся заслуги Макса Людвига Нансена перед всем европейским искусством, единодушно постановила... поскольку художник оказал Академии высокую честь, приняв это отличие, данный диплом... Тут художник снова протянул руку за папкой, но комиссар опять деликатно отстранил его; он еще хотел добавить несколько слов лично от себя; он заявил, что в его обязанности не входит выполнять поручения Королевской Академии, но в данном случае ему доставляет особое удовольствие от всего сердца... к тому же у него как раз были дела поблизости, а его добрый друг, генерал Тейт, настоятельно просил позволения присоединиться... они, в общем, все явились сюда, чтобы не только передать мистеру Нансену диплом почетного члена Академии, но и выразить лично свое глубокое восхищение художником, которого они ценят как замечательного представителя свободного и независимого искусства,— ну и все такое прочее.

После этих слов художник получил, наконец, свой диплом, комиссар поднял чашку с кофе и сказал:

— Как я понял, этот напиток вполне пригоден, чтобы произносить тосты.

И мы все выпили за здоровье художника. Отец тоже. Оттопырив мизинец, держа чашку на уровне груди, косясь одним глазом на высокое начальство, отец, стало быть, тоже выпил за здоровье художника, а тот только мельком посмотрел на диплом, положил его на стол рядом с письмами и, показав на бутылку, предложил гостям угощаться самим. Гости начали угощаться, потом закурили. Отец не курил.

Господин в военном, любезно осклабившись, сообщил, что у него дома, в Ноттингеме, есть несколько полотен Нансена,— он упомянул названия и даты. Художник ошеломленно посмотрел на него. Ведь эти картины — например, «Женщина с маками», ну конечно же! — когда-то находились в музеях, в Дрездене и Гейдельберге, потом их конфисковали и отправили в Берлин, а там уничтожили! Нет, как раз эти картины он, генерал, купил в Швейцарии.

— Значит, это правда? — сказал художник. До него время от времени доходили слухи, которым он отказывался верить: будто эти маньяки из Берлина через посредников продавали конфискованные произведения живописи за границу, чтобы получить валюту.

— Естественно,— ответил генерал. Раз он купил эти картины в Швейцарии, значит, их не уничтожили; ему вообще известно, что очень многие картины современных художников не были уничтожены, а были переправлены в другие страны.

— А я-то думал, что все они погибли,— сказал художник,— все восемьсот.

О нет, отозвался генерал, он может успокоить Нансена, если в данной ситуации уместно такое выражение. Существует даже приблизительная статистика этих сделок; возможно, когда-нибудь удастся установить и более точные цифры.

Беседа шла, как обычно: заговорят о чем-то, потом переключатся на что-нибудь еще; вопросы набегают один на другой, но вот какая-то фраза — и разговор перескакивает на что-то другое. Речь коснулась запрета заниматься живописью, и комиссар спросил:

— Как вам вообще жилось в эти годы? Неужели такое возможно? Трудно даже себе представить.

— Бывали вещи и похуже,— возразил Нансен. Приходилось, конечно, приспосабливаться к новым условиям, привыкать, принимать на всякий случай меры предосторожности, но вообще он не знает в мире ни

одного художника, который так бы уж строго выполнял приказ о запрете. Ведь художник не только тогда художник, когда стоит перед мольбертом,— он рисует всегда, иначе он не художник. Можно ли запретить человеку видеть сны?

Он неточно выразился, продолжал комиссар, его интересует, как этот запрет осуществлялся практически: посредством полицейского надзора? Обысков? Кто же их проводил?

Уж не собирался ли отец ответить? Он заерзал на своем высоком стуле, прижался покрепче к его резной спинке, руки начали вертеть фуражку, щека задергалась, он поскреб ее большим пальцем. Но тут снова спокойным тоном заговорил художник:

— Надзор за соблюдением запрета был возложен на местную полицию. Впрочем, это оказалась своего рода палка о двух концах, поскольку на местах все друг друга хорошо знают; но в общем все обошлось сравнительно благополучно.

— А потери?

— Были, конечно, и потери. Это ведь неизбежно.

— А создать за эти годы что-нибудь новое удалось?

— Разумеется. Кое-что все равно создавалось, вопреки всем запретам.

— А какова судьба конфискованных картин?

Художник пожал плечами и вдруг сказал:

— Чего можно требовать от человека, который знает только свой долг и ничего больше? Такому человеку часто самому трудновато приходится.

Беседа течет своим чередом. То и дело всплывает, вынырнув из общего потока, какая-либо тема; собеседники подхватывают ее, но она вдруг куда-то ускользает и плывет себе дальше. Люди сидят и беседуют — как в лодке, которую прибьет то к одному берегу, то к другому, здесь подобрали одно, там еще что-то.

Устроят ли когда-нибудь большую выставку Тёрнера, поинтересовался художник. Он согласился бы поехать хоть на край света, даже рискуя осложнением после гриппа. Генерал ответил, что в его собрании картин есть несколько вещей Тёрнера и если бы художник заглянул к нему как-нибудь в Ноттингем, он рад был бы их показать. А почему его так интересует Тёрнер? Потому что у Тёрнера все кажется невесомым, парит в пространстве. Конечно, другие тоже это умеют. Умеют почти все. Но Тёрнер добивается эффекта с помощью одного лишь освещения. Вот ему и хотелось бы увидеть всего Тёрнера собранным вместе, чтоб всмотреться попристальней.

— В таком случае, почему бы вам и вправду не посетить Ноттингем? — предложил генерал.

Окружной комиссар осведомился, бывал ли художник в Лондоне. Нет, ни разу, и сомневается, что уж когда-либо побывает; прежде он любил путешествовать, а теперь... Кроме того, в больших городах ему как-то не по себе, это чувство сохранилось до сих пор. Впрочем, и здесь, между Глюзерупом и Хузумским шоссе, еще столько осталось нераскрытого, чего он так еще и не отразил. Он, конечно, никогда не изучит до конца этот клочок земли и людей, живущих на нем, но все-таки хочется поглубже вникнуть в них и понять. Тут опять вмешался генерал: разве столица не предоставляет лучших возможностей для работы? На это художник ответил словами, которых я не забуду вовек:

— Наши столицы находятся в нас самих. Моя столица — здесь. Здесь есть все, что мне нужно, и даже больше. Оставшихся мне лет жизни не хватит, чтобы рассказать об этом уголке земли все, что о нем стоило бы рассказать. Здесь и поля, и луга, самый воздух таят в себе столько сокровенного; а какая глухая, неведомая нам жизнь идет ночью на

наших болотах, на берегу моря; под нашим небом, черным от туч, людям бывают голоса, тысяча страхов теснит им сердце, у нас есть провидцы; а как медлительны, неповоротливы здесь у людей мысли, как необычно, на свой лад конфликтуют мои земляки с законами, правда, Йенс?

Отец чуть не подскочил от неожиданности и тупо уставился на художника.

— Я хочу сказать,— продолжал тот, обращаясь к отцу,— что если бы ты начал ворошить свою служебную практику, ты бы такого мог порассказать о здешних людях, чего ни в одной столице не услышишь. Все, что происходит в большом мире, все это можно увидеть у нас — или я ошибаюсь?

Наступила пауза, все смотрели на отца, ожидая ответа, хотя бы подтверждения. Но участковый инспектор Ругбюля не сказал ни слова. Он только кивнул — и все.

Художник снова принялся потчевать гостей, но все сделали вид, что не расслышали приглашения. Генерал выразил желание побродить по мастерской, и вообще лучше было бы сидеть там, а не здесь, но это, вероятно, неудобно? Художник, с наигранно сокрушенным видом показал на кухню, где хлопотала квочка, и этим ограничился.

— А как-нибудь в другой раз можно?

— В другой раз — с удовольствием, только не сегодня. Если б была ее воля, то домоправительница не позволила бы мне даже вставать, — серьезная женщина, так что пытаться настоять на своем совершенно безнадежно.

— Что ж, условились, обязательно заедем к вам снова, может быть, даже в следующем месяце. Мы были бы счастливы.

— Я также.

— Еще раз: наши самые искренние поздравления и наилучшие пожелания.

— И я вам от всей души желаю всего хорошего, большое спасибо за визит.

— Нет, это мы должны благодарить. Прежде всего — скорей выздоравливайте.

Четверо людей, занимавших в обществе весьма различное положение и потому принимавших далеко не одинаковое участие в разговоре, начали прощаться, они тянули руки так, что рукава задирались чуть не до локтя, склабились, кожа у них на лице задвигалась, натягиваясь в одном месте, собираясь морщинами в другом, каждый на шаг приближался к дивану, отступая назад, а потом все боком стали пятиться к двери, не отрывая глаз от больного. Отец попрощался последним; сперва он — я это ясно видел — долго прикидывал, не уйти ли ему просто так: мол, в суете прощальных приветствий никто не заметит его бессловесного ухода. Потом он все-таки подошел к художнику, надутый, очень важный, но без особой враждебности, вытянул физиономию до предела и подал художнику поросшую белесыми волосами руку, явно постаравшись не отвечать на пожатие.

— Там еще спиртного на чашечку кофе осталось,— сказал художник.

— Дел у меня много,—ответил отец.

— Значит, не хочешь? Какая жалость.

Отец вышел из гостиной, не глядя на художника,— в отличие от четырех приезжих. Что он сделал, очутившись на улице? Взял велосипед, встал у разболтанных ворот и подождал, когда подъедут тяжелые машины; он отдал честь раньше времени и, хотя между первым и вторым автомобилем было порядочное расстояние, держал руку у козырька и не опускал ее до тех пор, пока машины — каждая коротко взревев — не миновали бревенчатый мост.

16. Страх

С одной стороны, гимназия имени Теодора Шторма в Глюзерупе была, что называется, солидным заведением; с другой стороны, дорога в школу стала втрое дольше. С одной стороны, мне нечего теперь было бегать от всяких там Йобстов и Гейни Бунье; с другой стороны, задавать стали так много, что все мои вечера пошли насмарку. С одной стороны, учителям в гимназии не разрешалось нас бить; с другой стороны, учитель Плённис частенько раздавал нам увесистые оплеухи, но я скучал по нему. С одной стороны, я понимал, что мать права, когда она то и дело подсовывала мне свою жвачку насчет того, что ученье — это в будущем верный кусок хлеба и что человеку с гимназическим образованием открыты все дороги; с другой стороны, на какого беса мне сдались греческие вокабулы, если я не собирался ехать в Грецию. С одной стороны, я понимал, что далеко не всем удается попасть в гимназию; с другой стороны, меня злило, как отец без конца всем рассказывал о моем поступлении.

Таким образом, хотя мое отношение к гимназии имени Теодора Шторма было достаточно противоречивым, мне ничто не помогло: они втиснули меня туда на стипендию, подарили мне новый портфель, раздобыли где-то почти новый велосипед, всячески старались пробудить во мне еще большее рвение к ученью — а вдруг оно у меня проснулось не полностью! — выдавали мне на два бутерброда больше обычного и, провожая из дому, придирчиво осматривали мою рубашку, гетры, ногти, а когда я садился на велосипед и нажимал на педали, время от времени махали мне вслед — даже мать. В общем, пришлось сказать «аминь» и согласиться на все, что они мне уготовили, а за это я получал вознаграждение: сласти, бутерброды, добавочные карманные деньги и самое ценное — право, чтобы меня не тревожили в моей комнате. Вполне возможно, что отец вдруг завалил меня всеми этими благами, вычитав в «Кратком руководстве для инспекторов полиции» о более широких возможностях продвижения по службе для полицейских с гимназическим образованием. И вот, чтобы из меня мог вылупиться начальник полиции в каком-нибудь крупном городе или, на худой конец, в городе поменьше, Хильке вечерами не дозволялось ни петь, ни слушать радио, за что она жутко на меня злилась,— обычное дело.

Хотя маршрут свой я давно знал наизусть и с закрытыми глазами отыскал бы любую дорогу и тропинку, поездки из школы и в школу мне никогда не надоедали, даже при встречном ветре, когда ехать было очень трудно. Все оставалось неизменным, но каждый раз все выглядело по-другому, потому что другим было освещение, другим — небо; сколько неожиданностей таило в себе одно море: по пути в гимназию оно широко и лениво, будто спросонья, лизало берег, а на обратном пути швыряло на буны хмельные волны цвета сине-зеленых чернил. А хутора — то притихшие, обреченные зябнуть под бесконечной сеткой дождя, затерянные в сером тумане, то спесивые, чванные, с полуденным дымком над трубой — когда упадет на них сверху молочно-белесый луч или вспыхнут и заиграют зеленью окрестные луга. А ветер то свистит в спицах, и забавляется, и помирает со смеху, оттого что чуть не сбил тебя с велосипеда; то яростно швыряет тебе в лицо пригоршни дождя, рвет накидку, сталкивает с дамбы. Как быстро здесь все меняется — каждый день и каждый час,— и поневоле задумываешься над переменами, а кого-то, может быть, эти перемены и раздражают.

Как-то нам задали на дом сочинение: «Мой идеал человека». Я сидел и раздумывал: кого бы представить идеалом? Отца — участкового инспектора Ругбюля? Макса Людвига Нансена — художника? А может

быть, доктора Бусбека — этот образец терпенья? Или брата Клааса, чье имя нам дома не разрешалось даже вспоминать? На кого я хотел бы быть похожим, кому подражать, кому я и в подметки не годился? Если отец для этого не подходит, то почему? Если подходит художник — опять-таки почему? Я уже чувствовал, что самое главное в этой теме — оценка, что в оценке тут вся заковыка, и поскольку мне никак не удавалось и, видимо, никогда в жизни не удастся оценивать знакомых людей по системе Треплина, нужно было поискать свой идеал где-нибудь в другом месте, в другой эпохе; лучше всего, решил я, было бы отделаться идеалом выдуманным, смастерить, слепить идеал самому, пусть даже с человека, которого никогда и на свете-то не было. Но на какой идеал я бы хотел походить? Пока я раздумывал, в моем окне вдруг заиграли красноватые блики, запрыгали у меня по рукам, по тетрадке для сочинений, заметались по стенам комнаты, и сразу внизу захлопали двери, послышались шаги, крики, первым я различил голос Хильке:

— Пожар, Зигги, скорей, пожар!

— Где?

— Да вон! Спускайся скорей!

Горел мой тайник! Горел мой чердак на мельнице, выставка картин, коллекция ключей и замков! Горели мои всадники и «Человек в красном плаще»! Горела моя старая бескрылая мельница, высоко стоявшая на своей земляной насыпи над прудом,— любимая моя мельница. Завыла пожарная сирена или мне показалось? Сирену я слышал, но машины не было видно, наверняка еще и не выехала. Горел чердак, именно чердак! Языки пламени вырывались из верхних люков и разбитых окон, колышущимися столбами неслись вверх. А в пруду пылал еще один пожар, только поспокойней. Вверху и внизу дождем сыпались искры, фейерверком расцветали желтые и красные букеты, а ветер, самим огнем порожденный ветер гнал их по равнине в сторону Хольмсенварфа. Горел князь Юсупов, королева Изабелла Бурбонская и император Карл V, скачущий по полю битвы под Мюльбергом. Горели два «Невидимых рисунка», горели «Сборщики яблок», принадлежащие Клаасу. Столбы пламени соединялись над крышей, их косо сносило в сторону. Бушевала огненная метель — порывистый ливень красного пепла на фоне светло-серого неба. Еще мгновение — и кровля рухнет.

Я сорвался с места и на бегу увидел других людей: они тоже бежали на пожар с хуторов, прямо через луга, вдоль дамбы: всем хотелось поспеть вовремя. Ох, как они торопились. Пролезали под оградами из колючей проволоки, перемахивали через канавы, обгоняли друг друга — и все только из-за того, чтобы захватить удобное место.

Я слетел с крыльца.

— Куда ты? — закричала Хильке.

— Назад! — закричала вслед за ней мать.

Я промчался по двору, по кирпичной дорожке, мимо шлюза; когда я несся вдоль рва, заполненного водой, на него упал отблеск огня. Срезая путь, я бросился напролом сквозь камышовую заросль, окаймлявшую пруд, и выбежал на дорогу, как раз в тот момент, когда обрушилась кровля. Она провалилась внутрь мельницы, прямо на жернова, взметнув кверху целую вьюгу искр; раздуваемое воздушной тягой пламя рвалось в небо, словно из огромной неуклюжей трубы. Я стоял и смотрел, как трудится огонь, как его языки лижут стены, пробуют их на вкус, разбегаются, устремляются ввысь и, злобно треща, бьются и плещут полотнами на ветру. Раскаленная головешка вылетела из открытой двери и с шипением плюхнулась в мокрую траву прямо у моих ног; я и не подумал затоптать ее. Я смотрел на огонь. Двое мужчин пытались выломать балкой дверь, та не поддавалась — лишь снялась с петель и повисла наис-

кось в проеме. Никто не тушил пожара, хотя все только об этом и кричали. Языки пламени вырывались теперь уже и из нижних окон, взбегали по стенам мельницы вверх.

Когда я в последний раз видел пожар? Кажется, в самом начале войны: тогда загорелся скотный двор у Хольмсена, и мужчины едва успевали отгонять спасенных животных, рвавшихся назад, в свои охваченные пламенем стойла.

Я не заметил, как кольцо зевак отступило назад, подальше от нестерпимого жара. Я стоял теперь у полыхающего строения совсем один, закрыв глаза, резкая пульсирующая боль пронизывала меня, она меня раздирала, билась во мне толчками, колола иглами, все сильней, сильней; меня бросало то в жар, то в холод, но я не хотел, не хотел, я сопротивлялся ее натиску, а он становился с каждой секундой настойчивей, вокруг меня все закружилось — горящая мельница, тени людей,— и быстрее всего вертелся мой тайник, все мои богатства: ящик с замками, стены, увешанные картинами, мой лежак,— они вертелись все быстрей, все стремительней, картины слились в одно полотно, в одну крутящуюся ленту, я протянул руки и бросился туда, прямо ко входу, к стене огня, к этой трепещущей, колышущейся завесе пламени. Я нырнул под снятую с петель дверь и ринулся вверх по огромным стертым деревянным ступеням; там уже горели мучные лари, и лестница, и тесовые стропила.

Какой яркий свет — ничего не различить, такой яркий свет! Я заслонил глаза рукой, я задыхался, в голове мелькнуло: «Скорей к подъемному блоку!» — и тут они меня схватили и выволокли вниз по лестнице наружу — двое мужчин, уж не помню кто. Я бился у них в руках, извивался ужом, раза два ударился оземь, чтоб вырваться,— не помогло: они держали крепко. Один сказал:

— Смотри не упусти, а то он опять туда кинется.

Тут они так меня зажали, что я повис между ними и стал хватать воздух ртом. Сквозь неохотно раздавшуюся толпу они протащили меня вниз по тропинке к пруду и только там отпустили; я рухнул наземь, а они велели мне окунуть в холодную воду руки, лицо, смочить затылок.

Когда я поднял глаза, они засмеялись, и один сказал:

— Чуть не испекся, дурачок.

После этого они повернулись ко мне спиной и опять уставились на огонь.

Я тоже смотрел на огонь, вернее, на его зыбкое отражение в воде, но недолго: из Глюзерупа приехала пожарная машина, начали разматывать шланги и поволокли насос к пруду; я поднялся и пошел, не оглядываясь, оставив свою мельницу им, отдав им этот столб огня, не подпускавший сумерки к низине. Все время, пока я шел мимо пруда, по лугам, мимо застывших в неподвижности коров, колющая боль не утихала: она взбегала вверх по позвоночнику, стреляла в виски, пронизывала меня жаром и холодом. Один раз я остановился — услышал голос отца; он, значит, уже на посту, уже командует. Дощатые заборы, коровы, я сам — все отбрасывало пляшущие тени; я шел в Блекенварф — шел туда, как будто это само собою разумелось, как будто меня там ждали. Ветер усиливался. С пожара донесся чей-то вопль — что-то там случилось; я даже не обернулся. Надо мной низкой лентой, прижатой к земле ветром, протянулась полоса дыма, цыпляясь впереди за кустарники Блекенварфа: видимо, начали тушить. Дорога слегка пошла в гору, вот уже и бревенчатый мостик.

Я остановился, но художник давно уже заметил меня; он молча стоял на другом конце мостика — во рту потухшая трубка, руки глубоко засунуты в карманы пальто, легонько хлопавшего его полами по ногам. Он стоял так неподвижно, что можно было принять его за часть изгороди.

— Иди, иди,— сказал он,— иди сюда.

И я подошел к нему. Он обнял меня за плечи, и мы вместе стали смотреть на горевшую мельницу. Мне показалось, что она уже пошатнулась и вот-вот рухнет. Я вспомнил «Верного друга мельницы», великана, выраставшего на картине, его коричневатый палец, отсвечивавший огнем,— разве не в такой же тьме, как сейчас, собирался тот старик исполин легким щелчком привести в движенье заброшенную мельницу? Часть мельничного остова откололась и обрушилась, фонтаны огненных искр брызнули ввысь. Что толку было в великановой доброте, в его простодушной вере?

— Спокойно, спокойно, Вит-Вит,— сказал художник.— У тебя что-то случилось? Ты хочешь мне что-нибудь сказать? Стой спокойно, малыш. — Сам он тоже стоял неподвижно, следя за тем, как горит бескрылая мельница,— а ведь она и для него кое-что значила! Но он хранил полную невозмутимость и никуда не рвался со своего бревенчатого мостика; хотя кто его знает — может, он уже побывал там, около пожара, а потом вернулся сюда,— я вполне могу себе это представить.

Над нами тянулась черная полоса дыма, как из трубы парохода. Глаза художника сузились; он неотрывно глядел на огонь и не двигался с места. Наконец, обвалилась вся мельница, надломилась посередине, накренилась, грянулась оземь и раскололась, взметнув к небу яркий сноп пламени и расшвыряв по сторонам вертлявые комья огня; раскаленные головни заскакали вниз по склону, некоторые докатились до пруда и там, шипя, угасли, другие при каждом скачке выбрасывали фейерверки искр. Шлейф дыма приобрел иной цвет — сделался сернисто-желтым, приобрел иной запах — сделался едким и удушливым; теперь ветер гнал этот дым прямо нам в лицо, и минуту-другую спустя художник сказал:

— Вот и все, Вит-Вит, пошли в дом.— И повел меня вдоль живой изгороди, через сад, в мастерскую.

Там он зажег свет, надел очки, взял меня за подбородок и заглянул в глаза.

— Ты что, был в мельнице, когда она загорелась? У тебя ресницы опалены и волосы, будто ты и в самом деле там был. Тебя знобит?

Я пожал плечами, а он, все еще глядя мне в лицо, озабоченно продолжал:

— Приляг на минутку, Зигги, полежи, я принесу тебе чего-нибудь попить, стаканчик пахты приведет тебя в чувство.— И он ласково повел меня к одному из бесчисленных лежаков, стоявших в мастерской; я долгое время был убежден, что по ночам на эти лежаки и топчаны укладываются спать герои его картин — все эти словенцы, пляжные танцовщицы и желтые пророки, согбенные жнецы и плутоватые зеленые коробейники. Однажды художник, смеясь, сам подтвердил, что вся фосфоресцирующая братия, собранная на его картинах, и впрямь ночует на этих лежаках; я тогда недоверчиво посмотрел на него, а он нахмурился: раз он сказал, значит, надо верить.

Он подвел меня к лежаку: сверху — грубое застиранное полотно, под ним солома. Я сел на это странное ложе, а Макс Людвиг Нансен осторожно поднял и положил на него мои ноги, укрыл меня одеялом и посмотрел сверху вниз с напускной строгостью.

— Вот так и лежи — нравится это тебе или не нравится. Понял? Лежи тихо и жди, пока я не приду. Понял? Я недолго.

— А свет? Свет ты оставишь?

Он кивнул:

— Конечно оставлю, а то ты, чего доброго, сбежишь.

Он старательно взбил мне подушку, и я снова лег, усмиренный его заботами и словами. Когда он уходил, лицо у него было очень серьезное; я прислушивался к его шагам, нерешительно удалявшимся к двери; резкий сквозняк прошелся по комнате, полистал в записях, в беспорядке

лежавших на столе; несколько бумажных четвертушек слетело на пол. Я не видел художника, но чувствовал, что он снаружи остановился у окна и еще раз посмотрел на меня, прежде чем войти в дом. Вот тут все и началось.

Я должен вспомнить, очень точно припомнить, что, собственно, тогда произошло, потому что это и был самый первый раз; я честно собирался ждать художника: лежал и дрожал под одеялом,— до этого момента я еще могу объяснить все с помощью сопоставлений. Света было достаточно, мастерская была мне хорошо знакома, время, которое мне предстояло провести одному, ограничено, во всяком случае, можно было примерно рассчитать, когда художник вернется со стаканом пахты. У меня совсем не было такого ощущения, что я здесь гость. Вот до этой минуты я ручаюсь за все; я и сейчас отчетливо вижу себя самого — как я лежу на топчане, до подбородка укрытый коричневым одеялом, в окружении знакомых мне картин. Но вот переход — как мне уловить переход? Или для меня и не было никакого перехода?

Может быть, все началось так: я почувствовал, что за мною следят— и не просто следят, а смотрят как на знакомого. Это были не словенцы — те сидели за круглым столом с осоловелыми, блаженными от выпивки глазами. Рыночных торговцев и коробейников интересовала только шедшая мимо старуха; согбенные жнецы, подгоняемые ветром, торопились кончить работу до надвигавшейся грозы. Танцовщики на берегу? Пророки? Те и подавно говорили только с самими собой.

Нет, следили за мной, должно быть, двое менял с застывшими как маски лицами и с зелеными, чуть тронутыми желтизной руками. Они уже больше не перемигивались друг с другом, кося уголками глаз на сидевшего перед ними ссутуленного старика, чье горе их не трогало, чья беда им была только на руку. Мне показалось, что они подняли глаза и из этих безразличных, ледяных глаз исчезла всякая самоуверенность. Я не мог этого объяснить — да мне было и не до объяснений: картина вдруг съежилась, внезапная боль резанула виски, где-то в глубине перспективы возникла мигающая световая точка и устремилась к переднему плану изображения; менялы будто затаили дыхание, а я вцепился обеими руками в одеяло, потому что мне вдруг стало ясно: оттуда, из глубины, приближался к картине маленький язычок пламени, приближался неумолимо, неуклонно. Что побороло мой страх, мою оторопь, мою слабость? Ужас? Помню только, что несколько мгновений, весь замерев от страха, я смотрел на движущуюся огненную точку. Помню только это. Картина! Язычок пламени, подбирающийся все ближе. Страх! И это почти все. А в следующую секунду я откинул одеяло и спрыгнул на пол; я не мог иначе; я просто должен был снять картину, перевернуть, содрать картон и вынуть менял из рамы. Но где найти надежное место? Под подушкой? В шкафу?

Я вытащил рубаху из штанов, аккуратно обернул картиной грудь и бока, вроде того, как я однажды сделал с «Духом тьмы», а поверх снова спустил и расправил рубашку и лег на топчан, решив не говорить никому ни слова, даже художнику. Я просто хотел спрятать картину в надежное место; унести ее отсюда куда-нибудь, я сам еще не знал куда, просто подальше отсюда, ведь тут она каждую секунду могла сгореть. Как прохладно она облегала мое тело! «На мне она в безопасности!» — подумал я и закрыл глаза, чтобы не видеть других картин. Рассказать художнику, или нет? Поверит ли он мне, если я все ему расскажу? Или, может, лучше сразу бежать? Я же не для себя взял картину — точно так же, как и потом я брал их не для себя; я хотел только временно взять их под свою защиту, спрятать в надежное место,— ведь они были под угрозой. Не мог же я после всего случившегося допустить, чтобы в какой-то непредвиденный миг они загорелись: надо было что-то делать. Надо было при-

слушаться к тому, что нашептывал мне мой страх. Моя ошибка была только в том, что я всегда слишком рано распознавал, когда картине начинала грозить опасность, и слишком рано начинал принимать меры для ее спасения.

В общем, я не сбежал. Я лежал и ждал, пока не вернулся художник. Он осторожно прикрыл дверь и сел на край моего лежака.

— На, выпей.

Я выпил, все время следя за ним поверх края стакана. Он смотрит на меня так же, как раньше? Или иначе? Может, он не просто ходил за пахтой, а занимался чем-то еще?

— Что с тобой, Зигги? — спросил он. — Тебе же здесь нечего бояться. Уж не жар ли у тебя? Отлежись как следует, а потом я провожу тебя домой.

Он взял со шкафа бутылку, пожелтелыми крепкими зубами вытащил из нее пробку, наполнил себе стакан, тут же опрокинул его, наполнил второй и разжег трубку. Потом посмотрел в окно:

— Уже почти все затушили, Вит-Вит, только кое-где еще пробиваются огоньки; к утру от нашей мельницы ничего не останется. Да, нам будет ее не хватать. Ты ведь, кажется, частенько в ней бывал? Я много раз видел, как ты выходил оттуда. Почему ты так мчался с пожара?

Мне захотелось в уборную, но я не трогался с места, я боялся пошевельнуться, чтобы картина не встала на мне коробом, оттопырив рубашку, и новый страх сковал все мои движения: а вдруг он обнаружит пропажу картины, вдруг он найдет ее на мне. Что тогда? — спрашивал я себя, косясь на пустую раму, которую повесил на прежнее место. Наверно, он раз и навсегда запретит мне переступать порог мастерской, и все будет кончено. Рама висела криво, я вешал ее в спешке, а грубое коричневое одеяло облегало меня предательски плотно. Если бы еще не этот жар, не эти горячие волны, обдававшие мое тело одна за другой! Я пробовал дышать как можно глубже и ровней, но ничто не помогало: мне нужно было в уборную.

— Из двух шлангов,— донесся от окна голос художника.— Теперь они тушат огонь уже из двух шлангов, как будто еще можно что-то спасти, что-то сберечь. Ночью наверняка будет дождь, и они могли бы спокойно доверить все остальное дождю, правда ведь?

— Да.

Он отвернулся от окна и своими мелкими шажками направился ко мне, а я лежал и смотрел в потолок. Господи, почему он так долго идет? Можно подумать, будто от окна до моего лежака целый километр! Наконец он остановился около меня. Поставил стакан на пол и сел на край моей постели, слегка посапывая. «Ну, не тяни, выкладывай, что знаешь,— думал я,— говори, что ты заметил».

Он вытащил свой огромный, пропахший табаком носовой платок и вытер мне лоб и виски.

— Успокойся, Вит-Вит,— заговорил он.— Подожди, ты еще увидишь: все, что мы сделали, все, что насобирали,— так просто этого не уничтожишь. Мы оставили после себя след, который будет долговечней, чем нам кажется; так просто ничто не уходит. Вот тебе пример: я мало что знаю о старом Фредериксене, который жил здесь до меня, но он каждые полгода измерял рост своего сынишки и делал ножом зарубки на косяке; казалось бы, ну что там — зарубки; а все-таки что-то осталось.— Он похлопал меня по ноге.— Чтобы какая-то вещь осталась,— продолжал он,— необязательно все время иметь ее перед глазами; иногда надо ее потерять,— тем верней и надежней будешь потом хранить ее в памяти. Как подумаешь иной раз — семьсот картин, ну и что? Пусть даже и все восемьсот. Они же все равно всегда будут моими, даже если я никогда больше их не увижу. А у тебя? Да, я знаю, там много чего было.

— Ты о чем? — всполошился я. Но мой вопрос не рассердил его.— Хороший был у тебя тайник, и там было много стоящего; я иногда удивлялся, а иногда так радовался, что прямо хотелось что-нибудь туда добавить!

— Ты был там наверху? Ты все знал?

— Знал. И бывал даже не раз.

— «Человек в красном плаще»...

— Да, и человека в красном плаще я там снова нашел, и много чего другого.

— А как ты узнал?

— Да лежи ты спокойно. Ты же видишь: я все тебе оставил, даже оба невидимых рисунка, которые ты стащил; я уже подумывал было, не повесить ли туда что-нибудь еще для тебя — тайком.

— Это все он,— вырвалось у меня,— он один, и он теперь всегда, всегда будет так делать, он только об этом и думает, только и ждет случая.

— Спокойно, малыш, спокойно, ты сам не знаешь, что говоришь.

— Он тогда перед сараем жег, и потом на пляже у домика, и вот теперь, я знаю, он все разыщет, от него ничего не спасешь, так будет все время.

— Мы придумаем для тебя новый тайник.

— Он все равно найдет!

— А мы придумаем несколько разных тайников и будем менять их, ты только успокойся и отпусти мою руку.

— Ты должен что-нибудь сделать, у него просто что-то там отключилось, что-то не срабатывает. А меня от страха трясет, когда я вижу, как он стоит и вдруг словно в самого себя начинает вслушиваться.

— Я знаю твоего отца дольше, чем ты,— сказал художник,— я уверен, это не он поджег мельницу, ты не должен так думать. Хочешь выпить еще чего-нибудь?

— А я говорю тебе, что от него все надо прятать, все!

Художник силой уложил меня снова на постель, и тут я понял по его глазам, что ему известно больше, чем я предполагал. В его голосе не было ни разочарования, ни горечи и уж тем более возмущения, когда он медленно проговорил:

— За менялами я сам присмотрю, не беспокойся, давай их сюда.— Он, как видно, решил, что я спрятал их под лежак, он нагнулся, заглянул туда, потом озабоченно посмотрел на меня и сказал:

— Давай, давай, у меня им будет надежней.

— Огонек,— сказал я,— маленький такой огонек, я видел, он двигался к картине.

— Хорошо, хорошо.

— Но я же сам видел, сам! Я сразу его увидел!

— Да, да, я верю тебе, а теперь давай картину сюда.— Ловкими и быстрыми движениями он откинул одеяло, нащупал картину у меня на теле, вытащил рубаху из штанов и, когда я попытался ему помочь, спокойно приказал: — Убери руки, я сам.— И, как я уже сказал, никакой горечи, никакого возмущения.

Он стал снимать раму; чересчур широкие рукава его пальто соскользнули к локтям, обнажив странно тонкие и бледные запястья; не говоря ни слова, он вставил картину в раму и повесил обратно.

— Хочешь есть?

— Нет.

— Ну, значит, и в самом деле с тобой что-то не так.— Он улыбнулся мне и, помедлив, продолжал: — Пора уже привыкнуть к тому, что в жизни бывают и утраты, Вит-Вит. Может, оно так и лучше: ведь нельзя же останавливаться на том, что есть. Надо постоянно начинать сначала.

Пока мы еще на что-то способны и можем чего-то ждать от себя. Я никогда не бывал доволен, Зигги, и тебе советую: будь недоволен, насколько это возможно.

Вдруг он испугался. И бросился укрывать меня:

— Господи, что с тобой, малыш? Пойдем, я отведу тебя домой.

— Я хочу остаться у тебя,— сказал я.

— Ну что ты выдумал!

— А я хочу.

— Поужинаешь с нами, потом я отведу тебя домой.

17. Болезнь

Подкарауливать Окко Бродерсена, останавливать его и спрашивать, не везет ли он письмишка, а если везет, может, я сам, тогда ему не надо будет... и так далее — все это было пустым номером, потому что однорукий почтальон, кочергой возвышавшийся на своем велосипеде, любил вручать почтовые отправления адресату в доме или, на худой конец, перед домом, и уж конечно с шуточками, а иногда и с наставлениями — во всяком случае, так, словно он знал о письме больше, чем сам адресат. Глядя, как он его вручает, возникало ощущение, что он сам писал каждое письмо или по крайней мере сидел рядом, когда оно писалось. Как выразительно он умел стучать по письму пальцем! Как обнадеживающе помахивал им перед вашим носом! Да, зная Окко Бродерсена, бесполезно было его задерживать и спрашивать, нет ли письмеца; либо уж не задерживай — пускай себе едет, либо беги вдогонку, как я — по дорожке, по двору, до самой двери дома.

— Что-нибудь есть? — Он положил сумку на седло, открыл ее и прошелся большим пальцем по плотной пачке конвертов, отгибавшихся по очереди назад и открывавших адреса.— Ничего?

Нет, одно письмецо нашлось — в большом коричневом конверте, надписанное печатными буквами, без обратного адреса.

— Отправитель не обозначен,— сказал Окко Бродерсен, с сомнением покачал головой, будто прикидывая, не придержать ли письмо, потом все-таки сунул его мне и указал на дом: — Отнеси и передай отцу, впредь пусть принимает письма только с обратным адресом.

— Ладно.

Он даже не попрощался со мной — просто уехал по кирпичной дорожке в направлении Хольмсенварфа.

— Вот тут письмо тебе.

Отец чистил обувь. Раз в неделю он чистил всю обувь, какая валялась в доме: стаскивал ее на кухню, тщательно выстраивал во фрунт и обрабатывал в три приема — чистка, смазка, наведение лоска. Мне пришлось положить письмо на стол. Отец поискал глазами адрес отправителя, потом отложил сапог и шерстяную тряпку, вскрыл конверт, стоя прочел письмо, поначалу как будто ничего не понял, опустился на кухонную скамью и прочел письмо сидя, начал там что-то разглядывать, поднес к свету, как будто все еще не в состоянии был уразуметь, что же это такое, растерянно взглянул на меня и приказал:

— А ну-ка, позови сюда мать, живей!

Я постучался в спальню и таким образом выкурил оттуда Гудрун Йепсен, пустил ее вперед, но на лестнице обогнал и стал свидетелем того, как она вошла в кухню и с недовольной миной, но покорно остановилась у стола, поеживаясь от холода в своем неизменном халате. Отец не сразу заметил ее. Или он ее заметил, но хотел получше вникнуть в содержание письма, прежде чем вручить его матери. Она ждала, он читал.

Она тотчас почуяла, что он чего-то не может взять в толк. Он вертел бумагу так и сяк, от усилия даже склонил голову набок. Вдруг он протянул матери письмо и конверт, вскочил, схватил ее за плечи, мягко, но настойчиво принудил сесть, а сам стал за ее спиной, следя, как она читает.

Спокойно? Нет, какое уж там спокойно!

— Ты читай, читай,— твердил он. Или: — Ты только погляди! — Или: — Видала? — Или: — Это надо же!

Она тоже вертела письмо в руках, потом подняла голову, застывшими глазами долго смотрела на плиту, собралась было что-то сказать, но будто тут же и подавилась.

А теперь я оставлю их обоих в растерянности и ошеломлении ловить ртом воздух и подыскивать слова, а сам расскажу, наконец, что принесло к нам в дом это письмо. Как я уже упомянул, обратного адреса на письме не было. В большом конверте лежала всего лишь газетная страница. Почти всю ее занимала репродукция картины, под названием «Танцующая в волнах». На полях печатными буквами было выведено: «Обратите внимание на сходство, не пожалеете». Картина принадлежала кисти Макса Людвига Нансена. А «Танцующая» была Хильке. Она танцевала среди легких пенистых волн у самого берега, залитого слепящим светом, танцевала с распущенными волосами, одетая в одну только коротенькую полосатую юбку; груди, казалось, мешали ей танцевать, она уже опустила одну руку, чтобы прижать их, и на ее запрокинутом лице выражались усталость и изнеможение. Она танцевала вместе с волнами и словно сопротивляясь волнам, ритм волн определял ритм танца, и танец — это было видно — увлекал ее все дальше от берега, в море, где пляске и суждено было кончиться. В общем, «танцующая в волнах» — это, значит, была Хильке, моя сестра. Фамилия отправителя? Фамилии, конечно, нигде не значилось — ни на конверте, ни на газетном листе. Почтовый штемпель? Письмо было опущено в Глюзерупе.

— Ну, что скажешь? — спросил отец, нетерпеливо постучав ладонью по картине.— Это же она, ясное дело, Хильке; а что это означает, всем понятно.

— Да, это она,— сказала мать.

— И каждому видно, что она,— сказал отец.

— Она перед ним раздевалась,— сказала мать.

— Лезла к нему, вот что,— сказал отец.

— Ни стыда, ни совести,— сказала мать.

— Всякое понятие о приличии потеряла,— сказал отец.

Они бы еще много чего наговорили, много чего припомнили, глядя на картину, но главное, чего они не в силах были простить Хильке,— это позор, который она навлекла на их голову; они наперебой сочувствовали самим себе, жалели себя, и чем беспощадней они разделывали Хильке, тем больше себя жалели. Дойти до такого срама! Так нас опозорить! Какое право она имела! А где она, кстати?

Отец вышел в прихожую, позвал Хильке.

— Ну что там? — отозвалась Хильке, входя в кухню, но, увидав наши лица, спросила упавшим голосом: — Что тут у вас такое?

И сразу в ее движениях появилась неуверенность, медлительность, какая-то робость, она все заглядывала нам в глаза, но ничего не могла в них прочесть. Она сцепила руки и потерла друг о друга ладони.

— Да что такое случилось? Как будто я вам что-то сделала?

Она скрутила волосы на затылке и завязала пучком. Потом облизала губы. Участковый инспектор спокойно наблюдал, как она нервничает,— так он поступал со всеми; он никогда не спешил с разъяснениями, наслаждаясь растерянностью, которую вызывал своим выжидательным молчанием; иной раз мне казалось — по крайней мере, сейчас я так думаю,— что это его выжидающее молчание уже само по себе было частью

кары — просто потому, что он не спешил с обвинением и лишал человека возможности защищаться.

Хильке подошла к нему, умоляюще протянула руки; он молчал.

— Да скажите уж!

Наконец, она поймала мой взгляд, уцепилась за него, и я направил ее внимание на кухонный стол и на письмо. Встав за спиной матери, она смотрела на картину — смотрела долго, слишком долго, как мне показалось; взять лист в руки она не решалась.

— Ах, вот что, теперь понятно.

Она сделала неопределенный жест рукой, натянуто улыбнулась, пытаясь представить все пустяком, безделицей: подумаешь, мол, есть о чем говорить! Она даже облегченно вздохнула и, отвернувшись от стола, бросила небрежно:

— Это так давно было, прошлой весной или еще раньше.

Видно, она ждала, что тут уж настроение непременно переменится в ее пользу или что тучи по крайней мере хоть немного разойдутся.

Но мать сидела как истукан, не сводя глаз с голубого узора клеенки на кухонном столе. Отец смотрел на письмо с высоты своего роста и как бы откуда-то издалека.

— А я-то уж думала,— снова начала Хильке.— «Танцующая в волнах», господи, ну и что тут такого? Ему нужна была модель, он решил, что я как раз подхожу, больше ведь ничего не случилось. Один раз. Всего один раз. «Танцующая в волнах». Чего вы так всполошились — это же все равно что у врача,— сказала она и решила, что окончательно оправдалась: жесты ее стали непринужденнее.

— Значит, все это — правда,— еле слышно произнес отец,— значит, ты перед ним раздевалась, стояла перед ним голая. Так. Теперь все ясно, во что ты ставишь свою гордость и честь.

Хильке повернулась и недоуменно на него посмотрела:

— Честь? При чем тут честь?

— Ты не жила с нами, что ли? — Отец сузил глаза.— Могла бы заметить за эти годы, какие у меня с ним отношения.

— Но все ведь кончилось,— сказала Хильке,— те времена прошли.

Отец презрительно скривил рот:

— Раз все так далеко зашло, то уж никогда не кончится. Но это другое дело. Сейчас мы говорим про то, как ты тут намалевана! Вот тут! Неужто ты не понимаешь, что ты наделала?

— Она на меня похожа,— ответила Хильке,— похожа — ну и что?

— Тебя же все сразу узнают,— загремел отец,— не только мы. Вот один уже прислал нам письмо без обратного адреса, и всякий, кто увидит эту картинку, может прислать. А уж что он подумает, когда тебя узнает,— будь спокойна. Если бы это нарисовал еще кто другой, а то он! Для него, видишь, законы не писаны! Наглец! А на тех, кто выполняет свой долг, он плюет. Ты что, не слыхала, что говорят про него и про меня?

Хильке медленно подошла к окну, опустила голову, и было ясно, что больше она не выдавит из себя ни слова. Отец и глазами не повел в ее сторону, он продолжал говорить, обращаясь к тому месту, где только что стояла Хильке:

— Ты подумай, что ты с нами сделала!

Я посмотрел на мать. Та пошевелилась, потом, будто стряхнув с себя сонное оцепенение, села поплотней и сказала:

— Ужас! Это же ужас, в каком виде ты тут нарисована. Так и прет наружу всякая чертовщина! Ты же тут как бесноватая, как пьяная! А тело как нарисовано? Бока-то прямо полыхают! Бедра кривые. А лицо? Неужели тебе нравится, какое лицо он тебе наляпал?

— Это прямое оскорбление,— заявил отец.

— Он всегда оскорблял всех, кого ни рисовал,— поддержала мать,— и вот тебя тоже. Так же одни только цыганки пляшут!

— Вот-вот,— подхватил отец.— Он из тебя цыганку сделал!

— Такой стыд,— сказала мать.

А отец:

— Я думаю, тебе понятно, как ты теперь должна поступить?

— Выход только один,— заявила мать,— эту картинку надо как-то уничтожить — ради твоей чести, ради нашей чести.

— Ты помогла ее изготовить,— сказал отец,— и ты обязана добиться, чтобы она исчезла, чтобы ее больше не было. Это не так уж трудно.

Хильке подтянула ногой табуретку, неловко, потерянно опустилась на нее, посмотрела на свои ладони и вдруг, ткнувшись в них лицом, всхлипнула и зарыдала. Если не знать ее, можно было подумать, будто у нее икота; но мы-то знали, что она плачет.

— Ты поняла? — спросил отец. — Ты поняла, чего мы требуем? Эту мазню надо уничтожить.

Хильке не ответила, поняла она или нет: тело ее раскачивалось из стороны в сторону, будто искало невидимой опоры или чего-то еще, чтобы прислониться.

— Ты можешь от него потребовать,— внушала мать,— ты имеешь право: нельзя, чтобы на эту картину глядели кто попало.

— Он опорочил твое доброе имя,— сказал отец,— и поправить это можешь только ты одна.

Как слаженно и четко они разыгрывали эту сцену — один развивал и подкреплял реплики другого, как будто все было заранее отрепетировано, и потому, что они обращались не прямо к Хильке, а высказывали свои заключения, порицания и требования куда-то мимо нее, поверх ее головы, создавалось впечатление, что они давно обо всем столковались и уже не Хильке имели в виду, а свои собственные соображения и интересы. Они дополняли друг друга. Один подхватывал слова другого. Так они нагнетали атмосферу, пока моя сестра — как бы это сказать? — вплакивалась в ситуацию, найдя, в конце концов, один равномерный, обессиленный, лишь изредка прерываемый рыданиями, скулящий тон. Никто не просил ее перестать. Никто не думал удостовериться, поняла ли она, чего от нее хотят. Они попросту бесперебойно обрабатывали ее, вдалбливали в нее свои слова, пока в отцовском кабинете не зазвонил телефон. Инспектора вызывали на Хузумское шоссе — там произошел несчастный случай. Мать тоже встала и вышла из кухни.

Что мне было делать с Хильке? Я попробовал поднять ее с табуретки — и не смог. Я попробовал отнять руки от ее лица — и тоже не смог.

— Ну, пойдем,— уговаривал я,— пойдем к тебе в комнату, там ты ляжешь и спокойно обо всем подумаешь.

Она покачала головой и прошептала:

— Не уходи, посиди тут еще немножко.

— Только с условием, что ты пойдешь к себе в комнату,— сказал я.

Через минуту она рывком поднялась, дала мне руку, и я повел Хильке, все еще плакавшую и прикрывшую лицо другой рукой, через прихожую в ее тесную комнатушку. Я ощущал, как мягко сотрясается от рыданий все ее тело.

— Брось, Хильке,— сказал я,— ну, что ты разревелась, этим же не поможешь.

Она опустилась на кровать, я подсел к ней и осторожно, с трудом отнял ее вторую руку от покрасневшего, зареванного лица.

Тут-то она и спросила меня, по-прежнему ли мне хочется удрать из дому, и я ответил:

— Да.

Тогда она призналась, что уже столько раз готова была удрать, лишь из-за меня терпела.

— Кончить бы все одним разом,— говорит.

А я ей на это:

— Ну и давай, я тебе на похороны цветы принесу — маки.

Потом она спросила, почему родной дом нам такой чужой, такой злой для нас, и было ли у меня хоть когда-нибудь чувство, что меня тут понимают.

— Нет,— говорю. Потом я спросил: — Кто только их выдумал?

А она:

— Кого?

— Нашего участкового инспектора с женой,— говорю. Потом она сказала, не удрать ли нам вместе, хотя бы в Гамбург. Она Гамбург хорошо знает, там и я мог бы где-нибудь пристроиться.

Я говорю:

— Ну и давай удерем.

А она:

— Как же это я могу уничтожить картину!

— Конечно, никак,— говорю.

— Он меня видел, ну и что?

— Да, конечно, ничего.

— Что же мне теперь делать?

— Не знаю,— говорю.

Тут я спросил, слыхала ли она уже про эту историю, а она:

— Про какую историю?

— Да что Клаас получил премию за свои фотографии?

— Нет, — говорит.

Вдруг она бросилась ничком на кровать, потом повернулась на бок, подтянула ноги и замерла, будто прислушиваясь к чему-то. Я развязал ленту у нее в волосах.

— Адди опять в Гамбурге,— неожиданно сообщила она.

— Да,— говорю.

Она спросила, вышел ли бы я замуж за Адди на ее месте.

— Ну, раз надо... — сказал я.

А она:

— Все было бы по-другому, если бы не они.

— Вот бы их на кого-нибудь поменять,— сказал я.

— Кого? — спросила она.

— Участкового инспектора и его жену.

— Нельзя так говорить.

— А ты что, не хотела бы?

— Хотела бы,— говорит.

Так вот мы и толковали о том о сем у нее в комнате, и постепенно она успокоилась и попросила бутерброд с повидлом. Я счел это желание за добрый признак и вызвался пойти в кладовку за бутербродом.

До кладовки я не дошел, потому что в прихожей стоял Макс Людвиг Нансен в своей широкополой шляпе, глубоко засунув руки в карманы, и глаза его испытующе и строго впились в меня. Он явно был рассержен, по лицу его видно было, каких усилий стоило ему прийти сюда. Ни привычной улыбки, ни ободряющего тычка кулаком в бок, как бывало прежде, наоборот: сжатые губы, выдвинутый подбородок, сердито приподнятые плечи — быть грозе. Прежде всего — выдержать его взгляд, его выжидательную, требовательную позу; потом — вопрос:

— Где картина? Давай сюда, я заберу ее.

— Картина? — удивился я. — Какая картина?

— Не притворяйся, давай ее сюда и покончим с этим, ты знаешь, о чем я говорю,— о «Танцующей в волнах».

— А разве она пропала?

— Да, пропала, и я пришел ее забрать, чтобы между нами не было никаких недоразумений. Ну, где она?

— Я не брал.

— Так что же мне, обыск устроить?

— Обыскивай — ее тут нет.

— Послушай, Зигги, если ты не отдашь картину, больше тебе в Блекенварфе не бывать. Я понимаю, почему ты ее взял, но эта картина мне нужна. Затем я и пришел.

— Но ее у меня нету, правда!

— А это мы сейчас увидим,— сказал художник и, схватив меня за руку, поволок наверх в мою комнату.

— Это твоя комната?

— Да.

— Открывай.

Ну и хозяйничал же он в моей комнате — как оккупант! Направился прямо на середину и оттуда по кругу обшарил все углы, то и дело нагибаясь в поисках возможных тайников. Результаты его не удовлетворили. Он был так уверен в своих подозрениях, что, обыскав комнату, подошел ко мне и начал меня трясти, приговаривая в такт:

— Где — где — где — картина?

На что я точно так же в такт отвечал:

— Не знаю — не знаю — не знаю.

— Она у тебя!

— Нету ее у меня!

— Ты решил, что ей угрожает опасность, и хотел ее спрятать в надежное место.

— Нет, эту я не прятал, «Танцующую» не прятал.

— Тогда, значит, кто-нибудь из вас. Если не ты, значит, кто-то из вас ее утащил.

Он вцепился в мою рубаху на груди, собрал ее в кулак, крутанул, приподнял меня своей широкой крепкой рукой и, глядя мне в глаза, повторил свои обвинения, но услышал только прежнее «нет». Я сумел выдержать этот натиск и взгляд Нансена, смог даже в минуту, когда он меня схватил, подумать под его взглядом: «Кто это там колет дрова?» — потому что в наши препирательства вдруг вклинился звук топора, донесшийся со стороны сарая. Это вернулся отец.

Поверх моей головы художник посмотрел в окно на отца, медленно опустил меня на пол, оттолкнул в сторону и пошел к двери. Спустившись по лестнице, он, прежде чем выйти на улицу, раскурил в прихожей трубку и медленно начал сходить вниз по ступеням каменного крыльца. Часто попыхивая трубкой, он двинулся к сараю. Отец еще ничего не заметил — или делал вид, что ничего не заметил: он сосредоточенно и яростно колол дрова. Да подними же ты голову! Конечно, он давно уже заметил художника, который стоял теперь у наколотой кучи дров; во всяком случае, наклонясь, чтобы взять новое полено, отец не мог не заметить башмаков Нансена, полы его пальто, но вел он себя по-прежнему так, будто на дворе, кроме него, никого не было. Интересно, думаю, надолго хватит у них обоих выдержки? Уж что-что — пережидать друг друга у нас умеют; тут все на это мастера, а на том, кто уступит, спасует, сразу же ставят крест: проиграл!

Я мог бы продержать их так вот друг перед другом хоть неделю, и получилась бы очень даже любопытная и вполне правдоподобная история, но все-таки мне придется сейчас сказать, что прервал молчание художник. Он поднял отлетевшую из-под топора чурку, бросил в кучу и сказал:

— Ты не спеши, я подожду, пока ты кончишь.

Отец не ответил: он только послюнявил палец, провел им по лезвию топора, будто удивляясь, что тот затупился, и снова принялся колоть. Еще одна чурка отлетела художнику под ноги. Он и ее поднял и бросил в кучу, сказав при этом:

— Отправляйся-ка на место.

Отец молчал, а художник продолжал стоять, не смущаясь, но и как-то беспомощно, будто он был тут лишним и мешал. Он это понял, так же как и то, что придется ему снова начинать первому, если он хочет добиться своего; поэтому он подошел к отцу поближе, оттягивая большими пальцами карманы пальто, и спросил небрежно:

— Ответ-то все-таки можно получить?

Участковый инспектор расколол сухой потрескавшийся кругляк, вогнал топор в колоду, вытащил снова, чтобы использовать его как опору, и, опершись на топорище, глядя в сторону, приготовился выслушать вопрос.

Художник уже без всяких околичностей потребовал назад свою картину, а участковый инспектор, после долгого, натужного размышления, пожал плечами и презрительно буркнул, что не знает, о чем идет речь, и что вообще он при каждой конфискации выдавал квитанцию, пускай художник предъявит соответствующую квитанцию. Тут он впервые посмотрел на своего противника, а тот терпеливо и настойчиво повторил, что у него пропала картина, она называется «Танцующая в волнах», и он пришел сюда в твердой уверенности, что именно здесь, в Ругбюле, он может получить картину назад.

Отец задумался, потом поинтересовался, осознает ли художник, какое он тем самым возводит обвинение на представителя власти, и все такое прочее: ведь, слушая Нансена, можно предположить, будто это он, участковый инспектор, украл картину. Тогда художник попросил отца все-таки вникнуть в суть дела: еще совсем не так давно обязанностью участкового инспектора было конфисковывать все, что писалось вопреки запрету, и он исправно конфисковывал; и даже после того, как авторы запрета отправились ко всем чертям, он продолжал действовать в их духе — конфисковывал, уничтожал, сжигал — в общем, тупо и слепо выполнял то, что было ему однажды приказано. Помнит ли он об этом? Разве он уже забыл, как он шнырял по Блекенварфу, выполняя свои служебные обязанности? И разве он, Нансен, после всего, что было, не имеет права задавать вопросы? Отец выслушал художника, потом полюбопытствовал, кончил ли он и не хочет ли, наконец, убраться восвояси? Все, что они могли сказать друг другу, они уже давно сказали, а выход со двора — вон там. Художник ответил, что инспектор, понятное дело, сдал свою память в архив и что он, художник, может и уйти, но прежде всего он все-таки на одно обстоятельство хотел бы обратить внимание: время запретов безвозвратно прошло, и то, что раньше, возможно, казалось инспектору его долгом, нынче уже расценивается и называется совсем иначе.

Вот только это он хотел заметить господину инспектору и прежде всего объяснить — раз и навсегда, со всей недвусмысленностью,— что времена изменились, сейчас уже не то, что было раньше, теперь ему не надо выжидать и молчать, и он совершенно не собирается выжидать и молчать.

Отец всадил топор в колоду и с неуклюжей язвительностью осведомился, уж не угроза ли это и не собирается ли художник при случае прикончить его — он сказал «пристрелить». Художник ответил, что он просто не будет отныне ни с чем считаться, хватит. Время, когда он вынужден был считаться и с тем и с этим, кончилось. Отец заявил, что и для него многое кончилось, до него мало-помалу начинает доходить, что и он, вопреки своему прямому долгу, тоже слишком часто миндальни-

чал,— во всяком случае, настолько часто, что сейчас они могут стоять рядом и беседовать. А если бы он, Йенс Оле Йепсен, буква в букву, как полагается, выполнял свой долг, они бы, наверно, сейчас рядом не стояли, этого художник, как видно, еще не понял.

— Я все понял,— ответил ему художник.— По крайней мере, я понял, какая это страшная болезнь — долг, и я буду бороться с ней, как сумею; это — завет жертв, жертв долга.

Кончил ли художник, осведомился отец: ему надо работать, — и губы его скривились в легкой презрительной усмешке, не ускользнувшей от глаз художника. Подняв очередной кругляк, отец прочно установил его на колоде, занес и опустил топор; картины у него нет, сказал он, но если бы она и была у него, он очень и очень бы подумал, прежде чем ее отдать — в конце концов, она и к нему имеет кое-какое отношение; после этого он обеими руками всадил топор в дерево, поленья с треском разлетелись в стороны, а топор засел в колоде. Художник как будто удовлетворился, узнав все, что ему было нужно, но не уходил — он еще раз хотел убедиться: не осталось ли между ними каких неясностей? Понимает ли участковый инспектор, чем это ему грозит, если... то есть, надо ли ему еще раз повторять — ну и все такое прочее.

Даже если художник этого и не хотел, в каждой его фразе звучала угроза, и вдруг я понял, что не могу больше слышать, как он в таком тоне говорит с участковым инспектором, еще яростней принявшимся за свою работу; я начал пятиться к дому и увидел, как отец снова поднял топор и указал на выход со двора; на крыльцо я поднимался тоже пятясь; меня окатывало то жаром, то холодом; опять та же тянущая боль стискивала виски, а едва я добрался до комнаты, у меня схватило под ложечкой, и я начал растирать рукой живот. Все еще стоят? Да, они все еще стояли у сарая, художник уже вполоборота, совсем собравшись уходить, но раз он затеял этот разговор, он, видно, хотел выложить все, что накипело на душе, все, что он думал об инспекторе и о многом другом, всю свою ярость, которую сдерживал долгие годы. Время от времени отец отвечал ему, или сам о чем-то спрашивал, или просто смотрел на своего собеседника с таким изумлением, словно никак не мог прийти в себя; и все-таки я бы сказал: во взгляде отца чувствовалось сдержанное презрение. Была ли это победа? Не знаю. Я не уверен, за кем тогда, у сарая осталась победа.

Потом Макс Людвиг Нансен ушел. Наконец-то! Потому что я был уже на пределе. Если б я только мог, я бы поторопил, ускорил его шаги, и, когда он в нерешительности остановился на кирпичной дорожке, у меня чуть не вырвалось: «Да уходи же ты, уходи!» А потом... В прихожей было все тихо. Из комнаты Хильке не доносилось ни звука; вероятно, сестра сама спустилась вниз за бутербродом с повидлом. Я отцепил веревку, привязанную к дверце, прикрывавшей чердачный люк, дернул — дверца отворилась, дернул еще раз — выскользнула лестница, патентованное изобретение Хиннерка Тиммсена; я влез наверх и, как на мельнице, втянул лестницу за собой, потом опустил дверцу. «Спокойно,— приказал я себе,— главное — спокойствие! Тут можно так спрятаться — ни один черт не сыщет! Тут для одного человека столько укромных местечек! Тут меня никто не найдет!»

Они вообще забирались сюда лишь раз в год, сваливали всякую рухлядь, с которой не могли расстаться,— а Йепсены ни с одной отслужившей вещью не могли расстаться. Старые матрацы, просиженные диваны, бельевые корзины, кухонные столы, рассохшиеся стулья, чемоданы с незакрывающимися замками и книги — Йепсены все волокли сюда и оставляли на милость чердачного мрака и тихого, неминуемого ветшания.

Я разулся и то ползком, то перепрыгивая через старье, подобрался

к чердачному окошку. Со двора доносились удары топора и треск раскалываемых дров. Вот и мой ящик, прикрытый бумагой и рваными мешками, замаскированный обломками стульев. Я разбросал маскировку, снял несколько слоев пергаментной бумаги, откинул крышку, сел, и когда я увидел свою коллекцию в целости и сохранности, тянущая боль сразу прекратилась, в висках отпустило.

Я вынул «Танцующую в волнах», поставил на край ящика — скудный свет узкой полоской упал на картину, и Хильке начала танцевать для меня в легких, пенистых волнах. И вдруг она стала такой мне близкой под этим багряным небом, с этими развевающимися волосами. Мне вдруг сделалось так радостно, что я знаю ее, знаю эту короткую полосатую юбку, эти остренькие груди,— эту Хильке, которая все танцевала и танцевала, несмотря на усталость, как одинокая тростинка у берега, залитого слепящим светом. Никто, никто не увидит этой картины, это уже решено, и все другие картины здесь — они только для меня, теперь-то уж я ученый, теперь я точно знаю, что мне нужно, чтобы совладать с собой.

Стук в дверь. Сначала я подумал: это участковый инспектор ударяет топорищем по колоде, насаживая топор покрепче, наконец до меня дошло, что стучат здесь, в дверь моей одиночки, и не робко, как Йосвиг, а требовательно, отчаянно; стук этот возвещал не только о визите Вольфганга Макенрота, но и о том, что дело его — труба. Я бы сказал: так стучат люди, считающие себя вправе вываливать на другого все свои невзгоды.

— Дрянь,— сказал он,— ну и дрянь дело, Зигги, ты себе просто представить не можешь. Ты позволишь мне присесть? — Рассеянно хлопнув меня по плечу, начинающий психолог сел на мою кровать; в эту минуту он являл собой зрелище не просто глубоко несчастного, но буквально пришибленного своим несчастьем человека. Что там у него опять стряслось? Но первым делом — сигареты, на этот раз пять пачек, две — от Хильке. Одну пачку он швырнул мне, остальные засунул под одеяло и безнадежно махнул рукой; это, видимо, означало: конец, всему конец; или: мир этот уже ничем не исправишь. Он ловко вытряхнул из маленькой жестяной коробочки на тыльную сторону ладони две желтенькие таблетки, слизнул их и проглотил не моргнув глазом.

— Что-нибудь с работой? — спросил я.

— Хозяйка! — сказал он. Оказалось, что его хозяйка, чемпионка по упражнениям на гимнастическом бревне — Вольфганг Макенрот саркастически расхохотался,— ожидает ребенка, непонятно от кого — от него или от своего мужа, крановщика; неизвестность эта мучила ее явно меньше, чем его: ей просто хотелось иметь ребенка, а Макенрот требовал ответа, что это — его ребенок.— Нет, ты только представь!

Он умолял ее припомнить как следует; она припоминала долго, но потом покачала головой. Он умолял ее точно все подсчитать; она долго подсчитывала, потом нерешительно пожала плечами.

— Ты только подумай, Зигги: отец не отец, черт знает что, в лучшем случае — полуотец.

Я ему посочувствовал и дал добрый совет: пожить в семье до тех пор, пока ребенок не вырастет и сам себе не выберет отца из имеющихся в наличии.

— Ты шутишь! — Он весь дергался и так вертел головой, будто хотел вывернуть ее из плеч, потом он подул на левую руку, словно охлаждая ее. — Вот и пиши дипломную работу в таких обстоятельствах. На, возьми!

Вольфганг Макенрот положил мне на стол стопку исписанных листов; видно было, что правились они наспех, нервно.

— Это, конечно, только черновой вариант, но мне бы хотелось, что-

бы ты все-таки просмотрел.— Он разгладил помятые, все в пятнах, кое-где даже порванные листы и заявил: — Прямо не знаю, что делать. Чтобы писать подобную работу, надо же сосредоточиться, чувствовать себя абсолютно свободным, чтобы ничто не мешало. А как твои дела?

— У меня все по-другому,— говорю,— чем больше помех, тем лучше; а настраиваться на свободу, независимость, хорошее самочувствие— только нарываться на лишние огорчения.

Он взял свой манускрипт.

— Может, почитать вслух?

— Нет, не надо.

— Ну хоть несколько страниц!

— Не надо.

— А почему?

— Сам не знаю,— сказал я, и на какую-то секунду у меня мелькнула надежда, что он заберет назад свои черновики Но не тот это был психолог — он опять сунул мне рукопись и выдал цитату: «На ошибках мы учимся» или что-то в этом роде. Наверно, он ожидал, что я проявлю больше участия и сочувствия, начну его подбадривать и утешать, но тут уж я ничего не мог с собой поделать и никогда не смогу, пока он будет носить на шее эту тоненькую золотую цепочку; на ней, чего доброго, еще и медальон висит, а в медальоне фотография его сидящей на бревне и улыбающейся хозяйки. Ненавижу мужчин, которые носят тонкие золотые цепочки. Меня хватило лишь на то, чтобы согласиться прочесть его черновик, и поскольку после этого обещания я опять взялся за ручку, Макенроту не оставалось ничего другого, как распрощаться; он удалился с самым что ни на есть душераздирающим видом, на какой только был способен.

Я решил не читать — во всяком случае, до ужина. Меня влекло назад в Ругбюль, на чердак, к моему ящику и к коллекции, которую я начал составлять уже под новыми знаками и светилами, но чем дальше я отодвигал от себя черновик Макенрота, тем настырней его листки лезли в глаза; они попросту отрезали мне путь назад, они отбили у меня память, и я против воли пододвинул их к себе, закурил сигарету и погрузился в чтение.

Ну, как он еще там меня разделывает, потрошит — словом, какое блюдо он состряпал из меня на этот раз? На какую булавку он меня наколол? Какое зрелище являю я собою в этом, так сказать, выпотрошенном, высушенном, то есть научно препарированном виде?

Итак, искусство и преступность, это мы уже слыхали,— какая там глава-то? Глава четвертая. Заголовок? «Д. Формы проявления частичной обсессии». Внизу карандашом: «Черновой вариант заголовка». А дальше Вольфганг Макенрот писал:

> «Ранние переживания Зигги Й. и нарушение контакта с окружающей средой можно понять в полной мере лишь учитывая развитие отношений между художником Максом Людвигом Нансеном и отцом исследуемого индивида, местным полицейским Йенсом Оле Йепсеном. Контроль за соблюдением запрета заниматься живописью, на первых порах воспринимавшийся полицейским как обычное служебное задание, хотя и особого свойства, превратился — в силу целого ряда причин, а также в силу некоторых особенностей характера Йенса Оле Йепсена — в манию; вышеупомянутый запрет стал для участкового инспектора вопросом личного престижа, вследствие чего Оле Йепсен считал своим долгом осуществлять контроль даже тогда, когда срок запрета естественным образом истек».

Да уж, безобидней не скажешь!

«Мании отца, к тому же страдавшего галлюцинациями — местные жители в этой связи говорят о «вещем глазе»,— соответствовала возникшая у мальчика на почве страха обсессия, начальная фаза которой может быть установлена с достаточной точностью. Выше уже говорилось о необычной страсти Зигги Й. к коллекционированию — страсти, которая не признавала никаких нравственных запретов (об этом речь еще пойдет ниже); однако к ненасытной жажде коллекционирования добавилась обсессия особого рода. Впервые она обнаружилась у Зигги Й. в тот день, когда сгорела старая мельница, где он прятал свои коллекции. Болезненная реакция на эту утрату, а также подозрение, что мельницу поджег отец и что он будет и впредь устраивать такие поджоги, выполняя полученный некогда приказ о запрете заниматься живописью,— все вышеупомянутое привело к тому, что мальчика в мастерской художника при виде некоторых картин начали преследовать галлюцинации. Ему казалось, что из глубины картин движутся язычки пламени. Он был убежден, что картинам грозит опасность, и им овладела навязчивая идея: надо их спасти, однако с этим стремлением спрятать их в надежном месте еще не связывались в ту пору никакие собственнические побуждения. Наоборот: здесь перед нами, бесспорно, аффект страха, встречающийся крайне редко и провоцируемый столь определенным лицом, что я позволю себе в ходе дальнейшего изложения иногда говорить о йепсенофобии. Обнаруживаясь поначалу лишь от случая к случаю, вне всякой последовательности, навязчивая идея, овладевшая Зигги Й., стала затем проявляться все чаще и чаще, так что можно было наверняка предсказать, когда она вновь даст знать о себе; вспышки болезни возникали спонтанно в ситуационной коллизии: индивид — картина. Описываемый психический феномен неизменно сопровождался болевыми ощущениями, и это обстоятельство позволяет нам квалифицировать тогдашнее состояние Зигги Й. как навязчивый невроз.

Однако невротическая идея спасения картин овладевала подростком не только в доме художника; она преследовала его всюду, находился ли он в школе, в сберкассе или в музее. Зигги Й. пытался осуществлять ее везде, где представлялась возможность: сначала в Глюзерупе, затем и в других городах — в Хузуме, Шлезвиге, Киле, наконец, в Гамбурге. Подтверждением того, что картины похищались исключительно ради спасения их от мнимой опасности, может служить тот факт, что они нигде и никогда не предлагались к продаже. Зигги Й. тщательно упаковывал и хранил их в специально оборудованных тайниках до тех пор, пока не минует воображаемая опасность.

Чрезвычайно любопытный материал для характеристики данного невроза представляют протоколы уголовной полиции Шлезвига и Гамбурга; будучи застигнутым на месте преступления, исследуемый индивид в свое оправдание заявил, что считал своим долгом спасать картины от грозившей им опасности, причем, как явствует из протоколов, Зигги Й. обнаружил при допросе все признаки маниакальной одержимости».

Ага, вот ты куда гнешь.

«Показательно, что в обоих протоколах употребляются выражения «дилетантский» и «фанатичный», помимо того, в них особо подчеркивается, что речь идет не о кражах в обычном смысле слова и что задержанный производит впечатление порядочного и интеллигентного человека; именно в силу этого последнего обстоя-

тельства дело не было тогда же передано в суд. Но здесь необходимо также отметить, что владевшая подростком навязчивая идея и вызванные ею действия были слишком поздно квалифицированы как психическое заболевание.

Когда отцу и матери стало известно, в каких нарушениях общественного порядка обвиняется Зигги Й., они сочли единственно эффективной мерой для исправления сына телесные наказания. Подростка целыми днями держали взаперти, не разговаривали с ним; в качестве более строгой меры его неоднократно лишали еды. Исследуемому индивиду запретили любые поездки в соседние города. Его успеваемость в школе за это время резко снизилась; но она тотчас повышалась снова, как только запреты ослаблялись и Зигги Й. получал возможность «спасать все, находящееся под угрозой». То обстоятельство, что среди «спасенных» подростком картин находились и уникальные произведения, можно считать чистой случайностью.

Отношения между отцом и сыном вступили в новую фазу после того, как участковому инспектору Ругбюля было поручено разыскать похищенную из глюзерупской сберкассы акварель М. Л. Нансена. Поскольку виновником похищения, судя по всем уликам, мог быть лишь Зигги Й., участковый инспектор попытался подстроить сыну несколько ловушек; попытки эти не увенчались успехом, и в одну из ночей отец после грубой стычки с сыном буквально изгнал его из родного дома».

Изгнал из родного дома — прекрасно! Он меня прикончить хотел; так прямо и сказал: «Я буду не я, если не прикончу тебя».

«Дошло до того, что все полицейские акции и все служебное рвение ругбюльского инспектора с определенного момента сосредоточились на исследуемом индивиде. Единственным человеком, понимавшим болезненный характер поступков подростка, был художник М. Л. Нансен; хотя он был вынужден закрыть перед Зигги Й. двери своей мастерской, он по-прежнему относился к нему с самой теплой симпатией и постоянно дружески заботился о нем. Это обстоятельство еще более подстегивало инспектора в его ожесточенной травле собственного сына».

Нет, Вольфганг Макенрот, все это было и так и не так.

Я не мог читать дальше — слишком о многом он умалчивал, слишком многое сводил к примитивной вражде; признавая мою вину, Макенрот делал это для того, чтобы тут же выговорить мне смягчающие обстоятельства, а я меньше всего нуждался в смягчающих обстоятельствах. Я решил вернуть ему главу и посоветовать переписать ее заново — так, чтобы она соответствовала моей точке зрения. Мне не нужно было высосанных из пальца оправданий, мне нужно было описание болезни. Мы же с ним столько говорили об этом. Я обещал помочь ему — и я ему помогу.

18. *Посещения*

Я и на этот раз пришел слишком рано. Никогда мне не удавалось явиться куда бы то ни было к условленному или предписанному сроку: ни в школу, ни к обеду, ни в Блекенварф, ни на вокзал — вечно я приходил слишком рано. Поэтому я и не удивился, что двери гамбургской галереи Шондорфа еще были заперты и что дежурные в серых кителях и перчатках, эти орангутанги, в обязанности которых входило регулировать и контролировать поток посетителей, даже не посмотрели в мою сто-

рону, а продолжали перебрасываться скупыми замечаниями, стоя в разных концах пустого, до блеска начищенного холла; даже когда я, так сказать, для пробы, вежливо подергал стеклянную дверь центрального входа, они не обратили на меня никакого внимания. Вечно я все делал раньше времени, пусть Вольфганг Макенрот истолкует этот факт, если сможет.

Я посмотрел сквозь стекло и начал на виду у орангутангов прохаживаться взад и вперед под накрапывавшим дождем, время от времени дергая за ручку двери. В сотый раз я прочел плакат, оповещавший об открытии большой выставки работ Нансена. Служители меня не замечали или не хотели замечать. Я всячески лез им в глаза — они не реагировали. Интересно, сколько народу должно было собраться, чтобы они снизошли и открыли двери раньше срока?

По мере того как стрелка часов приближалась к одиннадцати, начали стекаться посетители. Они прибывали на такси, трамваях, в собственных машинах или пешком, поднимались по ступеням мраморной лестницы и обменивались приветствиями всех рангов — от еле заметного кивка головы до демонстративных поцелуев и затяжных, церемонных объятий; можно было подумать, что тут собралась если не одна семья, то, во всяком случае, люди давно и близко знакомые. Они пожимали друг другу руки, похлопывали друг друга по плечу, целовали ручки, с рассеянным видом бросая цепкие взгляды вокруг. Они просто не могли нарадоваться обилию знакомых. По лицам блуждали улыбки всех оттенков — от кисло-сладкой до светски-сердечной. Все махали друг другу, делали знаки: мол, еще увидимся, обязательно надо поболтать. Задымили сигареты, запыхтели трубки. Оклики неслись сверху и снизу. И хотя все болтали без умолку, зоркие быстрые взгляды отмечали, кто пришел, кто подходил, кто не явился.

Я тоже обнаружил знакомых: Бернта Мальцана в плаще и гамбургского искусствоведа Ганса-Дитера Хюбшера (этого я два раза встречал у художника в Блекенварфе) — набриолиненные волосы волнами, роговые очки, восковой цвет лица — личинка с колючими глазками. В этой толпе на наружной лестнице галереи Шондорфа каждый заслуживал особого внимания и интереса, каждый по-своему наводил на мысль о бесконечных возможностях человеческой природы.

Но не подумайте, что орангутанги это осознали и, проникшись уважением, на радостях открыли двери раньше срока,— нет, они дождались, пока стрелка часов подошла к одиннадцати, только тогда распахнули двери и с дежурными улыбками стали на страже у гардеробов, будто ожидая благодарности за то, что они впустили всех; но может быть, они улыбались потому, что открытие выставки передавалось по телевидению и они сразу сообразили, что обе телевизионные камеры первым делом будут направлены на них.

В общем, мы, теснясь и толкаясь, полезли в двери — я так и не изловчился пролезть первым — и устремились в глубь шондорфовской галереи. Поток посетителей разделился на ручейки, растекся по переходам и закоулкам, но не насовсем, потому что, следуя четко разработанным маршрутам, все как бы сами собой снова вернулись в центральный зал и разместились вдоль стен, спиной к высоким окнам, лицом ко входу. Как непринужденно они стояли там, перешептываясь и разглядывая друг друга! Как дисциплинированно сдерживали свое желание ринуться к картинам, расположенным в хронологическом порядке, не дожидаясь торжественной вступительной речи,— а что такая речь предстоит, видно было по тому, как декоративно гости выстроились вдоль стен.

Сдержанное оживление и разговоры, перемежавшиеся приветствиями, становились все громче. «Вот где вас можно поймать...»—«Надо бы почаще...» — «Может, на следующей неделе...» — «Мы тогда созво-

нимся...» — «Старик сам придет — в газетах писали...» — «Нет, это не в «Талии», это в Камерном театре...»— «Радуйтесь, что на нее не попали, на эту премьеру...» — «Иногда он производит впечатление памятника самому себе...» — «Нет, как он умеет обуздывать краски...» — «Да, пафоса, пожалуй, многовато — визионерство этакое...» — «Как это Шондорфу удалось заарканить самого...» — «Символика цвета, милочка, у него сам цвет — поэма...» — «И все-таки он больше декоратор...» — «Бальдвин окончательно перешел на телевидение, в театре сейчас ничего современного и острого не сделаешь...» — «Наш век вообще — век оптики, другие органы чувств уже не играют никакой роли...» — «Цвет у него приобретает не только поэтический, но и метафорический смысл...» — «После этого цирка пойдем обедать...» — «Да уж, по интенсивности цвета все остальные ему в подметки не годятся...» — «А это уж не Томас ли Штакельберг?» — «Где Штакельберг?» — «Неужели Штакельберг?» — «Штакельберг!» Действительно, появился Томас Штакельберг, певец и драматический актер — длинная грива, окаменелая экранная улыбка, костюм а-ля король Эдуард; раздавая направо и налево неизвестно кому предназначенные поклоны, будто каждый из присутствующих в самом деле приветствовал его, он прошествовал через зал с отработанной непринужденностью человека, привыкшего ко всеобщему вниманию и любопытным взглядам, и влился в группу посетителей вместе со своей миниатюрной большеротой спутницей... «Весь в отца..» — «Нет, ты посмотри — вылитый отец...» — «А над чем вы сейчас работаете?..» — «Вот это сюрприз — встретить вас здесь».

— Отчего же? — спросил Штакельберг.— Моя Габриэль после каждых родов требует с меня акварель Нансена и получает ее, верно, киска?

Двое типов в плащах нараспашку уставились на меня и принялись рассматривать — один молодой, другой постарше. С ними никто не здоровался, и они ни с кем не здоровались. Они и между собой не разговаривали. Они явно не принадлежали к «семейному кругу»; когда телекамеры скользнули по ним, оба, не сговариваясь, дружно отвернулись и отступили к стенке. Но они не ушли, а продолжали меня разглядывать. По-моему, я интересовал их больше, чем сам Рудольф Шондорф, который только что пронес через всю залу свою надменную гладкую физиономию, подошел к лестнице и там не просто остановился, а замер в величавом спокойствии властелина.

Все взоры устремились на Рудольфа Шондорфа. Он явно чувствовал на себе это всеобщее внимание и, подняв руки на уровень живота, начал потирать пальцы, будто разминая их для особо значительного рукопожатия. Потом он повернулся, сделал знак служителям. Все разговоры стихли, смешки умолкли, шевеление прекратилось. Хозяин галереи весь подобрался: опустил руки, непроизвольно пошаркал ногой, как бы репетируя первый шаг. Приближался Макс Людвиг Нансен.

Он пришел в сопровождении Тео Бусбека. Я в жизни не видал на художнике такого наряда: на нем были гамаши, узкие полосатые брюки, фрак, истертый до глянца течением столетий, шелковый галстук с булавкой, стоячий воротничок и старомодный складной цилиндр на крупной, массивной голове. В таком виде он вполне мог бы поступить в распоряжение альтонского краеведческого музея и поселиться в качестве живого экспоната в макете фрисландского домишка начала девятнадцатого века. Лицо у него было властное и непроницаемое, в уголках губ пряталась пренебрежительная усмешка. И походка — походка была совершенно под стать одежде: не спеша, уверенным, хозяйским шагом, как бы одним своим видом расчищая себе дорогу, поднимался он по лестнице под руку со своим другом Тео Бусбеком. Он не улыбнулся, не проронил — хотя бы из любезности — ни слова, когда Шондорф приветствовал его как

желанного гостя; с отсутствующим видом выслушал он приветствие, коротко кивнул, а когда собравшиеся зааплодировали, кивнул еще раз. Под нестройные хлопки он вошел в круг посетителей выставки и не отпустил от себя Тео Бусбека, когда тот попытался было незаметно испариться. Откинув голову, художник сердито посмотрел в слепящие линзы прожекторов и на жужжащую кинокамеру — весь своенравие и неприступность. Шондорф вторично протянул ему руку, он ее не заметил, режиссер телевидения подошел к нему и попросил специально для телезрителей еще раз медленно поблагодарить директора галереи, он раздраженно от него отмахнулся. Потом, опустив голову, он как бы дал понять, что готов выслушать церемониальную речь: валяйте, мол.

Начал Шондорф — в качестве хозяина-устроителя выставки; он говорил проникновенным голосом, изредка сверяясь со шпаргалкой, которую крутил в руках наподобие свитка; художник слушал, занятый своими мыслями, но с выражением придирчивой внимательности, будто он только и ждал повода опровергнуть или по крайней мере поправить оратора. Итак, еще раз «добро пожаловать», высказанное со всей почтительностью. Разумеется, для всех высокая честь. Упоминание о трудностях и препятствиях. Убеждение, что в лице Макса Людвига Нансена мы чествуем одного из крупнейших представителей, и так далее. Цитата — уже вошедшая в историю искусства телеграмма в адрес Имперской палаты изобразительных искусств в Берлине. Упоминание об уникальных шедеврах, безвозвратно погибших, и так далее. Потом — прямое обращение к художнику: то, что вы все-таки приняли наше приглашение... Заверения в искренней благодарности. Рукопожатие. Аплодисменты.

Вторым выступил Ганс-Дитер Хюбшер. Гамбургский искусствовед говорил без шпаргалки, свободно, короткими, отрывистыми фразами, глаза его во время речи были полузакрыты; то и дело облизывая губы, смущенно улыбаясь, будто произносимые слова не вполне удовлетворяли его самого и были просто так, жалкой попыткой, он начал расписывать «языческое ощущение природы» и «могучий пафос живописной выразительности», присущие творчеству Нансена.

Тот изумленно, но и одобрительно воззрился на искусствоведа, кивнул, когда речь зашла о новом понимании перспективы и о смысловой иероглифике, и согласился также с мыслью о том, что для него характерны поиски изначальных, первородных элементов в бытии человека.

Пошептавшись о чем-то с Тео Бусбеком, художник тут же снова повернулся к искусствоведу, как раз заговорившему о вечных компонентах живописи: перспективе, цвете, свете и орнаментальном оформлении; Макс Людвиг Нансен снова кивнул, и я понял, что больше всего его удивляло собственное согласие со словами искусствоведа. Он даже невольно придвинулся поближе к Хюбшеру, когда тот перешел к цветовым рядам, которые художник, как выразился Хюбшер, постоянно пытается слить в так называемый «единый основной тон», во всеобъемлющую полифонию и все такое прочее. Художник не протестовал и тогда, когда это стремление к «единому основному тону» было охарактеризовано как центральная проблема всего творчества Нансена, так же как и Рембрандта; он, правда, несколько оторопело посмотрел тут на оратора. В заключение Хюбшер сказал:

— Творчество этого художника — яркий образец того, как идея превращается в произведение живописного искусства благодаря одному звучанию цвета.

После этого Хюбшер открыл глаза, коротко поклонился художнику, потом всем присутствующим и собрался отойти в сторонку, но художник придержал его за рукав и под нарастающие аплодисменты взял его руку, притянул к себе и довольно долго рассматривал человека, заслужившего столь безоговорочное его одобрение. Он что-то сказал ему, но я не рас-

слышал. В общем, выставка теперь уже официально была открыта, и посетители начали растекаться из зала — кто в глубь галереи, кто к боковым стендам, кольцо их распалось, снова вспыхнули разговоры и смех, особенно в той группе, которая прочно завладела Томасом Штакельбергом.

В головной группе — нечто вроде головной группы все-таки образовалось — шли Шондорф, художник, доктор Бусбек и Ганс-Дитер Хюбшер. Они шли быстро, Шондорф на ходу что-то объснял, иногда он хотел остановиться перед какой-нибудь картиной и сказать несколько слов, но никто не выражал желания его слушать, и прежде всего художник, который задавал темп всей группе и увлекал ее за собой. Время от времени он делал искусствоведу знак не отставать: тот явно был ему для чего-то нужен; может быть, он хотел еще что-нибудь послушать про себя — не знаю, но, как видно, одного он меньше всего ожидал: что кто-то вот так будет говорить о нем, а он, удивленный, растерянный, может быть, даже испуганный, будет готов во всем согласиться с говорящим.

Кто знает, как он встретил бы меня, если бы он меня обнаружил, но я держался поодаль, старательно прятался за спинами других посетителей, был начеку: последний раз он прогнал меня из Блекенварфа, сказав, что больше не доверяет мне. «На тебя нельзя больше положиться,— сказал он,— я тебе не верю, Вит-Вит». И недвусмысленно посмотрел в сторону Ругбюля. Поэтому я довольствовался тем, что разглядывал его и шел за ним следом, насколько это было возможно.

А теперь пора уже заметить огромную картину, которой я раньше не знал и которая сейчас совсем отдельно, сама по себе висела на одной из стен галереи.

Когда я вдруг увидел эти «Маски в саду», я уже не мог сдвинуться с места. Сад весь сверкал буйным скоплением красок: они отчаянно старались затмить друг друга, и каждая существовала в отдельности, в четком отграничении от остальных. А с дерева, с невидимого длинного сука, на зеленых шнурах свисали три маски — две мужских и одна женская. Луч солнца ударял в них сбоку и будто воспламенял их с одной стороны. Устрашающее спокойствие, загадочная сила исходили от масок. Глазные щели у них были землисто-коричневые, хотя небо за ними было ясным и безоблачным. Они чем-то угрожали саду, эти маски.

Мне сразу представилось: ветер, сначала совсем легкий, колеблет маски, потом он становится резче, сильнее и швыряет их друг на друга, и они дергаются все исступленней. Кого они напоминали? Они казались мне знакомыми, они как будто были сняты с лиц, которые я уже встречал, но имен я не мог припомнить. Мне представилось, как с наступлением ночи эти маски множатся, опускаются со всех ветвей и кустов, на длинных иссохших стеблях поднимаются с клумб, и я двинулся к картине, пошел к этому саду, полному масок, и помню, что мне вдруг отчаянно захотелось найти тонкую крепкую палку, чтобы сбивать маски с ветвей, стеблей и сучьев, сносить им головы, как сносят головки цветам, а потом — валите их хоть в навозную кучу.

И тут те двое очутились позади и приподняли меня, просунув руки мне под мышки. Я не отрывал глаз от сада с масками и все-таки сразу узнал эти светлые прорезиненные плащи. А сад мгновенно начал обороняться: я только теперь заметил, что все в нем пыталось спрятаться, укрыться от вездесущих масок. Незаметно, почти мягко, но настойчиво меня оттеснили от картины. Одного присутствия масок в саду, казалось, было достаточно, чтобы все тут же начало изворачиваться и хитрить — выпячивать одни краски и прятать другие, раздувать или гасить их пожар. Справа и слева от себя я замстил несколько знакомых физиономий; как и прежде, на них написана была авторитетность и профессиональная придирчивость.

Я почувствовал на своих ребрах локоть и пухлый кулак, но все делалось пока еще безбольно. Уже отрывая взгляд от картины, я заметил прячущиеся между цветов два глаза,— как загипнотизированные, они глядели на качающиеся маски. Вырываться, повышать голос, протестовать не имело смысла — я прекрасно знал, кто меня сцапал и почему. Потом они меня отпустили, но их плащи, шуршавшие при каждом движении, не отставали от меня ни на шаг. В наших общих интересах было, чтобы все произошло как можно незаметней, без скандала, без пререканий и всего такого. Я вел себя так, как ведут себя киногерои в подобных ситуациях: покорно, выдержанно, спокойно — будь, что будет; они явно остались этим довольны.

Я не торопясь, вразвалку шел к выходу, чуть замедляя шаг у той или другой картины. У самого выхода я на секунду остановился, дождался, когда плащи подойдут ближе, и сказал так, чтобы они поняли, что мой вопрос относится к ним:

— Это привет из Ругбюля? — на что один сказал: «Не болтай», а другой: «Иди вперед, живо».

Это я и так понимал, и им вовсе необязательно было подталкивать меня, но внизу, когда мы спустились по лестнице, они толкнули меня еще грубее — только потому, что я не сразу сообразил, через какую дверь они собираются меня вывести.

Во всяком случае, их толчок придал мне скорости, я сделал еще два шага, чтобы не оступиться и не упасть,— и побежал: одним махом слетел с наружной лестницы и, получив тем самым разгон, помчался дальше, набирая скорость; я не обращал внимания на крики «Стой!» и на раздававшиеся мне вдогонку угрозы, я слышал только дробь своих башмаков по асфальту и частые, гулкие удары сердца, которые несли и гнали меня все дальше, к мосту, через улицу; я проскочил перед самым носом у трамвая, делавшего здесь круг и вынудившего тех двоих остановиться и переждать; чем дольше длилась погоня, тем все реже раздавались за моей спиной крики «Стой!», однако оба плаща неуклонно и упорно бежали по моему следу — через строительную площадку, мимо бараков, грузовиков со стройматериалами, застывших желтых кранов, друг за дружкой по шаткой доске, по которой я пробежал, потом вниз по улице до светофора, придержавшего для меня зеленый свет, дальше мимо затененных навесами магазинных витрин, где те двое впервые потеряли меня из виду, но теперь уже другие, воскресные зеваки, начали показывать на меня пальцами и оборачивались оторопело и изумленно; а я несся дальше, к железнодорожному мосту — на бегу отметил про себя вывеску «Осторожно — дым», представил себе клубы дыма — вот бы мне их сейчас, густые, обволакивающие, непроницаемые облака!—но на другой стороне была отчетливо видна заправочная колонка, рука, протягивавшая из окна машины деньги, владелец колонки, вставлявший шланг в бензобак,— все как на ладони,— и я помчался дальше, к забитой машинами стоянке перед вокзалом (в отелях шансов было мало, в Немецком театре тоже, хотя как раз сегодня известный актер — я видел утром афишу — читал на дневном представлении Гёльдерлина, Гёте и Шторма), а плащи уже тоже миновали мост, владелец колонки кивком головы услужливо направил их по следу, указав в мою сторону, и мне оставалось только укрыться в вокзале с его холлами, туалетами, кассами и киосками, со ждущими, прибывающими и отъезжающими пассажирами; я метнулся в прохладный, продуваемый сквозняками холл, быстро огляделся, прикидывая, где бы спрятаться, но так и не воспользовался вокзальными возможностями, а пересек холл и выбежал на трамвайную остановку, прыгнул в проходящий трамвай — как он кстати подоспел! — и все время, пока я смотрел назад, в сторону вокзала, плащей не было видно.

Перед уксусной фабрикой я сошел и по пустынному двору, мимо громоздившихся друг на друга бочонков добрался до старого каменного здания, двери которого не закрывались ни днем ни ночью, ступени его были в трещинах, в подъезде висел фонарь, но лампочка была вывернута, обшарпанные стены покрыты царапинами и чьими-то инициалами; на третьем этаже этого дома жил Клаас. Хотя он жил не один, на двери значилась только его фамилия — на визитной карточке, прикрепленной кнопками: К. Иепсен, фотограф. Звонка не было. Я постучал и стучался довольно долго, пока не появился мой брат в измятых пижамных брюках, босиком. Он скорчил недовольную физиономию: «Ну, входи».

В длинном коридоре висели его фотографии из цикла «Мертвецы Гамбурга», изображавшие убитых, задушенных, застреленных, утонувших, попавших под машину и просто мирно усопших в своей постели.

Он толкнул приоткрытую дверь. В комнате вхолостую крутилась радиола; на столе стояли бутылки с остатками красного вина и пять рюмок, постель на широкой тахте была не убрана, на обтянутом мешковиной кресле валялось вперемешку мужское и женское белье.

— Ютта! — крикнул Клаас в другую дверь и потом еще раз: — Ютта! Не слышишь, что ли?

Появилась Ютта в застиранных джинсах, туго обтягивавших ее узенький зад, и в тонком пуловере, который был слишком короток и открывал полоску тела на животе и на спине. Оба переглянулись; потом Ютта поцеловала меня, а Клаас собрал и швырнул белье на тахту и пододвинул кресло:

— Садись, Ютта даст тебе кофе и бутерброд.

Оба закурили. Клаас отхлебнул из бутылки.

— Как дела, малыш? — спросила Ютта.

— Они меня выследили, двое в плащах гнались за мной,— ответил я,— я еле улизнул, только на вокзале от них отделался.

— Дело дрянь,— сказал Клаас,— сегодня ты у нас переночуешь, а завтра надо что-то придумывать. Если они тебя сейчас упустили, это не значит, что они от тебя отстанут. А что им нужно? Чего это они вдруг?

— Не знаю,— говорю.

— Это по доносу из Ругбюля? Старик орудует? — спросил Клаас.

— Может быть,— говорю,— да, скорее всего, он; наверно, что-то пронюхал.

— Про твой тайник?

— Да.

— Отсюда легко удрать,— сказал Клаас.— Если они придут, ты сразу шпарь в комнату Ханзи, а оттуда есть лестница наверх, я тебе покажу.

Тут мы все вздрогнули, потому что снаружи чей-то зычный голос дважды проревел так, что стены ходуном заходили,— рев был алчущий и торжествующий, он призывал и возвещал; потом послышались шаги, перед дверью они на секунду затихли, и не успел Клаас сделать мне знак, чтобы я скрылся на кухне, как дверь чуть не слетела с петель, и в комнате появился верзила в некрашеном пуловере из овечьей шерсти и в резиновых сапогах с заплатами; к груди он обеими руками прижимал полдюжины бутылок красного вина. Он снова взревел, но уже покороче и сдержанней, за ревом последовало ворчанье, потом он мотнул головой в сторону комнаты Ханзи.

Это и был сам Ханзи. А когда он, не произнеся больше ни слова и не закрыв за собой дверь, проследовал в свои апартаменты, в комнату впорхнула длинноволосая девица в переливающемся плаще; размахивая над головой тряпичной куклой, она жизнерадостно улыбалась и, проходя мимо нас, пригласила всех идти за собой.

— Сейчас придем,— крикнул Клаас.

Как мне описать комнату Ханзи? Полутемная кишка с двумя дверьми — одна вела прямо на чердак,— три высоких окна, выходивших на безлюдный, заваленный рассохшимися бочками фабричный двор; вдоль стен комнаты — синие судовые рундуки, служившие и для сидения, и для спанья, застланные кисло пахнущими овчинами, вместо пепельниц— консервные банки, мольберт, узкая полка, заставленная сидящими, стоящими, лежащими вповалку и в одиночку куклами, а у окна на белом картоне, выполненный углем, серебряным карандашом и акварелью, главный шедевр Ханзи, исповедь его души — цикл «Восстание кукол». В углу за мольбертом в качалке спал молодой лысый парень в кожаной куртке нараспашку, дрых так, будто проспал тут уже вечность и собирался спать и дальше — дни, месяцы, годы.

Первым делом Ханзи выпил: Дорис — так звали девицу в плаще — откупорила бутылки, разлила вино и вручила всем по стакану, каждого при этом со смаком чмокнула, особенно Ютту, на что Ханзи, со своего рундука, где он успел улечься на спину, подтянув ноги, крикнул:

— Эй вы, извращенки, а ну, давайте музыку!

Дали музыку — гитару; радиола стояла рядом с качалкой, в которой спал лысый. Клаас уселся на полу, облокотившись на один из рундуков и удерживая без помощи рук стакан на правом колене; Дорис тоже улеглась на пол, подстелив, правда, под себя вонючую овчину. Какой-то тип пел под гитару про черное солнце и черную реку, в которой кто-то утонул, кажется, ребенок. Ханзи курил и кивал головой в такт музыке; вдруг он вскочил, почесал под коленками и сунул мне свой стакан. Опять какой-нибудь номер отколет.

— Господа,— сказал он,— у меня на зубах песок скрипит, и еще я будто клею нажрался. Я все думал, откуда это, и вдруг меня осенило: от этой декоративной зауми, от нансеновской выставки. Да будет вам известно, что мы удостоились чести повидать властелина облаков и прочей муры — величайший мазурик всех веков присутствовал там собственной персоной.

Он бросился к мольберту, приколол лист бумаги и извлек из-за спины спящего типа ящичек с масляной пастелью; Дорис расхохоталась и закинула ногу на ногу.

— Прошу внимания! Мы отправляемся с вами на поиски изначального, первородного в человеке — по старому, доброму немецкому обычаю: дотошно, с чувством, как немцам и положено. Не дрыгай своими кочергами, Дорис, а вы перестаньте ржать.— Он проложил желто-белую полосу с золотыми рваными краями: — Вот вам, пожалуйста, берег, кусочек северогерманского берега, и море отбивает на нем свои аллитерации. Безмолвное величие природы или как это там называется: наложи кучу — завтра что-нибудь взойдет.— Потом он взял черный и белый мелки, на берегу возникла черная загогулина — нет, сутулый, скрюченный, одетый в черное человек в брюках дудочкой и во фраке; человек держал в руках книгу и читал ее на ходу; книга, вероятно, была весьма глубокомысленная.— От такого напряжения,— продолжал Ханзи,— мелок просто стонет у вас под рукой, потому что он должен нагнетать цвет, как природа нагнетает в растение соки, чтобы стимулировать его рост. Но уж где вам это понять. Цвет — он должен отражать человеческую потрясенность миром, открывать людям глаза на изначальное, первородное.

Работал он свирепо, сжав губы, преувеличенно размашистыми, властными жестами, мазал синим по желтому, взрывал белизну каскадами зелени, цвет у него действительно становился зрительным воплощением замысла: на бумаге — да, я должен это признать — сам собою возникал страх. Страх и потрясенность были на зеленом лице человека, шедшего по берегу с раскрытой книгой. Но еще было непонятно, откуда

этот страх. И вот появился коричневый цвет — темно-коричневое пятно, трагически исполосованное черным, оно разрасталось, распластывалось над побережьем, здесь вытягивалось в длину, там — резкой линией отсекалось.

— Ну вот, перед вами зловещая птица миротворенья, ясно, да? Они узнают друг друга. Наш северогерманский пророк в ужасе: вот оно. Изначальное! Теперь надо еще заставить заиграть всю плоскость бумаги, давайте сюда облака и тучи, иначе эта встреча недостаточно мифологична; так, воплощаем тревогу и смятение в небе — надвигается ночь. Не хватает еще криков напуганного зверья — как бы их изобразить?

Пока Ханзи набрасывал тучи, группировал их и подправлял, в комнату без стука ввалились какие-то два парня и приземистая черноволосая девица; они, не ожидая приглашения, сбросили куртки, налили себе вина, молча расселись кто где придется и стали наблюдать за Ханзи, который, намалевав свои тучи, стал обсуждать вслух название:

— «Пророк встречает на берегу гигантскую птицу». А теперь давайте сообща выявим эту изначальность и первородность в человеческом бытии, как учил нас великий космописец Нансен.

Он уже нацелился было мелком на бумагу и никак не ожидал, что тут встряну я, да я и сам этого не ожидал, как вдруг услышал собственный громкий голос:

— Это все хорошо, даже здорово, только перспектива подкачала.

И когда Ханзи обалдело вытаращился на меня, я вскочил на ноги, подбежал к мольберту и объяснил, какие у него просчеты в перспективе. Глаза у Ханзи сузились, но он сдержался и не высказал того, что, судя по всему, думал сказать, а вместо этого схватил стакан и отхлебнул глоток.

— У космописца-то,— продолжал я,— перспектива всегда верная. Всегда.

— Еще что?

— Птица,— говорю,— птица у тебя неживая, а у мазурика все живет. Его фантастические существа всегда убеждают, а по этой птице сразу видно, что ничего она не высидит.

— Может, еще что-нибудь скажешь?

— Цветовые контрасты,— говорю.— У декоратора они никогда не бывают случайными, у него все точно и оправданно, а здесь нет никакой обязательности.

— Прекрасно — и что ты всем этим хочешь сказать? Только поживей!

Я обернулся и посмотрел на Клааса; он уставился в пол; я посмотрел на Ютту — она избегала моего взгляда.

— Я просто его знаю,— сказал я.

— Кого?

— Нансена, великого космописца и мазурика. Я знаю почти все его вещи, я видел, как создавались многие его картины. Что-нибудь вроде твоего цикла он бы никогда не соорудил, но зато он делал свое дело, и тут у него все на месте.

— Покороче,— оборвал меня Ханзи и залпом опрокинул свой стакан.

— Конечно, до тебя ему далеко,— сказал я,— только если ты так его разделываешь, то надо, чтобы у тебя все было на месте, верно?

— Нет, он просто киса,— восхитилась Дорис и задрыгала своими кочергами.

— Ты, я вижу, бог знает что о себе вообразил,— сказал Ханзи.— Он тебе, наверно, мороженое на палочке покупал или позволял таскать ящик с красками. Оно и видно. Я тебя еще на выставке приметил, и знаешь, что я сразу подумал? Вот, думаю, прирожденная модель для

Нансена — конечно, для картин определенного сорта, к примеру, «Мальчик на уборке сена».

Тут, наконец, очнулся Клаас.

— Иди сюда, Зигги,— позвал он меня,— садись.

Но не мог же я уйти просто так — не дав сдачи.

Я сказал:

— Ты смеешься, а я был его моделью, и поэтому я знаю, какими средствами он работает; а уж если ты хочешь его разделывать, пользуясь его приемами, надо, чтобы все было на своих местах.

— Терпеть не могу, когда повторяются,— сказал Ханзи.

А Дорис опять чуть не померла со смеху:

— Нет, ну какая киса; надо будет с ним как-нибудь в чулане картинки посмотреть.

Я промолчал и, ни слова не говоря, прошел мимо Ханзи. Они все наблюдали, как я присел на корточки перед циклом «Восстание кукол» и не спеша начал разглядывать отдельные работы. Итак, кукольный народ: треугольные физиономии, сплюснутые круглые физиономии, физиономии «точка, точка, два крючочка». Руки, гнущиеся во все стороны; ноги, которые можно завязать хоть в два узла,— податливые, неуклюжие и все-таки бессмертные куклы. Они карабкались по фабричной трубе и завладевали ею. Они взрывали водонапорную башню, разрушали мост, пускали под откос поезд, срывали знамя с фронтона дома. Куклы рыли могилу, судя по всему, для Аденауэра, потому что на могильном камне стояли инициалы — К. А. Куклы, идущие против ветра, куклы на стрельбище в Мунстерлагере. Они связывали спящую девушку — конечно, Дорис. Они спасались бегством от крутящегося волчка, скакали верхом на петухе, дюжиной ножниц зараз выпускали кишки мягкому кожаному креслу.

Пока я рассматривал картины, все собравшиеся молча наблюдали за мной, я слышал их дыхание и легкое причмокивание, когда они затягивались сигаретами. Потом я выпрямился и медленно повернулся к Ханзи; тот откинул со лба жиденькие волосики и явно приготовился снова накинуться на меня.

— Иди сюда, Зигги,— позвал Клаас.

— Ну что? — спросил Ханзи.

— Здорово,— сказал я,— это все здорово.

— Еще что?

— Я вот только удивляюсь,— продолжал я,— все вы смотрите на старика с презрением, свысока. Вам кажется, что вы настолько его переросли, что даже диву даетесь: мол, гляди-ка, а он ведь тоже кое-что соображает, он уже и тогда это понимал.

— Мне-то ты можешь не рассказывать, что такое Нансен.

— Но, по-моему, ты знаешь о нем далеко не все.

— Вот что я скажу тебе, малыш,— заявил Ханзи.— Твой Нансен — из тех типов, которые стали нашим несчастьем: этакий почвенник, пророк с политическими амбициями.

— Они запрещали ему рисовать,— сказал я,— ты, наверно, об этом и не слыхал, а он был у них под запретом; сотни его картин уничтожены.

— Вот в этом-то для меня и загадка,— сказал Ханзи.

А я спросил:

— Разве это не говорит в его пользу? Да что я буду тебе втолковывать — ты и сам все понимаешь.

— Вот именно,— сказал Ханзи,— все, что мне надо, я понимаю; мне, к примеру, ясно, чем ты мне не нравишься.

— И мне тоже,— сказал я,— мне не ясно только одно: как это у вас все легко получается. Вы над ним смеетесь, а даже труда себе не даете в нем разобраться.

Я собирался еще много чего ему выложить, но не успел: проворнее, чем можно было ожидать, Ханзи поднял колено и поддал мне в живот, так что от внезапной боли я скрючился, как его пророк на морском берегу, и пока я в скрюченном состоянии разбирался, что к чему, он успел нанести мне еще два ловких, не сокрушительных даже, но точно рассчитанных удара — в подбородок и по загривку,— чем и поверг меня, так сказать, ниц.

Красные блики — помню, что во время падения вокруг меня заплясали красные блики,— я услышал чей-то крик, но кто кричал, не понял. Во всяком случае, беседа об искусстве окончилась, кинопленка оборвалась, и гостеприимство Ханзи тоже пришло к концу, потому что когда я открыл глаза, передо мной был уже не пожелтелый ковер в комнате Ханзи — ковер, на котором раненые утки спасались от стрелка в камыши,— а темнота и запах хлора, да, по-моему, хлора.

Я лежал в качалке, ноги мои были укутаны одеялом. Я слышал, как Клаас сказал: «Спит», а Ютта: «Пускай поспит», и снова Клаас: «Ну и пойдем опять к ним». Они постарались выйти бесшумно, осторожно прикрыли дверь, но я все слышал; я лежал в чулане и размышлял, как бы мне уйти не прощаясь. Который час? Уже вечер? Куда мне теперь податься? Назад в Ругбюль? Наняться на рыболовное судно и отправиться в Гренландию? Или уехать в Страсбург и вступить там в Иностранный легион? Особенно тщательно я продумал план, как добраться зайцем до Америки, переменить там имя — на что-нибудь вроде Сиг О'Джепсон,— заработать кучу денег, открыть галерею, собрать вокруг себя молодых американских художников, устраивать при их участии недели национальной живописи, на которых сначала выступал бы президент, а потом я,— слава богу, что из этой кинохроники ничего не вышло.

Потому что я проснулся от вопроса:

— Зигги Йепсен?

— Да,— сказал я.

— Идемте с нами.

Я протянул руку и ощутил резину плаща.

19. Остров

На возвышении напротив голубого здания дирекции все еще стоит дом, который мы называем предбанником. Представьте себе плоское, барачного типа деревянное строение, поставьте на подоконники горшочки с цветами, развесьте занавесочки в белую горошину, как в деревне, распахните дверь: полы в светлых коридорах натерты, входите — никакой привратник вас не останавливает. Что еще? Представьте себе, что все восемь комнат заняты «вновь прибывшими», доставленными на баркасе из Гамбурга; я в комнате номер семь, вместе с Куртхеном Никелем; этот вчера все тут перекрушил — очередной приступ ярости, с ним это часто бывает. У него темные волосы, черная рубашка, расстегнутая на груди; сейчас он лежит на кровати в окаменелом состоянии; в недалеком прошлом — артист, амплуа — силовые номера. Он, видно, тоже, как и я, прислушивается к голосу директора Химпеля, который привел в предбанник делегацию иностранных психологов и, водя их из комнаты в комнату, демонстрирует прелести и трудности новой системы воспитания. Я стою возле своей кровати у самой стены и курю. Мимо окна с недовольными физиономиями бредут трудновоспитуемые, одетые в робы, с вилами и лопатами,— на полевые работы; они поглядывают на наш дом, переговариваются смеются.

Директор Химпель объясняет:

— Я бы назвал это шлюзом — помещение для новичков служит своего рода шлюзом. Чтобы избавить юного правонарушителя от психической травмы, обусловленной необычной обстановкой, в которую он попадает, мы помогаем ему, так сказать, незаметно вжиться в положение арестанта. Мы облегчаем ему этот переход. Как я уже говорил, здесь он не находит тех свобод, которыми обладал прежде, но некоторые, так сказать, скромные свободы ему предоставляются: он может курить, слушать радио, сам планировать половину дня и, кроме того, свободно передвигаться в пределах острова.

Один из психологов. А как долго они здесь находятся?

Директор. Три месяца. До сих пор эта система постепенной подготовки к тюремному заключению вполне себя оправдала.

Куртхен *(вдруг встрепенувшись, спрыгивает с кровати и, дрожа от ненависти, смотрит на меня)*. Ну, где они? Где эти гады?

Я. Не слышишь, что ли,— в пятом номере.

Куртхен *(приблизившись ко мне, шепотом)*. Поздравляю тебя! Слышишь: поздравляю тебя!

Я. С чем?

Куртхен. Ты будешь присутствовать при том, как я одного из них чикну. Ты будешь публикой. Они меня за применение силы сюда упекли — «двадцать семь случаев насильственных действий». Вот я им сейчас и покажу, как я применяю силу.

Расстегнув штаны, Куртхен запустил руку под левую ляжку, повозился там и извлек маленький финский ножик в кожаном футляре.

Я. Не дури.

Куртхен *(дрожа от ненависти)*. Уж если не прокурора, то хоть одного из этих. Все они гады, понимаешь? Они нас ненавидят. Они нам завидуют, что мы молодые, а они старые.

Я *(примирительным тоном)*. Убери нож, еще пригодится.

Куртхен *(распаляя свою ненависть новыми аргументами)*. Ни одна сволочь даже не попыталась меня понять. А я вот такой. Если кто на мою девчонку не пялился, не лапал ее, я ничего ему и не делал. А уж если кто на нее глаз положит, да еще лапать начнет,— тут я прямо весь захожусь. Мне это не нравится, понял? Я тогда сразу шел к тому фраеру и вежливенько просил не интересоваться моей девочкой, иначе личико раскрашу. Кто понимал, кто нет. Выходит, я просто защищался, а эти гады пришили мне насильственные действия.

Директор Химпель *(в соседней комнате)*. Я предлагаю зайти сейчас в комнату номер шесть, там я могу показать вам редкий случай: несовершеннолетнего похитителя картин, к тому же недурно в них разбирающегося.

Голос Йосвига *(еле слышно)*. Номер семь, господин директор.

Директор Химпель. Ах да, это через одну. А кто сейчас в шестой?

Йосвиг. Наш бунтарь.

Я *(медленно подходя к Куртхену)*. Спрячь нож.

Куртхен *(угрожающе)*. Не подходи.

Я *(останавливаясь)*. Ты же так никогда отсюда не выберешься.

Куртхен *(со смехом)*. А я и не хочу, понял? Я им только докажу, а там плевать.

Я. А если не того ткнешь?

Куртхен. Они все годятся, все они гады... Нет чтобы оставить нас в покое и засадить, как полагается,— они еще устраивают тут цирк, выводят нас, как лошадей на манеже. *(Подозрительно.)* А тебе сколько дали?

Я *(подходя ближе)*. Три.

Куртхен. Машины угонял?

Я. С чего ты взял?

Куртхен *(презрительно махнув рукой)*. Это не твоя физиономия в газетах была?

Я. Меня за картины — я прятал картины в надежное место, вот и все.

Куртхен *(обалдело)*. Картины?

Директор Химпель *(выходя с делегацией в коридор)*. Конечно, и внутри тюремной системы существуют качественные различия,— скажем, первая фаза заключения мало чем отличается от режима в предварительном помещении, где мы сейчас находимся.

Один из психологов. Если я вас верно понял, то вся программа воспитания, таким образом, напоминает систему шлюзов?

Директор Химпель *(в восторге от того, что его так верно поняли)*. Совершенно верно. Мы рассматриваем все наше заведение как переходную стадию. Несовершеннолетний преступник с самого начала проникается ощущением, что его нынешнее положение носит временный, преходящий характер.

Директор Химпель с делегацией заходят в комнату номер шесть, голоса умолкают.

Я *(включив радио)*. Встретим их музыкой?

Куртхен *(резко)*. Заткни шарманку.

Я *(выключив радио)*. Тебе тогда уж точно крышка.

Куртхен. А ты что, не заметил, малыш, что так и так нам крышка? Послушал бы ты прокурора: этот гад хотел оградить от меня общество. Именем общества он потребовал изолировать меня. Это они, стало быть, именем тетушки Луизы и дядюшки Вильгельма меня сюда упекли. *(Принимается играть ножом — бросает его вверх и ловко подхватывает, потом подходит к окну.)* А какие картины-то? Из музеев, что ли? Или фотографии девочек?

Я. Там были такие картины, ты бы на них целый год мог прожить; но я их только прятал в надежное место.

Куртхен *(отскочив к двери и пригнувшись)*. Идут!

Я. Не дури. Ты с ума сошел.

Куртхен *(шипит)*. Тихо!

Дверь осторожно приоткрывается, Куртхен медленно отступает назад, изготавливается для прыжка. Входит Йосвиг, в знак молчания приложив палец к губам: хочет нас предостеречь, подготовить, смотрит на меня, я мгновенно направляю его взгляд туда, где стоит Куртхен, может быть, я даже что-то крикнул — не помню: какой-нибудь слабый, в коридоре не различимый возглас; Йосвиг тут же реагирует: напрягается, сжимается, надламывается в паху, вытягивает длинные руки, как при игре в бейсбол, Куртхен бросается на Йосвига, замахивается ножом, я в два прыжка оказываюсь рядом с Куртхеном — нет, вру: я остался у окна, но твердо решил помочь Йосвигу, если понадобится,— два прыжка, и я рядом.

Ни крика, ни стона. Оба вынуждены действовать бесшумно: Куртхен нападает, Йосвиг обороняется; он резко ударяет Куртхена снизу по руке, та летит вверх, Куртхен по инерции продолжает винтовое движение всем телом, нож падает на пол, под ноги Йосвигу; Куртхен, пригнувшись, с ненавистью глядит на Йосвига, хочет схватить нож, Йосвиг наступает на него ногой.

Йосвиг *(удрученным тоном)*. Тебе все мало? Ты что, совсем спятил?

Куртхен *(держась за ушибленную руку, сквозь зубы)*. Ну, погоди, я тебе еще покажу! Ну погоди, гадюка. *(Ложится на кровать.)*

В комнату входят семь психологов из пяти разных стран, за ними,

излучая бодрость и педагогический оптимизм, директор Химпель в замшевой куртке и бриджах. Гости озираются по сторонам, рассматривая нас как часть интерьера.

Йосвиг *(Куртхену, дружелюбным тоном)*. Может, ты встанешь?

Куртхен. В гробу я тебя видел.

Йосвиг. Здесь же директор.

Куртхен. Хлебал я его в гроб.

У Химпеля и психологов глаза так и загорелись — вместо шока на их лицах отразился живейший научный интерес.

Химпель *(Йосвигу)*. Тут что-нибудь произошло? Что-нибудь случилось?

Йосвиг. По-моему, ничего. *(Кивнув в сторону Куртхена.)* Поднять его? Если хотите, он сейчас у меня будет как шелковый.

Химпель *(махнув рукой)*. Спасибо, дорогой, не нужно. Мы уж сами с ним договоримся. *(Подходит к кровати Куртхена, психологи полукругом выстраиваются за ним.)* Мы вас прекрасно понимаем, господин Никель: у всех бывает плохое настроение, но что же делать, мы вынуждены работать вместе, я бы даже сказал: мы должны помогать друг другу.

Куртхен *(потирая руку)*. Отвали, сука, и не дави на слезу.

Один из психологов. Судя по всему, это юсуповский эффект антипатии.

Химпель *(с несокрушимым дружелюбием)*. Мы долго вас не задержим; конечно же, мы оставим вас в покое. Но, может быть, вы прежде окажете нам одну любезность. Вот эти господа, прибывшие к нам из-за границы, хотели бы узнать, почему вас сюда направили.

Куртхен. Вы и без меня знаете. Покажите этим типам протоколы — и все.

Химпель. Но господа хотели бы услышать это от вас, господин Никель, именно от вас. Кстати, я могу говорить вам «ты», я ко всем молодым людям обращаюсь здесь на «ты».

Куртхен. А мне плевать, как вы меня величаете.

Один из психологов. Повышенный коэффициент агрессивности.

Химпель. Дорогой мой Курт Никель, мы же твои друзья. Мы хотим тебе помочь. Но чтобы мы могли тебе помочь, мы должны тебя сначала понять.

Куртхен. У меня запас слов кончился. Я на перекуре. Больше вы от меня ничего не услышите. Хотите — обратитесь вон к нему. *(Указывает на меня пальцем.)*

Химпель. Ну хорошо, у нас еще будет время с вами побеседовать.

Он повернулся ко мне, психологи оживленно зашептались по-английски: судя по всему, они расходились во взглядах относительно Куртхена Никеля, и видно было, что им очень хотелось задать еще кое-какие вопросы, но так как директор Химпель почти по-отечески пожал мне руку, они все повернулись и обволокли меня своим вниманием.

Химпель *(обращаясь ко мне)*. А это, стало быть, наш искусствовед.

Йосвиг *(встревая в речь директора)*. Зигги Йепсен, господин директор.

Химпель. Я знаю, знаю. Господин Йепсен и его история мне хорошо известны. Но, может быть, он сам захочет рассказать нашим гостям, почему он оказался здесь.

Йосвиг *(тихо)*. Развяжи язык, иначе мы на всю жизнь рассоримся.

Я *(пожав плечами)*. А что вас, собственно, интересует?

Химпель. Я уже сказал: почему ты находишься здесь у нас?

Я. Из-за картин — я спасал картины, за которыми охотился мой отец. Вот и все.

Психологи навострили уши, закивали головами, один достал записную книжку и карандаш.

Химпель *(терпеливо)*. А как ты считаешь, зачем твой отец охотился за этими картинами?

Я *(бросив взгляд на Куртхена, безучастно лежавшего на кровати)*. Сначала по службе. Из Берлина художнику Нансену пришел запрет, а отец должен был сообщить об этом художнику и следить за соблюдением запрета. Он был участковым инспектором. А позже он уже просто не мог остановиться. Все остальное вы сами знаете.

Один из психологов *(чтобы удостовериться)*. Макс Людвиг Нансен?

Другой психолог. Экспрессионист?

Химпель. Значит, ты говоришь, Зигги, что твой отец, будучи полицейским, по долгу службы обязан был следить за соблюдением запрета. И когда необходимость в этом отпала, он все равно продолжал следить за художником.

Я. Он под конец немножко чокнулся — как все, кто только и думает о своем долге. Это уже была болезнь, а может, и того хуже.

Один из психологов. И того хуже?

Химпель. Твой отец конфисковывал картины?

Я. Конфисковывал, сжигал, уничтожал — все, что хотите. От него ничто не могло укрыться.

Химпель. Ну, а теперь, по-видимому, надо перейти к тебе. Ты прятал от отца картины в надежное место. Как это происходило? Расскажи нам.

Я. Это началось после пожара на мельнице. Не знаю... я посмотрел на одну картину, и вдруг в ней что-то зашевелилось, в глубине появился маленький огонек — настоящий огонек,— и я просто должен был что-то сделать.

Первый психолог. Объективная обсессия?

Второй психолог. Галлюцинаторная защитная реакция.

Я. Вот так оно и было — я чувствовал, когда какой-нибудь картине грозила опасность, и прятал ее от него. Вы бы, наверно, тоже так поступили. После пожара на мельнице я устроил новый тайник, у нас на чердаке, и прятал картины туда. Но он его нашел. Он шпионил за мной, пока не обнаружил картины. Тут он меня и засек.

Куртхен *(с кровати)*. А ты бы их сожрал — и дело с концом. Растяпа!

Химпель *(примирительным тоном)*. Но ведь твой отец только выполнял свой долг.

Я. Он меня прикончить хотел — он сам сказал. И он-таки упек меня сюда. А если вы хотите знать, почему я нахожусь здесь...

Директор Химпель *(с жаром)*. Об этом мы тебя и просим рассказать.

Я *(медленно подойдя к Куртхену и сев на его кровать)*. Я могу вам это сказать, могу сказать очень точно. Я отсиживаю здесь за своего старика, участкового инспектора Ругбюля. И мне кажется, что и Куртхен тут за кого-то отсиживает — за какую-нибудь тетушку Луизу или дядюшку Вильгельма. Может быть, тут вообще все ребята за кого-то отсиживают. Трудновоспитуемые подростки — так ведь суд определил, и тут нам это каждый день вдалбливают. Может быть, некоторые из нас действительно трудно поддаются воспитанию, я не спорю. Но я хочу вас спросить: почему не устроят специальных островов и та-

ких помещений для трудновоспитуемых стариков? Разве они в этом не нуждаются?

Куртхен *(мрачно)*. Слишком большой бы остров понадобился.

Я. Интересно, когда отпадает надобность в воспитании? В восемнадцать лет? Или в двадцать пять?

Химпель *(с жаром, соглашаясь)*. Метко сказано! Очень точно сказано.

Я. Нам же тут морочат голову; может быть, вообще все друг другу морочат голову. Я уж не спрашиваю, сколько тут таскается людей с нечистой совестью.

Один из психологов. Случай сублимированной агрессивности?

Я. Нас, молодых, отправляют сюда, потому что не осуждать же им самих себя. Это приносит им облегчение. Можно вздохнуть свободно. Все очень просто: нечистую совесть погружают на баркас, переправляют сюда, и пожалуйста — можешь есть и пить в свое удовольствие, глотать по вечерам свой грог.

Химпель *(поспешно, скептически)*. Ты уж слишком обобщаешь, Зигги.

Я. Ах так, хорошо. Тогда я скажу вам, почему я нахожусь на вашем острове — потому что ни у кого не хватает духу прописать участковому инспектору Ругбюля курс лечения в одиночной камере; он может себе спокойно сходить с ума и как сумасшедший цепляться за этот свой проклятый долг. А я здесь потому, что он уже перевалил за определенный возраст и слишком стар, чтобы перевоспитываться. Да, я отсиживаю здесь за него,— вот вам весь ответ. Кто знает, может, номер и удастся: может, когда-нибудь ему пойдут на пользу успехи, которые я тут делаю. Хотелось бы надеяться. Но это все, на что можно надеяться. А верить в это я не верю.

Пауза.

Химпель *(откашлявшись)*. Ты говоришь очень горькие вещи; но я могу тебя понять. Да-да, я понимаю твою горечь, я бы даже сказал — желчность. Это очень похвально, что ты так искренне говоришь, от души.

Куртхен. Нет, вы только поглядите: он душу от печенки не может отличить. И все-то он понимает. Страсть как люблю людей, которые все понимают и ничего не предпринимают.

Йосвиг *(Куртхену)*. Ты разговариваешь с директором!

Куртхен. Подумаешь — я сам себе директор. Если тебе рассказать, за кого только я не отвечаю и о ком только не должен заботиться...

Йосвиг *(с легкой угрозой в голосе)*. Нам еще часто придется встречаться.

Куртхен *(адресуясь к потолку)*. Да уж один-то раз — это точно.

Химпель *(Йосвигу)*. Оставьте его пока. Не будем вызывать в нем преждевременное раздражение. *(Обращаясь к психологам)*. Есть еще какие-нибудь вопросы?

Психолог с записной книжкой *(обращаясь ко мне)*. Кое-что мне еще неясно. Вы сказали, что спасали картины от опасности, от огня. Значит ли это, что вы исключаете возможность квалифицировать эти действия как воровство?

Я *(обращаясь к Куртхену)*. Ты не знаешь, с чего это на меня вдруг такая слабость напала? От духоты, что ли?

Куртхен *(приподнявшись, психологу с записной книжкой)*. Вам все еще мало? Вы же видите: мальчик устал. Уж вы прямо до всего хотите докопаться. Иди сюда, Зигги, ложись со мной. *(Тянет меня на кровать.)* Я приласкаю тебя, и ты заснешь.

Я. Тут у кровати люди стоят, Куртхен.

Куртхен *(язвительно)*. А ты не бойся, малыш. Они же лишь этому и обучались.

Химпель *(пытаясь спасти положение)*. Я думаю, господа, что в главных чертах вы уже составили себе представление. С вашего позволения мы осмотрим сейчас комнату номер восемь.

Директор Химпель, Йосвиг и психологи, попрощавшись каждый в меру своей любезности, уходят; Куртхен вскакивает с кровати, подбегает к двери, прислушивается.

Куртхен. Ух и прижмут же они нас тут! Но долго я здесь не пробуду — я драпану.

Я. Если зацапают, восемь дней карцера. Ты же знаешь правила.

Куртхен. Значит, два раза в месяц можно пытаться. Есть закурить?

Даю ему сигарету, мы оба закуриваем.

Куртхен. Слушай, малыш, надо проникнуть на баркас. Пробраться на баркас и там спрятаться.

Я. Это уж без меня.

Куртхен. Ты что, ненормальный?

Я. А чего я на воле не видал? Там тебе ни укрыться, ни пристроиться. Не жить же на вокзале.

Куртхен. Останешься у меня. У нас в Лангенхорне сад большой — так запрячемся в кустах, что никто не найдет.

Я. Это уж без меня. С меня хватит, хочу передохнуть.

Куртхен. Нет, ты и вправду чокнутый.

Я. Может, попозже; попозже я бы с тобой пошел. Но сейчас... Уж больно они меня довели. Пожил бы ты с мое там, в Ругбюле, с этими людьми.

Куртхен. А твой старик в самом деле был легавый?

Я. Он всех нас довел, всех. Всю территорию расчистил от Глюзерупа до Ругбюля. И в семье тоже. Такому не надо указывать, что делать. Уж раз он получил задание, его не свернешь — так и будет всю жизнь его выполнять.

Куртхен *(подходит к окну)*. Посмотришь, и то тошно делается: мастерские — гроб гробом а бараки, а эти песчаные огороды! А Эльба — какая она тут паршивая. Никогда ее такой не видал. Разве это можно вынести?

Я. Можно, все зависит от того, с чем сравнивать.

Куртхен. Нет, ты точно псих, я это сразу заметил. *(Задумчиво.)* Эх, и как это я не сумел его пырнуть?

Я. Ты радуйся, что так все вышло.

Приближаются шаги; дверь открывается, входит директор Химпель.

Химпель. Ах, как хорошо, что вы не отдыхаете, а то я сомневался — войти или не войти. У меня есть предложение. Вам, как живущим в предварительном помещении, предоставляется полная свобода действий — вы можете гулять по всему острову. Если хотите сейчас погулять, у меня как раз есть время.

Куртхен. Благодарим за цветочки, мы уж подождем, какие у вас будут ягодки! Мне лично хватает вида из окошка. *(Обращаясь ко мне.)* Но, может, ты хочешь поближе познакомиться с островом?

Я. Потом. Как-нибудь потом.

Химпель *(усаживаясь на стол)*. Между прочим, сегодня день музыки; вы можете слушать радио, сколько хотите.

Куртхен. Ага, это называется у них днем музыки.

Химпель *(бодро и жизнерадостно)*. Вы здесь обживетесь. На нашем острове у каждого дня недели есть свое назначение: понедельник — день тишины, все читают; вторник — день гигиены, все чистят

ботинки и одежду; вот сегодня — день музыки; четверг мы посвящаем здоровью — все занимаются спортом; пятница — день самодисциплины, потому что в этот день пишут сочинения по-немецкому; ну, а суббота — суббота у нас день культурного отдыха, потому что по субботам занимается наш островной хор — между прочим, под моим управлением; я надеюсь и вас видеть в моем хоре; и наконец воскресенье — день размышлений: он отводится для писания писем, штопки носков, для бесед. *(Твердо смотрит нам в глаза, будто ожидая от нас энергичного одобрения по всем пунктам.)*

Куртхен. Ну что ж, хоть сортирного дня специального нет, и то хорошо.

Химпель *(невозмутимо)*. Кто попадает в островной хор, тот получает некоторые преимущества: дважды в неделю освобождается от работы на два часа.

Куртхен *(обращаясь ко мне)*. Валяй, малыш, запевай.

Химпель *(терпеливо)*. Вы уже выбрали себе работу?

Куртхен. Работу? А что же у вас за работа?

Я. В приговоре о работах ничего не сказано.

Химпель *(многообещающим тоном)*. В наших новых мастерских можно обучиться любому ремеслу; работать в них — одно удовольствие. Кто хочет, может стать здесь плотником, слесарем, художником, садовником. Портным тоже. Мы, конечно, никого не принуждаем обучаться ремеслу. Но работать на острове должен каждый. Вы, как видно, еще не представляете себе, что труд и хлеб неразрывно связаны друг с другом. Но это ничего. У нас на острове вам это объяснят. Вы поймете необходимость дисциплины и со временем, я надеюсь, также радость осознанного долга. Все, что нам нужно, мы создаем на острове сами: здания, орудия, идеалы тоже! Мы — одна семья, островная семья, которая сама решает, что ей нужно. Главное — иметь желание. Надо только начать. Вот тебе, Зигги, я могу предложить такое начало: не хочешь ли ты заняться островной библиотекой? Ее нужно привести в порядок: составить каталоги. Будешь работать с книгами: уж у тебя они будут в надежных руках.

Я. И это все?

Химпель *(тоном, сводящим на нет следующее предложение)*. Ты можешь, конечно, работать в мастерских по изготовлению веников. У нас делаются веники самых разных сортов.

Я. Тогда лучше веники.

Химпель. Но почему?

Я. Не знаю — веники мне сейчас как-то больше по душе.

Химпель. Ну, ты еще подумай. К тому же можно ведь менять работу. Если хочешь, поработай сначала на вениках, а потом перейдешь к книгам.

Дверь распахнулась, и в комнату влетел сухопарый, дерганый человек, потрясая разбитыми очками. Доктор Корбьюн. Тяжело дыша, он остановился посреди комнаты; в ней сразу запахло какими-то мазями.

Химпель. Дорогой мой доктор Корбьюн, что там у вас опять стряслось?

Корбьюн. Я обязан известить вас о происходящем.

Химпель. На уроке гражданского права?

Корбьюн. На уроке немецкого. Как обычно. Я задал им сочинение.

Химпель *(глядя на очки)*. Разбились?

Корбьюн. С одним из учеников вдруг случились судороги, он забился на парте. Оле Плёц. Я хотел ему помочь. Тут начался настоящий бунт.

Химпель. Оле Плёц.

Корбьюн. Они все кричали, чтобы я его не трогал. Они мне угрожали. Но ведь я должен был оказать ему помощь. И вот в этой свалке... *(Показывает очки.)* Слетели. Их раздавили. И я подозреваю, что намеренно.

Химпель. Мы во всем разберемся. Какая была тема?

Корбьюн. Сочинения? Тема была свободная, каждый мог писать, что хотел... «Приказывать может только тот, кто умеет подчиняться».

Химпель. Полезная тема.

Корбьюн. Два ученика сдали после урока чистую тетрадь. Я вызвал их к вам в кабинет.

Химпель. Я сейчас же ими займусь, сейчас же. *(Протягивает мне руку.)* Ну что ж, Зигги, скоро и ты будешь писать здесь свое первое сочинение. Я убежден, что ты это сделаешь лучше, чем они. И скажи мне потом, на чем ты остановился.

Я. А все уже ясно — поначалу веники.

Химпель *(убирает руку, растопыривает пальцы и внимательно их рассматривает)*. Я надеюсь, что остров тебе понравится, и ты у нас приживешься.

Я. Посмотрим.

Оба уходят. Я закуриваю чинарик, подхожу к окну и смотрю им вслед. Потом включаю радио. Передают сведения об уровне воды в Эльбе и Везере. Выключаю радио и закрываю окно. Потом ложусь на кровать, раскинув ноги, и закладываю руки под голову.

20. Прощание

Первым делом я убрал сочинение под замок. Вот уже пять дней аккуратная стопка темно-серых тетрадок покоится в левом углу металлического шкафа, шкаф заперт на ключ, ключ лежит в кожаном футлярчике, плоский футлярчик болтается на шнурке, трется о мою грудь. Йосвиг уже перестал спрашивать меня о моей работе, он не знает, закончил ли я ее или только устроил себе передышку.

Прошло пять дней, а я все еще не сдал сочинения. Только один раз я открыл шкаф и вынул оттуда тетрадки,— это был тот отрадный день, когда мне опять разрешили принимать посетителей и пришла Хильке. Как коротко она обрезала волосы! Как прочно залегла горькая складка в уголках ее губ! Какой безучастный и тусклый у нее взгляд — тусклый, как день на ругбюльском побережье. Она вошла, осчастливила меня сладостями и вялым рукопожатием и села на табуретку с таким же вздохом, какой часто издавала мать, опускаясь на сиденье; медленно блуждая взглядом по моей камере, Хильке долго разглядывала ее обстановку, а потом даже поинтересовалась, не переменилось ли что: ей показалось, будто было что-то не так. Я промолчал, и тогда она подняла глаза и спросила, как у меня дела со штрафным сочинением, сдал ли я его и какую получил отметку.

Тогда-то я и открыл шкаф, вынул тетрадки и положил их перед Хильке. Она взяла одну тетрадку, причем отнюдь не верхнюю, начала читать — не увлеченно, а с явной неохотой, так, будто решила почитать кусочек на пробу, только из любезности. Она читала, наморщив лоб, и вдруг, натолкнувшись на что-то знакомое и что-то припомнив, тут же начала бессвязно дополнять, поправлять или просто повторять:

— Да, да, чайки, буря... день рождения Бусбека, ну как же... Хольмсены — они оба уже умерли,— и как ты имена-то все помнишь...

ах, и «Человек в красном плаще»... и художник в бурю на дамбе... припадки Адди — ты и это помнишь... твой тайник на мельнице... дались же тебе мои ноги, что ты все критикуешь?.. Ругбюльский инспектор— сколько ты всего знаешь о нем... Но такой ли он на самом деле?... Помнишь, как он нам всякие истории рассказывал, сказки... А разве не было у нас ни одного сухого, солнечного лета?.. А мать катала нас в молочном фургоне по берегу — она ведь бывала и другой... А художник — ты вспомни, как он по целым дням не разговаривал!.. А Ругбюль зимой, когда замерзали канавы и на лугах лежал иней; или осенью, когда мы лежали в саду и слушали, как падают яблоки; а помнишь, как в теплые вечера над дамбой летали майские жуки... Но я обязательно все прочту, Зигги, только не сегодня; я обязательно прочту.

Она отодвинула стопку тетрадей и, пока я убирал их назад в шкаф, сообщила мне, что будет теперь приходить чаще, теперь есть возможность: она уехала из Ругбюля и собирается сегодня же попробовать устроиться официанткой в кафе «Германия», там есть свое варьете, а по вечерам играет трио «Альстер» под управлением Адди. Хильке торопилась.

Прошло уже пять дней, а я никак не могу распрощаться со своим штрафным сочинением. В иные сонные дождливые недели, когда из мастерских не доносилось ни звука, когда баркас причаливал без психологов, когда распорядок дня не звенел в ушах свистками, командами и беспрерывной беготней,— в такие дни мне иногда казалось, что про меня забыли: все как будто махнули на остров рукой и покинули его, отдав на откуп чайкам и воронью; но в один прекрасный день мне все-таки напомнили, что я не один и что даже на расстоянии меня не выпускают из-под надзора.

Словом, нынче утром я ожидал всего, чего угодно, только не того, что меня вызовет директор Химпель.

— А ну, выползай,— сказал Йосвиг,— пойдем, причешись и надень парадную форму: начальство по тебе соскучилось. И прихвати свой труд.

Он проводил меня только до надзирательской и дальше отпустил одного; я вовсе не спешил появиться перед директором со стопкой тетрадок под мышкой. Наоборот, по дороге я приласкал бюст сенатора Рибензама, долго вглядывался в глубокие зарешеченные окна кухни, пока меня не прогнала кухарка, вымещавшая свою ненависть к нам на жратве, которую она для нас готовила, и когда я увидел, что директорская собака вместе с другой, мне неизвестной, не спеша трусят к набережной, углубившись в философский разговор, я поторопил их, обстреляв валявшимися кругом обломками битой черепицы.

В вестибюле директорской, в коридорах и туалетах был наплыв «декораторов». Тут скоблили, там удаляли многолетние слои масляной краски, там настилали линолеум. Они карабкались по деревянным лесам, елозили перед порогами, толкались у подоконников; человек сорок трудновоспитуемых, которых директор уговорил пойти в «декораторы». Эдди Зиллус тоже там был, больше я почти никого не знал, но зато они меня как будто знали: они начали перешептываться, подталкивать друг друга, подавать стуком какие-то сигналы, и этот стук сопровождал меня все время, пока я поднимался по лестнице,— лопаточки, малярные кисти и ручки метел устроили мне нечто вроде шумового салюта; да, это был салют,— в мою честь выстроили и почетный караул, что было ясно видно по их физиономиям.

Кому предназначался этот салют? Старшему товарищу? Бедняге, приговоренному к штрафной работе? Или воплощению несокрушимого упорства? «Ты для них,— сказал как-то Йосвиг,— почти что допотопный зверь, легенда, а может быть, даже и символ: когда им совсем становится невмоготу, их подбадривает твой пример». Во всяком случае, «деко-

раторы» барабанили свой салют, пока я не постучался в химпелевскую дверь, и только войдя в кабинет директора, я услышал, что лопаточки, кисти и метлы вновь вернулись к своим прямым обязанностям.

Химпель ожидал меня в рубашке и бриджах; обе секретарши драили его замшевую куртку, орудуя щеткой и не жалея скипидара. Химпель одной рукой махнул в сторону двери, а другой сокрушенно указал на куртку:

— Это все декораторы, Зигги,— ты ведь видел, у нас сегодня работают декораторы.

К отвороту куртки был пришпилен опознавательный значок: «Д-р Химпель», из чего я заключил, что если и не сию минуту, то в самое ближайшее время директор отправляется на очередной конгресс в Гамбург. Не хочу ли я присесть, выпить с ним чашку чаю и — в виде исключения — выкурить сигарету? Хочу.

— Ну вот, Зигги, пока мы сидим — чай сейчас принесут, его уже заварили,— я хотел бы с тобой побеседовать.— Он посмотрел мне в глаза пристальным взглядом, покружил по кабинету, быстро, но энергично прошелся по клавишам раскрытого рояля — пам-пам-пам — и спросил, не поразило ли меня что-нибудь в моей здешней жизни. Понимаю ли я, почему дирекция разрешила мне так долго писать штрафное сочинение? Нет? Сейчас он мне объяснит.

Дирекция, сказал он, хотела продемонстрировать — это главное,— продемонстрировать, что она до определенных пределов признает и даже поощряет добровольную инициативу молодежи в самоусовершенствовании и самоисправлении. Мне позволили так долго писать, потому что поняли: я хочу как можно глубже раскрыть тему, использовать все ее возможности. Но сделанного уже достаточно. Дальше так не может продолжаться. Предел достигнут полностью, а излишества не нужны.

Не желаю ли я высказаться по этому поводу? Нет? Тогда он хотел бы спросить меня, как я отнесусь к тому, чтобы через десять дней покинуть остров — навсегда. Пам-пам-пам. Мне выхлопотана амнистия, я могу идти куда хочу; хотя я не приобрел никакой специальности — о чем он лично крайне сожалеет,— но успехи, достигнутые мною в изготовлении веников и в библиотечной практике, столь высоки, что он с чистой совестью готов выдать мне соответствующую аттестацию.

— Это уже окончательно решено?

— Да, окончательно, никаких пересмотров и отсрочек.

— Даже на две-три недели?

— Даже на две-три недели.

— Но работа еще не готова.

— Это не имеет значения; такую работу все равно можно закончить лишь условно; того, что сделано, вполне достаточно.

— Так когда мне ее сдавать?

— Завтра утром.

— Стало быть, уже окончательно?

— Окончательно. Я буду ждать тебя завтра в восемь часов. (Пам-пам-пам.) Здесь все тетради?

— Да, но я хотел бы пока забрать их с собой, можно?

— Само собой разумеется. Итак, завтра в восемь; и подумай, какой ответ ты дашь комиссии.

— Ответ?

— Тебя спросят, что ты собираешься делать после своего освобождения. А теперь извини меня, пожалуйста, мне нужно в город.

У него там, как я и предполагал, конгресс,— разумеется, международный.

Ну, разве тут станешь напоминать об обещанном чае, об обещанной сигарете? Я собрал свои тетради, попрощался, убрался восвояси и

на этот раз — явная неблагодарность с моей стороны — постарался незаметно пройти мимо торжественной шеренги трудновоспитуемых декораторов, которые снова застучали метлами.

Итак, я буду на свободе. Я сдам свое штрафное сочинение. А что впереди? Что меня еще ожидало? И чего я мог ждать? Я быстро вышел из здания дирекции и побрел, как беспечный охотник, не помышлявший о добыче, вдоль межи картофельного поля вниз к набережной; там я сел возле полинялого столба, к которому была прибита предостерегающая табличка, подписанная молодежным комитетом.

Я сидел, курил и смотрел на приближавшийся со стороны Гамбурга пароход, груженный кабелем. Что я стану делать, когда они меня выпустят, куда мне идти, где искать убежище, где устраивать тайник? Разве могу я вернуться в Ругбюль, если Клааса там нет и Хильке нет? Но даже если я останусь в Гамбурге — разве тем самым я избавлюсь от Ругбюля?

Пароход был английский, он глубоко сидел в воде, до палубы загруженный огромными черными бобинами. В какие моря он опустит свой груз, какие страны соединит друг с другом? Мой кабель, я знаю, никогда не протянется дальше Ругбюля — во всяком случае, один конец его всегда будет приводить меня к неоштукатуренному кирпичному дому, в котором — стоит мне только подключиться к другому концу — наверняка зычный голос рявкнет: «Участковый инспектор Ругбюля слушает!» Никакое потрясение — ни землетрясение и ни сотрясение недр морских — не разъединит эту связь: отныне и во веки веков я подключен к этому месту. Как тут ни закрывай глаза и ни зажимай уши — ничто не поможет; а пытаться уйти тем более бесполезно. Мне стоит только прислушаться — и раздается гудок, щелкает снятая трубка, а как только отрапортует его голос, я уже слышу в отдалении истошные крики чаек, и пространство раздвигается, ширится, под ветром сбегаются на равнину хутора, и море полощет волны о буны, взбивая шипучую пену. Ругбюль повсюду и навечно во мне — клочок земли, который я так упорно выспрашивал всю свою жизнь и который все-таки задолжал мне столько ответов. От этого просто так не уйдешь. И, слушая одичалые вопли чаек, мерный рокот волн и воровской шорох ветра в наших палисадниках, я все спрашиваю и спрашиваю.

Я спрашиваю себя, кто в штормовую погоду стучится к нам в дверь, кто выдувает из печки залпы едкого дыма; я спрашиваю о том, почему они так равнодушны к больным и так настороженно, чуть ли не с ужасом относятся к тем, у кого «вещий глаз». Кто опускает сумерки на пасмурный берег, кто заваривает булькающие похлебки в болотах, окутывает их туманом, скрипит в чердачных балках, хватает ворон на лету и швыряет их оземь: все мне интересно. И я спрашиваю себя, почему они не пускают запоздалых путников на порог и пренебрегают их помощью. И еще я спрашиваю себя, почему они не могут остановиться на полпути и одуматься. Кто одевает чернотой ивы на ночь, кто ломится в двери сараев? Я спрашиваю себя, почему с наступлением темноты они видят зорче и проницательней, чем при свете дня, и почему они так сатанеют при исполнении своих обязанностей. Эта их молчаливая сосредоточенность, когда они едят, их чванство, их одержимость историей родного края, хотя им для промывки мозгов не помешала бы хорошая баня: я и к этому ко всему обращаюсь с вопросами. Я расспрашиваю их походку, их неподвижность, их взгляды и слова, но ответы меня не удовлетворяют.

В общем, я выкурил сигарету там у столба, закопал окурок и перед уходом написал каблуком на влажном песке слово «дерьмо». Вдоль берега, вдоль камышей, в которые падают на ночь сонные птицы, я обошел добрую половину острова, никем не узнанный и не окликнутый. По-

том я побрел назад, под наш тюремный кров. Надзирательская комнатушка была пуста: Йосвиг, по-видимому, обедал. В ящиках его стола я не обнаружил ничего нового: там все еще лежал съежившийся, уже окаменевший кусок ватрушки, старинные ассигнации в конверте, предназначенные, видимо, для обмена с каким-нибудь другим коллекционером; новостью для меня оказалось письмо — недописанное письмо, адресованное, к моему величайшему удивлению, мне и начинавшееся в типичном для Йосвига стиле: «Дорогой Зигги! Скоро ты покинешь наш остров, и тебя ожидает новая жизнь. Наверно, ты очень быстро нас позабудешь. Но нам тяжело отпускать тебя — не потому, что ты не заслужил свободы, а потому, что мы все полюбили тебя. Но, видно, так оно и должно быть. Я всегда говорил, что у нас на острове — как в школе: только учитель привыкнет к своим ученикам — и уже надо с ними прощаться».

Дальше Йосвигу пока ничего не пришло в голову. Но он, стало быть, тоже знал о моем предстоящем уходе. Значит, это и вправду дело решенное. Работу придется сдать. Прочтет ли ее Химпель? Прочтет ли ее Корбьюн и какую отметку поставит? А потом? Отправятся ли тетрадки в шкаф и умрут там тихой архивной смертью? Или их вышвырнут в мусорный ящик? Или Корбьюн отдаст их играть внуку — тому всегда не хватает бумаги, чтобы малевать? Или он передаст их в молодежный комитет? Какое мне дело! Я уже все сказал, у меня остались только вопросы, на которые мне никто не ответит — и художник тоже. Он тоже.

Йосвиг вернулся неслышно — вырос вдруг за стеклянным окошком, постучал, осклабился и сказал в окошечко:

— Прошу на свое место, камера номер два, я закрываю.

Я вышел к нему в коридор.

— А вот было бы здорово, Зигги, если бы ты остался здесь надзирателем. На тебе форма, в руках связка ключей; ты получил специальное образование. Все тебя слушаются. У тебя прочное место, хорошие шансы на продвижение. Ты подумай.

— Чего я тут не видал,— сказал я, закинул связку тетрадок через плечо и молча двинулся за ним к своей камере. Он отпер дверь, пропустил меня вперед, потом вошел сам, сел на табуретку, а я стал у окна и увидел у причала Химпеля, который махал рукой баркасу, наискось бороздившему течение.

— Вот и пришло время!

— Какое время?

— Твоего прощания с островом.

— Да, вроде так.

— Ты рад?

— Чему?

— Что уходишь отсюда. Ведь ты уезжаешь, чтобы начать новую жизнь.

— Новую жизнь? Какую же это?

— Жизнь, которую человек строит сам, своими силами.

— Такого не бывает: какую бы похлебку мы ни заварили — в нее всегда уже кто-то плюнул.

Йосвиг подошел ко мне шаркающей походкой, и я почувствовал, что он хочет сказать мне что-нибудь приятное, утешительное,— но ничего не получалось: он сумел только сказать, что на прощанье мне причитается обед на заказ, по желанию и что он на моем месте заказал бы камбалу фри — это «реально». Я обещал подумать об его предложении. Робкое прикосновение — и я остался один. Как осторожно и деликатно он умел запирать дверь, когда хотел, и как проникновенно умел удаляться, если специально старался.

Уже пять дней, как дописано мое сочинение, и завтра я должен его

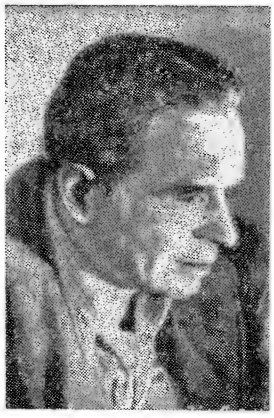
сдать. Должен? Как сказал Химпель, дело не в результатах, а в настойчивости и терпении, ведущих к желаемым результатам. Раз он доволен моей настойчивостью — для чего ему тогда нужны мои тетрадки? Я мог бы подарить их Хильке, или Вольфгангу Макенроту, или неторопливой, равнодушной Эльбе. Я мог бы вышвырнуть их в картофельные грядки или, выйдя на волю, сдать их в утиль. Столько возможностей. Столько еще остается возможностей. Но воспользуюсь ли я ими?

Я зажат в кольце моих земляков, заключен в круг моих воспоминаний, я захлебываюсь от напора пережитого, я сломлен открытием того, что время ничего, ничего не излечивает, и потому я знаю, отлично знаю, что мне остается делать и что я завтра утром начну делать. Снова и снова терпеть поражение в схватке с Ругбюлем? Наверно, можно назвать это так.

Во всяком случае, завтра утром я встану в шесть часов, когда осатанелые свистки надзирателей замечутся по коридорам, во всех помещениях вспыхнет свет, шпионящие зрачки приникнут к дверным глазкам. Прежде чем пойти в туалет бриться и умываться, я, как всегда, неизвестно в поисках чего, окину взглядом Эльбу, понаблюдаю несколько секунд за бледным свечением бакенов в предрассветной мгле, за их медлительным, почти торжественным колыханием и выкурю первую сигарету, от которой слегка закружится голова. Потом я натяну парадную форму и впущу Йосвига, который принесет мне на подносике завтрак: жидкий кофе и два бутерброда с фруктовым повидлом, изготовляемым на острове; как всегда, я съем только один бутерброд — правда, со второго сразу слижу повидло. Во время еды я буду слушать песню, которой трудновоспитуемые встречают в столовой утро,— песня, разумеется, рождена на острове.

А потом? Я отправлюсь на перекличку, если будет перекличка, и, как уже сотни раз до этого, сошлюсь на штрафное сочинение и уйду в свою одиночку, откуда буду следить за часами на здании дирекции. Тетрадки? Тетрадки я достану из металлического шкафа, сяду за стол, буду читать и курить — а может, и не буду; может, пока Йосвиг не придет за мной, я буду развлекаться игрушкой, которую в прошлый раз оставила Хильке, и мне удастся загнать сразу три шарика в лунки. Я ни о чем не буду раздумывать, ничего не буду планировать и решать, не заготовлю мысленно никаких прочувствованных слов, никаких выразительных жестов; со связкой тетрадей я спущусь вниз, когда придет время, и молча зашагаю рядом с Йосвигом, а он, конечно же, поправит на мне куртку и пригладит волосы на макушке, прежде чем ввести меня к Химпелю.

А Химпель? Тот изобразит на физиономии удовлетворение, благожелательность, обойдется со мной по-дружески, похлопает меня по плечу и, если у него на этот раз удалась очередная песенка, еще и предложит мне чашку чаю. Я положу штрафную работу на стол, он одобрительно кивнет и задумчиво перелистает ее, не вчитываясь. Движение руки — и мы молча сядем друг против друга, оба довольные собой, потому что каждый будет думать, что остался победителем.



КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ

Ниобея

Перевод с польского АСАРА ЭППЕЛЯ

I

В глубочайшей древности Ниобея (или Ниоба) слыла богиней земли. Затем люди забыли об этом, и у греческих трагиков и позже у римлянина Овидия в «Метаморфозах» она — многодетная мать, дочь Тантала-мученика, сестра Пелопса, царя Фригии, и супруга фиванского царя, легендарного лирника Амфиона. По одной версии мифа, детей у нее было семеро, по другой — двенадцать, по третьей, которой придерживается Галчинский,— четырнадцать: семеро сыновей и семь дочерей.

Гордясь щедрой своей плодовитостью, Ниобея не без насмешки говорила о немногочисленности потомства богини Латоны (Лето), у которой от Зевса было только двое детей: Аполлон и Артемида. В материнской своей гордыне Ниобея дошла до того, что запретила народу поклоняться этим богам.

Тогда по наущению оскорбленной Латоны Артемида и ее брат, солнечный бог Аполлон, одного за другим перебили стрелами всех детей Ниобеи. Девять дней они лежали непогребенные. Зевс превратил сердца людей в камень, чтобы они не чувствовали сострадания к обезумевшей от горя матери и равнодушно проходили мимо жертв чудовищного избиения. На десятый день самим убийцам-богам пришлось предавать их земле.

Ниобея превратилась в каменное изваяние. Вихрь перенес ее в родимую Фригию, на гору Сипил, где камень ее плоти сросся с горной вершиной. В «Описании Эллады» (1, 25, 5) Павсаний сообщает, что Сипил действительно увенчан скалой, имеющей форму человеческого тела.

Приписываемая Праксителю скульптурная группа на тему этого мифа украшала фронтон одного из храмов Аполлона в Малой Азии, потом оказалась в Риме. Ее обломки и многочисленные воспроизведения можно увидеть в музее Уффици во Флоренции и других музеях Европы.

Дети Ниобеи погибли от стрел солнца. Миф о солнечном ударе исполнился другой сути. Он стал символом материнского горя. Мать от горя окаменела и каменными слезами оплакивает своих расстрелянных детей:

семь сынов ее, семь дочек
Артемида с Аполлоном
расстреляли на рассвете...

Как в Освенциме. Как в Бухенвальде. Тысячелетия тому назад — как в XX веке новой эры.

II

Константы Ильдефонс Галчинский родился 23 января 1905 года в Варшаве, в семье железнодорожного техника. В 1914 году, вскоре после начала войны, вместе с беженцами-родителями Галчинский приехал в Москву. Здесь он обучался игре на скрипке и одиннадцатилетним ребенком написал свое первое стихотворение. Через пять лет семья Галчинских возвратилась в Варшаву. Год окончания гимназии, 1923-й, Галчинский считал началом своей литературной деятельности. Тогда же он был принят в университет и взялся за изучение античной и английской филологии. С 1928

по 1930 год Галчинский был одним из членов известной литературной группы «Квадрига», в 1930 году женился на Наталии Аваловой, которой, в числе других произведений поэта, посвящена и «Ниобея». Во время войны (1939—1945) он был заключен в концентрационный лагерь для военнопленных Альтенграбов. После войны Галчинский скитался по Европе, побывал в Париже, Риме, Брюсселе. В 1946 году он возвратился на родину. Скончался поэт в Варшаве 6 декабря 1953 года.

Вот поневоле краткое изложение биографии Галчинского, в котором никак не отражена его творческая эволюция, его внутренняя, духовная жизнь. Она запечатлена в его стихах и известна нашему читателю по многочисленным публикациям и критическим работам.[1]

III

«Ниобея» — примечательнейшее создание Галчинского, поэта, уже ставшего классиком, одной из ярчайших звезд в поэтическом созвездии послевоенной Польши.

Анджей Дравич, польский литературовед, в своей книге «Константы Ильдефонс Галчинский», исполненной важных мыслей и глубоких суждений, пишет: «Поэт актуализировал суть мифа, приблизил его к опыту современного человека». Действительно, без такой актуализации миф остался бы только сказкой, только напоминанием о ранних снах человечества. Подлинному художнику не может быть несвойственно чувство культурной преемственности. «Илиада» Гомера—Гнедича появилась у нас в те годы, когда волна патриотизма, поднятая Отечественной войной 1812 года, была еще на взлете. Вот почему древнее сказание оказалось столь нужным читателю первой трети прошлого века. В самом начале нашей революции Блок написал небольшое исследование о заговоре Катилины, услышав в ритме стихотворения Катулла «Атис» гул восстания, происходившего два тысячелетия тому назад. По слову самого Галчинского (см. его заметки о «Ниобее», приуроченные к чтению поэмы по радио в 1952 году): «Матери польские, матери корейские и русские, матери французские, оно ваше — лицо Ниобеи».

Галчинский верил, что в основе поэзии должно лежать моцартовское начало свободного вдохновения, соловьиная способность к импровизации при непременном условии «сноровистого» литературного мастерства. Единица, атом его искусства — не слово, не понятие, а группа слов или понятий. Отчасти поэтому, а также потому, что поэма представляет собой сложную метафорическую систему, на первый взгляд она кажется трудной для восприятия. Польский поэт отнюдь не считал, что произведение высокого искусства должно усваиваться так же легко, «как летом сладкий лимонад». «Поэма трудна,— сказал Галчинский,— оттого, что трудно говорить о горе». Если же считать, что художник в ответе за все перед всеми, то вряд ли найдется много тем, по поводу которых говорить легко.

Мы знаем, что обычно путь поэта лежит от юношеского туманного романтизма к ясности средств выражения, от усложненности литературной формы к ее простоте. Однако к своей смерти польский поэт не успел состариться, и его художественная манера, не претерпев коренной метаморфозы, только заставила его решать задачу воплощения темы с более глубоким, чем ранее, проникновением в ее суть, с более широким охватом подтем, возникающих в процессе творчества. Галчинский так и не стал под знамена классической ясности. Но не будем требовать от его прекрасной и своеобычной поэзии ничего, кроме того, чем нас одарил он сам, рыцарски убежденный в своей правоте.

Принцип композиции «Ниобеи» — принцип музыкальный, симфонический. Это подчеркнуто подзаголовками: «Увертюра», «Малая фуга», «Чакона» и т. д. Теме сопутствует множество побочных, «дочерних» тем. Известно, что «Плач Ниобеи» — вариация на тему русской бурлацкой песни. Заключительная «Ода к радости» — напоминание о знаменитом хоре на слова Шиллера, завершающем Девятую симфонию Бетховена.

IV

Один из обломков античной копии прославленного изваяния — голова Ниобеи — хранится в Неборовском музее. Поэт часто бывал в Неборове и в одно из посещений музея согласился с просьбой его хранителя Яна Вегнера написать стихотворение о Ниобее для путеводителя по Неборову. Через год, в 1950 году, в лесничестве Пране, в сторожке, где было написано многое из поздней лирики Галчинского, возникла большая поэма, предназначавшаяся уже, конечно, не для путеводителя.

В заключение представляется непременно нужным сказать несколько слов о русском переводе поэмы, выполненном Асаром Эппелем, переводе, очень близком к подлиннику как по духу, так и в передаче стиля Галчинского с его сложной метафористикой, словно бы небрежной рифмовкой и другими особенностями импрови-

[1] См. журнал «Иностранная литература» № 2, 1956; К. И. Галчинский. «Варшавские голуби». Детгиз, 1962; К. И. Галчинский. Стихи, «Художественная литература», 1967; «Польская поэзия», т. 2. ГИХЛ, 1963.

зационной художественной манеры автора подлинника. В переводе мы ощущаем и очень тактичное указание на силлабическую природу польского стиха.

Русская и польская поэзия, несмотря на сходство гуманистических целей одной и другой, развиваются по-разному. Новую польскую поэзию мы знаем далеко не в полном объеме. Без знакомства с «Ниобеей» наше представление о ней было бы еще более ущербно.

Что слезою сияло,
то солнцем взойдет.
Что в землю упало,
ростком прорастет...

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Я, Кохановского подручный,
В полдневье века о Ниобе
Концерт, как ветер, темнозвучный
В Ольштынской сочинил чащобе.

Пускай своим негромким ладом
Тебе во славу он послужит.
Ты в летний зной была прохладой
И рукавичкой — в снег и стужу.

Себе в прическу, Семиструнной,
Вплети нехитрый слог поэта.
Ты — песнь моей дороги трудной,
Ты — блеска всплеск и светоч света.

П о с ы л к а

Любимая, поблекнут строчки,
Утихнут в темных скалах ветры,
И внук меж тучами увидит
Твой взор — сияющий и светлый.

I

ЕВТИФРОН

УВЕРТЮРА

1

Несуразна, непригожа,
день и ночь стоит у моря
обратившаяся в камень

2

дочь несчастная Тантала,
Амфионова супруга
горемыка Ниобея;

3

семь сынов ее, семь дочек
Артемида с Аполлоном
расстреляли на рассвете.

4

А вокруг земля пустая,
ни огня на побережье,
только камень жмется к камню.

5

Небо стынет над Ниобой,
днище тучи тускло блещет,
хлюпает вода о камень.

6

Не приходит парус дальний,
он сторонкою проходит,
а глухая ночь приходит,

7

непригожа, несуразна.
Вдалеке гуляет буря,
а в лицо наотмашь ветер.

8

Над Ниобой вьюга воет,
вьюга снег по кругу водит
над подругой музыканта,

9

над супругой Амфиона,
бедной дочерью Тантала,
и полны глазницы снегом.

10

Стынут каменные слезы,
развиднеется не скоро,
только чайки стонут.

ВИЗАНТИЯ

АЛЬМЕ
ЦЕЗАР
ВАТИС
ТУИ
МИЗЕРЕРЕ
ДОМИНЕ

Такой антифон сложил стихотворец Талиарх, сын бочара, во печаль погруженный, и расписал его на пять наиславнейших колоколов града Византии.
А имя первого колокола было Евтифрон,
второго — Архангел,
третьего колокола — Никола,
четвертого — Герион,
пятого — Акрокера́уния.
Так величали колокола.

И когда они звонили песнопенье Талиарха, говорят, будто от звона оного падала золотая тень на тысячу двести куполов, у ворон вырастали золотые крылья, зеленели тучи, а стоящая на площади Михаила Архистратига фигура Ниобеи заметно веселела.
Первым вступал Евтифрон, возглашая АЛЬМЕ, АЛЬМЕ, за ним — Архангел со своим ЦЕЗАР, Никола восклицал ВАТИС, Герион — ТУИ, а колокол Акрокераунии, сбежавший потом в Рим, гудел МИЗЕРЕРЕ, и все голоса смешивал, и братьев заглушал, да так ловко, что в звоне его слыхать было каждый голос: и Евтифрона, и Архангела, и Николы, и Гериона. Герион же, колокол, из всех пяти братьев колоколов был самый радостный; статуя Ниобеи скорбящей, внимая ему, чуть ли не руку протягивала, словно бы просила гребень.
А когда исполнились сроки и Магомет II вступил со своим войском в город, статуя Ниобеи повалилась и голова статуи откололась. Тогда стихотворец Талиарх, сын бочара, выскочил из своего убежища, схватил голову и сбежал с ней во Флоренцию.
Данте уже полтораста лет как умер.
Такова изначальная история мраморной головы Ниобеи, именуемой Неборовской.

МАЛАЯ ФУГА

1

Что за вихрь по дорогам Европы
мчал тебя потайными путями?
Кто владел тобой, мраморный облик
с эллинско-славянскими чертами?

2

Кто в галере провез тебя с риском?
Кто в возке таскал через заносы?
И, тобою восхитясь, какой епископ
оборвал на полуслове «Патер ностер»?

3

В стороне какой, в какой державе
ты злодейства знавала и розни?
И какой отпетый мерзавец
тыкал факелом в древние ноздри?

4

Где была ты? Где? В какие лета
тать волок под плащом воровато
белый мрамор, черные секреты
роттердамских антиквариатов?

5

Может, Гольбейн, Дон-Жуан, Учелло
на тебя молились, как на образ?
Может, Карл-Филипп — скрипач умелый,
Иоганна Себастьяна Баха отпрыск?

6

Может, Тициан, на лик твой глядя,
ошалел средь венецейской ночи
и на волоса тебе приладил,
шутки ради, миртовый веночек?

7

Голова великого шедевра,
где твои восходы? Где закаты?
И в каких же ты плутала дебрях
по Европе — Дантовому аду?

8

На каких ветрах? В какие зори?
В день какой? Грозовый? Бирюзовый?
Ты плыла в смарагдах Черноморья,
чтоб звездой упасть на брег Азова?

9

И пропáсть. Но случай обнаружил
в камышах тебя, на дне, в придонских плавнях.
Ты скажи мне все. Скажи, как мужу,
без утайки о событьях давних.

10

Посреди двадцатого столетья
ночью я шепчу, ошеломленный:
— Чьи глаза гляделись в очи эти
в Бремене? А может, в Авиньоне?

II

ЧАКОНА

ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЯ

Хранитель музея в Неборове сказал:
— Обнаруженная на берегах Азовского моря
экспедицией ученых Екатерины II,
она путем обмена с царицей попала в XVIII веке
в руки магнатского рода Радзивиллов.
В наши дни своей красотой служит труду.

ОСТИНАТО

Ниоба,
мрамор и мирра!
О Ниоба, Ниоба,
тебе Эсхилова еще звенела лира;
стих пляшущий
иль плач
тебе во славу,
трохей ли, ямб —
что выберешь себе по нраву?

Где сыскать мне просодий строфических?
В алкеевых строфах? в сафических?
Ниоба,
их столько, силлаб и строф,
сколько в море Эгейском твоем
островов.
Ниоба,
будь я рожден тобой,
спел бы тебе я:
два слова весенних — и гимн!
да какой!
— Ласточка! Ниобея!
И только всего-то: Касатка! Ниоба!
И в ноги — сирень.
Лучше бы Кохановский. Лучше Прокофьев.
Лучше б — Шопен.
И пусть, Ниоба. А мне твой голос —
приказ и проповедь.
И пусть не по рукам тяжелость,
а я попробую;
добавлю туч, чтоб рифма золотом
блестела глуше,
и сердцем — ух!
в глубь Ахерона —
как можно
ниже,
как можно
глубже,
здесь?
нет?
Ниоба!

Ветер в болотах поет.
Стынут пальцы.
То ли? это — лицо твое?
Молви! Сжалься!
Верно, ты им просто сестра —
ведь у каждой лик яснолобый!
Ох и мороз!
Ох и ветра!
Ниобея!
Ниоба!
Сквозь прах, и мох, и мрак, и сырь,
сквозь ночь и вороньи стаи —
а сверху небо, кривой упырь —
Ниоба,
ноги устали!
Путь опасен,
где б согреться?
Генрих, басни
«Лиришес интермеццо»:
слезно и пошло,
всхлип тоски.
Ахерон, течешь ли?
Что ж!
Теки.

МАЛЫЙ СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

1

Опять светлы окошки... А чьи в окошках тени?
Окошки и герани, мосток, ветвей плетенье,
старинный колодец с Нептуном, яблоня, ступени —
а где оно?

2

Дул ландышевый ветер, колыша занавески.
Пел соловей. В подсвечник стекали капли воска.
В тяжелых косах ночи звенели звезд подвески —
а где оно?

3

Лазурным циферблатом часы светили с башни,
по небосводу тучка плыла неторопливо.
А после вышел месяц, окошки отворявший,—
а где оно?

4

Над вывеской цирюльни реял южный ветер,
пес в переулок вышел — нес в зубах фонарик,
летели в воду искры, смех, шепоты, букеты —
а где оно?

5

Обрученье в беседке. Яхонт. Яшма. Жемчуг.
«Баллады и романсы». Имя. Ветер в поле.
А месяц по секрету что-то шепчет, шепчет —
а где оно?

ПЛАЧ НИОБЕИ

Что за но-о-очь!
шлях белеется,
что за но-о-очь!
шаг сбивается.
Где вы-ы, мои деточки?
сгинул путь!
из какой же вы пьете речечки
тину-муть?
В Париже-то вас искала я —
понапрасну.
С фонариком по каналам.
А он погаснул.
Ох и ночь!
Ох и сне-е-ег!
Ох, невмочь,
Мельпомена, мне!
Где ж вы-ы, где вы-ы, деточки,
где вы есть?

Кто вас, мои свечечки,
мог увесть?
Может, я вот на столечко
не дошла,
может, я бы в той щёлочке
вас нашла?
Как мне бы-ы-ыть?
Кому жалиться?
Обрати мен-я-я,
ночь, пожалуйста,
в камень стылый,
в глыбу голую,
чтоб ни цветика,
чтоб ни голоса,
только ве-е-етер в ярости,
крик ворон.
И столкни в рéку горести,
в Ахерон.

III

НЕБОРОВ

БОЛЬШОЙ СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

1

Здесь лампа подвесная на скрипучей балке —
двурогая девица с хвостом, как у русалки,

2

зовут ее Мелюзиной, реже — водяницей,
под сводом над тенями она плывет плотицей

3

и светом повествует, как люди словесами.
Под этой самой лампой я сиживал часами,

4

глаз не сводя с Ниобы, Ниобы Неборовской.
Летели искры лампы по потолочным доскам,

5

и в сапогах промокших бродил ноябрь по лужам,
с листом кленовым в петлице,
с осколком солнца в сердце.

6

Уже над воротáми фонарь был желт и светел.
И скрипнул граб во мраке. Хорал заладил ветер,

7

семь уцелевших листьев сорвал и бросил в осень,
дворцовой дверью хлопнул, затем рванулся вкось он —

8

разбил рельеф, метнувшись на тимпан фронтона,
и гулко билось эхо в трубу, в гербы, в знамена.

9

И морем Средиземным осень подступала.
На барельефах солнце нет-нет и проступало

10

и высекало искры в ларцах и табакерках,
в гонимых ветром листьях — осенних фейерверках;

11

те листья дальше, дальше гнал ветер оголтелый.
А ночью холодало. И птицы улетели.

12

И только там, где ныне столько глаз совиных,
где пел в июньском жасмине хор скрипок соловьиных,

13

остался блеск, даже ночью, как золотая строчка:
«Я, соловей, певал тут!» — и золото листочка.

14

А в спальне неборовской, где замки тугие,
в простенках гобелены висели дорогие,

15

и на одном был остров цвета мокрой мяты
и сильный ветер, судя по зелени примятой,

16

и видно было, если светильник приближался,
что в глуби гобеленной кабан за ловчим гнался,

17

как будто на офортах со сценами погони
к поэме поэта Шекспира «Венера и Адонис».

18

Я долго в Неборове бродил по анфиладам —
бежал от Ниобеи, оказывался рядом,

19

кружил и возвращался по проходам низким.
От лампы в Ниобею отлетали искры —

20

Бетховеновой елки блестки-волоконца,
Шопен их вдохновенный переиначил в солнце.

21

Дул ветер в гобелене. То выл. То тихнул быстро,
то на басы бросался, то — по всему регистру,

22

и лес назад отбрасывал, и брал верха́ легко он
(и гобелен приплясывал в простенке, будто клоун).

23

Вихрь, заморочив ловчего, играл в ноздрях кабаньих,
вел пурпурную осень, как Вакх свою компанию

24

сатиров и Шопенов на триумф индийский —
что у министра Гёте в «Элегиях римских»,

25

где описанье амфор — скрипок низких глуше;
выше — только свечки, Ахерон и души.

ВСТРЕЧА С ШОПЕНОМ

— Monsieur Шопен, вот это да!
Как попали вы сюда?
— Я со звезд лечу во мгле.
Мне полегче на земле:

клавикорды, старый двор,
что-то вроде в до-мажор
(сущая безделица, милостивый государь),
старых нот старинный лад,
осень, листья вдаль летят.

— Но куда же вы? Как жаль.
Боже мой, в такую даль!
Ваша шляпа. — Merci bien.
— Bon soir, monsieur Шопен.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКРИПИЧНОГО КОНЦЕРТА

26

Месяц в глобус гляделся в библиотечном зальце,
по Средиземному морю водил серебряным пальцем,

27

вглядывался в Сицилию, Францию мигом обшаривал
и снова спешил в Византию, обследовав пол-полушария,

28

и резал свои монограммы в колоколах густозвонных,
в медных сердцах Гериона, Николы и Евтифрона,

29

которым звонить повелела певца Талиарха муза.
Потом бродил по карнизам, углам, зеркалам, аркебузам;

30

с себя, при помощи ветра, тучу стряхнувши рьяно,
кружил вокруг канделябров и старого фортепьяно,

31

зыбким потоком сияя, плыл по стене у пилона,
где на другом гобелене был свадебный пир Посейдона,

32

златом-сéребром тканный, словно бы к рифме рифма,
и Меркурий подарки всем приносил с Олимпа.

33

Тут подошли созвездья, стукнули в окна, робея,
Дева, Стрелец, Возничий, Весы и Кассиопея,

34

звезды, милые звезды — столько вас поднебесных,
и от века известных, и еще не известных:

35

Андромеда и Лебедь, Венера, Сириус ясный.
И вдруг все звезды погасли. И месяц тоже погаснул.

36

И Мелюзина погасла. Дрогнула тьма голубея —
и тогда засветился во мраке лик Ниобеи,

37

сначала белым свеченьем, потом синевой серебрённой,—
И я узнал этот мрамор. И вскрикнул, словно ребенок,

38

когда он мать или воду внезапно увидит в березах,
как вновь обретенный берег, песок и привисленский воздух.

39

Ниоба! Ниоба! Фонарик сквозь сумрачные нагорья!
Ниоба! Ты — Дон! Ты — Висла! Ты — все Средиземноморье!

40

Словно кормчий, который опасным проливом проходит,
а ветер огни погасит, и силы уже на исходе,

41

и буря крепчает, и столько разных камней подводных,
и Сцилла грозит, и сирены, и нету звезд путеводных,

42

и последние блики устали на скалах светиться,
и смолкла последняя песня са́мой последней птицы;

43

в борта тяжелые волны бьются темно и тревожно,
и огня даже сердцем запалить невозможно,

44

ночь длится, пути не видно, и страшно, и дело худо,
вокруг непроглядная темень, и помощи нет ниоткуда,

45

и вдруг в беспредельном небе одна звезда загорится,
и кормчий воскликнет: «Звезда моя!» — и к звезде устремится,

46

снова весел и полон неодолимой отваги,
ибо звезда кораблик проводит в архипелаге.

47

Так Ниобея светилась. Ноябрь за ставнями мокнул.
Светало. Утро звучало. Лучи пролетали в окна.

48

Нашли меня утром. Словно у материнского гроба,
сидел я с лицом в ладонях пред ликом твоим, Ниоба.

* * *

Что слезою сияло,
то солнцем взойдет.
Что в землю упало,
ростком прорастет;

что развеяно ветром,
рвется к дому.
За пригорочком
тихий омут.

IV

ОДА К РАДОСТИ

Миртом и розмарином, дуделками, воскуреньями
украшал тревожный Гораций уплывающие мгновения,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Мы для тебя иначе: тебе, Ниобея, с вечера
стрелочник фонарями стальные пути рассвечивает,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Тебе гудят самолеты. Дети поют славословья.
Тебе, Ниобея, ибо — ты мир, оплаченный кровью,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Тебе дифирамб отковал я, чеканщик, в работе упорный.
Ты — ритмы, хоругвь и хоралы портóв и аэропортов.

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Будь я твоим Талиархом, владыкой великого звона,
звонил бы и дни и ночи
в
Евтифрона,
Архангела,
Николу,
Гериона,
Акрокерáунию,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

О, звуков пока не хватает, нам звуков надо немало,
мы еще разгадаем язык стропил и металла,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Новых зверей отыщем по межпланетным чащам.
Слóва и времени атом светом зажжем слепящим,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Мудрая мукой всесветной, дай мудрость кричащим упрямо:
«Лучше бы на луне ты нас породила, мама!»

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Заговорят пусть камни, деревья, жестянки, коровы,
пустошь, камыш, кустарник пусть обретают слово,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Пусть молвит бочонок формой, дождь ветром, причалы молом,
пускай — инструмент инструментом — станет кларнетом молот,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Мы, мастерки с молотками, миру защиту отыщем,
на западе наше солнце светит в морские кладбища,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Там, где свет пропадает, в купольных высях, в своде
палец твой — луч огромный лучами лучи выводит,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

И замирает форма. Числа слышны отдаленно.
И в контрапункт свободный вплывает сон Сципиона,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Слог Ниобея слоги три слога Ниоба слоги
три слога четыре слога о слоги слоги слоги слоги,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Басня снег ба снег баба снег слоги снежно
мама снег баба снег слог слоги ба,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Чей голос? Голос слога слог мама слоги ловите
солнце мама солнце слово соловьи в алфавите,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Слог — это звук или звуки, простой элемент языка:
НИ — слог, О — слог, БА — слог, а тучка — ТУЧ и КА,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

А ты — сотворенная Ствошем легкая тучка-безделка.
Ты кёльнский орган, разросшийся в тысячи людей,
цветов, диковинных фигур,

верблюдов
не говоря о малюсеньких белках,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

L'art, l'art tu es Niobé, l'art qui rit et pleure,
plus vaste que vos canons, plus doux que le bonheur,[1]

Niobe, daughter of Tantalus,
Niobe, Amphion's wife[2].

В тебе Орландо ди Лассо. В тебе равновесье и век.
Mensch — ja, das klingt stolz[3]. В искусстве — человек,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

По широтам и долготам
лад один, одна забота,
века полдень, солнца веха,
пой, Ниоба, песню века.

И мою дуделку тоже
ты возьми для песни этой.
Кто тебя обидеть может,
песнопевица столетий!

Солнце близко. Песня близко.
Пули ей смешны всегда.
«Радость, олимпийцев искра,
элизийская звезда!»

Симметрия и ветер, летний дождь и гармония,
ты Европу сжимаешь, как скрипку, в своих человечных
ладонях,

Ниоба, дитя Тантала,
Ниоба, жена Амфиона.

Лесная сторожка Пране, 1950

---

[1] Искусство — ты, Ниобея, искусство; искусство, которое смеется и плачет, тебе тесны каноны, ты слаще счастья *(франц.)*.

[2] Ниоба, дочь Тантала, Ниоба, жена Амфиона *(анг.)*.

[3] Человек — да, это звучит гордо *(нем.)*.

ТОМАС ВУЛФ

Повести

Перевод с английского В. ГОЛЫШЕВА

Паутина земли

—В... год, когда налетела саранча, случилось это в год, когда налетела саранча, два голоса услышала я в тот год... Сынок! Сынок! Кажется, столько лет прошло с тех пор, как налетела саранча и объела дочиста деревья,— столько всего было с тех пор и столько лет прошло...

«Что там?» — говорю.

И говорит: «Два... два...» Говорит: «Двадцать... двадцать».

«А? Что там?»

«Два... два»,— один голос, а другой: «Двадцать... двадцать».

И я твоему папе: «Два,— кричу,— двадцать... двадцать — неужели не слышишь?»

И опять: «Два... два»,— один голос, у окошка, а другой: «Двадцать... двадцать»,— прямо на ухо мне.

«Неужели ты не слышишь, мистер Гант?» — кричу.

«Господи, женщина,— говорит твой папа.— О чем ты толкуешь, скажи на милость? Нет тут никого»,— говорит.

«Да нет же, есть! — говорю и тут опять слышу: «Два... два... Двадцать... двадцать».

«Да вот же они!» — говорю.

«Фу ты, миссис Гант,— говорит твой папа.— Тебе померещилось. Ты задремала, верно, тебе приснилось».

«Нет, нет,— говорю,— не приснилось. Это здесь. Точно здесь. Потому что я чувствовала, чувствовала, потому что слышала своими ушами.

«Это оттого, что ты в положении,— он говорит.— Ты устала, ты взвинчена, и тебе померещилось».

Тут зазвонили все колокола, и он поднялся уходить.

«Ой, не уходи! — говорю ему.— Не уходи, пожалуйста». Ты понимаешь, у меня было предчувствие, я забеспокоилась, что он уйдет.

И тут снова слышу: «Два... два»,— один голос, а другой говорит: «Двадцать... двадцать». А я *чувствую, чувствую*... Ну конечно! Боже ты мой! Как же мне не помнить, мальчик!.. Час, время, год, до минуты... потому что в тот год налетела саранча и все деревья объела дочиста.

— Но послушай дальше! Бен... Стив... Люк... Фу ты! Мальчик! *Джин!* Это Люк меня, наверно, вспоминает — вот почему я все время зову тебя его именем. Ну так — а? Что ты?

— Ты начала рассказывать про то, как услышала однажды голоса.

— А, да! Конечно! Ну, так я была... погоди! Что это? А?

— Это корабли в гавани, мама.

— Как говоришь? В гавани? Корабли? А, да, наверно, это они. Гавань в той стороне?

— Нет, мам, в другой. Ты повернулась. Наоборот, в другой стороне: там.

— А? В *той* стороне? Да нет же, детка, не может быть... Ты правду говоришь? Ну, доложу вам! Совсем запуталась. Все из-за того, наверно, что ехали в туннеле. Но на природе меня с дороги не собьешь: ты мне только примету дай — и доберусь, куда хочешь... Ну, скажу я тебе! Опять он завел! Ну, ей-богу! Прямо как старая корова! И ты тут же — прямо под боком! Как тебя только занесло в такое место! Боже мой! Слушай — слышишь? Это, верно, большой собирается отчалить... Господи боже мой! Одна порода — твой папа был такой же: только бы снятьсяся да куда-нибудь уехать. Если бы я ему позволила, он только бы и делал, что скитался по белу свету... Сынок, сынок, ты не можешь скитаться всю жизнь... У меня душа неспокойна, что ты где-то далеко, с чужими людьми... Ты не можешь жить один, среди чужих, до конца своих дней... Ты должен вернуться туда, где твои родные... Сынок, сынок, у меня душа неспокойна... Вернись домой.

— Ну так вот, я начала тебе рассказывать, вечером я слышу: один голос... Фу ты! Опять засвистел. Слушай, мальчик, я тебе скажу: когда его слышишь — так бы прямо собралась и удрала на нем! А что, не такая уж я старая! Да я хоть сейчас в дорогу и скажу тебе: хочется мне до ужаса — вот прямо сейчас уплыть и посмотреть все на свете, а? Все страны: Англию, откуда вышла вся наша родня, и Францию, Германию, Италию — скажи? А Швейцарию я всегда мечтала повидать — вот где, должно быть, красота... как этот говорил: Сокровищница Природы...

Слушай... а, теперь слышу!.. Теперь поняла... Ну да! В той стороне. А где же тогда мост, по которому мы ночью шли?

— Он здесь — как раз в конце улицы. Да вот! Подойди к окну, посмотри. Ты помнишь, как мы сюда шли?

— Помнишь! Ты еще спрашиваешь, мальчик, помню ли я! Господи боже мой! Да я такое помню, чего ты и не читал никогда,— все, как было, чего ни в одной книге не прочтешь.

Наверно, они пробовали написать про это в книгах — про все сражения и войны, и думаю, сынок, кое-что им, конечно, удалось рассказать, но, господи, откуда же им знать, как это было, когда они этого видеть не могли, когда они еще на свет не родились; и все у них получается таким давним, и словно в чужой стране происходит — откуда им знать, сынок, как это было: как ветер дул, как светило солнце, как дымом пахло на дворе, как мама пела, и перья ошпаренной курицы, и как река разлилась весной после дождей? Как смотрели в тот день мужчины, когда шли поречьем домой с войны, и что мы говорили, и голоса убитых, и как светало, как смеркалось, как грустно мне было на это смотреть, как женщины плакали, когда мы стояли у Боба Паттона на дворе, и как маршировали мимо нас мужчины, и поднималась пыль, и мы поняли, что войне конец. Господи боже мой! Мне ли не помнить! Я все это помню, детка, — и в точности так все было.

Я помнить начинаю с той поры, как мне исполнилось два года, и скажу тебе, мальчик, за эти годы я очень мало что забыла.

Ну да! Я же помню, как они отвели меня за руку к ручью и напугали до полусмерти — Боб Паттон и твой дядя Джордж, мальчишки, слепили из тамошней черной земли статуи Вилли и Люсинды Паттонов, а земля эта в руках, как замазка, мнется — и как я завопила, потому что *узнала их, узнала,* ведь я их видела обоих и помнила! Вилли и Люсинда — они были рабами у капитана Паттона... господи! Самые черные африканские негры, каких ты только видел... отец еще говорил: им бы сажей пудриться, родителей их прямо из джунглей вывезли... а зубищи белые-белые, так и сверкают... Но запах! Этот невозможный запах, этот вечный, черный, негритянский дух, никаким мытьем его не выведешь, мама его не выносила — пройдут, бывало, по комнате, а он после них висит, так маме худо делалось; и вот эти два бесенка слепили фигуры и голышей у ручья набрали, на зубы, и ты подумай! — сказать такое двухгодовалому ребенку! — что это и в самом деле Вилли и Люсинда живые, и Боб говорит: «Смотри! Съедят тебя сейчас»,— говорит, и я как зареву, ужас, все как вчера помню.

А как брата Вилла привели на Индейский курган? Ну конечно, поверье было, что там индейцы похоронены, оттого и курган, говорили; а из-под него в ручей стекала такая черная масляная жижа — и отец наш, конечно, всем доказывал, что там нефть, говорил, что если кто додумается пробить там скважину, сразу станет богачом... а Виллу-то всего два с половиной года, а Джордж ему и скажи: это масло жмется из покойников-индейцев, ну и Вилл, конечно, запищал, расплакался... «Да что же это? — мама говорит.— Такие ужасы рассказывать ребенку? Голову тебе мало оторвать, бестолковщина ты этакая».

— Да что говорить! Я ли не помню, как той зимой прискакал олень с горы, из-за дороги,— стал в пяти шагах от меня и смотрит, а я увидела его рога и ну реветь. Господи! Не знаю, что и подумать, отродясь не видала такого зверя, но он тут же в лес ускакал, а когда я маме рассказала, она говорит: «Ну да, ты видела оленя. Конечно, оленя, кого же еще? Его охотники выгнали из леса на горе». И — слушай! — в ту же весну — я уже большая была, четыре года: все запоминала — подступили к нашим местам янки... я ли их не слышала, я ли их не видела своими глазами, злодеев; эти два молодца неслись по дороге на краденых конях, словно угорелые, словно за ними черти гонятся,— все как сейчас помню! И как они выглядели, помню: два солдата, форменные оборванцы, пригнулись и только коней нахлестывают, а на шеях — платки пестрые, уголки назад, вытянулись, торчат, словно накрахмаленные,— представляешь, как они летели? — и слышу, наши кричат, голосят у дороги, что войска идут, и женщины заволновались, прогоняют мужчин, чтобы прятались. Мама руки ломает. «О господи, идут!» — говорит, а Адди Паттон сбежала с горы, ног под собой не чует от страха, малышка... «Ой, ой, идут, идут! А дедушка там совсем один,— кричит,— они его убьют, убьют!»

Конечно, мы тогда не знали, что эти босяки-янки вдвоем только; мы думали, их выслала дозором целая бригада Шермана. А вышло так, что остальные еще неделю не показывались,— эти два разбойника, видно, вырвались вперед и хотели попробовать, много ли им самим удастся награбить. Да... А как мужчины начали в них стрелять, когда увидели, что они без армии, а те побросали коней и в гору бегом что есть духу? А как после войны пришли люди — представляешь? — из округа Бедфорд требовать своих коней? Они коней узнали и рассказывали, что те двое и угнали их. Да что там! А что рассказывали про Аманду Стивенс — как она своими руками подпалила мост на том берегу Севира и как войска из Теннесси застряли там на неделю, потому что не могли переправиться — а? — а она стоит и насмехается над ними, и говорили еще, будто

она им сказала («Господи! — говорю.— Никогда не поверю, что она могла сказать такое!»), но чего душой кривить: ругательница была страшная, выражений не выбирала,— да потом все в один голос твердили, что Аманда им так и крикнула: «Эй, неужто вы без моста не перейдете через такой ручеек? Ох, и никчемный же, видать, вы народец. У нас,— говорит,— за мужчину того не считают, кто... с берега до берега не...»— И янки, конечно,— а что тут остается? — засмеялись.

И... Да! А как рассказывали про день, когда янки вступили в город и схватили старика Мэкери? Я думаю, они просто хотели над ним потешиться, а не то чтобы всерьез — ну, знаешь, огромная туша, лицо темное, желтое и волосы курчавые, и, конечно, ходила молва, что в нем негритянская кровь, да он и сам признался — подумай только! — уж и так и сяк доказывал перед этими янки: видно, надеялся, что его отпустят. Янки и говорят: «Если докажешь, что ты негр, то отпустим». А он им отвечает: «Докажу».— «А как ты докажешь?» — они его спрашивают. «А я вам скажу как,— говорит их капитан и — понимаешь? — подзывает одного солдата: — Джим, пробегись-ка с ним по улице разок-другой». И они стали бегать, солдат с этим Мэкери, взад и вперед по улице что есть духу, а солнце палит... Ну, вернулись они, с Мэкери пот градом, и вот, рассказывают, капитан этот, янки, подошел к нему, понюхал и кричит: «Ей-богу, правду говорит, ребята. Негр это. Отпустить!» Правда ли, нет ли, а так рассказывали.

Ну да! Как же мне все это не помнить? Как шли мимо нас войска, и с реки входили в город, и их отпускали по домам, а мы собрались на дворе у дяди Джона и смотрели на них — отец и мама со всеми детьми, и все племя Паттонов, все Александеры, Пентленды, и эти двое черных африканцев, что служили у Джона Паттона — Вилли и Люсинда Паттон, и твой прадедушка, мальчик, старый Билл Пентленд, которого звали Шляпник Билл, потому что он делал их из лучшего фетра, научился обрабатывать шерсть щелоком, ох, лучших шляп ты не видывал... Помню, в детстве, пришел к нам старый фермер и отдает дяде Сэму шляпу починить. «Сэм,— говорит,— эту шляпу старый Билл Пентленд мне сделал двадцать лет назад, и она,— говорит,— до сих пор как новая, ее бы только подправить и почистить». И я тебе вот что скажу: кто знал его, все соглашались, что Билли Пентленд — замечательного ума человек.

— И скажу тебе, мальчик, я всегда это говорила, если у тебя есть какие способности, ты унаследовал их по моей линии, и, само собой, такой человек, как Билл Пентленд, далеко бы пошел, будь у него образование. Конечно, по книгам он не учился, но рассказывали, как он умел рассудить и с одной стороны взглянуть на дело и с другой,— и заметь, старик был крепкий, до последнего часа... и вот в один прекрасный день велит он позвать Сэма и говорит ему: «Сэм»,— и Сэм потом рассказывал, как он пришел, а старик разводит огонь и гимны распевает, веселый, здоровый, со всей землей в ладу... «Сэм,— говорит,— я рад, что ты пришел. Я хочу с тобой кое-что обсудить. Ложись-ка на ту кровать,— говорит,— и побеседуем спокойно». А Сэму только того и надо — ох, *второго* такого лентяя не сыщешь: ему бы всю жизнь на боку лежать да беседовать. «Зачем? — говорит.— Что такое, отец? Что случилось? Ты, может, нездоров?» — «Нет,— говорит Билл,— я здоров как всегда, но теперь я недолго с вами пробуду. Я решил, что мне пора умирать, Сэм, и хочу привести дом в порядок до того, как отойду».— «Да что ты, отец! — удивляется Сэм,— о чем ты говоришь, объясни мне? У тебя же ничего не болит».— «Ничего»,— говорит Билл. «Тебе еще жить да жить»,— говорит Сэм. «Нет, Сэм,— старик ему в ответ и головой так покачивает.— Я

твердо решил, что мне пора. Меня зовут. Видишь ли, я прожил полных семь десятков,— говорит,— да с лишком, и чувствую, что на земле мне делать больше нечего, вот и надумал».— «Надумал? — спрашивает Сэм.— А что ты надумал?» — «Как что́? Я надумал умереть, Сэм».— «Да что ты, отец, что ты говоришь? Не можешь ты умереть!» — «Нет,— говорит Билл,— я надумал умереть завтра. Завтра вечером,— говорит,— в десять минут седьмого, по этой причине я тебя и позвал». Ну вот. Развели они большой огонь в камине, так, что в трубе загудело, и всю ночь беседовали... И ты подумай! Сэм рассказывал потом, как свистел и выл ветер и как они говорили и говорили до поздней ночи, потом сготовили завтрак и опять легли и говорили, потом сготовили обед и опять говорили, а старик был здоров и крепок, как всегда, и в ладу со всем миром, сударь, и хоть бы облачко на душе, но когда пробило шесть — слышишь, мальчик? Я хочу сказать, что́ это за человек был,— когда пробило шесть, он повернулся к Сэму и говорит: «Готовься, Сэм»,— и ровно в десять минут седьмого еще раз посмотрел на него и говорит: «Прощай, Сэм, пора мне, ухожу, сынок», повернулся лицом к стене, сударь, и *умер!* Вот какой это был человек, какой характер и сила воли; и позвольте заметить вам: в нас во всех это было, вот это самое: когда приходил наш час, мы это *знали.* И отец мой скончался таким же манером, сударь,— целый день просыпался и спрашивал: «Шести еще нет?» — понимаешь, будто в голове что засело. «Да нет,— говорю,— папа, полдень только». А сама думаю: «Шесть, шесть, что это он все спрашивает: нет ли шести?» И в этот самый день, в шесть, сударь, с последним ударом, его не стало. Я повернулась к Джиму и шепотом ему: «Шесть», а он кивает. «Да»,— говорит. Мы всегда знаем, не сомневайся.

Но в тот день он тоже там был — мне ли не помнить? Старый Билл Пентленд стоял вместе с нами на дворе и смотрел на проходящие войска, старик, здоровый душой и телом, дважды был женат, детей туча: восемь от первой жены, Марты Паттон,— отец, конечно, был из этой ватаги — и четырнадцать от другой; и что уж греха таить, у него еще была девочка — от женщины из Южной Каролины; женаты они, конечно, не были, и я думаю, правду говорили люди, будто он привез эту девочку домой, посадил за стол с остальными и объявляет им всем: «С нынешнего дня она — ваша сестра, и обращайтесь с ней как подобает», вот как это было. И теперь — подумать только! — все эти дети разлетелись, и каждый завел большую семью — конечно, кто в детстве не умер и кого не убили,— и теперь их сотни: и в горах Катобы, и в Джорджии, и в Техасе, и на Дальнем Западе — в Калифорнии, в Орегоне, по всей земле протянулись, как паутина, и все отсюда, от одного этого старика, сына англичанина, который приехал сюда в революцию копать медные рудники в Янси. Поговаривали, конечно, будто в Англии нас дожидаются большие имения... я знаю: дядя Боб пришел к отцу после смерти Билла Пентленда и сказал, что отец должен этим заняться, но они поразмыслили и отказались: слишком большие расходы... Словом, он был там, Билл Пентленд, и стоял вместе с нами в тот день, когда люди возвращались с войны. И вот идут эти войска, и слышишь: мужчины кричат, а женщины плачут; и видишь: вон один выбежал из колонны, вон другой, а женщины опять заплакали, и тут появляется дядя Боб — подумай, ему всего шестнадцать было, а мне он казался стариком,— босой и в шелковом цилиндре: в каком-нибудь магазине, наверно, стащил, подходит к нам, а мы — в слезы.

«Здрасьте пожалуйста! — Боб говорит.— Вот это называется встреча! — Понимаешь, шутит, развеселить нас хочет.— А я-то думал, мне обрадуются. Не ожидал,— говорит,— что меня слезами встретят. Ну, коли вы так ко мне относитесь,— говорит,— я пошел обратно».

«Боб, Боб,— говорит его мать,— ведь на тебе и башмаков нет, дитятко мое бедное, ведь ты босой весь».

«Не,— говорит Боб.— я их дорогой сбил: до того домой торопился. Так прямо с ног и слетели. А кабы знал,— говорит,— как меня встретят, я бы потише шел». И тут они, конечно, засмеялись.

Но женщины, сынок, не поэтому плакали. Столько народу ушло на войну и так и не вернулось — и, конечно, они знали это, они знали... А потом, как мы все набились в дом — и пекли, и жарили целую неделю, и, позволь тебе сказать, хоть и бедные, а еды мы наготовили вволю — не то что нынче подают, по губам помазать: и цыплята, десятка три их зажарили, и окорока вареные, и свинина, и кукурузные початки, и сладкий картофель, и фасоль молодая, и полные тарелки маисового хлеба, и печенье, и яблоки и груши в тесте, и всяческое варенье, и мармелад, и пирогов и пирожных невпроворот, и море разливанное сидру — и ты бы посмотрел, как уписывал все это Боб с Руфусом Александером и Фейтом Паттоном... «Можно подумать, что ни разу не ели досыта, как на войну ушли»,— сказала мама, и, кажется мне, она была недалека от истины.

Ну да, ведь я была уже большая тогда — пять лет,— все замечала и все помню, как сейчас, и даже то, что было гораздо раньше, о чем ты и не слыхал никогда, мальчик, хотя и столько книг прочел,— а как же иначе: ведь мы сами все умели делать: и выращивали все, что шло на стол, и стригли шерсть, и красили, сами в лес ходили за сумахом, за бузиной, за корой и кожурой ореховой для красок и полоскали шерсть в зеленом купоросе, черный цвет получался крепкий, вечный и блеска никогда не терял, разве сравнишь с добром, что нынче делают... и все умела делать своими руками: самые лучшие краски, зеленые, желтые, красные, и кудель умела прясть и отбеливать, сама ткала и шила лучшие рубашки, простыни, скатерти... Как сейчас помню тот день — ох, этот противный запах паленых перьев! — мать щипала курицу на дворе... и запах дыма и свежих сосновых щепок у колоды (вот в кого у тебя такое чутье, мальчик!), и как ветер выл и шуршал в жесткой траве, и как мне грустно было его слушать (Салли умерла совсем недавно), и я сижу, веретено крутится — и все это как сейчас вижу, помню все, как было: как они идут дорогой у реки, и слышно, кричат, вопят: «Ура! Ура!» — наверно, ходили в город на выборы. «Ура,— кричат,— ура Хейесу!» — одна толпа кричит, а другая толпа: «Ура Тилдену!»

Господи! Помню ли я? Да как же не помнить! Я такое помню, чего ты и во сне не видел, мальчик.

— Ну, а что же голоса, которые ты слышала?

— А, ну да, я же про то и рассказываю, слушай:

«Два... два»,— говорит один голос, и: «Двадцать... двадцать»,— другой говорит. «Что там?» — спрашиваю. Говорит: «Два... два»,— а потом другой: «Двадцать... двадцать».— «А? Что там?» И опять: «Два... два»,— первый голос говорит, а другой говорит: «Двадцать... двадцать».

Ну... И вот ведь интересно: я как раз на днях об этом думала... Не знаю... Но до чего странно, если подумать, а? Да... И вот в тот самый день, двадцать седьмого сентября, значит,— а помню потому, что за два дня как раз, двадцать пятого, я разговаривала с Амброзом Рейдикером,— да, точно двадцать пятого, часов в одиннадцать утра, еще твой папа в мастерской был, вырезáл имя на плите для одного человека из Бивердама, жена у него умерла,— и тут является этот, Мел Портер. Твой папа рассказывал, что он вошел прямо в мастерскую, стал и смотрит на него, ни слова не говоря: стоит и головой качает, и папа говорил, что вид у него был огорченный и печальный, словно с ним стряслось ужасное несчастье,— и тогда твой папа ему говорит: «Что случилось, Мел? Я никогда не видел тебя таким грустным».

«Эх, Вилл, Вилл,— говорит он, а сам стоит и головой качает,— если бы ты только знал, как я тебе завидую. Вот ты: у тебя хорошее ремесло в руках, никаких забот не знаешь. Все на свете бы отдал, чтоб поменяться с тобой местами».— «Как так? Да что это ты в самом деле? — говорит твой папа.— Ты, первоклассный адвокат с хорошей практикой, и хочешь поменяться с камнерезом, который должен работать руками и никогда не знает, откуда приплывет к нему следующий заказ! Это ярмо и проклятье,— говорит твой папа, прямо так и сказал: ты же знаешь, какая у него была манера, он любил резануть напрямик и за словом в карман не лез.— Это ярмо и проклятье,— говорит,— и в недобрый час взялся я за это ремесло: ждешь смерти человека, чтобы получить работу, а потом его родичи, эти неблагодарные создания, отдают заказ твоему конкуренту; если бы я занялся тем, для чего был создан, я изучил бы право, как ты, и стал адвокатом». И правду сказать, все так считали, все соглашались, что из мистера Ганта, с его свободной, складной речью и прочим, вышел бы прекрасный адвокат. «Эх, Вилл, Вилл,— говорит тот,— тебе бы на колени стать да благодарить небо, что ты этим не занялся. По крайней мере, тебе не надо думать о куске хлеба, а когда домой приходишь ночью,— говорит,— можешь лечь в постель и уснуть».

«Что ты, Мел? — говорит твой папа.— Да что это с тобой стряслось? Что-то тебя гложет, это ясно как божий день».— «Эх, Вилл,— говорит он и головой качает.— Все из-за этих людей. Я ночей не сплю, все думаю о них». Он не сказал, что это за люди, имен он не назвал, но папа тут же догадался, о ком речь, его сразу осенило, что он говорит об Эде Мирсе, и Лоуренсе Уэйне, и трех других убийцах, что сидели в окружной тюрьме,— своих подзащитных. А он как раз к ним ездил и только что вернулся; твой папа говорил, что с первого взгляда это понял, потому что у него все туфли и низы брюк были в рыжей пыли Негритянского города — откуда же еще ей взяться?

«Да, Мел,— папа говорит,— я понимаю, это неприятно, но тебе не в чем себя упрекнуть. Ты сделал все, чего можно ждать от защитника,— говорит. И говорит: — Ты сделал для них все, что мог. Я не понимаю, в чем ты себя упрекаешь».

«Ох, Вилл,— говорит тот,— сколько крови мне это стоило, сколько крови. Вот все, кажется, сделал, чтобы спасти их,— говорит,— и вроде ничего больше сделать нельзя. И все же,— говорит,— надо думать, их повесят, а у них ведь жены, дети... И вся их родня умоляет меня их спасти, а я,— говорит,— я просто ума не приложу, что еще для них можно сделать.— И говорит: — Все время,— говорит,— голову ломаю, как их вытащить, но вижу,— говорит,— *болтаться им на веревке.* И скажу тебе,— а сам головой качает, и папа рассказывал, что он даже с лица спал,— ведь это подумать страшно! Сам посуди,— говорит,— у каждого ребятишки на руках, и все они будут расти с таким пятном на имени, будут знать, что их отцов повесили за убийство. Ведь это ужасно, Вилл, ужасно! — говорит.— Я ночей,— говорит,— не сплю, все о них думаю».

И вот, когда твой папа пришел домой обедать, он мне все это и выложил. И говорит: «Да, скажу я тебе, тяжело ему достается, а? Я полагаю, он сделал все, что мог, но ему кажется, что в чем-то он все-таки виноват, что-то он упустил, а это могло бы спасти им жизнь.— И говорит: — Не могу на него смотреть без жалости,— говорит,— он бледный как привидение и выглядит так, словно не спал неделю».— «Хм! — говорю.— Я тебе вот что скажу: что-то мне это очень чудно́! В жизни,— говорю,— не видела адвоката, который бы ночей не спал оттого, что его клиента повесят, и голову могу прозакладывать,— говорю,— что не из-за этого Мел Портер сна лишился. У них,— говорю,— только тогда бессонница, когда они боятся, что им не заплатят, или когда ночью придумывают, как бы им кого обскакать, и если он рассказал тебе такую историю,—

говорю,— можешь быть уверен, что он говорил неправду, тут что-то не так, помяни мое слово: что-то тут нечисто».

«Нет,— твой папа говорит,— я думаю, ты ошибаешься; по-моему,— говорит,— ты к нему несправедлива».

«Да ну тебя, мистер Гант! — говорю.— Неужели я такая курица? В этой истории правда и не ночевала — тебя ведь только разжалоби, и ты готов чему угодно поверить».

А он ведь и в самом деле такой: бывало, ругается, орет, спасу нет, а глядишь, наплели ему что-нибудь пожалобнее — и последнюю рубашку снять готов. Да что говорить! Разве брат того же Мела, этот никчемный старый пропойца Руфус Портер — как говорится, если есть бог на небе, то он сегодня получает по заслугам,— с распаренной своей физиономией, красный как рак от всего, что он вылакал, а ведь я, помню, еще девочкой видела, как он прошел между рядами на собрании общества трезвости, прошел под ручку с Джетером Александером и подписали обет — господи! — как я говорила потом, если собрать все винище, которое они слили в свои глотки, то прямо хоть крейсер по нему пускай,— вот он пришел к твоему папе и уговорил поручиться за него перед банком, подписать вексель на тысячу четыреста долларов. Как вспомню об этом... Тьфу!.. Я сказала твоему папе: «Вот кого повесить-то надо! Своими бы,— говорю,— руками люк открыла!» А он папе, знаешь, медовым своим голоском: «Все будет в порядке, Вилл. Не допущу,— говорит,— чтобы ты хоть доллар потерял». А у самого ни гроша за душой! «Честное слово, мистер Гант! — говорю ему после.— Это же надо было такого дурака свалять!»

«Да нет,— говорит,— он божился, что не обманет, сказал, что канавы пойдет копать, а вернет все до последнего цента».

«Ну да,— говорю,— и ты был таким дураком, что поверил!»

«Ну,— говорит твой папа,— это послужит мне уроком. Одно могу сказать: больше меня так не надуешь»,— говорит.

«Хорошо,— говорю,— поживем — увидим».

И вот двух лет не прошло, как Руфус Портер снова захотел сыграть с ним такую же штуку: набрался наглости войти в кабинет к твоему папе и просить подписать за него вексель на пятьсот долларов. Твой папа до того обозлился, что схватил его за шиворот, выволок на площадь и говорит: «Если ты еще раз здесь покажешься, образина неумытая,— так прямо и сказал, ты же знаешь папину манеру, он слов не выбирал, когда злился,— я тебя убью». Ха! А тут как раз на лестнице городского совета стоял Билл Смейзерс, начальник полиции, и все видел — и кричит твоему папе: «Так его, мистер Гант, и если я поблизости буду, когда он опять придет, я вам помогу; вы,— говорит,— правильно сделали, жаль только, что сегодня,— говорит,— не убили».

Когда твой папа пришел домой и рассказал мне это, я говорю: «Да, он был совершенно прав! Надо было на месте его прикончить. Вот что тебе полагалось сделать. Туда ему и дорога». Очень уж мне обидно было — сам посуди: у нас детей шесть душ, а он свои деньги дарит этому пьяному лодырю — ну кажется, голову бы ему оторвала за такую дурость. «А теперь послушай-ка,— говорю ему.— Пусть это будет тебе наукой: гроша ему больше не смей давать и вообще никому не одалживай денег, пока не посоветуешься со мной. Ты женатый человек, у тебя семья, маленькие дети, и первый твой долг — заботиться о них». Ну, он пообещал, конечно, сказал, что больше не будет, и я, как видно, ему поверила.

— Ну вот, не прошло и трех дней, сударь, как он запил,— домой вернулся пьяней вина; помню, из салуна Амброза Рейдикера прислали сказать нам, что он там и чтобы мы пришли и забрали его: сами они унять его не могут. И я пошла. О господи! Нет, детка! Ты застал его,

когда он уже постарел и сдал, и то, я думаю, тебе казалось, что хуже некуда. Но детка! Детка! Если бы ты знал! Если бы ты знал! Таким ты его никогда не видел!.. Этот Рейдикеров негр говорил мне... Ну знаешь, этот длинный желтый негр, рябой, что работал у них, он говорил мне, что твой папа может выпить больше любых четырех мужчин, вместе взятых... Он сказал мне — слышишь? — что сам видел, как отец подошел к стойке и две литровые бутылки ржаного виски выпил не переводя духу. «Ну да,— я говорю Амброзу Рейдикеру,— и вы ему *подали*! У вас,— говорю, а сама в глаза ему смотрю в это время, и вид у него был довольно-таки побитый, можешь мне поверить! — у вас,— говорю,— у самого жена и дети, где же,— говорю,— ваша честь и совесть, что вы тянете деньги из человека, который должен кормить семью? Да такого, как вы,— говорю,— надо вывалять в смоле и перьях и из города — вон, на шесте». Конечно, с моей стороны это было грубо, но я ему прямо так и сказала.

Ну... и, видно, его за живое задело. Он минуту, наверно, молчал, но, скажу тебе, на лицо его стоило посмотреть... Ух! Вид такой униженный, словно рад бы сквозь землю провалиться. Ну, потом, конечно, нашелся. «Что вы,— говорит,— Элиза! Не надо нам его денег. Не так мы нуждаемся. И ваше хорошее отношение гораздо для нас важнее. К нам,— говорит,— многие ходят, выпивают и ведут себя как следует. Вы же знаете,— говорит,— мы его к себе не заманиваем. Да я бы,— говорит,— был счастливейшим человеком на свете, ежели бы мистер Гант дал зарок капли в рот не брать и, натурально, держался бы этого зарока. Потому что,— говорит,— он как раз такой человек, которому капли в рот нельзя брать. Ладно бы, выпил рюмку и шел себе дальше, так ведь рюмка ему — что капля в море,— так прямо и сказал,— ему,— говорит,— полбутылки нужно, чтобы только во вкус войти, а уж тогда, я вам скажу,— и головой качает,— берегись! Просто-таки не знаем, как к нему подступиться. И не угадаешь, что он через минуту выкинет. И нам тут порой очень даже туго,— говорит,— с ним приходится.

И вы знаете что,— говорит,— бывает, он такое себе в голову заберет, что я ничего похожего не видел. И ну никак не скажешь, что будет дальше. Я помню раз,— Амброз говорит,— он начал бушевать насчет Лидии. И божился, что она вышла из могилы и преследует его за то, какую он жизнь ведет. «Вон она! — кричит.— Вон!.. вон!.. Не видишь, что ли?» И рукой по комнате водит, а потом говорит, что она спряталась за мою спину и оттуда выглядывает. «Да нет,— говорю,— Вилл, никого там нету, тебе просто померещилось».— «Врешь! — говорит.— Ты, дьявол, нарочно ее загораживаешь. Уйди,— говорит,— с дороги. Убью!» И, значит, вскакивает и кидает литровую бутылку, наполовину полную, прямо мне в голову; то есть это чудо,— он говорит,— что меня не убило: я увидел, она летит, и еле голову успел пригнуть, так она все стаканы разнесла на полке, и тогда,— Амброз говорит,— он стал на колени и начал ее умолять: «Лидия! Лидия! Скажи, что ты прощаешь меня, детка». А потом про ее глаза: «Вон!.. Вон!.. Так и сверлят меня, неужели не видишь? Смилуйся надо мной, господи! — кричит.— Она вернулась из могилы, чтобы проклясть меня! Послушать его: просто кровь стынет,— Амброз говорит.— А негр мой, Дан, так он до того,— говорит,— испугался, что удрал: два дня от него ни слуху ни духу не было. Вы же знаете,— говорит,— какие негры суеверные, такой разговор их может до смерти напугать».

«Оно, конечно,— я говорю,— но, между прочим, я не уверена, что тут одно суеверие — и ничего больше».

Амброз очень странно на меня посмотрел, очень странно и говорит: «Как, Элиза? Вы же не думаете, что это — на самом деле?» — «Да как сказать,— отвечаю.— Я могла бы рассказать вам довольно удивительные истории, могла бы рассказать, что я сама видела, и,— говорю,— не знаю, чем вы это объясните, если не голосами, как говорится, с того

света». И ты бы поглядел на его лицо! Так и уперся в меня глазами и говорит: «Кто такая Лидия? Он, что ли, знал такую женщину?» — «Да,— говорю,— знал. Еще до того, как вы с ним познакомились».— «Это что, жена его первая, которая умерла?» — «Да,— говорю,— она. Она самая. И ему,— говорю,— есть что вспомнить и есть о чем пожалеть». Ну, я больше ничего не сказала, я ему не стала объяснять, что у твоего папы было еще две жены, что он развелся с одной женщиной из восточной части штата перед тем, как женился на Лидии,— а дома, конечно, только про Лидию знали. Мне, должно быть, гордость не позволила рассказать своим про Мэгги Эферд, в те дни считалось позором жить с разведенным мужчиной, а уж женщину разведенную — ее чуть ли не шлюхой считали. Если бы я узнала про это до свадьбы, вряд ли я бы стала с ним жить: не пошла бы я на такое унижение. Но он, конечно, ничего мне не сказал! Ни слова! Год прошел со свадьбы, когда я про это узнала.

— А тогда он, конечно, сказал, пришлось признаться.

Господи! Когда старая миссис Мейсон... Детка! Часто я о ней думаю — бедная старуха, сколько она хлебнула горя! И вот, поселилась она у нас, год после свадьбы прошел: хотела посмотреть, как он снова устроится, и в своей семье мир наладить, чтобы Элер Билс опять сошлась с Джоном — а Джон и Лидия были ее дети от первого мужа, Билс была его фамилия,— и говорит она мне: «Ах, Элиза, я постараюсь помочь тебе всем, чем могу. Он успокоится, если она будет держаться от него подальше. Если бы я могла разлучить их, если бы я могла уговорить ее вернуться к Джону и жить, как положено порядочной женщине, я бы считала, что дело моей жизни сделано. Я могла бы умереть спокойно,— говорит она и плачет, плачет.— Ты не знаешь, ты не знаешь, что мне пришлось пережить».

И тут она рассказала мне все — понимаешь? — как они познакомились с ним, как они в первый раз встретились там, в Сиднее, когда он поселился у них в доме. Он только что перебрался на Юг и работал камнерезом у Джона Артура, выполнял заказы для тюрьмы штата, и я думаю, первое время с ним мало кто дружил: ведь он был янки, а это было во время Реконструкции, обиды у нас накопилось много.

Как же! Разве он сам не рассказывал, как он был зол на нас, когда из Балтимора переехал на Юг. «И приехал-то я случайно,— он сказал.— Я твердо решил податься на Запад. Туда я с детства стремился — и поехал бы, если бы Джон Артур не написал, что тут есть для меня работа, и не позвал сюда». А нас — ох! — он называл нас проклятыми мятежниками и говорил, что виселица — большая честь для нас. Еще бы: ведь они хотели судить Ли и Джефферсона Дэвиса как предателей — притом, его старшего брата убили под Геттисбергом, и он кипел против нас, пока сам не увидел, и тогда в нем все перевернулось, он проклял правительство, что оно до этого допустило — законодательные собрания из черных! — он и в Сиднее этого насмотрелся и потом, когда у Джона Артура строил тюрьму в Колумбусе, в Южной Каролине — ужас! Самые чернущие негры бражничают, пируют, транжирят казну, ходят в тончайшем сукне, во рту, извольте видеть, сигара, ножищи на стол красного дерева задраны — смердящие создания; да разве нам все это не показывали в картине «Рождение нации» по книге Тома Диксона? «Да,— говорил твой папа,— и все это чистая правда, с начала до конца. А я видел кое-что и похуже». Словом, вот как он тут появился.

Поселился он в их доме — понимаешь, они его взяли квартирантом, Лидия и старая миссис Мейсон. Конечно, старушка сама мне потом призналась: «Мы рады были, что он у нас поселился. Жили одни-одинешеньки,— говорит,— а без мужчины в доме — никуда. С ним нам было

спокойней. И скажу вам,— говорит,— такого мужчину хорошо иметь в доме. Да что там, другого такого я просто не знаю»,— говорит. И, конечно, как тут было не согласиться: этого у него не отнимешь, хоть и бродяга он, и непоседа, а лучшего семьянина на свете не найдешь. Я вот что скажу тебе, мальчик: он все умел сделать по дому — и починит что хочешь и исправит, одно слово: золотые руки... И еще скажу вам, сударь: когда я утром спускалась на кухню, плита горела полным ходом — ждать не надо было, с растопкой возиться не надо было. Ты знаешь, он любил поесть, поэтому плиту всегда держал для меня наготове. Господи! Как я ему говорила: «Что ты огонь разводишь быстро — ничего удивительного. Каждый так сумеет. Полбидона керосину выливаешь на растопку. Побойся бога! — кричу ему,— когда-нибудь ты спалишь нас, это как пить дать!» Детка, детка! Этот дурацкий перевод добра! Эта дурацкая расточительность! Ох! В трубе гудело так, что дом ходуном ходил.

— Но ты и вот что пойми: тут надо судить справедливо, тут надо судить беспристрастно, мальчик, и нельзя упрекать его одного. Виноват был не он один — и старушка, конечно, призналась. Я ей говорю: «Но послушайте, миссис Мейсон! Не могли же вы ничего не знать о нем, когда он поселился у вас в доме. Ведь он жил в вашем городе, и вы наверняка что-то слышали про него и Мэгги Эферд до того, как он поселился у вас. Ведь живя в таком маленьком городке... я не представляю, как это могло до вас не дойти. *Вы наверняка что-то знали!*» Ну, тут уж ей пришлось сознаться. «Да, мы знали,— говорит.— Правда, если верить людям, ему пришлось на ней жениться: ее отец и братья заставили его, и думаю, он ее за это возненавидел. Видно, потому он с ней и развелся»,— говорит.

А я посмотрела ей в глаза и говорю: «Так,— говорю,— и зная это, вы позволили мне выйти за него, *за разведенного,* и ни слова мне не сказали! Почему вы об этом молчали?» — говорю. Ведь она и словом не заикнулась, и если бы я дожидалась, пока она сама мне скажет, я сроду бы ничего не узнала. Ты знаешь, это выяснилось через много месяцев после свадьбы и всплыло нечаянно. Я разбирала нижний ящик в нашем ореховом бюро, хотела освободить место для его рубашек и вдруг вижу— пачка старых писем и бумаг: он их припрятал, наверно, собирался сжечь. Ну, вынула я их и думаю: не буду читать, кину в печку и сожгу. «Ведь он их спрятал,— говорю,— чтобы потом уничтожить». Но у меня было предчувствие, не знаю, как еще это можно назвать — точно осенило меня: видно, небу было угодно, чтобы я на них наткнулась; и что же ты думаешь, смотрю и вижу: документы о разводе с Мэгги Эферд! Нате вам! Извольте радоваться!

Ну, дождалась я его прихода — а документы, знаешь, в руке держу — и говорю: «Смотри, я тут старые письма нашла, твое бюро разбирая. Нужны они тебе?» Я себя не выдала, понимаешь? И смотрю на него голубыми глазами. Эх, жалко, ты не видел его лица. «Дай-ка их сюда,— говорит. И выхватил.— Ты их прочла?» А я — ни слова, знай себе смотрю на него. «Видишь ли,— говорит,— я собирался тебе сказать, да побоялся, что ты не так поймешь».

«Пойму? — говорю.— А что тут понимать-то? Тут черным по белому написано: *ты — разведенец* и ни слова мне об этом не сказал. Я вышла за тебя, думая, что ты вдовец, что до меня у тебя была только одна жена, Лидия. Уж это я как-нибудь понимаю».

«Видишь ли,— говорит,— этот первый брак был большой ошибкой. Мне пришлось жениться против воли. Я не хотел тебя огорчать своим рассказом».— «Ладно,— говорю,— я хочу спросить тебя, я желаю это знать. Что между вами вышло? Почему вы развелись?» — «Ну...— говорит,— в постановлении сказано, что мы не сошлись характерами. Она

отказывалась жить со мной как жена. Она любила другого человека,— говорит,— и вышла за меня ему назло. Но она с самого начала не желала иметь со мной ничего общего. Мы ни одной минуты не жили как муж с женой».— «Кто потребовал развода? — спрашиваю.— Ты или она?» Он отвечает не задумываясь: «Я. Развод дали мне».

Ну, я себя не выдала, не сказала ни слова, но я знала, я *знала,* что он врет. Я прочла бумагу с начала до конца: развод дали ей. Мэгги Эферд добивалась развода, это было написано черным по белому. Но помалкиваю — пусть дальше говорит. «И ты говоришь, что никогда не жил с ней как муж с женой?» — спрашиваю.

«Ни одной минуты,— говорит.— Клянусь тебе».

Ну, уж это было чересчур, это небылицей попахивало: тут про нее рассказывали, и миссис Мейсон, старушка, мне рассказывала, что она интересная девушка, самостоятельная и от кавалеров отбою не было, пока она не вышла за него,— в том-то, говорили, вся и беда: ему *пришлось* на ней жениться.

И вот смотрю я на него и головой качаю. «Нет, сударь,— говорю,— я тебе не верю. Что это за чудеса такие? Ты мне голову,— говорю,— не морочь. Ты мне не рассказывай, что прожил с женщиной восемнадцать месяцев и ни разу до нее не дотронулся. Я же тебя знаю,— говорю и, понимаешь, в глаза ему смотрю,— я тебя знаю и знаю, что ты бы ее не оставил в покое. Ты бы,— говорю,— дырку в стене провернул, а до нее добрался!» Ну, тут уж он не выдержал — не мог мне в глаза смотреть, отвернулся и ухмыляется виновато.

«Ну ладно,— говорю,— что ты собираешься делать с этими старыми бумагами? Они тебе больше не нужны. Не вижу,— говорю,— на что они тебе могут пригодиться».

«Да,— говорит,— глаза бы мои на них не смотрели. Это ярмо и проклятье,— говорит,— и я хочу забыть о них навсегда. Я их сожгу».

«Да,— говорю,—и я так думаю, они только напоминают о том, что тебе бы забыть полагалось. Надо их уничтожить».

«Так я и сделаю,— говорит.— Ей-богу!»

— «Но все-таки,— я говорю (помнишь, я начала тебе рассказывать?), говорю старушке, миссис Мейсон: — но все-таки вы должны были это знать, когда он у вас поселился. Вы же должны были знать, миссис Мейсон, что он был женат на Мэгги Эферд и развелся. Не могли вы этого не знать»,— говорю.

«По правде сказать, мы знали,— говорит: понимаешь, все-таки призналась. — Сейчас я вам расскажу, как все было»,— говорит и, конечно, стала рассказывать, и тут-то все и выяснилось. Но я вот что хочу сказать тебе, мальчик: я хочу объяснить, почему не один твой папа был виноват.

Нет, я ничего плохого не хочу сказать про Лидию, ведь я знала ее еще до него — когда они только приехали сюда и она открыла шляпный магазинчик на углу Академической, где теперь гостиница «Гринвуд». Помню, первую в моей жизни настоящую «готовую» шляпу я купила у нее — из сбережений от моего учительского жалованья: тогда я зиму проработала в округе Янси. Мне платили двадцать долларов в месяц — с комнатой и столом, и скажу тебе: я богачкой себя считала. Господи, а как же! Разве не из этих сбережений я сделала первый взнос за первую недвижимость в моей жизни — за тот угловой участок на южной стороне площади, где твой папа построил себе мастерскую, когда мы поженились, ну да, на том самом месте,— а ведь мне всего двадцать два было, сударь, когда я его купила! О господи! Я думала, что сделала большое дело, представляешь? Извольте: землевладелица

и налогоплательщица, не хуже капитана Боба Паттона, и старого генерала Александера, и любого другого (Детка! Детка! Мы были такие бедные, и столько мы натерпелись в войну — наверно, это и толкнуло меня, наверно, из-за этого мне загорелось: я твердо решила иметь какую-нибудь собственность); а потом... мне ли забыть, как я всю дорогу до города бежала бегом, когда получила первое налоговое извещение на один доллар восемьдесят три цента — каков капитал! — и деньги прямо карман мне жгли! Господи! Какая же я была курица! Все боялась, что не успею и они отнимут участок и пустят с молотка.

Так о чем я начала говорить? Ах да: я познакомилась с Лидией раньше, чем с твоим папой. Значит, открыла она этот шляпный магазинчик в северо-восточном углу площади, и, как я тебе уже сказала, первую в жизни «готовую» шляпу я купила у нее. Там я с ней и познакомилась. Так вот, мальчик, я ничего не могу сказать плохого про Лидию: насколько я знаю, она была добрая женщина, честная, работящая, и все бы ничего, не встреть она твоего папу. Ну да, она была на десять с лишним лет старше его — вот в чем беда, вот в чем загвоздка. Так что не один твой папа тут виноват: когда он поселился в их доме, он был молодой человек, двадцати лет с небольшим, а Лидии стукнуло тридцать шесть. Другое дело, если бы она была молодая девушка, которую сбили с пути,— тогда бы он был кругом виноват, но, как ни верти, Лидия была взрослая женщина и знала, что делает. Конечно, он был сильный, красивый мужчина, и женщины на него вешались, но ей бы не мешало подумать, у женщины ее лет должно быть больше гордости и самолюбия; да я бы умерла, так не поступила — вешаться ему на шею, как она! Да что там! Разве миссис Мейсон, старушка, мне не призналась? Разве она не говорила мне? «Ох, Лидия, Лидия! — говорит и, знаешь, головой качает.— Она совсем голову из-за него потеряла».

Вот, пожалуйста: достойная, самостоятельная женщина, свой магазинчик шляпный, на хорошем счету у всех — правда, я думаю, все смотрели на нее немножко как на старую деву — и так забыть себя. «Ох, это было ужасно,— старушка говорила,— она ему не давала ни минуты покоя, она от него не отставала». Ну тут, конечно, все и произошло. Ты же знаешь своего папу: как говорится, он, когда видел женщину, на молитву времени не тратил. Ну, а дальше дело известное: за год он опять совсем запутался, женщина эта в положении и говорит, что он ее погубил и должен на ней жениться.

Ну, как тут быть? Он мне сам говорил, сам потом признавался: «Не хотел я на ней жениться. Не любил я ее». Ну, он подумал-подумал и, наконец, решил отправить ее в Вашингтон, к врачу. И написал Гилу, а Гил с твоей тетей Мэри как раз в Вашингтоне жили в ту пору — это еще до того было, как он поехал следом за папой на Юг. Гил работал там штукатуром — в Вашингтоне... Ну, они были братья, и папа знал, что может на него положиться.

Он послал ее, она поехала, и я не знаю точно, что там произошло — Гил никогда не рассказывал, а спрашивать я не хотела, но думаю, что у нее началось прежде времени: они ехали в сидячем вагоне, обратно уже, на Юг, и в каком-то городке, в восточной части штата, проводник остановил поезд и помог Гилу вынести ее на станцию, а на другой день она встала и отправилась дальше, домой. Так что надо отдать ей справедливость: женщина была с характером... Да, думаю, что так.

— Ну, конечно, это дело открылось. Люди всё узнали, и твоему папе пришлось на ней жениться. И думаю, что в городе на него были

порядком злы, сам посуди: янки — как говорится, окаянный янки — приехал и двух женщин погубил; ладно, если бы одну, тогда, может, дело другое, но что двоих — этого уж они не могли переварить. Стало ему там жарко, пришлось уехать. Тут-то он и решил перебраться в Алтамонт: опять же у Лидии была чахотка, и он понадеялся, что горный воздух ей поможет. И думаю еще, он боялся, что сам заболел: жили они вместе, и он, видно, решил, что заразился. Когда я его первый раз увидела, он на покойника был похож. Ох! Представляешь, худой как щепка, желтый — все, наверно, от этих забот и неприятностей. Ну, а Лидия распродала свой товар — да и было там всего ничего,— магазин закрыла, и твой папа послал их вперед, со старушкой миссис Мейсон. А сам задержался ненадолго: хотел сбыть свой мрамор и денег собрать сколько можно, и потом тоже уехал... Вот как я их узнала: она держала шляпный магазин на углу, а у него была мастерская в старом сарае, на площади, в восточном конце. Вот еще когда это было.

Но я хотела рассказать тебе про эту женщину, про Элер Билс. И заметь, мальчик, пока он не переехал туда из Сиднея, она и знаться с ним не желала. Конечно, она и раньше была с ним знакома — она ведь была замужем за Джоном, братом Лидии,— но боже мой! — им было не по чину, понимаешь ты, не по чину якшаться с твоим папой, простым камнерезом, который так опозорил семью. Они просто рвали и метали, понимаешь, когда с Лидией случилась из-за него такая беда. Они разговаривать с ним не желали, не желали ничего общего иметь, он говорил, что они видеть его не могли — правда, и он их тоже. И на́ тебе: через полгода — это всякую гордость потерять надо — она прикатывает к ним. Конечно, она приехала, я думаю, потому, что ей ничего другого не оставалось: этот Джон Билс был дармоед и бездельник, содержать ее не мог, она написала Лидии и старушке миссис Мейсон, и они велели ей приезжать. А папа не знал, что она едет: сказать ему они боялись и решили, что пусть сперва приедет, а там они его уломают. Так оно и вышло: приходит он однажды обедать, и пожалуйте вам — сидит эта мамзель, намазанная, напудренная, разодетая в пух и прах, а он и ведать ничего не ведал. Я думаю, тут все обиды и вспомнились: он до того ее ненавидел, что даже разговаривать не стал, взял свою шляпу и к двери, а она подходит к нему — шляпка, конечно, челка, как у Лили Лэнгтри, и прочее, волосы так же носила,— обнимает его и говорит медовым голоском: «Неужели ты меня не поцелуешь, Вилл?» Ух! (Я потом уже говорила.) Подумать только! Мерзавка какая! Да ему бы тут же ей голову оторвать, и дело с концом! Говорит: «Почему мы не можем быть друзьями, Вилл?» Слыхал? Это после всего, что она вытворяла, подлещивается к нему и заигрывает, на глазах у его жены и тещи. «Не будем,— говорит,— вспоминать прошлое»,— и заставляет поцеловать себя и все такое... «Поделом тебе,— я ему сказала,— за то, что дурак! Если в человеке столько глупости, так ему и надо». И он признал это, согласился. «Ты права»,— говорит. Одним словом, вот как она с ним очутилась.

Эта Элер Билс была из таких, знаешь, маленьких черно-белых женщин: кожа белая, а волосы — как вороново крыло и глаза черные. Разговор у нее сладкий, сонный, ленивый, и слова тянет, будто спала-спала и только что проснулась. Я с первого взгляда поняла, что она дрянная бабенка, беспутная бабенка, обольстительница, которой одно нужно — поймать мужчину, завлечь и вытянуть из него все, что можно. Конечно, женщина была интересная, не спорю — и фигура хорошая, и сливочная эта кожа, без пятнышка... «Ну да,— я потом ему говорила, когда он хвастаться начнет, какая она была хорошенькая,— конечно,— говорю,— и даже не сомневаюсь, многие из нас были бы хорошенькими,

если бы за всю жизнь не ударили палец о палец. И красавицы среди нас нашлись бы,— говорю,— кабы не стирка, да не готовка, да не дети». Ну он, понятно, со мной соглашался. «Да,— говорит,— ты права».

И вот подумать только! Эта мерзавка начинает заигрывать с ним прямо у жены под носом, сидит себе, причесывается и прихорашивается, чтобы его соблазнять, и так день за днем, ждет не дождется, пока он домой придет, а Лидия наверху умирает, надсаживается от кашля и про все это знает. Да разве сам он потом не признался? Разве не говорил мне, как Лидия ему сказала — несчастная знала, конечно, что умирает: «Вилл, я больна. Я знаю, что мне недолго осталось жить. Вилл, ты можешь ехать куда угодно. Можешь делать все, что хочешь. Мне все равно, я умираю, но одного, Вилл,— и он говорил, как она на него посмотрела,— одного я не потерплю. В моем *собственном* доме! В моем *собственном* доме! — Говорит ему: — Вилл, *оставь мою невестку в покое!»* Ах, он сам говорил мне, он сам признался: «Господи! Это преступление на моей совести. Если есть судья на небе, я буду наказан за него...» Бедная старушка делала всю работу, стряпала им, ломала хребет, а эта напудренная потаскуха — иначе ее и не назовешь — только полеживает да ждет его и пальцем не шевельнет, чтобы помочь, ее бы в смоле и перьях обвалять за это.

— И вот, когда Лидия умерла, Элер осталась там, она и не думала двинуться с места. И, конечно, к этому времени он совсем из-за нее голову потерял, влюбился без памяти и хотел, чтобы она осталась. А в это как раз время приехал навестить ее Джон Билс и, надо думать, почувствовал, что́ происходит, увидел, как обстоят дела, и это было ему не по нутру, это было для него немного чересчур. А я, надо сказать, всегда считала его не бог весть каким мужчиной — таким, что может это проглотить и будет смотреть сквозь пальцы на то, что жена загуляла; только надо отдать ему справедливость — кое-какой запал у него все же остался: он был без работы, а тут сразу поехал в Джонсон-Сити, в Теннесси, и устроился на службу в гостинице. И тогда написал ей, велел приехать.

Ну, а она не захотела. Она написала, что не любит его, и никогда не будет с ним жить, и никуда не двинется с места. Как же! Она уже все обмозговала, сударь: она получит развод и выйдет за твоего папу, а он и рад — как помешанный дурак, осыпает ее подарками и деньгами, а эта несчастная старушка работает, как негр, и плачет, и умоляет ее вернуться к законному мужу. А ее не проймешь, ее не убедишь. Ох! Ведь тоже влюбилась до помешательства и только одно на уме — заполучить Вилла.

Тогда, сударь мой, Джон Билс снова пишет ей письмо, и уже категорически, потому что он тоже дошел до ручки. «А теперь,— пишет,— решай поскорей, что ты намерена делать, потому что я этого больше не потерплю. Решай: либо ты приедешь добром, либо я приеду сам и заберу тебя, но имей в виду, если я явлюсь за тобой, то явлюсь не с пустыми руками и проклятому янки не ходить по земле после этого».

Ну, она ему не ответила, и, надо сказать, сударь, он приехал-таки — сел на поезд и приехал забирать ее. Знаешь, старушка миссис Мейсон, даже когда рассказывала про это, дрожала как осиновый лист. «Ох, Элиза, какой это был ужас! Она заперлась наверху и ни с места, а Джон тут с заряженным пистолетом в кармане, ходит взад-вперед по гостиной и говорит: «Если через полчаса она не соберется, я вышибу из него мозги, и пусть меня потом хоть повесят...» А Вилл, бледный как смерть,— говорила старушка,— ходит туда-сюда по террасе, стиснув руки, а она — ни в какую: не хочет ехать с Джоном».

Все-таки как-то ее уговорили: я думаю, она поняла, что ехать надо, не то будет кровопролитие,— словом, уехала с ним в Теннесси... и... Детка! Детка! Как ей не хотелось, как ей было обидно! Как она злилась и проклинала их всех! Вот как обстояли дела до того, как мы поженились.

А потом, когда мы поженились, она все равно продолжала ему писать, письмо за письмом, и, наконец, я решила, что обязана написать Джону Билсу и сообщить ему, что его жена ведет себя недостойно — переписывается с женатым человеком — и что он, как муж, должен это пресечь. И вот в скором времени приходит письмо: она пишет ему — и, понимаешь, я в жизни ничего похожего не читала. Она пишет ему, что я донесла ее мужу, обзывает его последними словами и говорит: «Если бы я знала, что ты женишься на ней, я бы рассказала ей все, что я про тебя знаю, и будь уверен: ни одна женщина за тебя не пошла бы, если бы я рассказала все, что знаю. А теперь пусть получает тебя — на здоровье, потому что, как бы я ее ни ненавидела, я бы злейшему врагу не пожелала такого наказания».

Он принес домой это письмо и швырнул мне в лицо. «На, полюбуйся,— говорит,— будь ты проклята. Твоих рук дело. Так вот: я хочу сказать тебе, что ты сидишь на ее месте за моим столом потому только, что она от меня ушла, и можешь быть уверена: не уйди она, духу твоего бы тут не было... И я хочу, чтобы ты всю свою жизнь это помнила!»

Детка! Детка! Я была молодая и гордая, и если б ты знал, как обидно мне было слушать такие слова. Я встала и вышла на террасу и хотела тут же от него уйти, но я носила своего первенца, и дождь прошел только что, и я услышала запах цветов, роз, лилий, и кустов жимолости, и гроздьев винограда — он только-только начал поспевать,— и уже смеркалось, я слышала, как люди разговаривают на верандах, и уйти мне было некуда, я не могла от него уйти. «Боже мой! — я сказала.— Что мне делать? Что мне делать?»

— Вот... И тогда, как я тебе сказала, он стал ходить в салун Амброза Рейдикера и принялся пить, и Амброз рассказал, как ему мерещится Лидия: будто она вышла из могилы и преследует его. «Да,— сказала я,— и, может статься, он не так уж сильно ошибается».

«А потом,— Амброз говорит,— это еще не все, это еще полбеды. Однажды он приходит сюда и обвиняет Дана, что он китаец...» Ты, конечно, помнишь этого длинного желтого негра — Дан, он еще рябой был, и я думаю, что твой папа спьяну вообразил, что Дан — китаец... «Ну да,— Амброз говорит,— обвиняет Дана, что он китаец и что кто-то подослал его убить его и всякая такая штука. «А-а, проклятый! — говорит.— Я знаю, зачем ты здесь, но погоди, сейчас нам обоим будет крышка. Сатана тебя возьми! — говорит, понимаешь, так и сказал,— я из тебя душу выну»,— говорит и смеется (Амброз говорит) таким безумным, жутким смехом, а потом,— он говорит,— хватает со стойки мясной нож и бежит вокруг бара за негром. Это какой-то ужас! — Амброз говорил. — Несчастный черномазый чуть не умер со страху, а ведь ничего худого не сделал ему, вы же знаете,— он мне говорит,— Дан мухи сроду не обидел. Вижу, что-то надо делать — ну, отняли мы у него нож,— говорит,— и я хочу его урезонить. «Да что ты, Вилл,— говорю,— что ты имеешь против Дана? Дан отродясь тебе ничего плохого не сделал».

А он мне в ответ: «Китаец он, видеть его не могу». Ну, рехнулся, и все тут, никаких резонов не принимает. «Да нет,— говорю,— Вилл, не китаец он. Ты же сам знаешь. Ты не первый год к нам ходишь,— го-

ворю,— и знаешь Дана, и прекрасно знаешь, что никакой он не китаец».

«Конечно нет, господин мистер Гант,— Дан говорит (знаешь, на негритянский свой манер; ему тоже хочется слово вставить),— вы же знаете меня,— говорит,— вы же знаете, какой из меня китаец?»

«Нет, он китаец,— он говорит,— и богом клянусь, я убью его».

«Что ты, Вилл,— я говорю (это Амброз),— вовсе он не китаец, и опять же,— говорю,— даже если и китаец, это вовсе не причина его убивать. Ты сообрази немножко,— говорю,— китайцы такие же люди, как все,— говорю.— Ведь это же ясно, для чего-то их на земле поселили,— говорю,— как всех других людей, иначе бы их не было. Разве это правильно — взять и убить человека, который не сделал тебе никакого вреда,— говорю,— потому только, что ты принял его за китайца, сам подумай?»

«Да,— говорит,— потому что они исчадия ада, они выпили из меня всю кровь и теперь,— говорит,— сидят и радуются моему предсмертному хрипу».

«И вы думаете, *один* раз так было? — говорит Амброз Рейдикер,— думаете, это с ним первый раз?» — «Как! — я говорю (понимаешь, не показываю, конечно, что я что-то знаю).— Вы хотите сказать, что он и раньше так бесновался?» — «Сколько раз! — говорит.— И, поверьте мне, это очень странное дело: есть тут какая-то непонятность и загадка. Есть,— говорит,— у него какая-то обида на китайцев, видно, имел он от них какие-то неприятности».

«Нет,— я говорю,— вы ошибаетесь.— И в глаза ему смотрю.— По крайней мере не в *этой* жизни».— «А? Что вы хотите сказать?» — он спрашивает (слышишь, мальчик?) и смотрит на меня *очень* подозрительно.

«Я больше ничего не могу сказать,— отвечаю,— но есть вещи, которых вы не понимаете».— «Значит, и вы от него это слышали?» — он спрашивает.

«Да»,— говорю. И больше ничего ему не сказала.

— Я могла бы ему сказать, но потом рассудила как следует и: «Подумала, что не стоит»,— говорю твоему папе, а он говорит: «Да, я рад, что ты промолчала: ты правильно сделала».— «Но мне-то ты можешь сказать? В чем причина? — Я хотела обсудить это с ним: детка, детка, ведь она всегда у него была, эта злость, эта ужасная ненависть! — Послушай, мистер Гант, должна же быть какая-то причина, если ты так на них зол. Ведь просто так этого не бывает: может, кто из них причинил тебе вред какой-нибудь? Ты кого-нибудь из них знавал?» Он головой мотает. «Нет,— говорит,— ни одного не знал, но я их всю жизнь ненавижу — с детства, с тех пор как увидел первого на улице в Балтиморе. Но я не знаю, какая тут причина,— ей-богу, не знаю! Это очень странно, если задуматься... разве что...— говорит и на меня смотрит,— я встречался с ними, как говорится, в жизни иной, в другом каком-то воплощении». Я посмотрела ему в глаза и говорю: «Да, я и сама так думаю, по-моему, ты попал в самую точку. В этом-то все и дело — не в здешнем мире надо искать причину». И он тоже на меня посмотрел, и скажу тебе, сударь, такой взгляд нечасто увидишь.

Ну да! Как же! Помню: много лет спустя — знаешь, когда? — во время Боксерского восстания, как он раз пришел домой, весь взбудораженный от новостей. «Наконец-то! — говорит.— Мы объявили войну китайцам, и я записываюсь в армию, ей-богу!»

Ох, так и кипит против них, и хочет все бросить — и семью и дело — и идти воевать с китайцами. «Нет,— говорю ему,— сударь мой,

никуда не пойдешь! У тебя жена, дети маленькие, их кормить надо, и ты останешься дома. Если им нужны солдаты, пускай другие идут добровольцами, а твое место здесь. И потом,— говорю,— тебя все равно не возьмут, никому ты не нужен, такой старый. Там нужны молодые».

Ну, я думаю, это его задело, что его обозвали стариком, он сразу вспылил: «Да я и сейчас лучше любых девяти из десятка, потому что мы живем в век выродков, и если я, по-твоему, хуже этой пустельги и шушеры, которая торчит в биллиардных с папиросками в зубах,— жалкие выродки, все как один,— бог тебя прости, ибо нет в тебе правды, женщина, и ты не лучше птицы, гадящей в своем гнезде! — И говорит: — Я и сейчас могу за четверых работать!»

И, конечно, когда он сказал так, мне пришлось согласиться, что он прав: в самом деле, твой папа был страшной силы человек. Да господи, разве не при мне рассказывали, как люди пришли к нему в мастерскую и видят, что он поднимает за край двадцатипудовый камень, словно перышко, а над другим краем кряхтят и потеют два здоровенных негра — и от земли оторвать не могут. «Вот,— я сказала Уэйду Элиоту, еще когда мы в первый раз отвезли его к Хопкинсу,— а теперь послушайте *мою* теорию. Я скажу вам, какой *мой* диагноз.— И тут я, конечно, сказала ему: — Если хотите знать мое мнение, болезнь свою он заработал вот такими вот фокусами»... («Ну, что ты, скажи на милость, вытворяешь, мистер Гант! Ты же надорвешься или грыжу себе наживешь — пусть эту работу делают негры, ты им платишь за это».— «Да боже упаси! — он отвечает.— Ты же видишь, что мне это не по карману: если я на этих работничков понадеюсь, мы по миру пойдем!») «Вот в чем дело,— я сказала доктору Элиоту.— Вот так он и жег свечку с обоих концов».— «Да,— он говорит,— вы правы, я с вами согласен. Совершенно верно»,— говорит. «А ты,— я говорю,— ты должен помнить о своей семье, и ни-ку-да ты не пойдешь». Я настояла на своем, и он, конечно, сдался, он понимал, что я права... Но детка! Детка! Если бы ты знал, что это такое,— то в Калифорнию, то в Китай, куда угодно! Он давно бы сорвался и уехал, если бы я позволила: чудак человек.

— Господи! В жизни не видала такого непоседу. Ей-богу! Бродяга, перекати-поле — вот кем он стал бы; ох, в Калифорнию, в Китай, куда угодно — только и думал, как бы сорваться и уехать, ни кола ни двора не имел бы, если бы я за него не вышла. Теперь этот Трумен написал ему из Калифорнии — ну этот самый профессор Трумен, ну как же! Тесть тех двух душегубов, про которых я тебе рассказывала (и как в ту ночь мне было предупреждение: «Два... два» и «Двадцать... двадцать»), Эда Мирса и Лоуренса Уэйна, они на сестрах были женаты, на дочках Трумена, ну да... но... Ох! Ученый, джентльмен, понимаешь? Ничего общего с убийцами... *Культурнейший, культурнейший* человек... Господи! *Благородный* человек, понимаешь? Ни за что бы не стал руки кровью марать — всегда в костюме из самого тонкого сукна, в лакированных туфлях. И вот он пишет ему, приглашает туда. Пишет: «Господь щедрой рукою пролил благодать на эту землю»,— о, такой образованный джентльмен, с богатой, красивой речью... Пишет: «Выезжайте. Это подлинная Сокровищница Природы, рядом с богатством и изобилием здешнего края меркнут самые буйные мечты алчности, и все это,— пишет,— почти не тронуто. Если вы приедете теперь, то через пятнадцать лет будете богачом». Понимаешь, убеждает его приехать и пишет: «Распродавайтесь. Продайте все, что у вас есть, и выезжайте». «Хм! — я говорю.— Больно ему не терпится, чтобы ты приехал, а?» —

«Да,— говорит твой папа,— новые края, честное слово, поеду.— А потом беспокойно так: — Почему ты так сказала?»

Я ничего не ответила, только посмотрела на него и молчу. И сказала только: «Значит, приезжай, говорит? А твоя жена, а дети? С ними что станется?» — говорю. Говорит: «А-а, по этой части все в порядке. Он говорит: «Забирайте их с собой. Сразу же распродавайтесь и забирайте с собой Элизу и детей»,— вот что он пишет». — «Так я и *думала!* Так я и знала!» — говорю. «Что знала?» — он спрашивает. Я посмотрела на него. Я ему не сказала.

Я могла бы ему сказать, но волновать его не хотела. Детка! Я не сказала ему, но я *знала*, я *знала:* этот человек... теперь, мальчик, я могу сказать... «Я пришел проститься»,— он говорит, и позволь сказать тебе, мальчик, ты бы видел его лицо — о!.. «Очень жаль, что вы уезжаете! — я ему говорю.— Мы будем скучать по вас».— «Да,— он говорит и смотрит мне в глаза... Таким *взглядом!..*— А я буду по *вас* скучать». А сам в упор на меня смотрит. «Ну что ж,— я говорю, понимаешь, хочу как-то перевести разговор,— мы тоже будем по вас скучать, и мистер Гант и я, оба будем по вас скучать. Однако,— говорю, понимаешь, хочу его как-то развеселить, отвлечь, что ли,— надеюсь, вы нас там не забудете. Надеюсь, вы черкнете нам письмишко. А то,— говорю,— если это вправду такое чудесное место, что золото валяется прямо на улицах, мне тоже интересно будет про это услышать. Да если это впрямь такое место,— говорю,— я бы сама хотела там жить: мы бы быстренько собрались и поехали». А он говорит: «Что ж, это было бы великолепно, большей радости я и представить себе не могу». И я видела, это было ясно — да что там! Когда твой папа туда съездил — а уже много лет прошло (скажи, ну не сумасбродство? Зачем его понесло? Зачем он потратил столько денег?),— я ему говорю: «Ты видел профессора Трумена?» — это первое, что я у него спросила. «Да,— говорит,— видел я его». И, честное слово, ты бы только посмотрел на его лицо. «Ну, как он там? Что поделывает?» Мне, конечно, интересно было, понимаешь, что там и как. «Слушай,— твой папа говорит,— что же это получается? — И ты бы видел его лицо.— Знаешь, ведь он ни о чем, кроме тебя, и не говорил. Э-э,— говорит,— похоже, что старый дурак был влюблен в тебя, клянусь богом». Ну, я ничего не сказала, я не хотела его волновать, но — детка! — я по его глазам поняла, я *знала* это! *Знала!*

Ей-богу! Никогда в жизни не видала такого непоседы. Эх, должно быть, старуха Аманда Стивенс правильно сказала про вашего брата. Знаешь, что она сказала? Ну да, говорили, что это было, когда все ее сыновья ушли на Гражданскую войну — у нее их восемь было, сударь ты мой, и все до единого ушли на войну! И, конечно, люди начали ходить к ней, поздравлять, что она их отправила в армию, говорили, как она должна гордиться, и всякое такое. «Кого отправила? — она говорит.— Они все сбежали среди ночи и не сказали мне ни слова. Да будь моя воля, я бы всех до одного загнала обратно домой, хозяйством заниматься!» — «Ну да,— ей говорят,— но разве вы не гордитесь ими?» — «Горжусь? — говорит.— Чем тут гордиться-то, прости господи! — конечно, дерзкая на язык была Аманда.— Все они одинаковые! Сроду не видела мужчины, чтобы пять минут посидел на месте. Словно им задницу наскипидарили». Конечно, ей горько было, что они сбежали все, ферму на нее бросили да еще не сказали ни слова.

Но я тебе вот что скажу: человек это был исключительный: дожила до восьмидесяти семи лет — и как огурчик. Да! Если кто заболел и помочь надо — куда хочешь пойдет, в любую стужу, и — всё так! Зато рассказывали про нее такое — о-го-го! — вот послушай-ка, я еще, помню, сказала: «Да нет, не мог у ней язык повернуться, путаете вы

что-то»,— говорю. Ну, в самом деле, можешь ты представить себе, чтобы женщина сказала такое своей дочери? Говорю: «Слыханное ли это дело?» Понимаешь, рассказывали, что когда дочка ее Клариса, которая за Джоном Бэрджином была, за тем самым Джоном Бэрджином, что я тебе всегда говорила — твой дальний родственник по нашей материнской линии, которого Эд Мирс убил... Я еще сказала твоему папе в тот раз, когда он пришел домой и стал рассказывать про свой разговор с Мелвином Портером, говорю ему: «И пусть повесят! Ни за что ни про что убили человека,— говорю,— хорошего, порядочного человека, у которого столько детей и который в жизни зла никому не сделал,— говорю,— подлее и гнуснее убийства я не слышала — и виселица чересчур для них хороша». Так вот, значит, рассказывали, что у Кларисы первый ребенок родился через семь месяцев после свадьбы. Ну, ничего тут такого нет, никто, конечно, девушку не упрекал, никому в голову не приходило, что она себя неправильно вела, но она принялась вопить и причитать, словно рассудка лишилась.

«Что ж,— говорит доктор,— ребенок нормальный, ребенок в полном порядке, но если мать не перестанет плакать и вы ее как-нибудь не уймете, то ребенок очень скоро останется сиротой».

«Ладно, я ее уйму,— говорит Аманда,— или на худой конец узнаю, в чем дело.— И вот идет она прямо в спальню и садится прямо к ней на кровать.— А ну, послушай-ка,— говорит она,— ничего с тобой не случилось, и этой твоей дурости я больше не потерплю». А девочка говорит: «Ох! Я умру от стыда! Я людям в глаза не смогу посмотреть!» — И в слезы, и опять. «Да что случилось-то?— Аманда говорит,— что ты такого сделала,— говорит,— что так переживаешь?» А девочка ей: «Ой! — говорит,— я ничего не сделала, а ребенок раньше времени родился!» — «Фу ты, черт! — старуха ей, знаешь, грубо так, напрямик.— Всего и делов-то? Ну уж не ждала от тебя такой глупости. Чтобы из-за этого убиваться?» — говорит. А девочка свое: «Ой, все будут говорить, что я гуляла с кем-то до Джона!» А Аманда ей: «Ну и шут с ними, пускай себе говорят — жалко, что ли? Ты им скажи: я своей копилке хозяйка — что хочу, то и кладу!» Вот, говорят, как она ей посоветовала. Помню, когда я папе твоему все это описала, он говорит: «Господи! Не могла она такого сказать, ты же сама понимаешь». Однако рассказывали так.

— Ну, я и сказала ему: «Никуда ты не пойдешь». И, конечно, когда он увидел, что я от своего не отступлюсь, ему пришлось подчиниться. Но я говорю: это всегда в нем сидело, эта охота куда-нибудь уехать — в Калифорнию, в Китай... А? Нет, ты скажи! Как это понять? Ведь до конца дней не мог отделаться от вражды к ним. Как в тот раз, знаешь,— позже гораздо... Ну как же! Ты сам должен помнить, ты же был тогда с нами... А-а, нет, пожалуй. Кажется, ты был в колледже. Это было за год до конца войны, и мы все с ним поехали — и Люк и Бен... И знаешь, я часто о нем думаю — бедный ребенок: вот мы все ждали, что мистер Гант умрет с минуты на минуту, но он прожил еще пять лет, а случилось с Беном — с *Беном!* Мы и не думали не гадали, что это случится с Беном, что через год мы его похороним! И подумать только, что твой папа так держался — таким молодцом! — когда этот жуткий рак точил его изнутри... Господи! Как он мог только! Когда эта мерзость высасывала из него все соки и, понимаешь, пускала корни по всему организму.

Уэйд Элиот мне сказал: «Я не знаю, чем он держится. Никак,— говорит,— не думал, что опять увижу его, когда он в последний раз уехал.— И говорит: — Это, конечно, исключительный случай: за всю

мою практику,— говорит,— я ничего подобного не видел».— «Ну все же,— говорю,— должно быть у вас какое-то мнение? Вы,— говорю,— такой знаменитый врач, прооперировали не одну тысячу народу, вы *наверное* должны знать все признаки и симптомы.— Понимаешь, я, конечно, хотела вытянуть из него, узнать, какие *у него самого* есть догадки.— Есть же,— говорю,— у вас какая-нибудь своя теория, доктор Элиот, а коли есть,— говорю,— то *я желаю знать!* Его семья имеет право знать,— говорю.— И я хочу *знать самое худшее.* Сколько ему осталось жить?» — я спрашиваю и смотрю ему в глаза.

А он, сударь, голову закинул да как захохочет. «Жить! — говорит.— Да очень возможно, что он переживет нас обоих!» И, ты знаешь, он ненамного ошибся! Вот, пожалуйста, такой человек, красивый, во цвете лет мужчина, уж кому, кажется, жить да жить, как не ему... врач, которого вызывали к самому Вудро Вильсону, и все такое... Говорили, что он тысячи жизней спас,— а вот приходит его час, и своей он спасти не может! Все возможное и невозможное, как говорится, сделали, чтобы его спасти, все средства медицинской науки, должно быть, перепробовали — бесполезно! — умер и лег в могилу, всего на два года твоего папу пережил. Я, помню, еще сказала Макгайру, когда прочла об этом: «Это показывает только одно,— говорю,— если пробил твой час, тебя ничто не спасет... Не знаю,— говорю,— как *вы* это называете, но мне давно уже ясно, что есть какая-то высшая сила и уж коли она нас призывает,— говорю,— доктора́ тут, не доктора́, а надо идти».— «Да,— говорит,— вы совершенно правы. Есть там что-то,— говорит,— нам неведомое». И смотри: ему самому всего год оставалось жить — спился и умер, понимаешь, от горя, что эта женщина так с ним поступила. Еще этот негр из больницы рассказывал Люку, что с утра ему операцию делать, а он является туда среди ночи, и до того пьяный, что только на четвереньках может стоять, и ползет по лестнице, словно медведище старый, и негр этот укладывал его в ванну с холодной водой, со льдом, а потом на кровать перетаскивал, и так бывало не раз.

«Да,— доктор Элиот говорит,— я отказываюсь это понимать. Я не знаю, на чем он держится,— говорит,— но вот же живет, и я не хочу делать никаких предсказаний. Он не человек,— говорит,— он четыре человека, и на нынешний день,— говорит,— жизненных сил у него больше, чем у всех нас, вместе взятых». И, конечно, он был прав: до самого последнего дня он мог столько съесть, что другой бы тут же умер — две дюжины сырых устриц, целую курицу жареную, яблочный пирог и два или три кофейника кофе, сударь. И сколько раз я это видела! Со всякими овощами, со сладким картофелем, с кукурузными початками, с молодой фасолью, со шпинатом, со всем на свете. И, конечно, доктор Элиот напрямик сказал: он честно признался, что ничего не понимает. «Но вот что,— он говорит,— вы должны присматривать за ним, пока он не ляжет в больницу. Я хочу, чтобы его привели в порядок до того, как он к нам придет, а поэтому,— говорит,— проследите, чтобы он вел себя как следует».— «Да,— говорю,— думаю, что все будет в порядке. Он же пообещал, понимаете? И мы тоже постараемся. Ладно,— говорю,— а что ему можно есть? Посадить его на диету? Устрицы ему можно?» — спрашиваю. А он, понимаешь, смеется и говорит: «Знаете, я бы сказал, это довольно странная диета для больного человека».— «Понимаете,— говорю,— он так о них мечтает. Он обожает устрицы,— говорю,— вечно вспоминает, как в детстве поедал их дюжинами прямо из раковин. Он так мечтал поесть тут вволю,— говорю,— что просто боюсь его огорчать».— «Ну ладно,— говорит Уэйд Элиот и, понимаешь, смеется,— пусть его ест. Не умрет он от этого, но вот что! — говорит и смотрит на меня серьезно.— Меня не так волнует, что он ест, как то, что он пьет. И пить вы ему не давайте. Я,— говорит,— не хочу заниматься его

вытрезвлением, когда он к нам ляжет. Вселите,— говорит,— в него страх божий. Я вас знаю,— говорит,— вы это умеете. И скажите ему,— говорит,— что еще один запой — и живым ему домой не вернуться. Скажите ему, что это мои слова».

Я ему передала слова Уэйда Элиота. «Устрицы тебе можно,— говорю,— он сказал, это ничего,— но говорит, чтобы ты капли в рот не смел брать, иначе тебя пришлют домой в ящике».— «Господи, миссис Гант! — твой папа отвечает.— Ты же понимаешь, я никогда этого не сделаю, при таком состоянии. Если мне даже рюмку предложат, я ее выплесну в окно. Да меня от одного вида этой дряни тошнит!» Ну, он, конечно, пообещал, и, видно, мы все ему поверили.

— И что же, сударь мой? Суток не прошло, как он опять запил: заявляется домой в два часа ночи пьяный в стельку, и знаешь, мне просто жалко было бедную женщину. Сам посуди: остановились мы у этой миссис Баррет, как раз напротив больницы,— хорошая, верующая женщина, очень богомольная, понимаешь, и вообще... самой себя кормить приходится и еще дочку взрослую, потому что муж с другой сбежал,— а он заявляется поздней ночью, кричит, ревет, что это публичный дом и подавайте ему женщину. Ну и, конечно, можешь догадаться, он весь дом разбудил, все вскочили — узнать, что стряслось, а она, в ночной рубашке, стучит в мою дверь, дрожит, руки ломает. «Миссис Гант,— говорит,— ох, утихомирьте же его, иначе он меня погубит. Заберите его отсюда,— говорит.— В моем доме никогда ничего похожего не было,— говорит,— и если об этом узнают, я буду опозорена». А дети ее, понимаешь, маленькие мальчики — она их на крышу отправила, и они сидят там, как две мартышки, а люди в коридорах шепчутся. А Бену до того стыдно, до того обидно было, что он себя так ведет... «Так ему и надо,— он сказал,— пусть помирает. Не жалко мне его, если он себя так ведет».

Ну, бутылку я отняла — я в кармане ее нашла, пустую на две трети,— и скоро он опять начал клянчить виски. «Нет, сударь,— я ему говорю,— ни капли больше! И учти,— говорю,— ты больной человек, и если ты этого не бросишь, то живым домой не вернешься». А он отвечает, что ему все равно. «Лучше сразу,— говорит,— умереть, чем терпеть все эти муки». Все время кричал, требовал выпить, но мы не давали — я давно взяла ее и вылила,— а потом он все-таки уснул. Тогда я собрала его вещи и заперла в свой сундук, чтобы он выйти не мог из дому.

Мы дали ему проспаться. Спал он до десяти утра и проснулся как будто бы ничего, только завтракать не захотел — сказал, что в горло не лезет, но я дала ему горячего крепкого кофе: миссис Баррет специально принесла для него наверх. Очень хорошая была женщина, добрая, настоящая христианка, и твой папа сказал ей, что очень извиняется за вчерашнее. Ну, мы хотели поднять его и захватить с собой — мы в закусочную собирались, никто еще не завтракал. «Нет,— говорит,— неохота вставать, идите, вам надо поесть».

Ну, я знаю, что виски у него нет — я все вылила, а выйти он не может, потому что вещи заперты, и думаю: ничего страшного, можно оставить его ненадолго. Пошли мы, позавтракали — часу, наверно, не ходили,— возвращаемся, а он опять пьяный, лежит на кровати и песни распевает, как сумасшедший. «Как же так, мама,— Бен говорит,— ты вроде сказала, что отняла у него бутылку и вылила».— «Ну да»,— говорю. «Значит, у него еще одна была, а ты ее не нашла. Мне одно ясно,— говорит,— он набрался, пока нас не было».— «Так,— говорю,— раз у него было, что пить, значит, он где-то достал, пока мы завтракали.

Когда мы уходили, в комнате ничего не было, я обыскала ее сверху донизу, каждый уголок, и могу поклясться чем угодно,— говорю,— виски тут не было».

«Значит, кто-то ему дал,— Бен говорит,— я выясню, кто ему носит. Давай спросим у миссис Баррет, не заходил ли кто к нему».— «Вот,— я говорю,— правильно».

Мы всей гурьбой спустились вниз и спрашиваем, не был ли кто у него. «Нет,— она говорит,— ни одной души тут не появлялось, пока вы ходили. Я нарочно следила,— говорит,— и если бы кто пришел, я бы увидела».— «Странная,— говорю,—получается история, но ничего, я докопаюсь, в чем тут дело. Пойдемте, дети,— говорю Люку и Бену,— мы узнаем, что это за чудеса такие и чем они объясняются».

Ну, поднялись мы к нему в комнату, и что же мы видим — как ты думаешь? — пока мы были внизу, он успел добавить, это с первого взгляда было ясно. Лежит, пьяный вдрызг. Я к нему подступаю. «Послушай-ка,— говорю,— ты где-то виски достал, и я желаю знать, кто тебе его носит».— «Кто? Я? — говорит, а у самого язык заплетается.— Да что ты, маленькая, ты же знаешь меня,— говорит,— я капли в рот не возьму». И все целовать, обниматься лезет. Мы, конечно, снова стали искать — я и дети,— всю комнату переворошили и — ничего, ничего там не было, мы бы обязательно нашли.

— Стала я над этим раздумывать, и вдруг меня осенило — не знаю, почему мне это раньше в голову не пришло. «Пойдемте, дети,— говорю мальчикам и подмигиваю им, понимаешь? — Пошли посмотрим город. А вы, мистер Гант,— говорю,— будьте готовы, потому что через час мы вернемся. И в три часа,— говорю,— мы отведем вас в больницу».

А он, конечно, рад, ему только того и надо. «Идите, идите»,— говорит: хочет один остаться и еще выпить. Хорошо, мы уходим и по коридору — прямо к моей комнате; я завожу туда ребят и дверь осторожненько закрываю. «Мама! — Люк удивляется.— Что ты задумала? Как же можно уйти и оставить его, когда он пьет? Нет,— говорит,— он где-то достает виски. Я готов сидеть и караулить там, только бы он больше не пил».— «Нет,— говорю,— ты подожди».— «Чего? — говорит.— Чего ждать?» — «Да неужели непонятно!» — говорю. Тьфу! До того я зла была, что раньше о нем не подумала — об этом старом пьянчуге Гасе Толли; он, случалось, гостил у нас, а теперь приехал из Южной Каролины, из Сенеки, с той же болезнью, что у твоего папы, и жил в соседней с ним комнате, дожидаясь места у Хопкинса: чем не парочка — лежат себе рядышком и знай накачиваются. «Вот кто ему носит,— говорю,— старый паршивец Гас Толли».— «Гад такой,— Люк говорит,— сейчас пойду ему голову отвинчу». И к двери направляется. «Нет, ты постой,— говорю,— погоди минутку. Я сама с ним расправлюсь».

Ну, стали мы ждать, и точно: пяти минут не прошло, папина дверь отворяется потихоньку, выползает он в коридор, а потом слышим — стучится к Гасу Толли. Слышим, Гас Толли спрашивает: «Ушли уже?» Подождали мы, пока он дверь закроет, и пошли. Я иду прямо к двери, стучу; Гас Толли спрашивает: «Кто там?» — «Дверь откройте,— отвечаю,— тогда узнаете». Он дверь открыл и смотрит, надо тебе сказать, совершенной овечкой. «А-а, это вы, миссис Гант? — говорит.— А я думал, вы в город ушли».— «Ну что,— отвечаю,— опростоволосились на этот раз?» Он говорит: «А мистер Гант тоже здесь,— ласковым таким голоском, и носом своим красным поводит, а он у него весь в бородавках, словно пикуль,— у нас тут разговор один был».— «Ну, да,— говорю,— только кажется мне, у вас еще кое-что было, кроме разговора.

Если это один разговор,— говорю,— то крепкие же у вас разговоры, коли после них изо рта несет и такой запах в комнате, что от двери отбрасывает.— Ох, ты знаешь, просто ужас: такой запашище от этого ржаного виски, хоть топор вешай.— Я между прочим всю жизнь разговариваю, и почему-то на меня это так не действует».— «Да,— говорит Люк,— вон я вижу, между вами еще целая бутылка этого разговора на столе стоит».

Ну, тут мы входим и прямо к нему, а он, извольте видеть, за столом расселся с литровой бутылкой и как раз собирается себе налить. Ну, если бы взгляд мог убивать, мы бы все тут же скончались, потому что такого мрачного и злого взгляда ты не видывал... А потом он начал ругаться на чем свет стоит. Я отнимаю у него бутылку, а он упрашивает дать хотя бы еще глоток. «Нет, сударь мой,— говорю,— ты отправляешься в больницу, мало того — отправляешься *сейчас же*. Мы ни минуты больше не намерены ждать». Я знала, что по-другому с ним нельзя; я его не первый раз таким видела и знала, что если мы его не заберем, он выпивку из-под земли достанет. И Люк говорит: «Или ты идешь, или я тебя сам потащу, а Бен мне поможет». А Бен говорит: «Нет! К черту! Я его знать не желаю. Пусть что хочет, то и делает».— «Но если мы его оставим,— Люк говорит,— он же умрет от пьянства». А Бен отвечает: «Ну и черт с ним, если ему так хочется. Может, мы хоть вздохнем спокойно. Он всегда все делал по-своему,— говорит,— ни о ком, кроме себя, не думал, и мне все равно, что с ним будет. Я так,— говорит,— мечтал об этой поездке, думал, развлечемся хоть немного, а он все испортил да еще осрамил нас. Можешь возиться с ним сколько хочешь, а с меня хватит». Ну, правда, мальчику было обидно: он так ждал этой поездки, денег накопил, сшил себе новый костюм, и надо же, чтобы твой папа так себя повел; конечно, это для всех нас было горьким разочарованием. Мы-то надеялись, понимаешь, что положим его в больницу и погуляем немного, посмотрим город — куда там! Он *так* мудровал, что его целым полком надо было стеречь.

— Ну, он, конечно, не хотел в больницу, но понял, что мы от своего не отступимся, и подчинился; они с Люком вернулись к нему в комнату, а я достала его костюм, и мы его одели. Стала я собирать ему вещи в больницу — ночные рубашки, халат, шлепанцы и всякое такое — и вижу: чистых рубашек нет, на нем — грязнущая, в ней стыдно пускать, а я знаю, что ему понадобятся рубашки, когда ему разрешат сидеть. «Куда девались твои рубашки? — говорю.— Что ты с ними сделал? Я помню, что положила шесть штук, не мог же ты их потерять,— говорю,— где они?» — «Они зажулили, они зажулили,— говорит, плаксиво так, и снова начинает бушевать: — Пусть подавятся! — кричит.— Изверги! Они разорили меня, погубили, они выпили из меня всю кровь, пусть теперь забирают остальное».— «Что ты говоришь? — говорю.— Кто — они?» А Люк говорит: «Да как же, мама, это китайцы, у которых прачечная. Они взяли его рубашки,— говорит,— да я сам их отнес, но это было неделю назад.— И говорит: — Я думал, он давно их забрал».— «Ничего,— говорю,— сейчас пойдем и заберем. Нельзя же пускать его в таком виде. Срам один!»

А он и рад: ступайте, говорит, правильно, я буду готов к вашему приходу — ну конечно, хочет один остаться и еще выпить. Я говорю: «Нет уж, извини, вместе с нами туда пойдешь».

— Отправились кое-как. Он вперед пошел с Люком, а Бен меня подождал. Бен, конечно, был гордый и не хотел ему помогать. «Я его

чемодан понесу и пойду с мамой,— говорит,— не хочу, чтобы меня с ним видели».— «Почему это? — Люк говорит.— Он тебе такой же отец, как и мне, ты что же, стыдишься его?» — «Елки-палки, ясно, стыжусь!— говорит Бен (так прямо и сказал).— Не хочу, чтобы думали, что я его знаю. Не надейся,— говорит,— помогать я тебе не буду. Нянька я, что ли? — говорит.— А что надо было сделать, я все сделал».

Ну, идем мы по улице к этой прачечной — она была в квартале или двух от больницы, в старом кирпичном домике на углу,— подходим и видим: два китайца утюгами орудуют вовсю. «Ну, здесь, наверно»,— говорю. «Здесь, здесь,— Люк говорит,— сюда я носил». Заходим мы, значит, туда, а китаец его спрашивает: «Я вас слусаю?» — «Слусаю,— говорит твой папа,— рубашку мою давай!» — «Позаста,— китаец говорит,— китаси.— И заладил: — Китаси, китаси». Ну, мистер Гант у нас выпивши и, конечно, не понимает. Разнервничался сразу, вспылил: «К черту твои китаси! Не нужны мне китаси. Рубашку отдавай!» — «А ну, подожди,— говорю ему,— а ну, успокойся. Я сама с ним поговорю. Если рубашки здесь, я получу их». Я-то уж как-нибудь, думаю, договорюсь с китайцем, разберусь с ним, в чем дело. «Ну-ка,— говорю и легонько так, знаешь, подмигиваю,— вы лучше *мне* растолкуйте. Чего вы хотите?» — говорю. А он свое лопочет: «Китаси, китаси». Ну, думаю про себя, человек вроде как человек — я же вижу, понимаю: сказать что-то хочет, объяснить этим своим «китаси». «Ага,— говорю,— понимаю: вы еще не выстирали?» Я подумала, конечно, что у них еще не готово, а потом — нет, думаю, не может быть, у них же целая неделя на это была. Времени, думаю, сколько угодно. А тут он и сам говорит: «Нет, китаси, китаси». А потом начинает что-то другому лопотать, и оба подходят к нам, и оба начинают верещать и галдеть на ихнем языке. «Ах так,— говорит твой папа,— сейчас я положу этому конец, клянусь богом, положу! Беспечен же я был,— говорит,—что допустил до этого». «А ну,— говорю ему,— успокойся, мистер Гант, сейчас я докопаюсь до сути. Если твои рубашки тут, я их получу». А эти китайцы спорят о чем-то между собой, и, видно, другой ему говорит, что мы не понимаем, потому что, смотрю, вытаскивает из пачки какую-то бумажку — я еще потом сказала Люку: можно подумать, что курица на ней наследила,— и, понимаешь, тычет в нее и твердит: «Китаси, китаси».

«А! — я кричу (ну, конечно, тут я смекнула, тут до меня дошло, наконец, не знаю, как я раньше не сообразила!).— Ну конечно! — говорю.— *Квитанция* — вот что он хочет сказать».— «Да»,— он говорит и, вижу, улыбается, зубы скалит — значит, это он все-таки понял. «Ну да,— я говорю и подмигиваю ему,— они самые — китаси». Понимаешь, папа твой расшумелся, раскричался и с толку меня сбил, поэтому я и не догадалась сразу. «Слышишь, мистер Гант,— говорю ему,— он говорит, что дал тебе квитанцию и теперь хочет ее посмотреть».— «Нет у меня никаких квитанций,— говорит,— мне рубашка нужна».— «Обязательно должна быть квитанция,— говорю.— Что ты с ней сделал? Не мог же ты ее потерять?» — «Нет ее и не было»,— говорит он, знаешь, пьяным таким голосом. «Да как же нет! — Люк говорит.— Теперь я помню, я сам ему давал. Куда ты девал квитанцию, которую я тебе принес? Где она? Говори! Говори, ну! — И трясет его — понимаешь: разволновался мальчик, огорчается, что такую промашку дал.— Что ты молчишь, как идиот? Где квитанция, черт бы тебя побрал?» Тогда мы обыскали его карманы, обшарили все, что на нем было надето,— и квитанции не нашли, ее на нем не было! «Наверно,— я говорю китайцу,— мистер Гант куда-то засунул эту квитанцию, но я вам скажу, что надо сделать: вы нам эти рубашки выдайте, а я, как только найду квитанцию, сразу же вам принесу». Понимаешь, хочу его умаслить. А он говорит: нет, нет, он так не может, и опять начинает тараторить по-своему,

видно, хочет сказать, что не знает, где наши рубашки, и никак не может их дать нам, пока не принесем квитанцию. Тут-то, сударь мой, и началось. Твой папа хватает его за горло и говорит: «Я убью тебя, будь ты проклят! — Понимаешь, хочет ударить его через прилавок.— Изверг ты окаянный,— говорит,— ты разорил, затравил меня, ты привел меня на край могилы, но я с тобой покончу, прежде чем умру,— говорит,— я тебя с собой захвачу».

Ну, Бен с Люком вцепились в него, кое-как оттащили, но сделанного не воротишь: второй-то китаец закричал, завопил и на улицу выскочил, а теперь с полицейским возвращается. «Что все это значит? — полицейский спрашивает.— Что у вас происходит?» — говорит, всех нас оглядывая. «Они ограбили меня,— говорит твой папа,— изверги страшные, ужасные, кровожадные, и теперь сговариваются, как меня извести». Он бы всех нас погубил, если бы его не остановили: Люк дернул его, знаешь, и говорит: «Ну-ка помолчи, пока в тюрьму не попал. Довольно ты наскандалил». Я говорю: «Нет, правда, уважаемый,— понимаю, конечно, что надо с ним подипломатичней,— тут вышло маленькое недоразумение, но теперь все в порядке».— «Так что же случилось?» — он спрашивает. «Мы привезли моего мужа сюда в больницу,— говорю (понимаешь, думаю, надо намекнуть ему, что твой папа — больной человек),— и вот зашли сюда забрать рубашки, которые в стирку отдали».— «Так в чем дело-то? — он спрашивает.— Вам их не отдают?» — «Понимаете,— говорю,— они как будто бы выдали мистеру Ганту квитанцию, а он ее, наверно, куда-то засунул. Словом, мы ее пока еще не нашли. А рубашки здесь,— говорю,— они должны быть у них: сын мой сам относил их на прошлой неделе».

Тут он к Люку стал присматриваться — и скажу тебе: ребенок в самом деле производил прекрасное впечатление. Такой ладный, в морской форме — понимаешь, ему в Норфолке дали отпуск, чтобы он съездил домой, и как миссис Баррет сказала: «Прекрасный у вас сын. Вы знаете,— говорит,— одно удовольствие на него смотреть, и такое чувство, что ничего не может случиться с этой страной, пока такие ребята ее защищают».

А Люк говорит: «Да, да, капитан,— понимаешь, нарочно его так величает, хочет сделать ему приятное,— все в порядке,— говорит,— потому что я сам их относил, и, должно быть, отец случайно засунул куда-то квитанцию».— «Так,— полицейский мне говорит,— а вы сможете узнать ваши рубашки по внешнему виду?» — «Господи! — я говорю.— Да как же их не узнать! Я их в темноте узнаю, на ощупь по размеру определю. Вы же понимаете,— говорю и в глаза ему смотрю,— сами посудите,— говорю,— найдется у них в прачечной хоть одна чужая рубашка, чтобы налезла на такого человека?» Ну, взглянул он на твоего папу и давай смеяться. «Да,— говорит,— пожалуй, вы правы. Ладно, я вам скажу, что делать,— говорит,— ступайте туда сами и отберите ваши рубашки, а я тут,— говорит,— постою, пока вы ищете».

Так он и сделал. Я отправилась прямо за прилавок, а он стоял, пока я их не нашла. «Вот они!» — выкликаю. В самом низу, понимаешь— ох! — я, наверно, полсотни пакетов развернула, пока до них добралась; и я тебе скажу, китайцам это тоже пришлось не по вкусу: как они на нас смотрели — ух! — злобно-злобно. Если бы этот полицейский не остался нас охранять, то, честно скажу, мне было бы не по себе — конечно, кто их знает, на что эти люди способны, особенно когда твой папа так на них кидался и бушевал. Я, помню, потом сказала Люку, когда мы его отвели и положили в больницу: «Знаешь что,— говорю,— я рада была, когда мы от них ушли. Очень уж мне их глаза не понравились; просто мурашки по спине поползли!» — «Да,— он говорит,— у меня было такое же чувство».— «Знаешь, детка,— я говорю,—

у него ведь оно давно, это чувство, и можешь не сомневаться: тут что-то есть, есть что-то,— говорю,— нам непонятное».

— И, конечно, так я и сказала Амброзу Рейдикеру в салуне у него, давным-давно! «Ведь это же надо, ей-богу,— он говорит.— Это чистое наказание, когда на него находит. Просто-таки не знаешь, что с ним делать, когда он разойдется».— «А я вам скажу, что делать,— говорю,— вы ему вина не продавайте, когда он просит. Берегись бед, пока их нет»,— говорю. «Это верно»,— он говорит. «Так зачем,— я говорю,— вам нужно это терпеть? Неужели же у вас недостанет силы духа не делать того, что вам не по нутру! Нет,— говорю,— я знаю, вы человек разумный».— «А что я могу сделать?» — он спрашивает. «А вот когда он к вам придет за вином,— говорю,— вы ему откажите. Только и всего».— «Что толку-то, Элиза? — он говорит.— Ну, даст он деньги старику Руфу Портеру и пошлет за бутылкой. А по мне пусть уж лучше на себя их тратит, чем переводить на этого пропойцу».— «Как? — говорю.— Вы что же, хотите сказать — он и так делал?» — «В точности,— Амброз говорит,— и не один раз. Руф приходит и покупает ему вино, а потом они распивают в мастерской».— «Ну, теперь все ясно! — говорю.— Вот где собака зарыта!» И тут я, конечно, поняла, тут я сообразила, почему этот мерзавец им крутит, заставляет подписывать за себя векселя и всякое такое: напоит его сперва, а потом твой папа делает все, что он ему скажет.

«Правильно! — я сказала ему в тот раз, когда он пришел домой и стал рассказывать, как Мел Портер к нему заходил и как он расстраивается, что этих людей повесят.— Туда им и дорога, и жалко, что этого паршивого старикашку, брата его, вместе с ними не вздернут».— «Не смей так говорить,— возмущается,— слушать тебя тошно». Правда, я зла была на него. «Да,— говорит твой папа,— жалко мне все-таки Мела. Он, наверно, такую тяжесть на душе носил и теперь все горюет и мучается от мысли, что их повесят».— «Да ни капли,— говорю,— и если он тебя такими историями потчует, то ты легковерней меня и не так знаешь Мела, как я знаю. Вот помяни мое слово,— говорю,— не из-за этого он беспокоится».— «Нет,— он говорит,— я думаю, ты ошибаешься».— «Ну что ж,— я говорю,— поживем — увидим».

А ждать нам недолго пришлось. В ту же самую ночь, сударь, они сбежали из тюрьмы. Удрали живые-невредимые, все пятеро, и ни одного из них так и не поймали. «Ага,— я говорю ему,— что́ я тебе говорила? И ты был такой дурак, что поверил, будто Мел из-за их казни печалится? Теперь ты видишь?» — «Да,— он говорит,— кажется, ты права. Вот что его беспокоило! Он, наверно, знал».— «Знал?! А как же иначе! — говорю.— Конечно знал!» Тут нам стало ясно, что он с самого начала об этом знал, знал, что они сбегут этой ночью, и в душе этого страшился, он боялся, что выйдет как-нибудь не так и опять будет кровопролитие, потому что они были безжалостные и отчаянные люди и, не задумавшись, убили бы любого, кто стал бы у них на пути, поэтому, конечно, и совесть была неспокойна у Мела Портера. «Да,— сказал твой папа,— это ужасно, мне даже думать об этом не хочется».

«Что ты скажешь? — говорит мистер Гант.— На днях заходит ко мне Док Хенсли и пытается всучить мне два пропуска на казнь, чтоб мы с тобой посмотрели. Ты подумай! — говорит.— Полгода назад были собутыльниками, а теперь Док ждет не дождется, чтобы люк под ними открыть».— «Да,— я говорю,— такая была дружба — водой не разольешь». И ведь это правда. Эд Мирс и Лоуренс Уэйн двадцать лет были закадычными дружками с Доком Хенсли. «И скажу тебе,— я ему говорю,— не думаю, чтобы любой из них был хуже Дока. Одного,— гово-

рю,— поля ягоды, и Док Хенсли не меньше ихнего пролил крови, и, думаю, сам это знает. Разница,— говорю,— только в том, что он носил бляху и злодействовал под охраной закона и власти». И в самом деле! Разве все не показывали против него, когда его судили за убийство Риза Маклендона,— его, понятно, отпустили, на том основании, что это, мол, была самооборона, а он — полицейский при исполнении служебных обязанностей: только я тогда же сказала твоему папе: «Ты не хуже моего знаешь, что это самое что ни на есть умышленное и хладнокровное убийство». Конечно, Риз был ужасно сильный человек, и когда он, бывало, напьется,— это страх божий, да и сам он, надо думать, не одного человека убил, но ведь они с Доком Хенсли были закадычные дружки и ладили — лучше не надо... и вот, стало быть, забирают его пьяного за нарушение порядка. Говорили, он так расшумелся, что его пришлось из камеры убрать. Ох! Рассказывали, по всей площади было слышно, как он выл и бесновался, и тогда его посадили в этот, как он у них назывался, каземат, а был это самый обыкновенный подвал с земляным полом, и прежде в нем городских лошадей держали. Теперь, значит, чем этот Хенсли оправдывался: он сказал, что будто бы спустился к нему поговорить и как-нибудь его утихомирить и якобы Маклендон подобрал с пола старую подкову, и когда он вошел, то Риз бросился на него и хотел проломить ему подковой голову.

И будто бы, значит, выходило так, что либо ему не жить, либо Ризу, и он вырвал у него подкову, стукнул его по лбу — и насмерть. А остальные, кто был на суде, говорили, что он вышел из подземелья весь в крови и сказал: «Врача бы надо к Ризу. Боюсь, что я его убил». Ну и, конечно, когда врач пришел, ему уже нечего было там делать: он сказал, что Маклендон помер. Сказал, что, судя по всему, его раз сто ударили — полголовы разбито в кашу — и он плавает в собственной крови. Смотреть, говорят, было невозможно.

— Твой папа пошел на суд, а потом рассказывал. «Знаешь,— говорит,— за всю мою жизнь не слыхал ничего похожего на сегодняшнюю речь Зеба Пентленда перед присяжными». А Зеб, твой двоюродный брат, был как раз обвинителем. «Это была мастерская работа,— говорит твой папа,— и мне жаль, что ты его не слышала».— «Ну, а что с ним сделают? — спрашиваю.— Приговорят его?» — «Да что ты! — папа говорит.— Отпустят, конечно. Оправдают, мотивируя самообороной, но скажу тебе,— говорит,— ни за какие миллионы не хотел бы я сегодня быть в его шкуре. И можешь мне поверить,— говорит,— он до конца своих дней не забудет того, что сказал ему Пентленд. Он бледный весь был, когда слушал, он до гроба это будет помнить». И, конечно, на суде всплыло — Зеб Пентленд доказал это,— что Док Хенсли застрелил и убил восемнадцать человек с тех пор, как поступил в полицию, и папа рассказывал, что Зеб повернулся к присяжным и сказал: «Вы дали полицейский значок, вы доверили власть и охрану закона человеку, не ведающему ни милосердия, ни жалости, для которого пролить чужую кровь — все равно что муху убить; вы вручили ему заряженный пистолет, и сейчас,— говорит,— некоторые из вас снова готовы спустить этого бешеного пса, чтобы он свирепствовал, сеял гибель и отнимал жизнь у безвинных и беззащитных. Посмотрите! — говорит.— Вот он сидит перед вами, съежась и дрожа от страха, с каиновой печатью на лбу и руками, обагренными кровью его жертв! Персты мертвых указуют на него из могилы, их кровь вопиет о возмездии, и с нею — голоса тех, кого он сделал вдовами и сиротами...» Да, мистер Гант сказал, что это была сильная речь, а Хенсли побелел и задрожал, словно

тени убитых вправду вернулись, чтобы обвинить его. Но, конечно, его оправдали, как все и предсказывали.

Господи, как я сказала твоему папе, я подойти к нему близко не могла с тех пор, как они пригласили нас к себе обедать, и нате вам, извольте радоваться: на столе у него, где люди есть собираются,— нет, ты подумай, говорю, а? — череп негра, которого он застрелил; это же надо быть таким варваром, я твоему папе сказала, чтобы сделать такую вещь, когда к нему гости приходят обедать, и дети его тут же — ставить его, представляешь, вместо сахарницы! И еще хвастается им, знаешь, словно подвиг какой совершил, а макушка у черепа спилена, крышку изображает, и во лбу, где пуля прошла,— дырка, чтобы сахар сыпать. Меня чуть наизнанку не вывернуло, крошки в рот не могла взять. Когда мы вышли, твой папа сказал: «Ноги моей здесь больше не будет. Знать,— говорит,— не желаю такого безжалостного человека. Просто кровь стынет в жилах». И действительно, с того дня он ни разу не был в их доме. Ох, до чего же он его не переносил! Но говорят, что из-за этого в конце концов он и наложил на себя руки — помню, Гилмер, квартирант, принес мне эту новость; понимаешь, приходит прямо ко мне на кухню и говорит: «Такое страшное зрелище.— Говорит: — Я первый его увидел. Слышу вдруг — какой-то выстрел,— говорит,— прямо за новым судом; я туда подошел и вижу: он лежит возле груды кирпича. Не сразу и догадались, кто это,— ему полголовы снесло, так что и узнать нельзя было. Представляете, какой ужас!»

«Что ж,— говорю,— я не удивляюсь. Поднявший меч от меча и погибнет». И, конечно, так оно и вышло — видно, совесть его замучила, не мог он ее заглушить. Да и разве Эми не говорила нашей Дейзи, еще когда они вместе в школу ходили: «Ох,— говорит,— что с папой творится! (Понимаешь, не мог удержаться ребенок.) Просто не знаем, что с ним делать. Мы боимся, что он сойдет с ума,— говорит.— Просыпается среди ночи с криком, с плачем, и мы все думаем, что он помешался».— «Ага,— сказала я твоему папе, когда про это услышала,— теперь ты видишь? Злодей бежит, когда никто не гонится за ним»[1].— «Да,— он говорит,— я думаю, ему многое хотелось бы забыть. На его совести столько преступлений, что он не может их забыть. И все это, конечно,— муки нечистой совести. Я не удивлюсь,— говорит,— если в один прекрасный день он покончит с собой».

Но, конечно, долго казалось, что все у него обошлось. Из полиции он уволился и стал ретивым богомольцем, столпом методистской церкви и всякое такое: каждое воскресенье подле кафедры амúнил с самыми усердными и... Да! Смотри, как бывает! В торговлю недвижимостью ударился — что ты скажешь? — катал по городу на большой машине, сбывал «Холмы Хенсли» и тому подобное, и, надо полагать, в ту пору, как и все мы, изрядно заработал денег — или думал, что заработал.

Помню, когда я покупала эти участки у В. Д. Брайана, он мне сказал, что Хенсли был его посредником в двух-трех сделках, и, видно, Брайану он пришелся по душе — он начал хвастаться им, говорит: «Должен вам сказать,— говорит,— что Хенсли очень и очень порядочный человек. За все время, что я имел с ним дело,— говорит,— я ни разу, кажется, не слышал от него грубого выражения или слова, которое нельзя было бы произнести при даме».— «Хм! — думаю я себе.— Воистину времена меняются». Подумала так, но ему, конечно, ничего не сказала: как-никак интересно послушать. «Да,— он говорит,— имея с ним дело, я убедился, что это честный и порядочный человек, и больше того: каждое воскресенье вы можете видеть его на своем месте в церкви. И для человека, никогда, по его словам, не ходившего в школу,—

[1] «Нечестивый бежит, когда никто не гонится *за ним*...» Притчи, 28, 1.

говорит,— у него весьма основательное знание Библии. Я,— говорит,— экзаменовал его лично по текстам из самых разных книг Священного писания и ни разу,— говорит,— его не посадил. В наши дни,— говорит,— это редкость, чтобы деловой человек так глубоко интересовался духовными вопросами; общество,— говорит,— по справедливости может им гордиться». — «А, конечно,— говорю,— наверно, вы правы, только вот вы многого еще не знаете про наше общество. Конечно,— говорю,— вы тут недавно, а пожалуй, было время, когда Док Хенсли не был такой гордостью общества, как нынче».— «Да? Когда же это было?» — спрашивает. «Ну,— говорю (Я, конечно, не собиралась ничего рассказывать — только, знаешь, подмигнула ему и говорю),— может, не стоит нам былье-то полоть? А было это,— говорю,— давненько, в ту пору примерно, когда вы в президенты себя в первый раз выставляли».

Ну, сударь мой, он только голову закинул и — ха-ха-ха! «Да уж,— говорит,— видимо, и в самом деле давно. Что ж, может, и правда не стоит дальше рассказывать,— говорит,— но,— говорит,— руку даю на отсечение, если бы было что-нибудь, что мне *надо* было бы узнать,— говорит,— вы бы это вспомнили».— «А как же,— говорю,— конечно. И хотя у самой у меня тоже,— говорю,— хвастунам особой веры нет,— считается, что у меня довольно неплохая память».— «Да,— говорит,— и я бы сказал, не зря считается. Я на днях как раз говорил жене, до чего удивительно встретить человека, который бы так живо интересовался происходящим вокруг. Знаете,— говорит,— я ей сказал, мне кажется, вы помните все, что с вами происходило в жизни».— «Нет, пожалуй,— я говорю,— это вы преувеличили. Пожалуй, из тех времен, когда мне было меньше двух, я кое-что не очень хорошо помню, но уже после этого я едва ли что позабыла».— «Да головой ручаюсь, что не забыли»,— он говорит и хохочет, заливается. Но тут я, конечно, сказала ему,— понимаешь, все-таки вредить человеку не хочется, и я подумала: если есть в нем что-то хорошее, этого у него не отнимешь, и говорю: «Против каждого можно что-нибудь найти, мистер Брайан. Все мы,— говорю,— живые люди, не без греха. Не судите да не судимы будете»,— говорю. «Разумеется,— говорит,— мы все должны быть терпимы».— «И думаю, если бы я захотела,— говорю,— то могла бы рассказать про Дока Хенсли такое, чем вряд ли можно гордиться нашему обществу, но,— говорю,— насчет одного вы можете быть спокойны: он прекрасный семьянин и очень привязан к жене и детям, и что бы он там ни натворил, в распутстве и прелюбодействе его никто не мог упрекнуть». И это была чистая правда: на суде пытались доказать про него что-нибудь *вроде* этого, чтобы уж кругом его опорочить, хотели изобразить, будто он ухаживал за другими женщинами кроме жены, но все напрасно, сударь, они сами признали: с этой стороны к нему не подкопаться.

— «Как же, Док,— твой папа ему сказал,— эти люди двадцать лет были вашими приятелями, не понимаю,— говорит,— как у вас хватит духу». А тот ему в ответ: «Да, я знаю,— говорит,— это ужасно, но ведь кто-то должен это сделать. Это моя обязанность, меня для этого люди избрали, и притом,— говорит,— я надеюсь, что Эду и Лоуренсу приятнее будет, если это сделаю я. Мы это уже обговорили». Ну да, всем известно было, что он навещает их в тюрьме: как-никак дружки, сударь мой,— хохотали там с ним, шумели,— вот он и говорит: «Им приятнее будет, если это сделаю я, а не чужой кто-нибудь».— «Да,— говорит мистер Гант,— но вас же совесть будет мучить. Не представляю, как вы сможете спать по ночам после такого дела».— «Тю! Ерунда, мистер Гант. Совсем даже,— говорит,— меня это не беспокоит. Я,— говорит,—

сто раз это делал. От меня что́ нужно? Защелку спустить. Для меня это — все равно что шею свернуть куренку». «Ну, скажи на милость,— меня твой папа спрашивает.— Слыхала ты когда про такого человека? Похоже, что в нем ничего человеческого, никакой жалости не осталось»,— говорит.

Ну, мы так и не узнали, имел он к этому касательство или нет: знал ли, что они собираются бежать, но если знал, то очень странно, что... «Послушай,— мне мистер Гант говорит дня через два после этого,— кажется, мы были несправедливы к Доку Хенсли. Я думаю,— говорит,— он знал про этот побег с самого начала, поэтому,— говорит,— он и был так спокоен».— «Да? — говорю.— Что-то это больно странно. Если бы он про это знал, то зачем он пришел к тебе с пропусками? Чего это ему так приспичило, чтобы мы посмотрели на казнь?» — «Ну,— говорит,— я думаю, он просто хотел отвести от себя подозрения».— «Нет, сударь мой,— говорю ему,— я ни вот столечко этому не верю. Ему просто не терпелось их повесить, да, и он уже ручки потирал». Ну, мистер Гант, конечно, не согласился — ему не хотелось верить, что бывают на свете такие черствые люди.

Потом, само собой, пошли слухи, что все это неделями готовилось, что, дескать, Джона Рэнда, тюремщика, как говорится, подмаслили, чтобы он их выпустил. Правда, доказать про него ничего не сумели, может, он и вправду был честным человеком и ни к чему не причастным, да только больно странно уж все получилось: представляешь, находят его в камере Эда, спутан — чисто куколка, а на самом ни царапинки, словно и не думал сопротивляться. Ну, он объяснял так, что будто бы принес Эду и Лоуренсу ужин, а они его одолели, связали, едва он вошел, а потом будто бы забрали у него ключи, отомкнули остальных и были таковы. Те трое-то ничего общего с Эдом и Лоуренсом не имели — простые обыкновенные убийцы, неумытые рожи, как твой папа их назвал,— тоже ждали виселицы, и говорят, будто Эд сказал Лоуренсу: «Выпустим и их заодно, раз такое дело».

— Странноватое получалось у Джона Рэнда объяснение. Людям оно не очень-то по душе пришлось. А через полгода Джон Рэнд заводит собственное дельце: открывает громадный водопроводный магазин на Южной Главной улице, и товару у него — на много тысяч. «Послушай,— твой папа мне сказал,— ты знаешь, что говорят? Говорят, подкупили Джона Рэнда, чтобы он дал им сбежать».— «Что ж,— отвечаю,— очень может быть. Уж больно странно,— говорю,— что человек, который никогда больше пятидесяти долларов в месяц не зарабатывал, вдруг заводит такое большое дело. Откуда, скажи, взялись такие деньги? Согласись, что-то тут нечисто».— «Да,— твой папа говорит,— но кто его подкупил? Откуда взялись эти деньги?» — «Ясно,— говорю,— откуда: из округа Янси, где вся их родня. Откуда же еще?» — «А что,— он говорит,— они зажиточные люди?» — «Очень даже,— говорю,— очень, и они до последнего гроша выложатся, чтобы вызволить их из тюрьмы.— Я, конечно, знала, о чем толкую.— Слушай,— говорю,— я прожила здесь всю жизнь и лучше тебя знаю этих людей. Я,— говорю,— выросла среди них и скажу тебе: они ни перед чем не остановятся. — И говорили, что деньги рекой сюда лились, тысячи долларов истратили на защиту. Да как же! Разве не рассказывали, что один только старый судья Трумен — брат того самого профессора Трумена — ну да, Эд Мирс и Лоуренс Уэйн на дочерях его были женаты, на сестрах,— так вот один только судья Трумен, а он был один из самых видных юристов в Янси, истратил десять тысяч с лишним на их защиту.— И можешь быть уверен,— я говорю твоему папе,— это только капля в море. Где бы они сейчас ни были, они хорошо

обеспечены, и можешь,— говорю, —поберечь свою жалость для кого-нибудь другого».— «Что ж,— он говорит,— я рад, что они сбежали. Довольно тут пролито крови и без этого. Не вижу нужды еще добавлять».

Я головой покачала и говорю: «Нет, ты не прав. Их надо было повесить, и мне жаль, что они не получили по заслугам. Но я рада,— говорю,— что *мы* поступили так, а не иначе. Если бы их поймали,— говорю,— я бы не стала огорчаться, но я не хочу, чтобы чья-то кровь — виноватого или невинного — была на моей совести».— «Да,— он говорит,— и я тоже».— «Но ты же *знаешь,*— говорю,— не хуже моего *знаешь,* что по этим каинам веревка плачет». Так прямо и сказала, а как же: убийство ведь, самое злодейское и умышленное убийство, какое только можно вообразить. На суде ведь рассказывали, как они пришли на эту слюдяную шахту в субботу после обеда, когда получку выдавали, и стали драку затевать — просто так. Ладно, если бы за деньгами пришли, я папе сказала, кассу бы хотели ограбить — это еще как-то можно понять. Так нет ведь! Им охота было бузу завести, и они к этому подготовились. Конечно, оба напившись пришли, а от вина они всегда зверели. И вот начинают придираться к кассиру — порядочному, говорят, и тихому человеку,— платить ему не дают, и тут как раз входит в контору Джон Бэрджин. «Слушайте,— говорит,— ребята, нехорошо вы себя ведете. Шли бы вы отсюда, а? (Понимаешь, образумить их хотел.) Пока неприятностей себе не нажили!» А Лоуренс Уэйн ему отвечает: «А тебе-то, черт подери, какое дело, как мы себя ведем?» — «Да мне никакого,— Джон Бэрджин говорит,— только неприятно мне, что вы так поступаете. Я не хочу, чтобы вы попали в беду,— говорит,— и я знаю, что завтра утром вы проснетесь и будете об этом жалеть».— «А ты не беспокойся,— Лоуренс Уэйн ему говорит,— что мы будем думать завтра утром. Ты о себе беспокойся. Такие, как ты,— говорит,— бывает, вообще не просыпаются. А мне,— говорит,— давно твоя рожа не нравится. А ну, иди отсюда,— говорит,— пока ноги ходят».— «Хорошо,— Джон говорит,— я уйду. Я не хочу с вами скандалить. Я просто хотел убедить вас, чтоб вы, хотя бы ради детей и жен своих, вели себя прилично, но раз у вас такое отношение, я уйду». И, говорят, он повернулся и пошел прочь, и тут Эд Мирс его застрелил. Повернулся, говорят, к Лоуренсу и с пьяной такой ухмылкой спрашивает: «Как, по-твоему, Лоуренс, попаду я в него?» И человеку, который никакого зла ему не причинил, выстрелил в затылок... А потом, конечно, набросились на кассира с помощником, убили обоих и удрали. «И подумать только! — я твоему папе сказала.— Ведь, кажется, ни причины, ни повода никакого не было — просто *захотелось убивать,* и ничего,— говорю,— кроме петли они не заслуживают».— «Верно,— он говорит,— но я рад, что мы так поступили».

Так вот, мальчик, что я хочу тебе сказать...

— «Два... два»,— один голос говорит, а другой: «Двадцать... двадцать».

Я точно помню, когда это было... сейчас я тебе, сударь мой, скажу: это было двадцать седьмого сентября, без двадцати минут десять вечера. А почему я помню (я как раз и хочу тебе рассказать) — ровно за два дня до этого, двадцать пятого числа, был у меня тот разговор с Амброзом Рейдикером в салуне — вот когда. Я еще подумала: сил моих нет больше терпеть, всё, хватит с меня; и пошла туда сама, думаю: поговорю с ним по душам.

Ну, я увидела, что Амброз мне правду говорит; это было в тот раз, когда он мне рассказал, как твой папочка допился до горячки и против китайцев воевал — и сколько от него было неприятностей... и надо отдать ему справедливость: хоть и кабатчик, а видно, правду мне говорил, не

кривил душой. «Вот,— он говорит,— я все, что мог, сделал, но если еще что-то можно сделать,— говорит,— чтобы отвратить его от пьянства, скажите, и я сделаю!» И правда! В тот же самый вечер зашел к нам по дороге домой — мы еще сидели после ужина, и папа мне газету читал — и говорит: «Вилл, обещай мне, что ты постараешься бросить пить. Не могу я смотреть,— говорит,— как человек с твоим умом и красноречием спивается, ведь ты всего можешь достигнуть, стоит тебе только захотеть!» — «Ну да,— я говорю,— голова у него хорошая, это верно. Не думаю, чтобы в городе у нас нашелся человек хотя бы вполовину такой способный от природы, и он бы далеко пошел,— говорю,— если бы не эта проклятая страсть к вину. И я одно,— говорю,— знаю: научился он этому не от моей родни — вы знаете, мой отец, майор Пентленд, в рот не брал спиртного и не пускал человека на порог, если думал, что он пьет».— «Да, я знаю,— Амброз говорит,— он чудесный человек, и мы им гордимся.— И говорит: — Вилл, у тебя,— говорит,— есть все, что нужно человеку для счастья: чудесная жена, детишки, хорошее ремесло в руках, и ради них,— говорит,— Вилл, ты не должен этого делать, ты должен покончить с пьянством». И твой папа признал, что он прав, пообещал, что больше не притронется к бутылке, и Амброз пошел домой, и было это в ту самую ночь, да, двадцать седьмого сентября.

И вот я услышала! «Два... два»,— один говорит, а другой говорит: «Двадцать... двадцать».— «Господи, женщина! — говорит мистер Гант.— Да никого там нету! — Подошел к окну, понимаешь, выглянул и говорит: — Тебе что-то померещилось. Ничего ты слышать не могла».

«Да нет же, слышу! — говорю. И правда, слышно было ясно, как не знаю что.— Вон, опять!» — говорю. И правда, слышу: «Два... два...» — первый голос, у окошка, а другой: «Двадцать... двадцать...» — прямо на ухо мне.

И сейчас же колокол зазвонил — который на суде, помнишь? — и громко так, часто, что есть силы. «Боже мой! — говорю.— Что-то стряслось. Что это может быть, как по-твоему?» И с самой площади было слышно, как там кричали, и вопили, и били окна в магазине Кёртиса Блэка, чтобы ружья взять,— почему там и звон стоял, оказывается; и, конечно, твой папа — мужчина разве усидит? — вскочил, схватил шляпу и говорит: «Пожалуй, надо пойти посмотреть».

«Ой, не ходи,— говорю,— не ходи! Прошу тебя, не надо. Не оставляй меня одну, когда я в таком положении».— «Да господи! — говорит.— Я через полчаса назад буду. Все у тебя в порядке. Ничего с тобой не может случиться». Я головой покачала: у меня было предчувствие — не знаю, как еще это назвать,— но чувствую, что-то *страшное, страшное* приближается, несчастье какое-то. «Прошу тебя, не уходи»,— говорю, а его уж и след простыл.

— Я посмотрела на часы, когда он вышел, и минутная стрелка стояла ровно на без двадцати минут десять.

Жду. И чувствую — понимаешь, не знаю, что́ это, но чувствую, что приближается, слушаю, как тикают эти старые деревянные часы на камине — тик-так, тик-так,— отстукивают минуту за минутой, и скажу тебе, так долго мне никогда не приходилось ждать, каждая эта минута казалась часом. Потом пробило десять.

И тут я услышала: крадется по переулку перед нашим домом, потом слышу, проволочная изгородь заскрипела за окном, и что-то упало на клумбы во дворе — и вот уже, слышу, подкрался сюда и ползет тихо, осторожно по веранде за дверью гостиной. «Боже мой! — говорю: тут меня осенило, что́ это значит.— Пришли! Они здесь! Что мне делать,— говорю,— одной, с детьми, против этих ка́тов?»

И тут, конечно, я поняла, что значило это предостережение — «Два... два» и «Двадцать... двадцать»: они хотели предупредить меня и твоего папу, что эти будут здесь через двадцать минут. «Зачем он ушел, зачем не послушал? — я сказала.— Ведь вот что они хотели ему сказать».

Я подошла к двери, не знаю, откуда только смелость и силы взялись при моем положении, не знаю, как у меня только духу достало — нет, детка! Нет! Должно быть, свыше мне даны были силы и смелость встретить их,— и распахнула дверь. Тьма была кромешная: осень уже начиналась. Только что дождь прошел и перестал и... Господи! Темень такая, что ножом, кажется, можно резать, и все кругом тяжелое, затихло, оцепенело, поэтому так хорошо и слышно было, что на площади творилось, а тут — ни звука! Былинка не шелохнется!

«Ну, хватит,— я в темноту крикнула, знаешь, будто бы и не боюсь ничего.— Я знаю, что ты здесь, Эд! Можешь войти». Он молчит. Я слушаю. Слышу: дышит где-то, тяжеленько так. «Неужто в самом деле,— говорю,— ты меня боишься? Я совсем одна,— говорю,— беззащитная женщина, тебе нечего бояться». Я знала, конечно, что это его уязвит.

И, конечно, это задело его гордость — тут же поднялся и в комнату входит. «Я никого не боюсь,— говорит,— ни мужчины, ни женщины».— «Да уж,— говорю,— *наверное* не боишься. По крайней мере, говорят, что Джона Бэрджина ты не боялся, когда стрелял ему в спину, когда он уходил от тебя, и уж наверно,— говорю,— человек, который столько душ загубил, сколько ты, не станет бояться одинокой, беспомощной женщины, которая осталась в доме без защитника. Как это я сразу не поняла,— говорю,— что *меня* ты не боишься».

«Да, Элиза,— говорит,— не боюсь, поэтому я и пришел сюда. И тебе,— говорит,— нечего меня страшиться. Я пришел сюда потому, что знаю,— говорит,— что могу тебе довериться и ты меня не выдашь. Ты должна мне помочь»,— говорит. И уж до того тяжело на него было смотреть — прямо как зверь затравленный... Одно тебе скажу: ни за что на свете не хотела бы я еще раз увидеть такие глаза, как у него той ночью,— если бы он в аду побывал и вернулся, и то, верно, было бы не хуже. Это было свыше моих сил: я не смогла бы донести на него, что́ бы он там ни сделал. «Ладно,— говорю,— Эд. Можешь не опасаться меня: я тебя не выдам. И скажи Лоуренсу, пусть тоже входит. Я знаю, что он тут».

Он только что рот не разинул. «Почему ты так говоришь? — спрашивает.— Лоуренс не здесь. Его нет со мной».— «Нет,— говорю,— я *знаю*, что он здесь. Наверное знаю. Можешь ему так и сказать и скажи, пусть заходит».— «Но откуда ты можешь знать? — он спрашивает с беспокойством.— Почему ты так уверена?» — «Скажу тебе,— отвечаю.— Меня *предупредили* об этом, Эд. Я знала, что вы оба придете».— «Предупредили? — говорит, и вижу, начинает волноваться.— Кто тебя предупредил? — спрашивает.— Тут кто-то был? Откуда он знает?» — «Ты не волнуйся, Эд,— отвечаю.— Да,— говорю,— кое-кто был здесь и предупредил, что вы с Лоуренсом идете, но ты можешь не опасаться его — на *этом* свете. Тот свет, конечно, другое дело,— говорю,— за него я тебе не могу обещать. Тебе самому придется с ним встретиться». Посмотрел он на меня — глаза у него так и выкатились. «Духи?» — говорит. «Да,— отвечаю,— это были они! Я не знаю, что это за духи, но они явились предупредить меня, они шептали мне на ухо и сказали, что вы с Лоуренсом направились сюда и будете через двадцать минут».

— Лицо у него было, доложу тебе... Наконец, он говорит: «Нет, Элиза, ты ошибаешься. Я не хочу тебя волновать,— говорит,— но если они и являлись сюда, то хотели предупредить о чем-то другом. Не обо

мне и Лоуренсе. Клянусь тебе!» — говорит. «Как это понять?» — спрашиваю. «Я же тебе сказал,— отвечает.— Лоуренса нет со мной. Мы разделились у тюрьмы: мы решили, что так лучше, и он бежит в Южную Каролину. А я пойду через горы,— говорит,— и если нас не поймают, мы надеемся встретиться на Западе».— «Посмотри мне в глаза,— приказываю,— ты правду говоришь?» Ну, он посмотрел мне в глаза и говорит: «Да. Накажи меня бог, если вру!»

Ну, я смотрю на него и вижу, что он правду мне говорит. «Что ж,— говорю,— значит, о чем-то другом, о чем, пока не знаю, но это я выясню. А теперь,— говорю,— зачем ты пришел ко мне в дом? Чего тебе нужно?» — спрашиваю. «Элиза,— говорит,— сегодня ночью мне надо через горы перейти, а у меня ботинок нет, я босой». И тут я смотрю, действительно — должно быть, от волнения сначала не заметила — стоит оборванный, весь в крови, босой; и смотреть страшно, и глаз не оторвать: ни ботинок, ни пиджака, ничего на нем нет, кроме старых штанов, таких обтрепанных, словно он спал в них в тюрьме все время, да грязной фланелевой рубахи, донизу разодранной под мышкой, волосы у него слиплись, свалялись, словно птичье гнездо, на глаза свисают, бороде, наверно, второй месяц пошел — можно подумать, не стригся, не брился в тюрьме ни разу,— словом, доведись ему с медведем встретиться, так и тот бы умер со страху. Ну и ну, я потом твоему папе сказала, они обо всем подумали, чтобы помочь ему удрать, кроме самого нужного: видите ли, пистолет ему дали с патронами, чтобы людей убивать — мало он их убил,— а башмаков на ноги да пиджака, чтоб не мерзнуть,— на это ума не хватило. «Отродясь ничего подобного не видела!» — я сказала папе.

«Надо во что-то обуться,— он говорит,— не то все ноги располосую в горах, а тогда,— говорит,— если я идти не смогу, мне конец. Изловят как пить дать».— «Понятное дело»,— говорю. «Вот,— говорит,— я и зашел к тебе, Элиза. Я знаю, что ты меня не выдашь и что я могу надеяться на твою помощь. Ты,— говорит,— сама видишь, ноги у меня страшенного размера, и единственный,— говорит,— чьи башмаки на меня налезут, это мистер Гант. Если бы ты дала мне его старые башмаки — какие-нибудь, все равно, я тебе за них заплачу. У меня много денег,— и вытаскивает толстенный сверток: неплохо его снарядили в дорогу,— я заплачу за них, сколько ты назначишь». Я головой покачала и говорю: «Нет, Эд, не нужны мне твои деньги.— Да я бы и прикоснуться к ним не смогла, как будто кровь на них.— А башмаки я тебе дам». Пошла в чулан и вынесла ему прекрасные новые штиблеты, сударь мой,— твой папа купил их месяца два назад — и в хорошем состоянии, потому что он вещи носил очень аккуратно. «На,— я говорю,— надеюсь, что они тебе подойдут». Ну, он надел их не сходя с места, и они оказались впору, словно на него шиты. И знаешь, хоть и убийца, а какое-то чувство в нем все же осталось: взял он меня за руку, заплакал и говорит: «Я буду помнить это до самой смерти. Если я смогу тебя чем-нибудь отблагодарить,— говорит,— я все на свете сделаю».— «Да, ты можешь сделать одну вещь,— отвечаю,— сделать прямо здесь и сию минуту».— «Что?» — он спрашивает. «Я не хочу твоих денег,— говорю,— я к ним не притронусь. Ты можешь взять башмаки, Эд, и надеюсь, они помогут тебе спастись. Башмаки тебе нужны,— говорю,— но пистолет, который у тебя в заднем кармане, он тебе не нужен». Я же заметила его, понимаешь, вот таким бугром выпирает при каждом шаге. «Достаточно ты пролил чужой крови,— говорю,— и что бы с тобой ни сталось, поймают тебя или нет, не дай мне бог услышать, что ты еще кого-то хотя бы оцарапал. Давай-ка мне этот пистолет,— говорю,— да ступай. Если тебя поймают, пистолет этот тебе не поможет».

— Ну, он посмотрел на меня, словно никак не мог решиться, а потом отдал. «Ладно,— говорит,— наверно, ты права. Не думаю, что от него будет много проку, а главное, если и поймают меня, мне все равно. Я столько в своей жизни совершил преступлений, что теперь,— говорит,— мне все равно, что со мной будет. Конец — так конец, и слава богу».— «Нет,— говорю,— не нравится мне твой разговор. У тебя жена, которая стояла за тебя горой, у тебя маленькие дети, и пора уже,— говорю,— тебе о них подумать. Уезжай куда-нибудь, где никто тебя не знает, начни новую жизнь, а когда все наладится, вызови ее; и я ее знаю,— говорю, а сама смотрю ему в глаза,— я знаю ее: она приедет».

Ну, тут он уже не выдержал. Говорить не мог, отвернулся, а потом сказал: «Ладно. Я попробую!» А я ему говорю: «Ну, ступай теперь. Не хочу я, чтобы тебя тут застали,— говорю,— и надеюсь, что все у тебя обойдется».— «Прощай,— он говорит,— с нынешнего дня я постараюсь зажить по-новому».— «Да, ты должен постараться. Тебе надо искупить зло, которое ты причинил. Ступай,— говорю ему,— и не греши больше».

Ну, и он ушел. Я слышала, как скрипнула проволочная изгородь, и увидела, как он шел по улице — наверно, к горе. Удрал он все-таки. Больше я его не видела.

Ну, не проходит и десяти минут, как он является — твой папа, значит,— весь взбудораженный новостью, которую, как он думает, надо мне сообщить.

«Ну,— говорит,— они удрали, все пятеро. Хенсли с целой оравой выбил окна в магазине у Блэка, чтобы ружья взять, и теперь гонится за ними со своим ополчением».

«Да,— говорю,— и надо тебе было в такую даль бежать за этой новостью? В другой раз, когда сорвешься, принеси посвежее что-нибудь, чего я не знаю».— «А? — он говорит.— Откуда ты знаешь? Ты слышала об этом?» — «Слышала?! — говорю.— Да ты за всю жизнь не услышишь того, что я слышала. У меня сведения из первых рук,— говорю,— и мне не надо было за ними из дома бегать».— «Что? — он говорит.— Как так? Что это значит?» — «Ко мне,— говорю,— гость заходил, пока тебя не было».— «Кто?» — он спрашивает. А я посмотрела на него и отвечаю: «Эд Мирс тут был».— «Господи Иисусе! — твой папа говорит.— Ты хочешь сказать, что убийца был здесь, в моем доме? Ты подняла тревогу? — спрашивает.— Сказала соседям?» — «Нет»,— говорю. «Ну так я подниму,— говорит,— сию же минуту». И к двери. Я его остановила. «Нет,— говорю,— ты этого не сделаешь. Ты останешься здесь. Я дала обещание не выдавать Эда, и мы его сдержим. Сиди-ка тихо». Он задумался на минуту, а потом говорит: «Что ж, пожалуй, ты права. Может, так оно и лучше, в конце концов. Но ничего удивительнее я в жизни не слыхивал,— говорит.— Ей-богу!»

— Ну, в общем, они скрылись. Ни одного из них так и не поймали. Потом уже, через много лет, когда твой папа прокатился в Калифорнию, Трумен сказал ему, что оба они, Эд и Лоуренс, остановились в его доме в Колорадо, когда он там жил, и, конечно, обе женщины через полгодика приехали к ним. Лоуренса жена — это, значит, Мэри Трумен — умерла там через год или два от чахотки, а что стало с самим Лоуренсом, я толком не знаю. Был слух, что он осел в Канзасе, женился снова, детей наплодил и живет там по сей день, сударь, зажиточным и всеми уважаемым человеком.

А что с Эдом Мирсом стало, нам, конечно, известно. Я от Дока Хенсли все про него узнала. Трумен сказал твоему папе, что Эд приехал к нему в Колорадо, а потом отправился в горы работать, в какой-то шахтерский поселок, и когда обосновался там немного, вызвал Аду, и она,

конечно, приехала. Трумен рассказывал, что она прожила там с год, а потом вернулась к отцу. Ох! Что он рассказывал! Это был ужас, она больше не могла выдержать — говорила, что Эд с ума сходит и когда-нибудь действительно рехнется: все кричал и бредил, что духи людей, которых он убил, вышли из могил, чтобы травить и мучить его. «Теперь ты видишь,— я сказала твоему папе,— ты видишь, что получается? Я же знаю,— говорю,— это всегда оправдывается: злодей бежит, когда никто не гонится за ним».— «Да,— он говорит,— все правильно. Муки нечистой совести — тут и разговаривать не о чем».— «Вот я и забрал ее от него,— сказал Трумен.— Отправил обратно, на Восток, от него подальше. Разумеется,— говорит,— он угрожал мне, грозился меня убить, но я видел, что человек сходит с ума, и не мог допустить, чтобы она к нему вернулась».

Словом, Ада вернулась домой и получила развод: дело ее вел, конечно, Кеш Джетер — это еще задолго до того, как его выбрали в сенат, тогда он был самым обыкновенным адвокатом,— и говорят, пока тянулось дело, он в нее влюбился и через какой-нибудь месяц после того, как она получила свои бумаги,— что ты думаешь? — женился на ней. «Недолго же они ждали, а? — я папе сказала.— А ведь кажется,— говорю,— могли бы выждать приличный срок».— «Ах, господи! — твой папа говорит.— «Расчетливость, Гораций! С похорон на брачный стол пошел пирог поминный» [1].— «Вот именно,— говорю,— так оно и получается».

Теперь, значит, Дока Хенсли послали на Запад ловить какого-то убийцу, и вот, вернувшись, он рассказывает, что в Мексике наткнулся на Эда Мирса. Он плыл где-то на пароходе из Техаса в Мексику — видно, по следам человека, которого разыскивал,— и тут столкнулся с ним нос к носу, с Эдом Мирсом. Док говорил, что он отрастил бороду, но говорил, что сразу его узнал. «Хотя надо заметить,— он сказал,— Эд сильно изменился. Это не тот человек, которого вы знали.— Док сказал, что он был похож на мертвеца, что от прежнего Эда одна тень осталась.— То есть буквально,— говорит,— кожа да кости, а мяса на нем не больше, чем на белке».— «Ну, а он вас,— спрашиваю,— узнал? Вы хоть поговорили?» Сам понимаешь, мне интересно было послушать, что с ним и как. «Ну а как же! — Хенсли говорит.— Четыре дня в одной комнате прожили, душа в душу, как-никак старинные друзья и собутыльники.— И понимаешь, стал рассказывать: — Конечно,— говорит,— когда он меня увидел на пароходе, он решил, что я — по его душу, и сразу вышел,— говорит,— чтобы сдаться. «Ладно, Док,— говорит,— я знаю, ты приехал забрать меня, и я,— говорит,— готов».— «Да нет,— говорю,— Эд, ты ошибаешься. Я за другим тут. Ты не тот, кого я ищу,— говорю.— Ты мне не нужен, и кроме того,— говорю,— я все равно не имею полномочий арестовать тебя: ордера у меня нет».— «Ну, все равно,— он говорит,— когда-нибудь я сам вернусь. Я должен еще одного человека убить до того, как умру, а там,— говорит,— пусть берут меня и делают, что хотят».— «Кого же это? — Док его спрашивает.— Кого это ты хочешь убить?» А тот говорит: «Кеша Джетера». И Док рассказал, как он проклинал его за то, что он добился развода и женился на его жене.

И вот, Док рассказывал, что перед тем, как ему ехать домой, Эд дал ему письмо и попросил вручить Джетеру, когда он вернется, и он сказал, что читал это письмо собственными глазами и что на своем веку он ничего подобного не видел. «Пускай я убийца,— Эд написал,— и на совести моей множество преступлений, но ни разу в жизни я не пал до такой низости, чтобы украсть у человека жену. Теперь,— говорит,— ты можешь привести дом в порядок и готовься встретить меня, потому что я вернусь. Через месяц ли, через год или через десять лет, но я буду

[1] «Гамлет». Акт I, сцена 2. Перевод Б. Пастернака.

там,— говорит.— Я должен с тобой расквитаться, и ты будь готов». Ну, и Док сказал, когда он отдал письмо Джетеру, тот открыл его, прочел и, говорит, побледнел весь, видно было, как он задрожал, и надо думать, жизнь его была форменным адом, покуда не пришло известие, что Эд погиб, потому что он, конечно, не дожил до возвращения: по слухам, его убили в салуне в Мексике.

Одним словом, вот как это было; вот что произошло.

— Но все-таки — никак я в толк не возьму, понимаешь: «Два... два... Двадцать... двадцать»,— что бы это значило?

«Да ну, ей-богу,— твой папа говорит,— ничего это не значит. Да и не было этого,— говорит,— тебе просто померещилось».

«Ничего, подожди,— говорю,— подожди, увидишь».

Ждать нам недолго пришлось. Недолго.

Началось это перед обедом, примерно в час. Боже мой! Такое было чувство, как будто рвется все внутри. А он дома был, он пришел рано,— понимаешь, рядом, на заднем дворе, купил свинью и теперь сало вытапливал. «Ну чего тебе взбрело? — я кричу.— Зачем тебе надо было ее покупать?» Детка! Детка! Это немыслимое транжирство, этот немыслимый перевод денег! Не будь меня, я ему говорила, он последний заработанный грош оставлял бы у мясников, да у фермеров, да в салуне — понимаешь, не мог он перед ними устоять. «Тьфу ты пропасть! — говорю.— Ну с чего тебе это вздумалось?» Ведь и окорока́, и бекон в кладовой — шесть копченых окороков, которые он сам же купил,— и нате вам пожалуйста, заявляется с цельной свиньей. «Ведь перемрем мы от этой свинины!» — говорю; у самих цыплят полно и жаркое—двенадцать фунтов, что он с базара прислал. «Мы же все захвораем,— говорю,— ты детей в постель уложишь! Столько мяса вредно для людей». Подумать только! Так швыряться деньгами! Детка, детка! Знаешь, сколько раз я плакала из-за этого — как подумаешь, что он так швыряется деньгами! «Боже мой! — я ему говорила.— В жизни не видала такого обжоры! (Понимаешь, пробовала воззвать к его самолюбию!) Только и думаешь, что о своем брюхе. Ты поразмысли-ка минутку, можно ли накопить хоть сколько-нибудь добра, если все твои заработки прямиком валятся в глотку, в ненасытную твою утробу? Надо же, ей-богу! Да у тебя, верно, все мозги в животе!» Ну, в самом деле! Повстречает, бывало, какого-нибудь фермера с полной телегой снеди, которую ему сплавить охота, чтобы домой поскорее ехать,— и купит всю целиком! Неужели я тебе не рассказывала? Ну что ты скажешь! Можно ли быть таким олухом — как он прислал одного домой с сорока дюжинами яиц (Господи! Я чуть в него не побросала эти яйца — до того расстроилась!), когда у самих куры несутся каждый день как оглашенные. «Ну, какой бес тебя под руку толкал — выкинуть такую штуку?» — говорю. «Понимаешь,— говорит он виновато так,— он отдавал их чохом, по семь центов дюжина. Такая дешевка,— говорит,— обидно было упустить».— «Да все равно,— говорю,— хоть бы и по два цента он тебе отдал — все равно это выброшенные деньги, — говорю,— нам их девать некуда».— «Ничего, куда-нибудь денем,— говорит.— Мы их детям скормим».— «Побойся бога, что ты городишь! — я кричу.— Ты их так обкормишь яйцами, что им взглянуть на яичко всю жизнь будет страшно. Они никогда их не съедят,— говорю.— Они протухнут!» И я скажу тебе, что вид у него после этого был довольно виноватый. «Ну,— он говорит,— я хотел сделать как лучше. Но, видно, я ошибся»,— говорит.

А потом! Как он пришел однажды с целым возом дынь и арбузов: двадцать семь арбузов, хочешь верь, хочешь нет, и бог знает сколько дынь — сотни, наверное. «Есть у тебя голова на плечах?» — я спраши-

ваю. «Мы их съедим, мы их съедим,— говорит.— Дети их съедят». И как потом Люк от них слег... «А теперь еще доктору по счету платить»,— говорю ему... Да сколько раз он являлся с возом початков, и помидоров, и молодой фасоли, и сладкого картофеля, лука, редиски, свеклы, репы, и всяких овощей, и разных фруктов — и персики, и груши, и сливы, и яблоки,— когда у самих сад и огород за домом и растет все, что душе угодно. Вот и ломай голову, как сделать, чтобы все это не пропало. Говорю ему: «Когда мне, по-твоему, детей воспитывать, если ты без конца заваливаешь меня этим добром?» Я в положении — понимаешь? — и вот заготовляю консервы как ненормальная, а он на дворе сало вытапливает. Ух! Запах этот, знаешь, тяжелый какой-то запах жира. И так чуть ли не до самой последней минуты: четыреста тридцать семь банок персиков, вишни, винограда, яблок, сливового джема, айвового варенья, грушевого компота, томатного соуса, маринованных огурцов и всякой всячины — в кладовке негде было повернуться, вся забита до потолка; но зато, скажу тебе, поесть он умел, я немало видела хороших едоков на своем веку, но чтобы так умел человек наворачивать — никогда. Видно, это от родни ему передалось; знаешь, он рассказывал, как в детстве они приходили с поля и садились за обед — такой, что быку не свернуть. Да разве я сама не видела, когда мы в тот раз там были, как старуха умяла целую курицу и три большущих куска пирога и, понимаешь, говорит Августе: «Дочка, наложи мне еще тарелочку». А ей уже восьмой десяток шел, и ведь через это самое и смерть приняла, сударь. «Подумать только!» — я сказала, когда про это услышала: на девяносто шестом году свалилась с кресла и ногу сломала, а почему? Потянулась за кукурузным початком. И скончалась, конечно, оправиться уже не могла, слишком стара была, кости не срастались. «Это что-то невообразимое!» — я сказала.

Честное слово! Просто чудо какое-то, что его организм так долго это выдерживал: мозги, яйца, бекон, бифштекс, каша овсяная, горячие лепешки, колбаса и две-три чашки кофе на завтрак — а на обед, а на ужин? И такое мясо, и другое, и третье, и печенка, и ростбиф, и свинина, и рыба, и курятина, и разных овощей пять сортов, картошка мятая, и так бобы, и с кукурузой, со свининой бобы, и репа, и компот из персиков, и пирог, и чего только еще — не знаю. «Конечно! — я сказала Уэйду Элиоту.— Я думаю, этим он и навлек на себя беду. Он себе могилу зубами вырыл».— «Возможно,— говорит,— однако долго же он ее рыл, а?» И тут, конечно, мне пришлось согласиться, но, честное слово, я порой думаю, что он и сейчас был бы жив, если бы вел себя благоразумнее!

Так что я, значит, говорю: схватило меня — страшные, режущие боли. Я подошла к окну и кричу ему: «Иди! Иди скорее!» И он, надо сказать, не мешкал: бегом прибежал.

«Нет, не может этого быть! — я сказала.— Срок мой еще не подошел».

«А я думаю, уже пора,— он говорит.— Я иду за врачом».

И пошел.

— Это было в год, когда налетела саранча; кажется, столько времени прошло с тех пор, как налетела саранча и объела дочиста всю землю, столько воды с тех пор утекло... Но нет (я подумала), понимаешь: никак в голове не укладывается — не может этого быть, времени-то всего ничего прошло, ведь год назад только, в январе... Господи! Господи! Я часто думаю, сколько мне пришлось пережить, и удивляюсь, что еще сижу здесь и рассказываю. Я серьезно думаю: мне дана от природы какая-то сила. Правда!.. Легче, чем земля пшеницу родит,— столько детей, ведь только живых восемь, а сколько, про которых ты даже не слышал?—

столько детей, а замужем была меньше всех, кого я знаю... И подумать— ох! — подумать только, что́ мне приходилось от него выслушивать, как он ругал меня, как насмехался и озорничал с другими женщинами, когда сам же был всему виной, и хуже черта, когда увидит, что он натворил. Господи! Господи! Странный был человек, дикий, бешеный человек; порою кажется, никогда его не пойму: где-то в нем бес сидел, что-то дикое и чужое, чего нам никогда не понять... что он вытворял, что он говорил, это было свыше моих сил, и так мне бывало горько, и молилась иной раз, чтобы бог его наказал... Но, господи! Сколько лет прошло с тех пор, как налетела саранча, и когда вспоминаешь все это — апельсиновые деревья, и фиговые деревья, и песни, и все, что вместе пережили — ох! — и добрые времена, и трудные времена, и радость, и горькие слезы, и есть тут что-то, чего не расскажешь словами, я и ненавидеть его старалась, но теперь нет у меня слов против него; он был странный человек, но где был он, там голода никто не знал, холода никто не знал, всем всего было вволю; и теперь, когда вспоминаю его... кажется, столько лет прошло с тех пор, как налетела саранча, и что-то есть, про что хочется рассказать, а слов для этого не находишь.

Тот год... в тот год у ребят был тиф, Стив и Дейзи только начали поправляться, и я взяла их — господи, как я одна управилась! — в Сент-Огастин, и он приехал — не мог усидеть, он явился следом и запил. Я пробовала ее искать, но он заставил Стива спрятать ее в песке под домом, а как увидел, что я ищу, разошелся, браниться начал, говорит: «Черт бы тебя взял! Если унесешь ее, я вас обоих убью!» Подумай, детка, ка́к только язык повернулся! Мне обидно стало, но я не уступила: я хожу по комнате, хожу по комнате, потом вышла на террасу и к столбу прислонилась; а дачу эту я сняла у каких-то северян, перил там не было, ничего там не было, кроме этого рыхлого песка, и я знала, что дети не ушибутся, даже если упадут и... «Господи! — думаю.— Что мне делать?»

Назавтра он протрезвел и пришел в себя, и поэтому к вечеру мы взяли детей и отправились в Форт Мерион, старый испанский форт на Понсе-де-Леон, а там уже народу полно, все нарядные, военный оркестр играет, и вот, слышно, пушка выпалила, и горн заиграл — флаг спускают... вот так вот: «Па-дома-ам! Па-дома-ам!» — заиграл, и все ребятишки ладони ко рту приставили, тоже пробуют трубить, а птицы летают, и пальмы, и музыка, водой пахнет, апельсиновым цветом, и эта старая черная крепость,— господи! стены местами в четырнадцать футов толщиной,— и солнце прячется за ней, словно большой апельсин, а люди слушают музыку. Той зимой в январе на нас напала саранча... И тут я почувствовала, словно внутри у меня с цепи кто сорвался.

«Идем,— я говорю.— Пошли, пошли!» А он: «Что такое?» — «О господи! — я говорю.— Меня на части разрывает. О господи! Мы не дойдем! Скорее!» И мы пошли, с детьми вместе, а ноги у меня в песке скользят и вязнут, и уже думаю: не дойти, и кусмень какой-то рвется из меня наружу... А под конец он взял меня на руки и нес до самого дома, и я сказала: «Ты видишь, нет? Ты видишь, что ты наделал? Это твоя работа!» И он перепугался, когда посмотрел на меня, стал белый и задрожал... Говорит: «Боже мой! Боже мой! Что я наделал!» И все ходил по комнате взад-вперед, и уже стемнело, я лежу, вокруг дети спят, а он вышел во двор — у нас там стояло фиговое дерево, а я лежу, слушаю, как люди идут мимо, и где-то музыка играет, и слышны голоса, кто-то поет, кто-то смеется, и запахи цветов — ох! — магнолий, лилий, роз, пойнсеттий и всех других цветов, какие там росли, и апельсиновых деревьев, и, знаешь, в доме дети спят, вижу небо, все в звездах — господи боже мой! — я подумала: «Что мне делать? Что мне делать?» Это было в год, когда на нас напала саранча, и кажется, было так давно.

— Нет, честное слово! Я думаю, Нельсон правильно тогда сказал; говорит: «Вам дана от природы какая-то сила, это ясно. Я ничего подобного не встречал»,— говорит. В самом деле! Разве не я их всех родила? А как у меня все росло, стоило только рукой дотронуться? И ведь это с детства у меня — и помидоры, и цветы, и кукуруза, и овощи, и фрукты разные. Ей-богу! Кажется, только пальцем в землю ткни — и вылезет все, что надо. «Ах!» — говорил старик Шумейкер; бывало, круглый день копается в своем саду, пока все не выстрижет — точно шахматная доска, все торчком, все по ниточке, и ни травинки нигде сорной — как его в Германии, наверно, учили... Так вот он говорит: «Ах, вы не должны так ваш сад запускать. Вы должны его полоть, иначе ничего вырастать не будет».— «Погодите,— говорю,— погодите, увидите. Все вырастет,— говорю,— у *меня* вырастет, и не хуже вашего, со всеми вашими трудами и заботами». И что ты думаешь? Мой лук, и салат, и редиска, и помидоры вымахали такие, что немецких не видать было рядом — да боже мой! — они на глазах из земли лезли!.. И еще скажу тебе: случись какое дело, с голоду я не умру, без гроша останусь, а не пропаду — землю заставлю меня кормить. Раньше умела и теперь сумею.

Да! Пошла я прошлой зимой в Угольную компанию Катобы заплатить по счету и разговорилась с ним — ровно за два дня до того, как он умер от грудной жабы,— с Миллером Райтом, а ему, понимаешь, только-только семьдесят стукнуло, и вижу: бледный как смерть и трясется, дрожит как осиновый лист. «Что с тобой, Миллер? — спрашиваю.— Не нравится мне твое состояние. Что случилось? В чем дело?» — «Ох, Элиза,— он говорит, а сам трясется...— такая неприятность, такая неприятность. Я ночей не сплю, все об этом думаю».— «Да что такое?» — спрашиваю, а он: «Ох, Элиза, все пошло прахом! Я без гроша. Я все вложил в недвижимость,— говорит,— а теперь этот несчастный банк обанкротился. Что я буду делать?» — «Делать? — говорю.— Да то же, что и я: учиться на ошибках и начинать все сначала».— «Ох, нет, Элиза, нет, Элиза,— он говорит, головой тряся,— поздно: нам обоим за семьдесят, мы слишком стары, слишком стары»,— говорит. «Стары! — я говорю.— Господи боже милостивый, да я хоть завтра могу начать и зарабатывать на жизнь не хуже любого».— «Да,— он говорит,— но что бы ты стала делать?» — «Делать?! — я отвечаю.— Ладно, скажу: я бы впряглась и подналегла как следует — годков до восьмидесяти, а там,— говорю и, знаешь, подмигиваю ему,— так бы загуляла, что *чертям бы стало тошно*». Этими самыми словами ему и сказала — думаю: подбодрить его надо маленько; он, конечно, засмеялся и говорит мне: «Что ж, по-моему, это прекрасный план». Я говорю: «Послушай, Миллер, уж кому-кому, а не тебе сдаваться. Мы с тобой всякое видали и лиха хватили, не дай бог: ведь нынешние-то ничего про это не знают, не знают, каково оно на вкус, настоящее-то горе». А мы с ним в пяти милях друг от друга росли, и нам ли не помнить все — да, каждую минуту, словно это было вчера! — как шли мужчины в строю, как плакали женщины, и поднималась пыль, и что мы пережили, как нам приходилось работать... шерсть, лен, прялка, и все, что мы сеяли, все, что делали своими руками,— тысячи вещей, про которые ты не слышал и во сне их не видел, мальчик... и летнюю пору, и реку, и песни, и нужду, и печаль, и горе — всё мы видели, через все прошли. «И ты! — я сказала Миллеру Райту.— Ты! Ты тоже через все прошел,— говорю,— и помнишь!»

Ну, и конечно, как ему было не согласиться, понимаешь? Говорит: «Да, ты права, я помню. Но,— говорит (а все-таки повеселел немного),— а *сейчас бы* ты так смогла?» — «Смогла бы? — я говорю.— Шутя и играя! Слушай, Миллер,— говорю,— ну, положим, мы прогорели. Так ведь не мы же одни. Все мы думали, что поступаем как надо — да, видно, голо-

ву потеряли,— говорю.— Мы сами себя заморочили и забыли о благоразумии». Как подумаю об этом! Тьфу! Я же твердо решила... Знать бы, где упадешь... Ну да, думала, заключу еще сделку или две — и всё, кончаю. Тьфу! Нет, ей-богу, если бы эти акулы, и евреи нью-йоркские, и разные скорохваты не свалились как снег на голову... вот когда надо было продавать, если бы ума хватило сообразить вовремя... А с теми участками, что мы купили во Флориде, и по сей день все было бы благополучно, если бы ураган нас тогда не подкосил — да еще эти арапы из Калифорнии распустили слух о средиземноморской плодожорке во Флориде. А ее там было столько же, сколько на Северном полюсе,— они нарочно распустили эту небылицу, чтобы разорить Флориду: невмоготу им было видеть, как мы их обгоняем, а Гувер со своей братией подпевал им и подстрекал на эти пакости, потому что *сам* — из Калифорнии, ясно? Вот и все тебе объяснение, но Флорида поднимется, чего бы они там ни городили. Флориду не подомнешь! И говорю: «Миллер! Банки не всё захапали,— я говорю.— Они, может, и думают, что всё, но у меня,— говорю и подмигиваю ему,— есть секрет, и я тебе его открою. У меня еще есть за городом клочок земли, про который никто не знает, и если дело обернется совсем худо,— говорю,— с голоду я не помру. Я поеду туда и буду сажать все, что мне надо, и будет вдоволь. И если разоришься,— говорю,— ты тоже приезжай. Голодным ходить не будешь — у меня рука легкая, все растет».— «Ох, нет, Элиза,— он говорит,— слишком поздно, слишком поздно. Стары мы, чтобы все начинать сначала, а ведь потеряли мы все».— «Нет,— я говорю,— не все. Кое-что осталось».— «Что?» — он спрашивает. «Земля нам осталась,— говорю.— Земля нам всегда остается. Мы будем стоять на ней, и она нас спасет. Она никого еще не подводила».

— Теперь прибегают они сломя голову — твой папа и старый доктор Нельсон. Я лежу, и эта жуткая боль терзает меня, просто разрывает на части.

«Ну нет,— я доктору Нельсону говорю.— Быть этого не может. Срок мой еще не пришел. Еще не пора, мне две недели осталось до срока».

«Это ничего не значит,— он говорит.— Вам пора. И срок ваш пришел,— говорит.— Пришел, пришел, это совершенно ясно».

— И действительно, так оно и оказалось. Ну да, конечно! Оно самое! Про что я тебе и говорю все время, мальчик! Тут все и объяснилось.

«Два... два»,— говорил один голос, а другой говорил: «Двадцать... двадцать».

Через *двадцать* дней после того, как пришел к нам Эд Мирс,— минута в минуту, без двадцати минут десять вечера, семнадцатого числа октября месяца родилась *двойня* — Бен и Гровер родились тем вечером.

На другой день я лежала и думала — и вдруг меня осенило, что́ это значило, я сразу все поняла. Загадка объяснилась.

Вот и вся история, сударь ты мой, вот как это было.

«Два... два»,— говорил один голос, а другой говорил: «Двадцать... Двадцать».

Теперь я тебе рассказала.

«Что ты об этом думаешь? — говорю я мистеру Ганту.— Теперь ты понял, а?»

И ты бы видел его лицо. «Это весьма удивительно, если задуматься,— он говорит.— Ей-богу!»

— Господи, мальчик! Что я там слышу, в гавани? А? Что, говоришь? Корабль?! Скоро апрель, и мне пора возвращаться домой: в саду моем, где я работаю, распустятся ранние цветы, деревья зацветут — персики, вишня, кизил, и лавр, и сирень. Есть у меня яблоня, и в июне она вся обсыпана разными птицами; дерево, которое ты посадил мальчиком, цветет у меня за окном, там же, где ты его посадил. (Родной мой, питайся получше и следи за своим здоровьем, береги себя: у меня душа неспокойна, что ты здесь один, с чужими.) Холмы сейчас красивые, и скоро опять весна. (У меня душа за тебя неспокойна: ты один, далеко — детка, детка, возвращайся домой!)

О, послушай!..

А? Что это?..

А? Что, говоришь?..

(Господи боже! Бродячее племя!)

Детка, детка!... Что там?

Опять корабли!

Смерть — гордая сестра

Лик ночи, сердце тьмы, язык пламени — я знал все, что жило, шевелилось, работало в ее уделе. Я был сыном ночи, одним из детей в ее огромной семье, и мне знакомо было все, что творилось в сердцах людей, любивших ночь. Я встречал их в тысяче мест, и ни одно их слово, ни один поступок не были мне чужды. Мальчишкой, когда я разносил утренние газеты, я видел их на улицах моего городка — это странное разобщенное племя людей, которые рыщут ночью. Иногда в одиночку, иногда по двое, по трое, в бессменном ночном дозоре плывут они пустынными тротуарами городков, безлюдными улицами, бредут мимо бледных окоченелых манекенов в витринах готового платья, проходят под гроздьями тугих пузырей белого света, мимо сотен темных магазинов, застревают в какой-нибудь закусочной, чтобы погудеть, посплетничать вполголоса, сунуть нос, губу, восковой подбородок в душное дупло кофейной кружки или в унылом молчании трусить ленивый серый пепел времени.

Их лица, их безустанное ночное хождение, некогда привычные и самоочевидные, теперь всплывают в памяти со странностью сна. Чего хотели они? Что надеялись найти, бредя мимо тысяч дверей в этих пустынных зябких городках?

Их надежда, их дикое упование, темная песнь, которую будила в них ночь,— то, что жило во тьме и населяло весь континент, пока люди спали, наслаждаясь и ликуя втайне,— отпечаталось в моем сердце. Не в чистоте и нежности рассвета с его терпкой смелостью откровения, не в деловитом домашнем свете утра, не в полуденной молчаливой стати кукурузы, не в сонном жужжании и стрекоте полей в три часа, не в волшебном золоте, и зелени, и первобытной лирике лесного края и даже не в земле, выдыхающей последний жар и ярость дня в бездонную глубь и задумчивое затишье сумерек — как бы ни были прекрасны и роскошны эти часы и эти освещения,— я ощущал и находил тайну, величие и бессмертную красоту Америки.

Я нашел темную страну в сердце ночи, темной, гордой, скрытной ночи; в мозгу ночи жила для меня необъятная пустынная страна. Ее равнины, ее реки и горы простирались передо мной во всей их сумрачной бессмертной красоте, во всем приволье и радости их исполинской

шири, во всей их сирости, жестокости и ужасе, во всем их чудовищном и хрупком плодородии. И мое сердце билось заодно с сердцами всех, кто слышал их заумную дикую музыку, полную неведомых ладов и невнятных тысячеязыких криков, слагавшихся в ликующую и жуткую песнь дикой земли, торжества и откровения, в горькое темное пророчество любви и смерти.

Ибо что-то жило ночью на земле. Темный поток наполнял сердца людей. Буйный и праздничный, незримо заливал он огромную спящую страну, говорил со мной во время ночных моих бдений, и язык его тайных и темных речей записан в моем сердце. Он проплывал надо мной в мерных биениях могучего крыла, он уносился с пулевым визгом в бесовских завываниях зимнего ветра, мягко и оцепенело нависал предвестием свирепой гульбы в свинцовом мятом небе перед снегопадом, темный, дикий, скрытный, замирал над ночной землей, над потрясающим динамическим безмолвием города, стыл в миллионах клеток его сна, вечно содрогаясь от невнятного, далекого, мощного гула времени.

И это знание, эту жизнь я делил, отчетливо и непреложно, с огромным товариществом людей, которые жили ночью и знали и любили ее тайну. Мне знакомы были все радости, труды и помыслы, знакомые этим людям. Мне ведомо было все, что жило на земле ночью, и, наконец, ночью я узнал общество тех, с кем прошла лучшая часть моей жизни,— суровое Одиночество, его гордую сестру, Смерть, их великого брата, Сон. Я жил, работал, трудился наедине с Одиночеством— моим другом, и в темноте, в ночи, в сонном молчании земли я тысячи раз заглядывал в лики Сна и слышал бег его темных коней, когда они приближались. И бодрствуя ночью, я видел, как умирали мой брат и отец, я узнавал и любил образ гордой Смерти, когда она приближалась.

Три раза уже я видел облик смерти в большом городе, и прошлой весной мне довелось увидеть его снова. Однажды ночью — в калейдоскопе безумных, пьяных, исступленных ночей, пережитых мною в тот год, влачась огромной улицей мрака — от света до света, с полуночи до утра,— я увидел, как умирает человек в метро.

Он скончался так тихо, что мы не могли примириться с мыслью, что он мертв,— так тихо, что смерть была лишь мгновенной и спокойной остановкой жизненного движения, до того естественной и мирной, что мы смотрели на него как зачарованные, не веря своим глазам: лик смерти мы узнали сразу же, со страшным чувством узнавания, которое сказало нам, что он знаком нам с незапамятных времен, но при всем нашем страхе и замешательстве мы не желали признать, что это смерть.

Ибо хотя остальные три смерти, виденные мною в городе, были наглы и ужасны, не они, а только эта одна запечатлелась у меня в памяти своим ужасом и царственным великолепием.

Первую смерть я наблюдал четырьмя годами раньше, в апреле, в первую мою нью-йоркскую весну. Это произошло на людной грязной улице верхнего Ист-Сайда, и безжалостная, безразличная случайность происшедшего была во сто крат страшнее любого умышленного и рассчитанного зверства; жуткая ее тень вмиг затмила сияющий воздух и колдовскую радость весны, истребив всякую надежду и веселье в сердцах людей, оказавшихся поблизости.

Я шел одной из закоптелых улиц верхнего Ист-Сайда — улицей, до сих пор заставленной грубыми, угловатыми фасадами старых каменных домов, которые прежде были жильем состоятельных людей, а теперь почернели от многолетней ржавчины и сажи. На этих улицах бурлит

беспорядочная жизнь смуглолицых, черноглазых, иноязыких людей, которые снуют взад и вперед, бесчисленные и безымянные, с текучей, слитной, роевой неугомонностью, свойственной темным кровям и расам, так что тощая четкость, обособленность, строгий склад жизни северян, как нечто одинокое, маленькое, жалостно и вместе с тем величественно верное себе,— немедленно перемалываются в этом темном прибое. Неисчислимый, вечный людской муравейник вдруг раскрывается во всем его бездонном ужасе и преследует вас потом во сне, даже если вы видели на улице всего десяток этих смуглых лиц.

На углу этой улицы, там, где она впадает в другую — одну из тех огромных угрюмых магистралей, которые пересекают город из конца в конец и постоянно омрачены беснованием и неистовым грохотом надземной железной дороги, так что не только свет, просеянный через ржавую паутину ферм, но и всякое движение, все живое под ним кажется заскорузлым, загнанным, измочаленным, остервенелым, оторопелым, замороченным,— на таком углу погиб человек. Это был маленький средних лет итальянец, стоявший у обочины тротуара с хлипкой тележкой, на которой он держал свой убогий разнокалиберный товар: сигареты, дешевые сладости, напитки, липкую бутыль с апельсиновым соком, перевернутую горлом вниз над помятым эмалированным цилиндром, и маленькую керосиновую печку, где всегда грелось несколько кастрюль с едой — макаронами и сосисками.

Несчастье случилось, как раз когда я вышел на угол напротив него. Машины с ревом неслись на юг и на север под эстакадой. И тут большой фургон — громоздкий и мощный, как паровоз, и словно поглощавший все машины вокруг, заполнявший собой всю улицу, так что приходилось удивляться мастерству и точности шофера, который способен им управлять,— с ревом вылетел из-под эстакады. Он взял влево, пытаясь обойти гораздо меньший грузовик, но на обгоне задел его и отбросил к тротуару, на повозку торговца, с такой чудовищной силой, что тележка разлетелась в щепки, а грузовичок, перевернувшись через нее, рассыпался грудой мусора, битого стекла и искореженной стали.

Шофер грузовичка каким-то чудом остался невредим, но маленький итальянец был изуродован до неузнаваемости. Когда грузовичок раздавил его, из его головы ярким фонтаном брызнула кровь — и непонятно было, откуда в таком маленьком человеке такие фонтаны алой крови; он умер на тротуаре через несколько минут, раньше чем прибыла «скорая помощь». Вокруг умирающего сразу собралась большая крикливая толпа смуглолицых людей; тут же в поразительном количестве появились полицейские и, врезавшись в толпу, стали грубо проталкиваться между возбужденными людьми, понося и раскидывая их, угрожая дубинками и свирепо крича:

— Разойдитесь! А ну, разойдитесь! Проходите отсюда!.. Куда прешь? — вдруг рявкнул один и, ухватив человека за слабину пальто, поднял в воздух и отшвырнул в толпу, словно он был кусочком кала.— Разойдись! Ну, разойдись! Давайте, давайте двигайтесь!

Полиция перенесла итальянца с мостовой на тротуар и отгородила кольцом от напиравшей толпы. Потом, надрывно и страшно брякая колоколом, подкатила санитарная машина, но человек уже умер. Тело забрали, полицейские погнали толпу перед собой, колотя и пихая людей, словно настырную тупую скотину, пока, наконец, не освободили все место вокруг обломков.

Тогда двое полицейских, чтобы расчистить дорогу нескончаемому потоку машин, где волоком, где на руках, перетащили остатки тележки к тротуару и принялись подбирать рассыпанный товар: коробки, стекла, разбитые чашки и блюдца, дешевые ножи и вилки, луженые ка-

стрюли из-под макарон — и бросать их в груду обломков. Макароны, кусочки мозга и осколки черепа смешались в жуткую кровавую тюрю. Один полицейский посмотрел на нее, сунул в нее тупой носок башмака, точно пробуя воду, и, отвернувшись, с гримасой на грубом красном лице произнес:

— Господи!

В эту секунду из захудалой портняжной мастерской с ведром воды вынырнул, пыхтя от возбуждения, плюгавый бледный человечек с длинным носом и курчавыми сальными волосами, уже отступавшими с его удрученного низкого лба рептилии. Как-то чудно́ раскорячив ноги, он быстро выбежал на мостовую, выплеснул воду на кровавое месиво и так же быстро убежал обратно. Потом из другой лавочки вышел человек с полным ведром опилок и стал закидывать ими красную лужу, пока всю не засыпал. И вот уже не осталось ничего, кроме обломков грузовичка и тележки, двух полицейских, которые тихо совещались с книжками в руках, нескольких зевак, тупо и зачарованно глазевших на кровавое пятно, да людей, которые сбились кучками на углах и разговаривали глухими взволнованными голосами:

«Ну да! Я сам видел! Сам видел!» — «А я тебе что говорю? Я сам с ним разговаривал за две минуты до того, как это случилось!» — «Я в пяти шагах от него стоял, когда он на него наехал!» — снова и снова воскрешая это кровавое мгновение с голодной, ненасытной жадностью.

Такова была первая смерть, которую я увидел в городе. Позже, когда страшное зрелище крови, мозга и истерзанной человеческой плоти более или менее поблекло в памяти, самой яркой подробностью остались для меня окровавленные помятые кастрюли, в которых итальянец варил макароны: как они валялись на мостовой, как их подбирал полицейский и кидал в груду обломков. Ибо впоследствии мне казалось, что эти убогие, безжизненные предметы способны поведать с великой трогательностью всю историю жизни человека: рассказать о его душевной теплоте и веселом дружелюбии — ведь я видел его много раз,— о жалком предприятии, с помощью которого он выцарапывал у жизни свои крохи, но с неизменной надеждой и не жалея сил, под чужими небесами, средь громадного равнодушного города, добывал ничтожную награду за свой горький труд, терпение и стойкость, бился за свою скромную, но лучезарную мечту о покое, свободе, убежище, отдыхе, ради которой работают и страдают все люди на этой земле.

И чудовищное безразличие, с каким громадный грозный город смахнул эту маленькую жизнь, окропив кровью сияющий воздух и все великолепие дня, чудовищная и небрежная ирония его удара — ибо большой фургон, разбивший грузовичок и уничтоживший человека, с грохотом унесся прочь и шофер его, быть может, ничего и не заметил— неумолимо оживают в памяти вместе с жалостью, скорбью и содроганием перед слепотой судьбы, лишь только вспомнишь эти помятые жестянки. Так я увидел в городе первую смерть.

Второй раз я видел в городе смерть ночью, зимой, в другой обстановке.

Морозной тихой ночью в феврале, около двенадцати, когда холодная луна сияла в лучистом, стылом, голубовато-белом небе, на тротуаре одной из перепутанных коленчатых улиц, выходящих на Седьмую авеню около Шеридан-сквер, собралась кучка людей. Они стояли перед строившимся домом, в нескольких шагах от его голого неотделанного фасада, неряшливо разграфленного коричневым светом и сизыми тенями. На краю тротуара в ржавом мусорном ящике сторож развел костер; трескучее пламя полыхало и приплясывало в морозном воздухе, и то один, то другой подходил к нему погреть руки.

На обледенелом тротуаре навзничь лежал человек, а перед ним на коленях стоял молодой врач и прикладывал к его обнаженной широкой груди стетоскоп. У обочины, вздрагивая от сдерживаемой мощи мотора, в ворчании которого слышалось что-то зловещее, ждала санитарная машина.

Человек, лежавший на тротуаре, был лет сорока, с нескладным кряжистым телом и могучей грубой внешностью профессионального бродяги. Казалось, каждая схватка с непогодой, нищетой и телесным недугом за все годы скитаний его по стране оставляла неизгладимый след на этом мятом, покрытом рубцами лице, и теперь в эпической грубости его черт запечатлено сказание о пустынных небесах, необозримых далях, о стуке колес и сверкании рельсов, о ржавчине, стали, кровавых драках и дикой, жестокой земле.

Человек лежал на спине, недвижный и крепкий, как валун, глаза были закрыты, грубое сильное лицо запрокинуто в жесткой невозмутимой позе смерти. Он еще жил, но висок был вмят — страшная зияющая рана, которую он получил, когда, напившись и почти ослепнув от дешевой водки, или «гари», забрел в этот дом, споткнулся о штабель стальных балок и размозжил себе голову об одну из них. Широкая черная струя из раны стекала по уху на землю, но кровь уже почти остановилась и быстро густела на холоде.

Его грязная, ветхая рубашка была разорвана и распахнута на груди, как будто выпяченной в той же деревянной позе. Дыхания не было заметно; он лежал, словно вытесанный из камня, но темный, воспаленный румянец еще тлел на его щеках, и кулаки по бокам были стиснуты. Его старая шляпа свалилась, и лысая голова была обнажена. Эта лысина с жидким венчиком волос подчеркивала силу и достоинство его грубого лица, внушавшего непонятный ужас. В нем было что-то от мощи и суровой важности тех могучих людей, которые делают силовую работу в номере на трапеции и которые обычно лысы.

Люди, сгрудившиеся вокруг него, не выражали никаких чувств. Наоборот, они смотрели на него спокойно, с острым, но холодным любопытством, словно смерть бродяги была чем-то обыкновенным, чем-то предреченным, настолько само собой разумевшимся, что не вызывала у них ни жалости, ни печали, ни удивления. Один человек повернулся к соседу и сказал тихо, но убежденно и с легкой улыбкой:

— Все они так кончают. Раньше ли, позже — дорога у них одна. Ни разу не слыхал, чтобы вышло по-другому.

Тем временем молодой врач спокойно и тщательно, но безучастно прослушивал его, прикладывая стетоскоп то тут, то там. Полисмен с тяжелым темным лицом в оспинах и резких складках стоял над ними и бесстрастно созерцал эту сцену, легонько помахивая дубинкой и флегматично жвакая жвачку. Несколько человек — среди них ночной сторож и газетчик из углового киоска — стояли тихо и смотрели. И, наконец, молодой человек с девушкой, оба хорошо одетые, с чем-то откровенно наглым, отталкивающим в манерах и речи, которые выделяли их над остальными, как породу высшую по образованности, достатку и положению,— университетская молодежь, столичная молодежь, артистическая, рисующая, пишущая, студийная молодежь, современная «послевоенного поколения» молодежь,— смотрели на бродягу, наблюдая за ним пристально и с меньшим состраданием, чем если бы перед ними лежал околевающий зверь; и в их смехе, жестах, разговоре сквозила такая гнусная, омерзительная черствость, что мне хотелось разбить им физиономии.

Они успели выпить, но пьяны не были; что-то жестокое и гадкое бесстыдно лезло из них, но не нарочито, не намеренно — просто ороговелые глаза, выучка надменности, сухость и фальшь, что-то литератур-

ное, что-то носимое, как фасон. В них была поразительная литературность, словно они сошли со страниц книги, словно они и впрямь были новым и опустошенным племенем, доселе неизвестным на земле,— племенем черствым, бесплодным и недужным, из которого выпотрошены древние людские чрева милосердия, печали и необузданного веселья, как нечто ложночувствительное и устарелое для этих сметливых хрустких существ, в губительном своем высокомерии и гордыне предпочитающих дышать воздухом ненависти и ожесточения и лелеять свою отчужденность.

В их речи было что-то заговорщицкое, изощренное, пряное. Она пестрела беглыми намеками, ужимками, извивами, вывертами и тонкостями, в которые они одни были посвящены, и изобиловала всеми штампами грубовато-простого языка, бывшего тогда в чести у людей этого сорта: «блеск», «прелесть», «колоссально» и «просто потрясающе».

— Куда бы нам пойти? — спрашивала девушка.— У Луи еще будет открыто? По-моему, они закрываются в десять.

Девушка была хорошенькая, стройная, но ни в лице, ни в теле не было плавности, зрелой округлости — скудная телом, сердцем и душой, сухая, бесплодная, с худосочной грудью и прогнатическим лицом.

— Если он закрылся,— ответил молодой человек,— завалимся к Стиву, рядом. Он всю ночь открыт.— Лицо у него было смуглое и наглое, глаза маслянистые, рот мягкий, изнеженный, капризный, порочный. В его смехе, глумливом, недобро самонадеянном, слышалось влажное бульканье.

— О, блеск! — произнесла девушка со своей срамной интонацией.— Обожаю это место! Давай опять соберем компашку! Кого бы нам вытащить? Как ты думаешь, Боб и Мэри дома?

— Боб — возможно, а Мэри ты едва ли застанешь,— ответил молодой человек с выражением лукавой невинности.

— Нет! — точно не веря своим ушам, воскликнула девушка.— Уж не хочешь ли ты сказать, что она...

Тут их голоса стали тихими, возбужденными, плутоватыми, смешливыми, а потом вместе с влажным булькающим смехом донеслись слова молодого человека:

— А, не знаю! Обычная история! Знаешь, случается даже в лучших семьях.

— Нет! — воскликнула девушка с изумленным хохотком.— Это просто невероятно. И это — после всего, что она о нем говорила!.. Нет... по-моему... это... просто... грандиозно! — И медленно повторила:— Ох, по-моему, это... просто... *прелесть!* Я бы все отдала, чтобы видеть лицо Боба, когда он об этом узнает! — воскликнула она, и с минуту они заговорщицки шептались и посмеивались, после чего девушка снова воскликнула с изумленным хохотком: — Нет, это такая прелесть, что даже не верится! Ты знаешь, по-моему, это просто *потрясающе!* — И добавила нетерпеливой скороговоркой: — Так кого же нам все-таки взять? Кого еще мы можем вытащить?

— Понятия не имею,— ответил молодой человек,— поздновато все-таки. Не знаю, кого нам взять, вот разве...— Тут его темный мягкий рот начал улыбаться, в горле забулькал смех, и он кивнул на лежавшего: — ...ты попросишь этого приятеля составить нам компанию!

— О, это было бы *грандиозно!* — воскликнула она с восторженным смешком. Она серьезно посмотрела на неподвижное тело.— Это было бы *колоссально!* — сказала она.— Представляешь, какая прелесть — захватить кого-нибудь такого с собой!

— Ну...— неопределенно произнес молодой человек. Потом, посмотрев на бродягу, залился влажным журчащим смехом и лукаво проговорил: — Мне страшно неприятно тебя разочаровывать, но боюсь, что

нам не удастся захватить нашего друга. Кажется, завтра он проснется с тяжелой головой.— И снова его темный рот начал улыбаться и в горле глубоко и тихо забулькал смех.

— Перестань! — тихо взвизгнула девушка.— Фу, какой подонок!— с упреком сказала она.— По-моему, он милый. По-моему, это было бы просто потрясающе — привести какого-нибудь такого в компашку. Он очень симпатичный,— продолжала она, с любопытством разглядывая бродягу.— Нет, правда.

— Что поделаешь — такова жизнь,— сказал молодой человек.— Он был ходок, пока ходили ноги! — И в меховом его горле густо забулькало.

— Пойдем,— сказал он.— Пойдем-ка от греха. По-моему, ты собираешься его подклеить.— И, смеясь, разговаривая бесстыдными и дерзкими молодыми голосами, они ушли.

Наконец врач встал, вынул трубки стетоскопа из ушей и тихо, деловито сказал несколько слов полицейскому, который нацарапал что-то у себя в книжечке. Врач подошел к обочине, забрался в заднее отделение санитарной машины, сел и, положив ноги на противоположное сиденье, сказал шоферу: «Все, Майк, поехали!» Машина плавно тронулась, быстро скользнула за угол и, позвякивая колоколом, исчезла.

Тогда полицейский закрыл свою книжечку, сунул в карман и, вдруг оборотившись к нам, с усталым выражением на темном тяжелом лице полуночника, раскинул руки и начал мягко отталкивать нас, приговаривая утомленным терпеливым тоном:

— Ладно, ребята. Давайте двигайтесь. Проходите. Все кончено.

И, повинуясь его снисходительной усталой команде, мы разошлись. А мертвец лежал на спине, массивный как валун, и его крупное грубое лицо, выражавшее силу и стойкость, с жутким покоем и достоинством смотрело на холодный светлый диск месяца.

Так я увидел в городе смерть во второй раз.

Когда я в третий раз увидел в городе смерть, она явилась так.

Однажды утром, в мае прошлого года, я шел вверх по Пятой авеню. День был чудесный, ясный, искристый; нежный свет бездонного хрупко-голубого неба был звонок, почти осязаем. Казалось, он дышал, менялся, налетал и уносился радужной, хрустальной паутиной, играл и вспыхивал на верхушках огромных сверкающих башен, на ослепительных плоскостях их неимоверных фасадов и на огромной толпе, где перемешивались, пересыпались без устали тысячи ярких, разноцветных точек и бликов, словно свет дробился на озере из сапфиров.

Вверх и вниз по широкой улице, насколько хватал глаз, ползла толпа, медленно извиваясь и свертываясь, как огромная ярко раскрашенная змея. Тут она скользила, трогалась, замирала, колыхалась, корчилась, там стояла неподвижно — в гигантском волнообразном ритме, бесконечно сложном и неразложимом, но подчиненном какому-то неумолимому центральному замыслу и источнику энергии. Так выглядел этот исполинский людской поток на расстоянии, но когда ты проходил мимо него вблизи, он разбивался на миллионы блестящих, сочных, ярких картинок и жизненных историй, которые были так близки и понятны мне, что казалось, будто я знаю каждого человека, держу в руке теплую осязаемую материю его жизни — знаю и объемлю эту улицу, словно сам ее сотворил.

Вот мощная машина с шофером в ливрее подлетит к тротуару, и расшитый галунами швейцар дорогого магазина выкатится с подобострастной резвостью, чтобы открыть дверцу красавице из высшего общества. Женщина выйдет легко, проворным и резким движением выста-

вив на тротуар нарядно обутые ноги со стройными лодыжками, кинет несколько повелительных слов своему послушному шоферу и направится через тротуар к магазину, энергично двигая ладными, но как бы у мужского портного скроенными бедрами, с холодным нетерпением на хорошеньком равнодушном личике. Для нее это великое дело, которым она живет,— соблазнять, прельщать, украшать себя; эта постоянная работа — обувать свои стройные ноги самым выигрышным образом, подавать свои складненькие, упругие ягодицы в самом заманчивом виде, завиваться, выщипываться, холить ногти, душиться, пока она не запахнет, как экзотический цветок, и не заблещет, как редкий, дорогой камень,— такой же суровый труд, как мужнина деятельность по добыванию денег, не терпящий шуток и легкомыслия.

Вот еще хорошенькая девушка, но помягче, попроще, подобрее, проходит по тротуару, беспечная и праздничная, с каким-нибудь ярким цветовым пятном в одежде — красным или голубым шарфом, нарядной шляпкой; ветерок играет легкими прядями ее волос, в ее бездонных лучистых глазах — кошачья сила и здоровье, ее нежные чресла покачиваются, и крепкая грудь вздрагивает при каждом свободном размашистом шаге, в углах губ заблудилась ласковая улыбка.

А вокруг кишат черноглазые, смуглые, бледные, заморенные, худосочные, издерганные, ошалелые мужчины и женщины, но разлитый над миром свет, волшебный день, как будто коснулся и их своими чарами, так что, кажется, и они полны надежд, доброты и веселья и пьют из какого-то источника ликующей энергии хмельную радость дня.

По мостовой блестящими жуками-пулями проносятся, вспарывая воздух, машины, и краснолицые дюжие полицейские возвышаются как башни посреди улицы, осаживая, пуская, погоняя, заворачивая их властными движениями подобных реям рук.

И в конце концов даже теплые запахи разогретых механизмов, ароматы масла, бензина, стертой резины, плавающие над синеватой поверхностью бурной улицы, становятся приятными, смешавшись с тонким земным духом деревьев, цветов и трав из соседнего парка. Вся улица вмиг ожила для меня — как ожила бы в такой день для каждого молодого человека на свете. Не подавленным, не задохшимся от жестокого, надменного блеска ее богатств, мощи и многолюдья почувствовал я себя, не утонувшим в ней безымянным атомом,— она показалась мне красочным шествием, карнавалом неукротимой жизни, великой пышной ярмаркой мира, по которой я движусь с уверенностью одного из самых почетных и славных гостей.

В этом месте, откуда открывался вид на парк с его деревьями, одетыми молодой зеленью, и на буйную игру движений, красок и машин на площади перед парком, я приостановился и с особенным интересом стал разглядывать людей, возводивших дом на другой стороне улицы. Он не был большим — ни очень высоким, ни очень длинным: десятью этажами стальных балок поднимался он в хрустальный воздух с хрупкой, почти бестелесной легкостью, словно в этом первоначальном скелете уже заявляла себя элегантность будущего здания. Ибо я знал, что в этом здании разместится знаменитая фирма под названием «Стейн и Розен», и подобно человеку, которому посчастливилось пожать руку Джона Л. Салливана [1], я испытывал радость, гордость и чувство причастности, когда смотрел на него. Потому что сестра женщины, которую я любил, была директором этого огромного магазина — вторым человеком по положению и первым по таланту и знаниям, и из веселых уст той женщины я часто слышал невероятные рассказы о том, что творится ежедневно в этом магазине. Она рассказывала о блестящих ве-

[1] Кулачный боец, чемпион Америки 1882—1892 гг.

реницах богатых женщин, которые приходят туда за нарядами, об актрисах, танцовщицах, женах миллионеров, кинозвездах и обо всех знаменитых куртизанках, которые платят наличными и выкладывают баснословные суммы тысячными бумажками за шиншилловую шубу, о немыслимых высказываниях этих легендарных существ.

Через порталы этого храма потянутся днем самые богатые женщины и самые знаменитые блудницы страны. И изгнанная княгиня будет продавать им белье, обнищавшая герцогиня будет продавать им парфюмерию, и сам мистер Розен выйдет приветствовать их. Он переломится в пояснице, он протянет им широкую твердую ладонь, он будет улыбаться и улыбаться им крупными жемчужными зубами, а глаза его будут безостановочно обегать его владения. На нем — полосатые брюки, он расхаживает по мягким коврам, он великолепен и полон сил, как хорошо откормленный бык, и что-то есть в нем от могучего коня из Иова, который роет ногою землю и при трубном звуке издает голос: «Гу! Гу!»

И весь день по всему магазину будут звать ее сестру, которая мало говорит и редко улыбается. Они не могут без нее обойтись, они будут спрашивать ее повсюду, богатая женщина будет требовать ее, знаменитая куртизанка скажет, что хочет с ней посоветоваться. И когда она придет, они скажут: «Я хотела узнать ваше мнение, потому что остальные ничего не смыслят. Только вы понимаете меня. Только с вами я могу разговаривать». Но они не могут с ней разговаривать, потому что она никогда не говорит. И все же им хочется быть поближе к ней, исповедаться ей, излить свои слова в ее молчание: ее большие спокойные глаза смотрят на них, и от этого им хочется говорить. Тем временем Розены улыбаются.

Так, остановившись в гуще неугомонного человеческого роя, я думал об этих людях и об этих предметах. Я думал о мистере Розене, о той женщине и ее сестре, о тысяче странных и сокровенных мгновений нашей жизни. Я думал о том, что прахом великого Цезаря можно заделать стену[1], и о том, как наша жизнь соприкасается с каждой другой жизнью, когда-либо прожитой на земле, о том, что каждый безвестный миг, каждая безвестная жизнь, каждый умолкший голос и забытый шаг отдавались где-то в воздухе вокруг нас. «Смотреть на вещи так значило бы смотреть чересчур пытливо».— «Нет, нисколько, честное слово»[2]. Шаг, прозвучавший на этих мостовых, рождает эхо в пыли Италии, а Розены все улыбаются.

И мне казалось, что скученная пестрая жизнь нашей земли похожа на ярмарку. Вот строения этой ярмарки — лавки, палатки, таверны, балаганы. Вот места, где люди продают, покупают, меняют, едят, пьют, ненавидят, любят и умирают. Вот миллионы обычаев, которые им кажутся незыблемыми; вот древняя вечная ярмарка, обезлюдевшая, пустая и покинутая сегодня ночью, завтра — запруженная новыми толпами и лицами, наводнившими миллионы ее закоулков и переходов, людьми, которые рождаются, стареют, изнашиваются и, наконец, умирают здесь.

Они не слышат огромного темного крыла, которое машет в воздухе над ними, они думают, что их мгновение длится вечно, они так сосредоточенны, что едва замечают, как спотыкаются и стареют. Они не поднимают глаз к бессмертным звездам над бессмертной ярмаркой, они глухи к непререкаемому голосу времени, звучащему в высях и не смолкающему ни на миг, какие бы люди ни жили и ни умирали. Голос времени далек и тих, и все же в нем — весь гомон миллионноязыкой жиз-

---

[1] Истлевшим Цезарем от стужи
Заделывают дом снаружи.
(«Гамлет», акт V, сцена 1. Перевод Б. Пастернака.)

[2] «Гамлет», акт V, сцена 1.

ни, время питается жизнью, но само живет над ней и отдельно от нее, неспешное и задумчивое, словно ток реки, окаймляющей ярмарку.

И вот, когда я смотрел в тот солнечный день на воздушные переплетения стального остова, зная, что эти тонкие полоски металла, эти плиты дорогого известняка, уже одевшие цоколь по фасаду и элегантной своей стройностью напоминавшие бока женщин, которые будут здесь наряжаться, спрядены чудесным образом из невесомой материи парижских туалетов, сконденсированы из тончайших на свете духов, сложены из человеческой выдумки и волшебства женских рук,— все казалось мне милым и прекрасным.

Потому что над и за этим стальным кружевом, над клокочущим потоком уличной жизни, над всем искрящимся круговоротом великой ярмарки вдруг с ослепительной ясностью я увидел веселое, тонкое, цветущее, полное благородной красоты лицо моей возлюбленной. Это видение как будто дало речь радости, уверенность — силе и счастью, которые я ощущал, сосредоточив в своей маленькой окружности, словно в венчике цветка, все богатство, яркость и многообразие жизни и улицы, и я почувствовал такой прилив торжества и веры, что показалось, будто я способен съесть и выпить город и овладеть землей.

И вот, пока я смотрел на фигурки строителей, которые копошились высоко в чистом небе и бойко сновали взад-вперед по балкам,— невзначай и между делом, как в страшном сне, совершилось убийство. На девятом этаже маленькая фигурка ловко подхватывала ведром раскаленные докрасна болты или заклепки, которые кидал из горна человек с клещами. Горновой на секунду прервал работу и, не выпуская клещей, отвернулся, чтобы перекинуться словом с рабочим на соседней балке. Ловивший обрадовался передышке, поставил ведро и выпрямился, с сигаретой в зубах, прикрывая ладонями огонек спички. А горновой, еще смеясь какой-то соленой шутке, не имевшей касательства к стали, обернулся к горну, выхватил клещами тускло-красную заклепку и, по-прежнему сотрясаясь от хохота, швырнул небрежно и ловко, по привычной дуге этот огненный гвоздь. Вопль его ворвался в отголоски его смеха, неся скопищу точных, непогрешимых машин внизу страшную весть о человеческой ошибке.

Вопль его был: «Боже!» — и при этом слове, так редко употребляемом для любви и милосердия, испуганный взгляд первого человека перескочил со спички на смерть, которая неслась к нему. Даже на двух метрах остававшейся ему жизни тело его успело сделать несколько движений. В полуобороте, с согнутыми, словно перед прыжком в воздух, коленями, оно опустило плечо, и большие коричневые руки напрасным, запоздалым движением потянулись к ведру. Напряженно присев, выгнув ладони в гротескной, жуткой позе мольбы и одной ногой нашаривая в пустоте опору, он встретил смерть лицом к лицу. Когда заклепка попала в него, его тело на секунду замерло в полусогнутом, нелепо напряженном положении; только нога неуклюже и жутко шарила в пространстве да клубок дыма разматывался у пояса. Потом его истрепанная одежда вспыхнула, человек слепо, с тошнотворной безучастностью ступил в пустоту и упал — факел, зажженный единым воплем.

И этот звучный вопль, пылая, обрушился с ясного неба. Мне показалось, что он заполнил собой весь мир, что вся жизнь была неподвижна и нема — кроме этого крика. Возможно, так оно и было. На стройке, по крайней мере, всякая жизнь прекратилась: там, где секунду назад грохотали клепальные машины, гремели лебедки, стучали молотки плотников, теперь была тишина и обморочная неподвижность.

Над домом тонкими черточками в голубом небе покачивались в петле стропа две балки, но все механизмы бездействовали. Сигнальщик перегнулся через ригель с протянутыми руками, все еще подавая знак

машинисту. Горновой сидел верхом на балке, вцепившись в нее согнутыми руками и вытянув вперед шею в оцепенении ужаса. Тело упало, как сгусток горящей смолы, на деревянный навес над тротуаром и отскочило на улицу.

Затем иллюзия ледяной тишины, сковавшей весь мир, исчезла. Толпа, которая при всяком несчастье в городе вырастает из-под земли, словно из капель крови Медузы, уже теснилась вокруг погибшего. Несколько полицейских бранью и тумаками раздвигали уплотнявшееся кольцо, которое жутковато напоминало мясных мух в работе над мертвым или сладким. И лоснящиеся машины на мостовой, остановленные светофором, снова пришли в движение.

Была опасность более долгой остановки, затора в напиравшей сзади лаве, потому что в передовом отряде машин отдельные человеческие элементы замерли под наркозом ужаса и не могли «включиться» сразу, как следовало хорошим механизмам. Но их запустил гигант регулировщик, который стоял посреди улицы, махал огромной рукой, как цепом, и сыпал крепкими ругательствами, звучавшими особенно сочно оттого, что вылетали они из-под по-обезьяньи длинной верхней губы. И вот светофоры опять загорелись зеленым, глотка улицы оттаяла, горячие колонны машин поползли туда и сюда — армия чудовищных жуков под началом гориллы. Снова загремели клепальные молотки, высоко в синем небе повернулась стрела деррика, цепь с уравновешенным грузом стали качнулась и пошла вниз.

Тело уже внесли в дом, и полицейские бросались, как быки, на упрямую толпу. Молодая женщина, яркая, в броне городской элегантности, смотрела из окна закрытой машины, прижав к стеклу руку в перчатке, с косметическим страданием на лице. Она монотонно и сердито шептала шоферу: «Скорей! Скорей! Скорей же!» Шофер флегматично согнулся над баранкой. Он был расстроен, но не мог этого показать. Возможно, он думал: «Вот черт. Надо побыстрей ее отсюда. Что *он* скажет, когда узнает от нее? А я-то чем виноват? Я же не отвечаю за то, что он сделал. Думать надо было. Прямо не знаешь, что на тебя свалится. Тут ко всему надо быть готовым».

Он рискнул. Быстро и ловко обогнул три машины и под ругань шоферов выскочил в передний ряд как раз к зеленому свету. Дама с облегчением откинулась на спинку. Слава богу! Молодец Джордж. Всех обогнал: непонятно даже, как ему удалось. Прекрасно выбрался.

Я прислонился к стене. Голова кружилась, в груди было пусто. Мне показалось вдруг, что я существую только в двух измерениях: все вокруг словно вырезано из плотной бумаги, лишено толщины.

«Свет покидает небо»[1]. Да, свет вдруг покинул небо, и мир потерял сердцевину. Жизненная сила, переполнявшая мир, людей и самый воздух, исчезла. От прежнего тепла и цвета остался лишь вялый набросок, и сразу уставшие глаза смотрели на него со скукой и недоверием. Все на улице двигалось туда и сюда. Казалось, что все это плоское, двухмерное, без тела и толщины. Улица, люди, высокие узкие здания — всюду прямые линии и углы. Ни одного закругления на улице — единственным, что круглилось, был этот звучный крик.

И так же, как полдень погас, образ той женщины под ударом случайной и страшной смерти, выношенной миром, в котором она жила, исказился, претерпел печальное превращение.

Ибо там, где это светлое, доброе лицо только что вырабатывало для меня магическую уверенность и цельную радость, чудесный мир

[1] Из произведения английского писателя XVI века Томаса Нэша «Мор».

здоровья и жизни был взорван анонимной смертью, утоплен в анонимной крови, и я уже не мог увидеть ее лицо таким, каким видел в зените.

А вернее, гибель этого человека разворошила все черное пепелище в моем сердце, и кошмарный мир смерти-в-жизни[1] немедленно зашевелился тысячами серых теней безумия и отчаяния, и мучительно, необъяснимо, как непроницаемая тайна любви и смерти, горькая загадка этого лица водворилась среди образов смерти и сводила меня с ума своей неразрешимостью.

Ибо в этом лице вместилось все сожаление и исступленная скорбь о любви, которая должна умереть, но бессмертна, о красоте, которая должна истлеть в старости, искрошиться в горстку сухой пыли, но прочнее стали и камня и безвременна, как река,— о том, что не согнулось под всем безглазым ужасом вселенной и вознеслось выше самых высоких башен, построенных людьми.

И вот тени смерти проснулись и зашевелились вокруг нее, и теперь я мог видеть ее только обеспеченной и неуязвимой под эгидой постыдной кичливой мощи, против которой бессилен любой человек, а сам я — не больше, чем взбешенное животное, и ничего другого не остается, как расшибить свою жизнь и мозг о мостовую, подобно этому человеку, свихнуться в исступленную смерть среди других безликих, безымянных атомов людской массы.

Она представилась мне неуязвимо защищенной в дебрях городской жизни — ядовитой, извращенной, бесплодной жизни, которая плавно течет в хоромах вечной ночи, озаренных зловеще учтивой ненавистью и тщеславием, где слово всегда любезно и увертливо, а глаз всегда стар и дурен и маслится в предвкушении грязной сделки.

Это мир скверны и мертвечины, столь могущественный во всеоружии своего скоромного богатства, своей испорченности, влюбленной в тление и вероломство, своей пресыщенной, рыгающей наглости, своего навала чисел и количеств, что он сокрушает маленькую человеческую жизнь своим разветвляющимся натиском, губит и увечит все живое, чем кормится не только сердце и дух молодости с ее надеждами, гордостью и муками, но даже и тело простого рабочего, чье имя ему неизвестно, о чьей смерти он не услышит и не пожалеет в своей глухой твердыне.

Я пытался отыскать для своей ненависти мишень в этом зыбком мире теней и призраков, но не мог. Не мог проследить ни одного факта до его точной первопричины, вывести его из роковой необходимости. Слова, шепот, смех, даже предательские улики плоти — все неохватное полотно этого фантомного мира было неосязаемо, маячило передо мной — неизбывный свиток краха и презрения.

Затем — я не успел даже сойти с места — наваждение исчезло с той волшебной внезапностью, с какой оно всегда появляется и пропадает; снова люди вокруг жили и двигались, снова был полдень, и я видел ее лицо, как раньше, и думал, что это — лучшее лицо на свете, и знал, что другого такого нет.

Два человека, выбравшись из поредевшей толпы, быстро переходили улицу, и один говорил другому негромким серьезным голосом:

— Господи! — говорил он.— Девчонка-то! Видал? Он прямо чуть не на голову ей свалился!.. Ну да! А я тебе что говорю?.. В обморок, конечно!.. Ее даже в магазин унесли!.. Господи! — закончил он. И через

[1] Перефразировка выражения из «Поэмы о старом моряке» английского поэта XIX века С. Т. Кольриджа.

секунду, тихо и доверительно, прибавил: — А ты знаешь, что он уже четвертый на этом доме? Слыхал?

Потом я увидел рядом мужчину с морщинистым выразительным гордым лицом, который смотрел невидящим взглядом сквозь людей, точно впившись во что-то, скрытое от других. Он шевельнулся, медленно повернул голову и тусклым голосом человека, принявшего опиат, произнес:

— Что? Четвертый? Четвертый? — хотя никто к нему не обращался. Затем задумчиво, медленно провел худой рукой по лбу и глазам, устало и медленно вздохнул, словно очнувшись после транса или сильного наркотика, и неуверенно побрел прочь.

Так я увидел в городе смерть в третий раз.

Ярче всего запомнилось в этих трех смертях, по контрасту с четвертой, вот что: хотя первые три смерти были насильственны и обставлены всеми принадлежностями грозного, неожиданного, жуткого и отвратительного, чтобы у зрителя сжалось сердце, подкатило к горлу и по коже продрал мороз,— свидетели, горожане, оправившись от первого удивления, откликались на смерть немедленно, приемля ее свирепость, кровавую жестокость и ужас как одно из естественных следствий повседневной жизни. Но когда я в четвертый раз увидел смерть, горожане были ошеломлены, напуганы, растеряны, устрашены, как ни разу раньше; между тем смерть эта наступила так тихо, так легко и естественно, что казалось, даже ребенок мог смотреть на нее без страха и удивления.

Вот как это произошло.

В самом бурном центре городской жизни — у Бродвея, на Таймс-сквер, во втором часу ночи, бесцельно, потерянно, не зная, что с собой делать и куда себя девать, с привычным сумбуром и беспокойством в душе, я полез с запруженной улицы под землю в потоке атомов, рвущихся к своим ячейкам в той же исступленной спешке, какая выбросила их на улицу под вечер.

Мы вливались из ночного приволья в спертый, зловонный воздух тоннеля, мы тискались и кишели на серых цементных полах, мы остервенело лезли и продирались куда-то, словно бежали наперегонки со временем, словно за выгаданные две минуты нас ждала великая награда, словно мы изо всех сил торопились на какое-то блаженное свидание, к какому-то счастливому и радостному событию, к какой-то прекрасной цели, к богатству или к любви, зачарованные их сиянием.

Когда я сунул монету в щель и прошел через деревянный турникет, я увидел умирающего. Сценой был клочок пола, бетонная площадка, одним пандусом отделенная от платформы, и человек сидел на деревянной скамье, поставленной слева перед самым спуском к поездам.

Он тихо сидел на краю скамьи, чуть наклонившись вправо и положив локоть на ручку; его шляпа была слегка надвинута на лоб, лицо полуопущено. Я увидел только легкое, покойное, едва уловимое движение груди — трепет, слабый вздох,— и человек умер. Через секунду полицейский, который рассеянно поглядывал на него издали, подошел к скамье, наклонился, что-то сказал ему и потряс его за плечо. От этого локоть мертвеца соскользнул с края скамьи, сам он слегка осел и так и остался — рука на весу, потрепанная шляпа на лбу и немного набекрень, пальто распахнуто, короткая нога напряженно подогнута под лавку. Когда полицейский тряс его за плечо, лицо покойника уже серело. Тем временем несколько человек из толпы, безостановочно теку-

щей через площадку, остановились, посмотрели с любопытством и тревогой, двинулись было дальше, а потом вернулись. Теперь они стояли вокруг и просто смотрели — молча, изредка обмениваясь смущенными, встревоженными взглядами.

И, однако, я думаю, мы все уже понимали, что человек мертв. Появился другой полицейский и тихо заговорил с первым; потом и он с интересом уставился на покойника, подошел, потряс его за плечо, как первый, и, бросив несколько слов товарищу, быстро удалился. Через минуту-другую он вернулся еще с одним. Все трое принялись что-то тихо обсуждать. Один нагнулся, обыскал карманы мертвеца, вытащил грязный конверт, бумажник и захватанную карточку. Покопавшись в бумажнике и переписав свои находки, они выпрямились и стали ждать.

Покойный был мужчиной потертого вида и неопределенного возраста — но скорее всего не моложе пятидесяти и едва ли старше пятидесяти пяти. И если бы кто искал типический портрет тротуарного нуля, обобщенное фото городского атома — лучшего образца он не нашел бы. Единственной приметой умершего было то, что его нельзя было отличить от миллиона других людей. Лицо у него было из тех, какие видишь на городских улицах по десять тысяч раз за день, а потом не можешь вспомнить.

Это лицо еще при жизни было желтым, дряблой, одутловатой, нездоровой выделки и было вместе с тем отчетливо и несомненно ирландским — лицо городского ирландца, с тонким, запавшим, слегка изогнутым ртом, в котором пряталось что-то плутовское, распущенное, вороватая, грязная усмешка. В нем было что-то угрюмое и вместе с тем приниженное, сварливое и угодливое — маленький человек: швейцар в театре или захудалом универмаге, привратник в дешевом многоквартирном доме, вахтер в учреждении, тесть полицейского, четвероюродный брат сержанта-регистратора в участке, дядя жены подручного у политикана, уволенный на пенсию курьер, хранитель конторы, открыватель дверей, спроваживатель посетителей у какого-нибудь ирландского деятеля, приученный исправно голосовать за «наших» в день выборов и ловить кусочки, которые бросают ему за то, что служил службу и держал язык за зубами, поднаторевший в раболепстве и пресмыкательстве перед теми, на ком — печать власти и положения, умеющий рычать, огрызаться и беспричинно дерзить тем, кто лишен власти и положения, не отмечен успехом и чином, способными возвысить ближнего в его глазах. Таков, без сомнения, был человек, сидевший мертвым на скамейке в метро.

И имя этому человеку — легион, число их — мириад. На его сером лице, в мертвом, запавшем рте гнездилась тень недавней жизни, эхо недавней речи, казалось, мы слышим его голос, внимаем знакомым интонациям, знаем каждый поступок и подробность его жизни так четко, как если бы он еще жил и рычал кому-нибудь: «Ничем не могу помочь, ничего не знаю, уважаемый. Я знаю только, что у меня есть приказ, а приказ у меня — никого не пускать, пока вы не докажете, что мистер Гроган вам назначил. А почем я знаю, кто вы такой? Почем я знаю, с каким вы делом? Меня это не касается... Нет, сэр. Если вы не можете доказать, что мистер Гроган вас пригласил, я вас не пущу... Может быть, и так... а может быть, и нет — обратно вам говорю... Да кто я, по-вашему? Гадалка или кто?.. Нет, уважаемый! Не пройдете вы! У меня приказ, и знать ничего не знаю».

И тот же голос через секунду будет скулить, протестующе лебезя и огорченно оправдываясь перед тем же самым или другим человеком: «Почему же вы сразу не сказали, что вы друг мистера Грогана?.. Почему же вы мне раньше не сказали, что вы его деверь?.. Я бы вас тут же пустил, если бы вы сказали. Сами понимаете,— тут его голос пони-

зится до холуйской доверительности,— столько народу ходит тут каждый день, и все хотят прорваться к мистеру Грогану со всякой ерундой... Вот и приходится держать ухо востро... Но теперь, когда я знаю, что вы свои у мистера Грогана,— скажет он подобострастно,— приходите в любое время... Кто свой у мистера Грогана — милости просим,— произносит голос с пресмыкательским радушием.— Вы же сами понимаете,— шепчет он, снимая что-то бледными пальцами с чужого рукава,— я тут ни при чем, но человеку в моем положении надо держать ухо востро».

Да, таков был голос, таков был человек — въяве, словно эти мертвые губы только что двигались, этот мертвый язык шевелился и плел нам свои слова. Вот он сидит перед нами с желтоватым колером всей своей жизни на лице, который сменяется на глазах страшной пепельностью смерти. Бедная, жалкая, подобострастная, угодливая, бранчливая, растленная мелкая сошка, бедный, заморенный, униженный, хитрящий, ловчащий, исправно-послушный атом миллионностопого города. Бедный, унылый, невзрачный, порожний, потертый человечек — с твоей щетинкой колючих ругательств и криков, тусклых, удушенных слов, с твоими убогими планами, тоскливыми надеждами и мизерными целями, с твоей щепоткой разума и наперстком храбрости и огромным грузом уродливых и глупых предрассудков. О ты, несчастное создание из жира и студня, ты, жеватель скверной пищи и глотатель дрянного пойла. Радость, славу, великолепие предлагала тебе эта земля, а ты царапал тротуары, треща десятком стертых слов, как щебнем в горле,— и не принял их, потому что запах хозяина, слово патера, ничтожное одобрение Майка, Мэри, Молли, Пата не освятили их; и сегодня сияют звезды, большие корабли гудят в гавани, и миллионы тебе подобных топочут над твоей головой, а ты сидишь *мертвый* в сером тоннеле!

Мы смотрели на твое мертвое лицо с ужасом. жалостью и благоговейным трепетом, ибо знали, что сделаны из того же теста. Что-то от каждого из нас — возвышенное и низкое, подлое и героическое, редкое, пошлое, славное — лежит мертвым в утробе неугомонного города, и участь всех людей живых — да, царей земли, рыцарей разума, властелинов языка и слагателей бессмертных стихов,— вся надежда, жажда, пожирающая землю страсть, которые непостижимым образом вмещаются в тесную каморку черепа и потрясают, рвут свой утлый сосуд, запечатлены в убогом обличье тронувшейся плоти.

Мертвый был одет неказисто, и в этом поношенном платье тоже проглядывал весь пошиб, вся расстановка его жизни — словно у платья была своя физиономия, своя речь, свой собственный язык. Оно говорило, что всю свою жизнь он провел в бедности и шатком благополучии, несравнимых, конечно, с ежеминутным отчаянием бродяги или нищего, но очень далеких от подлинной обеспеченности, надежности и покоя. Его платье говорило, что жил он скорее одним месяцем, чем одним днем, и всегда под угрозой катастрофы — болезни, потери места, наступления старости,— способной разом уничтожить скудные запасы, которые он сложил между собой и миром: ни секунды без страха перед этими бедствиями, но каждый раз ускользая от них.

На нем был мятый серый костюм, заполненный, впрочем, довольно плотно и воспринявший обрюзглую, обвислую, расплывчатую конфигурацию его тела. Маленькое брюшко и умеренная упитанность указывали на то, что ему знакомо было некоторое изобилие и что он не страдал от голода. На нем была старая коричневая шляпа, поношенное серое пальто, истрепанный красный шарф, и печать подержанности, запу-

щенности на всех этих предметах была неповторима: лучший художник по костюмам не смог бы намеренно ее воспроизвести.

Судьба миллионов людей была написана на этих вещах. В их залосненной, обвислой, вытянутой физиономии раскрывалось убогое житье миллионов тротуарных нолей; и это выражение было так ярко и очевидно, что пока лицо сидевшего мертвеца затягивалось трупной серостью, а тело словно съеживалось, усыхало, на глазах рвало последние связи с жизнью — одежда, наоборот, начинала выглядеть более живой, чем прикрытая ею плоть.

Между тем лицо покойника превратилось в маску смерти, где фантасмагория и реальность сплавляются, рождая страшную иронию, ибо кажется, что в лице и теле мертвого осталось от живой плоти не больше, чем у восковой фигуры в музее, и он усмехается, глазеет, передразнивает жизнь так же жутко и ненатурально, как могла бы только она.

Турникеты все щелкали на тупой деревянной ноте, поток людей все клубился в бетонных стенах, поезда с лязгом и гулом подлетали к платформе и уносились прочь, и время от времени в гуще людей кто-то замедлял шаги, с любопытством воззрясь на сидевшего, и оставался. Скамейку с мертвецом окружало уже широкое кольцо зрителей, и хотя любопытство не давало им уйти, они не напирали, не пытались просунуться поближе, как бывает при кровавой катастрофе.

Нет, они просто стояли застыв, широким полукругом, не приближаясь ни на шаг, и лишь изредка обменивались смущенным взглядом или робким вопросом, который обычно оставался без ответа, ибо спрошенный растерянно, сконфуженно смотрел на спросившего и, пробормотав: «Не знаю», пожимал плечами и бочком отодвигался или плелся прочь. А время от времени полицейские, число которых уже увеличилось до четырех и которые стояли вокруг мертвого выжидательно и безучастно, почему-то вдруг развивали бешеную, почти комическую деятельность и, врезавшись в кольцо зрителей, начинали отгонять и распихивать их, покрикивая нетерпеливыми, раздраженными голосами:

— Ну, всё, всё, всё! Разойдитесь! Разойдитесь! Разойдитесь! Проходите! Проходите! Проходите! Вы мешаете проходу! Проходите! Проходите! Разойдитесь! Разойдитесь!..

И толпа послушно отступала, пятилась, шаркая ногами, а затем, с неодолимым упрямством резинового жгута или шарика ртути, возвращалась, образуя глазастый, встревоженный, беспокойно шепчущийся круг.

А турникеты все щелкали на той же тупой, деревянной, оглушительной ноте, людей несло к поездам, и когда они замечали кольцо зрителей и покойника на скамье, в их взглядах, позах, жестах открывалось все многообразие человеческих реакций на зрелище смерти.

Одни останавливались, смотрели на мертвого, потом начинали тихо, обеспокоенно перешептываться:

— Что с ним? Ему плохо? Обморок? Он пьяный или что?

И кто-нибудь в ответ, пристально посмотрев на лицо покойника, презрительно махал рукой и сердито кричал, хотя в голосе слышалась тревога и неуверенность:

— Да ну! Какой там обморок! Пьяный! И больше ничего! Ясно же! Ну, налакался... И чего стоят, чего смотрят,— иронизировал он.— Можно подумать, пьяного никогда не видели. Да ну его,— кричал он.— Пошли! — И спешил со спутниками прочь, продолжая язвить толпу издевательским смехом.

И правда, поза и вид мертвого — то, как он сидел на скамье, нахлобученная на лоб старая шляпа, неловко подогнутая нога, рука, свесившаяся с края, тонкий впалый ирландский рот, затаивший грязненькую и будто пьяненькую ухмылку,— все это так походило на пьяное

оцепенение, что многие, едва завидя его мертвенно-серое лицо, воскликали с каким-то отчаянным облегчением:

— А! Он просто пьяный! Пошли, пошли! Нечего! — И торопились дальше, сознавая в глубине души, что человек мертв.

Другие подходили и, сердито встрепенувшись при виде мертвеца, окидывали толпу гневным взглядом, укоризненно и возмущенно качали головой, словно толпа была повинна в каких-то непристойных, безнравственных действиях, которые претили их благопристойным, нравственным натурам.

Подошли три еврейские девочки с еврейским мальчиком и вместе протиснулись сквозь кольцо зрителей. Девочки испуганно замерли, прижавшись друг к другу, а мальчик оторопело и глуповато уставился на мертвого и потом нервным, тонким голосом произнес:

— Что с ним такое? А «скорую помощь» уже вызвали?

Кольцо зрителей ответило ему молчанием, но через минуту шофер такси — человек с тяжелым, грубым, рябым лицом, смуглокожий, но бледный от ночной работы, с черными глазами и волосами, в фуражке, кожаной куртке и черной шерстяной рубашке — повернулся, презрительно дернул головой в сторону мальчика и, не глядя на него, а обращаясь к толпе, произнес издевательски-насмешливым тоном:

— «Скорую помощь»! «Скорую помощь»! — воскликнул он.— На кой ему черт эта «скорая помощь»! Господи! Он мертвый давно, а он спрашивает, вызвал ли кто «скорую помощь»,— продолжал шофер, снова презрительно дернув головой в сторону мальчика и, видимо, черпая какую-то уверенность и ощущение безопасности в собственном сарказме.— Видали! — фыркал он.— Человек умер давно, а он желает знать, почему тут не вызвали «скорую помощь».— И продолжал фыркать и потешаться про себя, повторяя: «Господи!» — и качая головой, словно тупость и скудоумие людей не укладывались в его сознании.

Мальчик смотрел на мертвого зачарованным взглядом, полным ужаса и изумления. Наконец он облизнул пересохшие губы и с тупым недоумением проговорил:

— Я не вижу, чтоб он дышал и вообще. Он вообще не шевелится.

Затем девочка, которая все время держалась за его руку — маленькая, рыжая, с тонким, худым лицом и огромным носом, затенявшим все лицо,— нервно, почти истерически стала дергать его за рукав и зашептала:

— Пойдем! Пойдем отсюда!.. Ой! Я вся дрожу! Ой! Меня прямо трясет — смотри! — прошептала она, протянув руку, которая дрожала крупной дрожью.— Ну, пойдем!

— Я не вижу, чтоб он дышал и вообще,— тупо пробормотал мальчик, не отводя от мертвого глаз.

— Ой, ну пойдем же,— умоляюще прошептала девочка.— Я так волнуюсь, что вся дрожу,— я трясусь как лист! Пойдем! Ну давай же!— И все четверо — три напуганные девочки и ошарашенный мальчик — отошли и тесной кучкой заторопились по спуску к платформе.

Теперь другие люди, которые до этого просто стояли, неловко переглядываясь, и в тревожном замешательстве задавали друг другу вопросы, повисавшие в воздухе, начали тихо переговариваться и перешептываться, и уже пронеслось несколько раз слово «умер». Произнеся и услышав это слово, все затихли, успокоились, медленно повернули лица к мертвому и впились в него любопытными, жадными взглядами.

Тут послышался негромкий мужской голос, уверенно и убедительно высказавший то, в чем они как будто боялись себе признаться.

— Конечно, умер. Умер человек,— проговорил он тихо и веско.— Я сразу понял, что он мертвый.

В ту же секунду рослый солдат с морщинистым обветренным лицом человека, многие годы прослужившего в армии, повернулся к соседу — низенькому плосколицему ирландцу — и спокойно, уверенно, как о чем-то привычном, сказал:

— Где бы человек ни загнулся, он всегда оставляет эту черную расписочку — верно? — Он произнес эти слова сдержанным, сухим, небрежным тоном и кивнул на маленькую лужицу на цементе рядом с неуклюже подогнутой под скамейку ногой.

Плосколицый ирландец поспешно кивнул и с выражением энергического согласия произнес:

— Что и говорить!

В это время в толпе со стороны турникетов произошла легкая суматоха и перемещение, зашаркали ноги, люди почтительно расступились, и в сопровождении двух санитаров, один из которых держал свернутые носилки, появился врач «скорой помощи».

Врач был молодой, еврей с пухлыми губами, слегка скошенным подбородком, шелковистыми усиками и довольно надменным, скучающе-безразличным выражением лица. На нем был синий форменный пиджак, плоская синяя фуражка, сдвинутая на затылок, и когда он вошел и медленно, индифферентно направился к скамье, его стетоскоп уже был наготове и трубки — в ушах.

В каждом движении доктора читалась скука, привычка, даже усталость, словно его так часто вызывали на подобные происшествия, что он уже не способен был ни на какое чувство. Когда он дошел до полицейских, они расступились и пропустили его. Не заговорив с ними, он проследовал к мертвецу, расстегнул и распахнул на нем рубашку, наклонился и внимательно, методически, по нескольку секунд задерживаясь в каждом месте, стал прослушивать стетоскопом безволосую мягкую землистую грудь.

При этом на лице его не выражалось ничего — ни удивления, ни жалости, ни научного интереса. Он, конечно, с первого взгляда понял, что человек мертв, и теперь его врачебный долг был лишь частью формальности, установленной законом и обычаем. Но зрители все время потихоньку надвигались, и их взгляды были прикованы к лицу врача любопытством, почтением и суеверным страхом, точно они надеялись прочесть в нем подтверждение тому, что уже знали сами,— или увидеть выражение возрастающего ужаса, жалости, скорби, которое печатью уверенности скрепит их догадки. Но они не видели ничего, кроме педантичной должностной внимательности с налетом утомления и скуки.

Закончив прослушивание, он выпрямился, вынул трубки из ушей, затем небрежно приоткрыл полуопущенные веки покойного. В глазах застыл голубоватый белесый отблеск. Врач повернулся к полицейским, которые окружили его с открытыми книжечками в руках, и все так же терпеливо, буднично, равнодушно сказал им несколько тихих слов, а они стали прилежно их записывать. Один спросил у него что-то и записал ответ, после чего доктор медленно и равнодушно пошел прочь, а за ним — санитары, ни разу не выказавшие любопытства или удивления. И в самом деле, покойный, казалось, очутился во власти режима, которого ни избежать, ни изменить ни на йоту,— режима, действующего с безжалостной точностью и во всех деталях, досконально, до скуки известного своим слугам: врачам, санитарам, полицейским и даже священникам.

Полицейские, закончив писать в книжечках и спрятав книжечки, развернулись и атаковали толпу, отпихивая и отшвыривая людей с неизменными криками: «Проходите! Проходите! Разойдитесь сейчас

же!» — но и в этих действиях проглядывала та же рутина, дух усталости и скуки, и когда люди с раздражающим ртутным упрямством перетекли на прежние места, полицейские промолчали, не обнаружив ни гнева, ни досады. Они снова заняли позиции вокруг мертвого и стали хладнокровно ждать следующего номера своей незыблемой программы.

И теперь — словно преграды молчания, сдержанности и робости были сломаны, а смута и сомнение в душах рассеяны последним доказательством и простыми звуками слова «умер», наконец-то произнесенного вслух,— люди начали разговаривать свободно и естественно, как друзья или старые коллеги.

Немного в стороне, за внешним кольцом зрителей, собрались, признав друг в друге людей солидных, сведущих и светских, три лощеных существа, ночные создания, обитатели проспекта, гремевшего у нас над головой: молодой смазливый бродвеец в лихо сдвинутой серой шляпе и тонком весеннем пальто, суженном в талии, напористый, самоуверенный еврей с большим носом, агрессивным голосом и улыбкой грифа и итальянец, поменьше ростом, с лисьей физиономией, бледной желтоватой кожей и маслянистыми глазами и волосами,— все трое франтовато одетые, на крикливый бродвейский манер. Они начали философствовать с важным видом знатоков, жалуя жизнь и смерть, скоротечность человеческих дней и тщету человеческих надежд и устремлений зрелыми плодами своего опыта. Преобладал в этой группе еврей, несший на себе основное бремя беседы. Остальные двое, в сущности, играли роль хора, сопровождая его рассуждения (когда он брал паузу для вдоха) энергичными кивками и репликами наподобие: «Вот именно!», «Что и говорить!» или «Как я сказал одному на днях...»— замечание, каждый раз остававшееся недосказанным, поскольку протагонист успевал набрать воздуха и летел дальше.

— А нам еще говорят, черт подери,— откладывайте на черный день! — восклицал он с сардоническим хохотом.— На черный день! — Здесь он делал паузу и снова разражался горьким смехом.— Когда ты видишь такую вот штуку, хочется спросить — зачем? Что, не так?

— Вот именно,— воодушевленно кивал итальянец.

— Как я сказал одному на днях...— начинал молодой человек.

— Боже мой! — кричал еврей.— Откладывать на черный день! А за каким дьяволом мне откладывать на черный день? — вопрошал он торжествующим агрессивным тоном, стуча себя в грудь и обводя собрание воинственным взором, словно кто-то пытался навязать ему это гнусное дело.— Что я буду с этого иметь? Да может, завтра меня не будет! Какого же черта мне откладывать, скажите ради бога? Мы на этой земле — ненадолго. Так поживем же всласть, черт подери! Прав я? — спрашивал он, оглядываясь вокруг, и остальные с готовностью подтверждали, что он прав.

— Как я сказал одному на днях,— вставил молодой человек,— это показывает только, что ты...

— Страховка! — воскликнул тут еврей с громким презрительным смехом.— Боже мой, страховые компании! За каким дьяволом нам тратить свои гроши на страховку? — вопросил он.

— Ну, ну, ну,— гортанно поддержал итальянец с презрительной лисьей улыбкой.— Ерунда это все.

— Чушь собачья,— согласился молодой человек,— как я сказал одному на...

— Страховка! — сказал еврей.— Если послушать этих прохвостов, ты будешь жить вечно! Откладывайте на черный день, черт бы их побрал. Копите себе на старость — *себе* на старость, черт подери! — иронизировал он.— Когда в любую минуту ты можешь получить то же, что и вот этот! Прав я?

— Вот именно!

— Делайте сбережения на всякий пожарный случай. Оставьте что-нибудь вашим детям, когда загнетесь! А почему я должен, черт побери, оставлять своим детям? — возмущался он, словно вся машина организованного общества и полтора десятка его отпрысков понуждали его к этому шагу.— Нет, дорогие! — сказал он.— Пускай мои дети сами о себе позаботятся, как я! Мне никто не помогал. Так какого же черта я буду тратить *мою* жизнь на то, чтобы копить для лоботрясов, которые даже спасибо не скажут? Прав я?

— Вот именно,— кивнул итальянец.— Ерунда все это.

— Как я сказал тому парню...— начал молодой человек.

— Нет, дорогие,— сурово и убежденно продолжал еврей с горькой, циничесной улыбкой.— Нет, мои уважаемые! Извиняюсь! Когда я откину копыта и они соберутся вокруг большого гроба,— проговорил он, дополняя свои слова широким движением руки — пусть *все* посмотрят как следует, пусть посмотрят на меня подольше и скажут: «Что же, он пришел без ничего и без ничего уходит. Но это был человек,— произнес он громко, внушительным тоном,— который тратил, пока имел, и брал от жизни *все, что мог*».

Тут он умолк, взялся за лацканы своего модного пальто и, мягко покачиваясь с носков на пятки, улыбнулся горькой, умудренной улыбкой.

— Вот так-то! — произнес он наконец с апломбом.— Вот так-то! Когда я буду лежать на кладбище и удобрять незабудки, я обойдусь без чеков. То, что мне причитается, я хочу получить здесь и сейчас. Прав я?

— Что и говорить! — отозвался итальянец.

— Как я сказал одному на днях,— победоносно заключил молодой бродвеец,— ничего не известно. Ничего. Никогда не знаешь, что с тобой будет. Сегодня ты есть, завтра тебя нет — так какого же черта? — сказал он.— Чего нам теряться?

И все согласились, что он прав, и вперились в лицо мертвого темными, алчными, завороженными взглядами.

Уже повсюду собирались люди маленькими группами и философствовали, судили, рядили, беседовали — даже смеялись и улыбались с сосредоточенным, воодушевленным видом. Кто-то делился своими переживаниями с жадно внимавшей кучкой людей, без устали, в сотый раз пересказывая, что он ощутил, подумал и сделал, когда увидел мертвого.

— Ну да! Ну да! — восклицал он.— А я про что толкую? Я видел, как он умирал. Я в трех шагах от него стоял! Ну да! Вижу, рот разевает, хочет вздохнуть. А я тут стою. Ну я и говорю — повернулся к полицейскому и говорю: «Вы присматривайте за этим мужчиной. Что-то,— говорю,— с ним не то». Ну да! Тут-то все и случилось. Про что я и говорю. Я вот тут вот стоял,— кричал он.

В это время подошли двое мужчин и две женщины. У них были приземистые, неуклюжие фигуры, кожа цвета пережженного кирпича, густые светлые волосы и широкие лица с тусклыми глазами и нечеткими, грубыми чертами, какие бывают у славян и литовцев; с минуту они бессмысленно смотрели на мертвого, а потом быстро заговорили на каком-то жестком, шершавом наречии.

Людей понемногу отрывало и уносило в тоннель, поток людей, спешивших по домам, заметно пошел на убыль, кольцо зрителей вокруг покойника истончилось, остались только те, кто, подобно мясным мухам на падали, не оторвется, пока труп не унесут.

Появилась молодая проститутка-негритянка и пошла по площадке, стреляя во все стороны глазами, с жуткой, бессмысленной улыбкой на тонких накрашенных губах. Она увидела кольцо зевак, подошла и, скользнув отсутствующим взглядом по скамейке, где сидел мертвец, стала быстро озираться по сторонам, скаля белые хрупкие с виду зубы.

Худое лицо молодой негритянки, первоначально медного цвета, было покрыто таким слоем румян и пудры, что превратилось в страшную желто-багряную маску; ресницы, смазанные каким-то жирным веществом, слиплись и торчали вокруг больших черных глаз масляными шипами; черные волосы были уложены волнами и тоже смазаны жиром.

Она была в пурпурном платье и туфлях с необычайно высокими красными каблуками, и были у нее широкий таз и по-негритянски длинные худые уродливые ноги. Что-то отталкивающее и одновременно соблазнительное было в этой фигуре, в сухих, жилистых икрах, широких боках, в ублюдочной ее масти, в тощем пустом личике шлюхи, в тонких карминовых губах, ослепительно белых ломких зубах,— словно последние крохи чирикающего ее разума канули в зобу больной, ненасытной чувственности, оставив ей лишь тонкую раскрашенную скорлупу лица и жуть идиотической, похотливой улыбки, бесстыдно и весело скользившей по кругу зрителей.

Итальянец с лисьей физиономией, чьи собеседники, еврей и молодой франтовый бродвеец, уже ушли, прилип к негритянке неподвижным взглядом пресмыкающегося и стал воровато подбираться к ней, пока не оказался сзади. Он слегка налег на нее и прижался к ее ягодицам, жарко дыша ей в затылок. Негритянка ничего не сказала, только обернулась с бодрой бессмысленной улыбкой сладострастного идиота и пошла прочь, дробно ступая длинными жилистыми ногами на высоких красных каблуках и часто оглядываясь на итальянца, завлекая его белозубой улыбкой и влажным блеском накрашенных губ. Мужчина воровато вытянул шею над воротничком, украдкой оглянулся через плечо блестящими лисьими глазками и быстро двинулся за женщиной. Он нагнал ее в коридоре за турникетом, и они пошли рядом.

Турникеты все поворачивались с глухим, тупым, деревянным звуком, запоздалые прохожие одиноко шаркали по цементным полам, газетчик у лотка распродавал остатки, изредка кидая усталый, равнодушный взгляд на мертвеца и его стражу, и на пустом пятачке вокруг скамьи полицейские стояли, ожидая чего-то с невозмутимым, апатичным спокойствием. Вошел какой-то человек, пересек площадку и заговорил с одним из полицейских. Полицейский был молодой, с атлетической шеей и румянцем во всю щеку. Скривив рот, он тихо цедил что-то пришедшему, который задавал ему вопросы и записывал его ответы в черный блокнот. У этого было желтоватое дряблое лицо, утомленный взгляд и мягкий двойной подбородок.

Оставшиеся зрители, жадно высосав последние живительные капли из беседы, теперь стояли молча, пожирая мертвого взглядом, в котором было что-то темное, неутолимое, вязкое, почти вещественное и который, казалось, прилипал к наблюдаемому предмету.

Тут произошло нечто поразительное. Как раньше тело мертвого словно усыхало и сокращалось в своей одежде, на глазах у нас изымаясь из жизни, с которой потеряло всякую связь, так теперь все свойства пространства и света, измерения длины, ширины, дальности в среде, окружавшей труп, невероятно исказились.

И казалось, что эти изменения происходят непрерывно, у меня на глазах, и по мере того, как сжимается, убывает тело мертвого, серая плоскость пола вокруг него чудовищно растягивается. Пространство, отделявшее его от полицейских, и серая площадка, отделявшая поли-

цейских от нас, вместе с выложенной плитками стеной позади — всё становилось шире, выше, длиннее, страшно росло, пока я смотрел. Мы все видели его как будто сквозь огромную пустынную даль. Покойник был маленькой одинокой фигуркой на необъятной сцене, и сама эта малость, одинокость в бескрайнем сером пространстве облекала его потрясающим достоинством и величием.

И казалось уже, что не только живая бескровная нежить ночи сосет его своими темными ненасытными очами, но и он отвечает на ее взгляд вечной невозмутимой иронией, страшной насмешкой и презрением — такими же живыми, как ее собственный черный взгляд, и не подверженными тлению.

Затем этот вывих зрения исчез так же внезапно, как появился, и вещи, формы, расстояния снова установились в фокусе. Я видел мертвого в серой пустоте и зрителей — так, как они были. И полиция снова наступала на нас и расталкивала людей вокруг меня.

Но они не в силах были покинуть это маленькое одинокое изваяние смерти, которое сидело в напряженной позе, с нелепым пьяным достоинством и слабой улыбкой на лице, поскольку люди верны безжизненному телу и сторожат и охраняют и не покинут его, пока слепая земля не примет его и не укроет. Они не могли покинуть его, потому что гордая смерть, темная смерть, одинокое достоинство смерти осенило этот убогий облик, и они видели, что никакая пошлость, низость и убожество на земле, ни этот миллионностопый город со всем его размахом, напором и численностью не отнимут ни на миг достоинств гордой смерти — даже если они подарены жалчайшему уличному нолю.

И вот они не могли покинуть его, потому что своего рода любовь и верность удерживала их на месте, и потому что гордая смерть восседала здесь и говорила с ними и раздела их донага, и потому что против смерти они воздвигали исполинские башни, от нее они прятались в серых норах, ее голос пытались заглушить крикливой одурью улицы, но гордая смерть, непроницаемая смерть, гордая сестра-смерть вступила в их город, и была выше высочайших башен, и была победоносна, низойдя даже на самую жалкую частицу праха, и все их улицы смолкали, когда говорила она.

И они смотрели на мертвого со страхом, трепетом и смирением — и с любовью, ибо смерть, гордая смерть, явилась в теплые, обжитые места, и лик ее сиял ужасно в затхлом, сером воздухе, и свою речь, свою поступь, свой сан она противоположила грубому, механическому обычаю десяти миллионов людей, а их самих раздела донага, остановила их глумливые скрипучие языки, и в образе ничтожнейшего их собрата показала весь предстоящий им путь, страх, которым они облекутся,— и поэтому они стояли перед ней одинокие, немые и напуганные.

Затем были выполнены последние ритуалы закона и церкви, и мертвого убрали с глаз долой. Прибыл мертвецкий фургон полиции. Двое в форме, со скатанными носилками быстро спустились по лестнице и подошли к скамье. Носилки развернули на цементном полу, мертвеца быстро переложили со скамьи на носилки, и тут из толпы вышел священник и опустился перед телом на колени.

Это был молодой человек, упитанный, холеный, очень белокожий, с внешностью мирской, даже светской, с поросячьим лицом и густой синевой на бритых щеках. На нем было элегантное черное пальто с бархатным воротником, легкое кашне из белого шелка и котелок, который он бережно снял и отложил в сторону, когда стал на колени. Его волосы, шелковистые и черные, как смоль, на макушке редели. Он быстро стал на колени перед носилками и поднял белую волосатую руку; при

этом пятеро полицейских вдруг выпрямились, воинским движением сорвали с голов фуражки и несколько мгновений стояли смирно, приложив фуражки к сердцу; священник тем временем быстро проговорил несколько слов, которых никто не расслышал. Помешкав немного, кое-кто в толпе тоже неловко снял шляпу. Вскоре священник встал, аккуратно надел котелок, поправил пальто и кашне и присоединился к зрителям. Все было кончено в минуту, выполнено с той же, что у врача, бездушной, почти усталой формальностью.

Затем санитары склонились над носилками, взялись за ручки и, тихо переговариваясь, подняли. Они осторожно двинулись прочь, но при первом же шаге сально-серые руки покойника свалились с носилок и начали комично дергаться и раскачиваться в такт движению носильщиков.

Один резко окликнул другого:

— Постой! Опусти! Кто-нибудь, подберите ему руки!

Носилки снова опустили на пол, и полицейский, присев возле мертвого, выдернул галстук из-под его воротничка, который был расстегнут еще врачом и распахнулся, открыв латунную горловую запонку и круглое зеленоватое пятнышко окиси на мертвой пожелтевшей коже горла. Полицейский взял галстук, похожий на засаленный фитиль, в красную и белую полоску и быстро связал им запястья мертвеца на животе.

Затем носильщики снова подняли его и понесли к выходу, а полицейские шагали впереди, расталкивая людей, и кричали:

— Расступитесь! Расступитесь, вы! Дорогу! Дорогу! Дорогу!

Теперь руки мертвого, связанные на животе, были неподвижны, но его потертая одежда колыхалась, и желто-серые щеки вздрагивали при каждом шаге носильщиков. Концы расстегнутого воротничка трепетали, несвежая белая рубашка, распахнутая до половины, открывала мертвую, костяного цвета грудь, а старая коричневая шляпа, которая съехала уже на самый нос, вместе с провалившейся тонкогубой улыбкой еще больше усиливали карикатурное и жуткое сходство с пьяным.

Все остальное в нем — распадающаяся материя, которая прежде была телом,— как будто усохло, сошло на нет. Тело ничем не напоминало о своем существовании. Оно исчезло, потерялось, стало неразличимым в груде бедной, затасканной одежды — старого серого пальто, мешковатых старых брюк, старой шляпы, пары стоптанных, разбитых туфель. Казалось, больше ничего и нет в этом человеке: только шляпа, безгубая гротескно-пьяная усмешка, две дрожащие щеки, два трепещущих конца воротничка, две грязно-серые лапки, связанные жгутом-галстуком, да жалкая кучка потрепанной, бедной, невзрачной одежды, которая слабо подрагивала и колыхалась при каждом шаге носильщиков.

Осторожно и быстро они прошли за турникет и двинулись вверх по лестнице в темном боковом лазу с надписью «Выход». Когда они стали подниматься по черным железным ступенькам, тело чуть сползло на носилках и старая коричневая шляпа упала, открыв спутанные грязно-седые волосы мертвеца. Один полицейский подобрал шляпу и, сказав носильщику: «Порядок, я поднял», пошел за ними вверх.

Было около половины четвертого, утро приближалось, в небе — безбрежном сиреневом мраке — горели яркие нежные звезды. Ночь стояла еще свежая, налитая холодком, но уже пронизана была весенним ликованием и истомой. Далеко, чуть слышно, с дикой печалью и радостью, гудел корабль — мычало надрывно чудовище в горловине бухты.

Улица была темна, покойна, почти пустынна в свой самый тихий час, и казалось, что бешеный шум ее и движение притаились на миг, взяли короткую передышку, готовясь к завтрашнему дню. Такси пролетали пустые, поодиночке, как метательные снаряды, подошвы людей издавали редкий, настороженный звук; огни горели желтым, красным и зеленым, в одиноких твердых ореолах, которые наполняли сердце упругой радостью, ощущением победы и как-то были под стать ночи, весне, апрелю, кораблям. А выше по улице, в нескольких кварталах, где ночь курилась, как огромное кадило, дробленым пыльцевидным сверкающим пламенем, бесстыдное ее подмигивание потускнело, притухло и, все еще мертвенно-белое, потеряло накал.

Когда люди с носилками вышли из метро, зеленый фургон полиции ждал у обочины, а на тротуаре стояло несколько таксистов с темными помятыми лицами. Пока носильщики со своей ношей шли через тротуар, один из таксистов выступил вперед, подобострастно снял перед мертвецом фуражку и с воодушевлением предложил:

— Такси, сэр! Такси!

Полицейский, который нес шляпу покойного, захохотал, повернулся к таксисту и, шутливо замахнувшись дубинкой, сказал:

— Я тебе, сукин сын!

Потом, продолжая смеяться и повторяя: «Вот черт!» — он швырнул шляпу в зеленый фургон, куда носильщики задвинули тело. Один из них захлопнул дверцу, подошел к кабине, где уже сидел другой, достал сигарету, прикурил, заслонив жесткой согнутой ладонью скривленные губы, сел рядом с шофером, сказал: «Порядок»,— и фургон быстро уехал. Полицейские смотрели ему вслед. Потом они поговорили немного, посмеялись, вполголоса обсудили дела, развлечения, планы на будущее, попрощались и разошлись: двое — вверх по улице к тускло тлевшему мертвенному зареву и трое — в другую сторону, где было темнее, тише, безлюдней и огни менялись, вспыхивая то красным, то желтым, то зеленым.

Таксист-шутник, предлагавший свои услуги покойнику, круто повернулся к товарищам с таким видом, как будто что-то кончилось, и, насмешливо приговаривая: «А ну давай, парень! Давай!» — начал резко и быстро боксировать с другим шофером. Потом таксисты ушли к цепочке своих блестящих безмолвных машин, жестикулируя, рассуждая, споря и смеясь резкими глумливыми голосами.

И опять, посмотрев наверх, я увидел бессмертное небо, звездную пучину ночи и услышал корабли на реке. И сразу ощутил огромный прилив здоровья, крепкой радостной надежды, и подобно человеку, который понимает, что сходит с ума от жажды, но видит настоящие реки на краю пустыни, я понял, что не задохнусь, не околею, как бешеный пес, в сумраке тоннеля. Я понял, что снова увижу свет и узнаю новые берега, приду в незнакомые гавани, снова, как прежде, увижу новые земли и новое утро.

Поэтому, вечные спутники — гордая Смерть, суровое Одиночество и Сон, в чьей семье я буду жить до конца дней,— из страсти и сути моей жизни я сложил вам такую хвалу:

Тебе, гордая Смерть, величаво восседающей на челе маленького человека,— тебе первой! Гордая Смерть, гордая Смерть, которую я видел и ночью, и в другое время,— и каждый раз, когда ты приходила к безвестным людям, разве к чему-нибудь прикасалась ты без любви и жалости, Смерть? Гордая Смерть, где бы мы ни видели твое лицо, ты приходила с любовью, жалостью и милосердием и выносила нам свой мягкий приговор — прощала нас и освобождала. Не ты ли возвращаешь

из ссылки безысходные жизни людей, нигде не нашедших дома? Не ты ли отворяешь свою черную дверь тем из нас, перед кем нигде не открывались двери, и даешь приют нам — бесприютным, бездомным, неутоленным, вечно гонимым по улицам жизни? Не ты ли предлагаешь нам свою горькую чашу, Смерть, чтобы утолить жажду, рождавшую безумие от питья, которым ее заливали, и даешь всем нам цель, которую мы искали и не нашли, уверенность, мир, которых домогались наши перегруженные сердца, и кладешь в своем темном доме конец муке странствий и тревоге, которая гонит нас, как овод? Гордая Смерть, гордая Смерть, не за славу, что добавляешь ты к славе короля, не за честь, которой увенчиваешь доблести великих людей, не за магическую силу, влагаемую тобой в уста гения,— но потому, Смерть, что с такой славой уводишь нас, не вкусивших славы, с такой гордостью и почетом, нас, чья жизнь была безвестна и незаметна, потому что совершаешь над всеми нами — безымянными, безликими, безгласными атомами земли — свое страшное помазание величием, потому что я видел и знал тебя так близко и жил так долго наедине с Одиночеством, твоим братом,— я не боюсь тебя больше, подруга, и слагаю тебе хвалу.

А пока — опять земля и Одиночество навеки! Темный брат и суровый друг, неизгладимый лик тьмы и ночи, с кем я провел половину жизни и кому присягаю в верности до самой смерти,— чего мне страшиться, пока ты со мной? Героический друг, единокровный брат гордой Смерти, темный товарищ — разве не вместе исходили мы миллионы улиц, не вместе шагали по широким и буйным проспектам ночи, плыли через бурные моря, ступали на неведомые земли и вновь брели по континенту ночи, слушая молчание земли?

Разве не были мы храбры и честны, друг, когда оставались одни, разве не изведали славы, торжества и радости на этой земле — и не изведаю ли я вновь, если ты вернешься ко мне? Приди ко мне, брат, в ночных моих бдениях, приди в потаенной глухой темноте, приди, как всегда приходил, и верни мне прежнюю несокрушимую силу, неугасимую надежду, буйную радость и веру в себя, чтобы вновь штурмовать бастионы земли.

Приди ко мне полями ночи, милый друг, примчись с конями твоего брата, Сна, и мы опять будем внимать молчанию земли, будем слушать, как стучат сердца спящих, когда с мягким рокотом копыт темные кони Сна несутся над землею.

Они летят! Корабли зовут! Копыта ночи, кони великого Сна несутся под гривами мрака. И вечно бегут реки. Глубокие, как потоки Сна, бегут реки. Мы зовем!

Летят! Летят громадные темные кони! С мягким рокотом копыт приближаются они, скачут, скачут по земле темные кони Сна.

О, мягко, мягко скачут по земле громадные кони Сна. Большие летучие мыши реют над нами. Потоки Сна затопляют страну, в потоках Сна и времени движутся невиданные рыбы.

Ибо Сон заволок изнуренные лица дня, и в ночи, во тьме, в сонном молчании городов черты десяти миллионов людей странны и загадочны, как время. Во Сне мы лежим нагие и одинокие, мы соединены в самом сердце тьмы и ночи, и мы странны и прекрасны во Сне; ибо мы умираем в темноте и не знаем смерти — нет смерти, нет жизни, нет радости, нет горя, нет славы на земле — только Сон.

Приди, кроткий прекрасный Сон и затопи страну своим приливом. О, сын незапамятного желания, брат Смерти и моего сурового друга, Одиночества, приносящий мир и темное забытье, целитель и избави-

тель, великий чародей, услышь нас: приди к нам полями ночи через равнины и реки вечносущей земли и пролей на воспаленное вещество мира, на ярость, боль и безумие нашей жизни свой прохладный бальзам избавления. Замуруй окно нашей памяти, тихо, ласково отыми у нас наши жизни, погаси видение ушедшей любви, ушедших дней, утоли нашу исконную жажду — великий Преобразователь, исцели нас!

О, мягко, мягко скачут по земле громадные темные кони Сна. Потоки Сна омывают сердца людей, они струятся, как реки, ночью, в полноте и обилии своей темной бездонной силы заливают миллионы ложбин суши и берега всей земли. Неумолимо и мощно затопляет половодье Сна ночной материк, необъятные просторы бессмертной земли, пока сердца всех людей не сбросят своего жестокого бремени и каждая грудь, испускавшая вздох труда и муки, не успокоится, не исцелится, побежденная чарами темного, немого, всепоглощающего Сна.

Сон падает, как темнота, на землю, он наполняет сердца девяноста миллионов людей, как колдовство, он витает в горах и шагает, как ночь и мрак, по равнинам и рекам — и вот уже низко в низинах и высоко на холмах только ласковый Сон струится, плавно скользящий Сон... Сон... Сон... Сон.

В американской литературе XX века нам открывается еще одно имя, занимающее место по достоинству рядом с Хемингуэем, Фолкнером и Скоттом Фицджеральдом,— Томас Вулф (1900—1938). Вулф моложе этих, нам хорошо известных, американцев, и ушел он раньше их. Писать он начал с мальчишеских лет, и слава пришла к нему так быстро, что романист-ветеран Синклер Льюис назвал его «младенцем». Однако как раз о нем Льюис говорил тогда в нобелевской речи 1930 года, с особенной надеждой — «может стать крупнейшим американским писателем». К тому времени у Вулфа был опубликован только один роман, но в первой книге усмотрели залог «большой книги». Страна может получить, говорил Синклер Льюис, писателя по себе, по своим размерам. Он видел нечто символическое и в романе, и в судьбе, и даже в фигуре Вулфа. Однажды глубокой ночью Синклер Льюис разбудил Вулфа телефонным звонком: «Приезжай ко мне немедленно». Вулф явился. У Льюиса был гость, которому хозяин сказал, указывая на вошедшего: «Посмотри, какой он огромный!» Только за этим его и позвали. Казалось, сама история вызвала его к жизни в точности таким и — вместе с новым веком. И Томас Вулф, в меру предназначения, не теряя времени, как только ему исполнилось девятнадцать лет, усаживается за роман и пишет, непрерывно пишет, так, словно «большая книга» давно заключена в нем, подготовлена нацией, которая теперь ждет от него исполнения надежды, составляющей часть всей «американской мечты»: создание эпоса современной Америки.

Не без ревности взглянули на него старшие сверстники, уже заявившие о себе. «О чем писать?» — вопрос, занимавший их, для этого ребенка-гиганта вовсе не существовал. Что знал он? Что успел накопить? Ничего чрезвычайного, он всего-навсего родился на американском Востоке, в глухой провинции, в семье резчика по камню, владевшего мастерской с вывеской «Надгробия и памятники. Цемент и штукатурка»,— и этого было достаточно на целый роман. Конечно, к такому роману подошли общими усилиями: американскую провинцию как литературу давно уже открыл Марк Твен, а в 1919 году вышла книжка рассказов Шервуда Андерсона «Уайнсбург, Огайо», непосредственно проложившая путь поколению Хемингуэя — Вулфа. Оставалось написать эпически-локальный роман одноэтажной Америки; книги Твена были все-таки подвижными, держались «приключениями»: материала маленького городка не хватало; у Шервуда Андерсона же достало сил охватить быт заштатного Среднего Запада циклом рассказов. По примеру Андерсона цикл рассказов «У нас в Мичигане» начал Хемингуэй, однако вскоре отклонился в сторону, не находя почему-то в своем краю основы для «большой книги»; по совету Андерсона, Фолкнер взялся за семейно-местную эпопею американского Юга. Тут к общему литературному столу — позднее всех, уже разместившихся и с удвоенной силой готовый наверстать упущенное — явился Томас Вулф, претендуя на долю и место по своим, так сказать, аппетитам.

«Выдержать его было очень трудно,— вспоминал известный писатель-коммунист Майкл Голд.— Он мог вместить неимоверное количество еды и питья, и однажды я чуть было не умер, ибо он, насильственно пичкая меня целый день пищей материальной, добивался от меня пищи духовной, выпытывая, что же такое социализм!» Дрогнул в свое время и редактор при виде рукописи Томаса Вулфа, поразили-

тельной по громадности и вообще «бесформенности», однако взялся читать гору бумаги и понял, что печатать это надо во что бы то ни стало.

Зрелость сразу приковала бывалого литератора к рукописи Вулфа. Молодой автор писал о себе, о родном городе и семье, но рассматривал все будто через перевернутый бинокль: смотрит на себя издалека и видит отчетливо в масштабе целой страны. Он не просто рассказывает, а сама история — семьи и страны — сказывается в нем. Рукопись пришлось сократить. Приходилось делать то же и с прочими рукописями Вулфа, однако сокращенные куски не исчезали вовсе: выпадая из одного романа, они становились повестями или рассказами, потом, еще раз переработанные, попадали в следующий роман. Рукопись перерастала в рукопись: всю жизнь Вулф писал, в сущности, одну книгу, решая проблему, обозначенную заглавиями первого его романа и последнего, изданного уже посмертно,— «Оглянись на отчий дом, ангел» и «Домой не вернешься».

Две повести — «Паутина земли» (1932) и «Смерть—гордая сестра» (1935)—о том же, они отвечают на тот же вопрос: почему стремился и не мог вернуться «домой» Томас Вулф? Критики шутили, что вернуться в родные места Вулфу было затруднительно после того, как он описывал, да еще не очень привлекательно, родственников и соседей. Что ж, сперва земляки были в самом деле недовольны, позднее, однако, отношения прояснились, а все-таки, несмотря на триумфальный прием, который ему устроили в родном Ашвилле (штат Северная Каролина) после десятилетней ссоры и за год до внезапной кончины (воспаление мозга), Вулф так и не смог завершить символически им начатого «возвращения домой». Отчий дом, родина, большая и малая, как эпическая основа, на которой с такой уверенностью поднялся и зашагал этот огромный парень из Северной Каролины, вдруг заколебались у него под ногами. Для «большой книги» ему в этой почве не хватало чего-то существенного. Чего же? И что означает это стремление «домой»?

И почему, спросим далее, в «Паутине земли» так часто говорится о веревке? «Болтаться им на веревке... По этим каинам веревка плачет...» Откуда это? Ведь тут не просто веревка, а история, давняя история, какой-то исторически-наследственный отзвук, но — чего? Где еще в литературе слышали мы о висельной веревке? Это Дефо, один из любимых авторов Вулфа. Песни Ньюгейтской тюрьмы в Лондоне, куда заключен был одно время будущий создатель «Робинзона Крузо», и там-то жуткие голоса горланили: «Если придется висеть на веревке, славный услышу трезвон!» При чем же здесь Ньюгейтская тюрьма, Лондон и вообще Англия XVIII столетия? Тогда спросим: а Соединенные Штаты откуда?

Знаменитая авантюристка Молль Флендерс, о которой Дефо также написал, побывала в Америке и рассказывает: преступники, высланные из Англии или чудом избежавшие виселицы, попадают в американские колонии и там сначала работают на хозяина, со временем, при усердии, сами становятся хозяевами и даже делаются «большими людьми». «У мировых судей,— рассказывала Молль Флендерс про Америку,— офицеров милиции и членов городского правления руки заклеймены каленым железом». И вот, лет через сто после того, как все эти удивительные превращения видела героиня Дефо, колонии выросли в самостоятельное государство, отвоевали у Старого Света независимость, стали страной — Америкой.

Не беглые же каторжники создали Америку! Разумеется, нет, туда отправлялись и люди достойные, очень достойные и даже выдающиеся, а все-таки в одном они похожи на тех же висельников: ехали они в Америку с надеждой в Новом Свете начать новую жизнь. А ведь каждый имел на себе нестираемое клеймо — воспитания, судьбы, расы, в самом деле, наконец, каленого железа или же веревки: сорвался из петли, ну помиловали и — отправили за океан, чтобы там стал человеком. «Господи! Странный был человек, дикий, бешеный человек; порою кажется, никогда его не пойму: где-то в нем бес сидел, что-то дикое и чужое, чего нам никогда не понять... что он вытворял, что он говорил, это было свыше моих сил, и так мне бывало горько» — это слышит герой «Паутины земли» о своем отце от матери. Она называет варваром человека, который, не понимая сам себя (тоже «бес в нем сидел»), убил восемнадцать не имевших к нему никакого отношения человек или даже больше. И она же советует другому убийце: «Уезжай куда-нибудь, начни новую жизнь...» И все та же старая американка рассказывает еще об одном злодее: «Был слух, что он осел в Канзасе, женился снова, детей наплодил и живет там по сей день, сударь, зажиточным и всеми уважаемым человеком». Но главное в том, что именно она, наблюдая в каждой такой судьбе миниатюру американской истории и питая все ту же «американскую мечту», твердит: «Тут что-то есть, есть что-то,— говорю,— нам непонятное».

«Что-то» заключает по меньшей мере проблемы Старого Света, вообще старые проблемы: «американская мечта» предполагала, что, поселившись на новом месте, от прежних пороков отделались, что все это осталось по ту сторону Атлантики. А проблемы настигли американцев бумерангом, рикошетом, с удвоенной силой, с отдачей, мстя, как всегда мстят проблемы, тем сильнее, чем дольше отказываются их признавать. Первый сигнал бедствия прозвучал еще в 60-х годах прошлого века со страниц романа Германа Мелвила «Моби Дик, или Белый кит». Книга поражения и отчаяния осталась в свое время незамеченной, и это понятно, если вспомнить, что она появилась в одну пору с произведениями, полными оптимистического энтузиаз-

ма: «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, «Листья травы» Уитмена и в особенности «Хижина дяди Тома» Бичер Стоу, послужившая, по крылатому выражению Линкольна, поводом к войне за уничтожение негритянского рабства. Казалось, вот-вот будет покончено и с этой скверной. Следующим внушительным голосом, бившим тревогу, был Генри Джеймс, у нас вовсе не известный и в Америке долго оставававшийся в тени, прежде всего из-за своего высокомерия во взгляде на демократизм, считавшийся отличительной чертой американцев. Джеймс ведь почти и не жил в Америке, им совершено своего рода «закрытие Америки»: он переселился в Европу, что означало символический возврат к «старой родине». За ним потянулись многие, отчасти тот же путь проделал позднее и Хемингуэй. Наконец, в один и тот же год, 1925-й, появились два романа, вошедшие в современную классику: это хорошо нам знакомая «Американская трагедия» Драйзера и «Великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда, сделавшийся у нас известным сравнительно недавно. Противоположные по манере, книги эти выражали все ту же тревогу, обозначенную иронической фразой Синклера Льюиса: «У нас это невозможно». Иначе говоря: где угодно, только у нас такого не будет; а между тем на каждом шагу — кричащие контрасты, кровавые столкновения, неразрешимые сложности.

Конечно, проблемы, над которыми бьется Америка сегодня, вызрели не сразу, не вдруг сделались проблемами, но ведь на то и подлинное писательство — пульс правды, чтобы чувствовать заблаговременно, видеть издалека, обнаружить по приметам, которые еще не поддаются статистическому или социальному определению. О такой глубокой писательской позиции Тургенев говорил, что, принимаясь писать, он даже намека не встречал в общественном мнении или печати на то, что ему «чудилось повсюду». В нелепостях быта, в причудах поведения, в характерах-гротесках разглядел облик страны Шервуд Андерсон, благоговевший, кстати, перед Тургеневым. Хотя площадкой наблюдения и повествования служил Андерсону всего-навсего едва заметный городишко на Среднем Западе, но прочли и признали — Америка! На свой страх и риск писателем была выявлена правда, которую следом за Андерсоном разрабатывало целое литературное поколение, в том числе Томас Вулф. У него тоже странные люди, испытывающие странные толчки изнутри («бес какой-то») или извне («тут что-то есть»), не способные чаще всего выразить это определяющими словами, но от них этого и не нужно, они собой цельно выражают явления, которые дозреют, разрастутся и получат «имя действия» — угроза фашизма, волна насилия и жестокости, молодежный бунт, «черная революция».

Персонажами Вулфа постоянно владеет чувство, пронизывающее и вторую из повестей: «Смерть — гордая сестра». Только теперь этому подыскивается обозначение — что-то вроде страха пустоты, особенно по контрасту с материальным просперити. Завоеванные, заселенные, застроенные пространства нового континента так и остались в сознании пустотами — таков душевный кризис героев Вулфа. Пока «пионерствовали», пока боролись за Америку и строили ее, этого еще не чувствовалось. Итоги исторических процессов накоротке и не проверяются; нужно время, дистанция во времени, чтобы увидеть их. И вот, когда национальная история американцев насчитывала более двухсот лет, коренной, казалось бы, американец вдруг поймал в себе беспокойство: «Оглянись!» Оглянулся — нет того, что называется «отчим домом», иными словами: основы нет! Все та же эмигрантская бесприютность, прерия, скалистые отмели Гудзона, хотя отмели, степи и горы давно обросли небоскребами, образцовыми шоссе, автомобилями, новейшим комфортом. Однако автомобили и вообще комфорт разве что подчеркивают нехватку еще чего-то, что ни сработать, ни купить невозможно. Отсюда сквозная тема американской литературы — «мальчишество», вначале еще полное надежд, но у Вулфа и его поколения уже ощущаемое тяжелым бременем. Отсюда настойчивые поиски «дома», которые уводят часто обратно через океан.

Так из романа в повесть, из повести в повесть и опять — в роман развертывается у Томаса Вулфа эта тема поисков «отчего дома» и невозможности его найти: американец ищет в себе Америку. С удивительным единством группируются большие и малые по объему произведения Вулфа вокруг этой темы: любое из них все о том же... Каждую из его вещей можно взять, как берут почву или горную породу на пробу, чтобы увидеть все те же кристаллы и частицы.

Незадолго перед смертью Томас Вулф совершил в прямом смысле паломничество «домой» — в Германию, куда вели его семейные корни по отцовской линии. На Олимпийских играх 1936 года, проходивших в Берлине, Гитлер из своей ложи внимательно присмотрелся, кто же это возле американского посла так неистово приветствует финиш «черной пули» — Джесси Оуэна? То был Вулф. В Германии он уже бывал дважды до этого и каждый раз уезжал со все более тяжелым чувством. Когда-то он даже отметил себе, чем его может интересовать нацизм. Он видел экономическое оживление, слышал о «национальном возрождении». Но то были лозунги, а когда с каждым новым приездом Вулф своими глазами убеждался в практике гитлеризма, он ловил себя на том, что «коричневая чума» отвращает его даже от самой Германии. Он сблизился с немцами, поклонился дому Гёте, однако не только демонстративным приветствием чемпиону-негру, которого, как известно, хотели вовсе дисквалифицировать, выразил Томас Вулф свое расхождение с гитлеровской Германией. Вернувшись

в Америку, он изложил свое мнение в печати, его осуждение фашизма было безоговорочным.

Но, как сказал поэт, достаточно заглянуть в бездну, чтобы на тебе остался ее зловещий отсвет: пристальный интерес Вулфа к Германии как раз в то время, когда там забирал власть фашизм, дал повод насторожиться и упрекнуть самого Вулфа, скажем, в националистических предрассудках. Это задержало и наше знакомство с Вулфом. Теперь, когда его наследие раскрыто целиком и во весь рост вырисовывается фигура «американского Гулливера», можно понять, как зрели взгляды Вулфа.

Расовые предрассудки, которые у него действительно имелись, однако не постоянно, входили в программу «возвращения домой» как один из способов самоопределения. Способ ущербный, конечно. Демонстративно объявляя себя американцем, Вулф спешил сказать, кто же, по его мнению, не американец, недостаточно американец, никудышный американец. В поисках истинной Америки провинциал Томас Вулф начинал ревновать Америку к Нью-Йорку, и точно так же он, не чувствуя в себе для «возвращения домой» достаточно прочной и глубокой традиции, поскрипывал зубами при виде «недостаточно-американцев».

Правда, в обостренном внимании Вулфа к тем же расовым проблемам Америки содержалось и полемическое сопротивление либерально-сентиментальному взгляду, который проблемы больные и сложные как бы и не замечает. Нет, Вулф видел и старался исследовать эту общеамериканскую боль. Буквально в последние месяцы жизни, в особенности под впечатлением от последней поездки в фашистскую Германию, он многое пересматривает и призывает соотечественников к бдительному самоконтролю во имя гуманизма.

Девизом своей деятельности Вулф считал слова, почерпнутые им из книги, которая была с ним постоянно: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома» («Братья Карамазовы»). Толковал он эту мысль для себя расширительно, стараясь через свою личную память раскрыть историческую память американцев. Вулф искал и лелеял воспоминания приятные, на них покоится его оптимизм, звучащий и в этих двух повестях. Однако у него хватало мужества обратиться к памяти мрачной, тягостной и взглянуть ей в глаза как правде.

Иногда, впрочем, у Вулфа появляется налет мистицизма, например, на последних страницах повести «Смерть — гордая сестра». Все же односложно называть Вулфа «мистиком», как это получается нередко у его американских биографов,— нельзя. Он сам в последней записной книжке хорошо объяснил некоторую туманность своей позиции как форму самозащиты, как проявление растерянности перед грандиозностью встающих проблем. И все-таки любой ценой он хотел подойти к фундаментальным проблемам, если и не решить их. Об этой черте Вулфа чеканно сказал Уильям Фолкнер, причем надо учесть честолюбие литературных сверстников Вулфа, чтобы вполне оценить силу этого признания. «Среди моих современников,— говорил Фолкнер,— я поставил бы Вулфа на первое место, ибо хотя мы все потерпели неудачу, неудача Вулфа была лучшей, потому что он совершил труднейшую попытку сказать наибольшее».

Д. УРНОВ

Критика

В. ИВАШЕВА

ТРИ НОВЫХ ИМЕНИ

(Движение молодых и английская литература 60-х годов)

Все страны монополистического капитализма охватило сегодня движение протеста молодежи. Оно вспыхнуло во Франции весной 1968 года, оно уже ряд лет набирает силу в Италии и ФРГ. Оно бурно взметнулось сравнительно недавно в США. Выявилось оно года три назад и в Англии, а сегодня о мятежной молодежи английские газеты самых разных толков и направлений пишут на первых полосах.

Английская молодежь, бунтовавшая уже в начале истекшего десятилетия — преимущественно против лицемерия и затхлой духовной жизни общества «всеобщего благосостояния», стандартизации жизни и угнетения личности,— сегодня восстает уже против самой системы. Здесь, как и во всех странах Запада, движение молодежного (главным образом студенческого) протеста далеко не однородно, и все же в основе выступлений последних лет лежит глубокое недовольство существующими порядками.

Англия не была еще свидетельницей таких выступлений молодежи, как те, что разыгрались весной 1968 года во Франции, но движение молодых здесь активизировалось именно после этих событий и, возможно, не без их влияния. Хотя оно до сих пор лишено позитивной программы и в большой мере анархично, молодежное движение в Англии не на шутку уже испугало правящие классы и органы порядка. Один за другим проходили в последние годы судебные процессы над студентами, арестованными во время массовых демонстраций и волнений в университетах и привлеченными к ответственности по закону «о нарушении общественного спокойствия» и о «бунтах» [1]. Политика нового консервативного правительства, с одной стороны, невиданный за много лет подъем забастовочного движения британских рабочих, начавшийся с 1970 года, с другой, оказывают влияние на настроения молодежи. И британское движение молодых далеко не сказало еще последнего слова.

В свое время вся Англия заговорила о тинэйджерах — подростках, добивавшихся самостоятельности. Их вызов выразился преимущественно в эпатаже обывателя — новой одежде, длинных волосах и бородах. Очень скоро общество «всеобщего благосостояния» интегрировало их бунт, сделав его предметом доходного бизнеса. Породив целую индустрию, работающую на них — индустрию мод, индустрию грампластинок и поп-искусства,— тинэйджеры, разумеется, не создали своей литературы, не выдвинули своих писателей и поэтов. Заговорили о них писатели старшего поколения — Макиннес («Абсолютные новички»), Лесли Стюарт («В моем одиночестве»), Сид Чаплин («День сардины»), Дж. Уэйн («Убей отца»). Все лучшие книги о тинэйджерах были написаны теми, кого сами тинэйджеры пренебрежительно величали «предками» и «ископаемыми». Не дали своей литературы и хиппи, заявившие о себе к середине 60-х годов. Не дали и не хотели дать. Их выражением в искусстве были поп-песня, поп-музыка, новый джаз...

В студенческих демонстрациях и выступлениях 1968—1970 годов молодой бунтарь не просто повзрослел — повзрослели и лозунги, под которыми проходили эти выступления. Дальнейшее взросление шло и идет очень быстро.

[1] Насколько глубоко охватившее молодежь недовольство и как серьезно воспринимается правящими кругами бунт молодых, с большой убедительностью показал Чарльз Сноу в своей книге «Завершения» (1970).

Движение молодых не породило, а может быть, и не могло еще породить своей литературы. Но если нельзя говорить о литературе молодежного движения в Англии, то было бы неосновательно обойти молчанием трех писателей, отражающих — каждый по-своему и на свой лад — тот внутренний механизм, который приводил в движение бунтарскую молодежь, определял разные пути, по которым пошло ее недовольство, а потом и возмущение. Это писатели очень разные и по творческому почерку, и по теме, но в чем-то сходные, что и позволяет говорить о них, сопоставляя и сближая их между собой: Маргарет Дрэббл, Джулиан Митчелл и Пиейрс Поль Рид принадлежат одному поколению.

В Англии, как и в других странах Запада, «бунт молодых» — это отнюдь не конфликт поколений. Это одно из выражений кризиса современного буржуазного общества. Как бы силен ни был накал страстей в молодежном движении, для него характерна, однако, пока огромная путаница взглядов и восприятий: «бунтующие» молодые — и англичане здесь не исключение — имеют чаще всего искаженное представление о жизни стран социализма, получаемое из разных источников массовой информации — газет, радио, телевидения, кино, а также из книг их пророка и наставника Герберта Маркузе.

Названные выше молодые английские писатели — в разной мере и по-разному — отразили и кризис буржуазной культуры, и протест против монополистического капитализма, передали внутренний мир смятенного и ищущего молодого англичанина, стоящего на перекрестке исторических дорог. В этом их связь с молодежным протестом 60-х годов и в других странах Запада.

1. Молодая Англия и викторианские табу

Одним из самых популярных у английской молодежи писателей стала во второй половине 60-х годов М. Дрэббл, дебютировавшая в 1963 году романом «Летняя клетка для птиц». Ни в этой книге, ни в двух последующих — «Жернов» (1966) и «Год Гаррика» (1967) — не было как будто ничего особенно нового и оригинального. Мастерство художественного проникновения в дебри внутреннего мира, тонкое живописание противоречивых эмоций? Но в английской прозе нашего времени немало тонких мастеров психологического анализа! Очень молодая героиня. Ее интимные проблемы: любовь, любовные конфликты («Год Гаррика»), внебрачный ребенок («Жернов»), обычные — и не совсем обычные — треугольники... Чем, казалось бы, все это отличалось от десятков и сотен романов «малой темы» в Англии и за ее пределами? Но все не так просто...

Созданное Дрэббл может быть верно оценено — даже просто понято — лишь при условии учета национально-исторических корней, из которых вырастает содержание ее книг. Для нашего читателя понять Дрэббл — это бросить взгляд в глубь исторического прошлого. Для любого англичанина это прошлое живет и ныне и не требует ни комментария, ни исторических справок.

«Когда образованный иностранец переезжал в середине нашего столетия на жительство в Англию,— писал Ф. Энгельс в 1892 г.,— то более всего его поражали... религиозное ханжество и тупость английского респектабельного среднего класса» [1]. Впрочем, объяснял он тут же, этот средний класс был «совсем не так уж туп, как это казалось интеллигентному иностранцу» [2]: его религиозность имела, пояснял Энгельс, вполне ощутимое практическое основание.

В свое время знаменитый компромисс, на который пошла английская буржуазия в результате революции 1689 года, получившей название «Славной», определил не только политику, но и нравы англичан на два с лишним столетия. Английские буржуа, фактически бывшие уже хозяевами страны, но уступившие политическую власть аристократии, стремились во всем подражать ей и быть «респектабельными». Это не мешало, впрочем, буржуазии сохранить верность тому пуританству, «под знаменем которого она победила короля и лордов».

Идеология пуританства, сложившаяся еще до «великого мятежа» (так назвали англичане — что тоже характерно — свою революцию XVII века), оказалась на редкость цепкой.

«Он (то есть купец и фабрикант.— *В. И.*) сам был религиозным... он открыл в этой религии также средство для того, чтобы обрабатывать сознание своих естественных подданных и делать их послушными приказам хозяев, которых поставил над ними неисповедимый промысел божий» [3]. Влияние этой идеологии не ослабевало и в XVIII веке, и на протяжении всего XIX и определило образ мыслей и жизни, поведение, моральные нормы и запреты, ставшие обязательными на правах неписаных законов.

После смерти королевы Виктории викторианские «way of life» и, добавим, «way of thought» (образ жизни и образ мыслей) модифицировались медленно. Бунт против них начала английская молодежь поколения, получившего, без должного основания, кличку поколения битников.

Молодежь 60-х годов протестовала против «викторианства» всем своим поведением, образом жизни, отношением к родителям и «старшим», всем своим обликом, одеждой, бросающей вызов ханжеской «респектабельности». Вызовом викторианским табу были и нравы молодежи, та новая свобода выражения чувств, которая не меньше длинных волос ужасала консервативно мыслящих англичан.

В первых трех романах Дрэббл (в одном интервью она сама, смеясь, назвала их

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, М., 1962, стр. 301—302.
[2] Там же, стр. 306.
[3] Там же, стр. 310.

В. ИВАШЕВА
ТРИ НОВЫХ ИМЕНИ

«жидкими», thin) этот бунт еще не звучит прямо, но при внимательном прочтении книг все же ощутим. Он обнаруживается здесь скорее в трактовке конфликтов, чем в самих конфликтах: так в «Жернове» молодая героиня, ставшая матерью, скрывает от отца ребенка даже самый факт его отцовства. Ситуация может казаться натянутой и даже неубедительной, а конфликт банальным. Но дело не в ситуации, а в том значении, которое ей придает автор.

В спокойном самоутверждении молодой героини, которое проходит с первой страницы романа до последней, прослушивается протест против привычных норм поведения и морали, притом не истеричный вызов Уинтерборна, далеко не свободного от всего того, что он яростно проклинал («Смерть героя» Олдингтона), не метание Ламли («Спеши вниз» Уэйна), а полный достоинства рассказ от лица человека, уверенного в своем праве жить «не по правилам».

Открытый бой ненавистной викторианской этике и викторианскому образу жизни Дрэббл дала в «Иерусалиме золотом».

Дрэббл не претендует в этой книге на широкое изображение современной жизни. Если можно говорить о сюжете романа подчеркнуто хроникального, то сюжет этот концентрируется вокруг одного отрезка жизни героини — Клары Моэм.

«Иерусалим золотой» — программный роман. Название книги расшифровывается во второй ее главе: томясь по жизни прекрасной и радостной, которую она не видит нигде вокруг себя, но угадывает как возможную, маленькая Клара вкладывает свои детские и совершенно неясные мечты о лучшей жизни в полюбившееся ей церковное песнопение «Иерусалим мой золотой». Когда Клара, наконец, добивается эмансипации (она покидает провинциальный городок и дом и становится студенткой в столице), ее поиски идут преимущественно в плане эмоциональном, интимно личном.

Сюжет может казаться камерным, вместе с тем он приобретает значительность, и не только благодаря мастерству автора.

Как и вся западная интеллигенция последних поколений, со студенческих лет знакомая с «мифологией» и терминологией Фрейда, Дрэббл много говорит в романе о «комплексе вины» (guilt) и его преодолении, рассказывая о нелегком, медленном освобождении героини от моральных и житейских табу, ревниво охраняемых ее матерью — миссис Моэм. Финал книги символичен: покидая умирающую в больнице мать, Клара предоставляет мертвецам хоронить своих мертвецов.

Девушек, подобных Кларе Моэм, в современной Англии тысячи. Эпизод ее любовной встречи и связи с Габриэлем — также одна из тысяч подобных встреч, описанных в литературе современного Запада [1]. В «Иерусалиме золотом» Дрэббл не склонна к детализации эротического опыта своих героев. Если читатель и задает себе вопрос, как сложатся в дальнейшем отношения Клары и Габриэля, то преимущественно в связи с другой проблемой: насколько окончателен разрыв Клары с прошлым, насколько ей действительно удастся освободиться от цепкой хватки этого прошлого.

Изображая рядом с семьей Моэмов эксцентричное, но поражающее своим единством семейство Дэнемов, Дрэббл подчеркивает, что она рисует не конфликт поколений: поэт Дэнем и его жена Кандида Грей — известная писательница — живут в полном согласии между собой и со своими многочисленными детьми (Клелией, Габриэлем, Магнусом и Аннунциатой). Основа их взаимной симпатии и связи — отсутствие какой-либо фальши, какого-либо лицемерия в доме Дэнемов.

В образе миссис Моэм — жены скромного служащего, живущей в маленьком доме на окраине провинциального города, есть нечто такое, чего не было в образах, созданных классиками XIX века. Сила его не столько в мастерстве типизации, сколько в тех современных и очень актуальных акцентах, которые умело расставлены писательницей.

Миссис Моэм не просто суха, скупа и бездушна. Для нее эта скупость так же принципиальна, как принципиально все ее унылое, безрадостное существование, построенное на основе философии пользы. Бережливость в сочетании с соблюдением приличий проявляется в доме Моэмов во всем, начиная от школы для Клары (самой дешевой в городе) и кончая выбором гроба для мужа (приличного, но недорогого). Унылая, суровая, почти устрашающая бережливость — пуританский thrift... Тем более поражающая, что чаще всего она не оправдана ни нуждой, ни необходимостью.

Само бездушие миссис Моэм возведено ею в принцип. Она не любит никого: человеческое сочувствие, не говоря о любви,— слишком большая роскошь, не предусмотренная кодексом утилитарной морали. Миссис Моэм не любит своих детей. Тем более не любит мужа — хотя до конца его дней «выполняет свой долг». Правда, в самом конце романа мы узнаем, что отсутствие каких-либо чувств не было у этой женщины врожденным. Но утрата способности чувствовать в браке-долге — весьма удачно найденная Дрэббл деталь типического портрета.

Отец Клары, нарисованный бегло,— человек, рано махнувший на все рукой и позабывший о возможности житейских радостей. Он мирится с неизбежным и тоже «выполняет свой долг» или, точнее, быть может, свою часть брачного контракта... Возвращаясь с его похорон, обставленных по всем правилам буржуазной респектабельности, но в то же время без лишних затрат, вдова произносит многозначительную фразу: «Ну, убрался. Не могу сказать, чтоб я об этом очень жалела».

Миссис Моэм ненавистны и подозритель-

[1] Замечу, что трактовка этого эпизода больше, чем что-либо в романе, может напомнить Ф. Саган. Даже образ Габриэля Дэнема отдаленно напоминает Люка из «Un certain sourire», но на этом сходство и кончается.

ны всякие проявления интеллекта. Получая неоспоримые доказательства способностей своей дочери, она негодует: «Откуда это у нее?! Может быть, от *него*? Во всяком случае, не от меня!» Хотя сама Моэм отнюдь не глупа. Откуда же эта неприязнь к интеллекту, это озлобленное недоверие ко всяким проявлениям недюжинности? «Из уважения к чему она растоптала в себе те дары, которыми когда-то владела?» И Дрэббл отвечает: «По всей вероятности, из уважения к определенному образу жизни».

Миссис Моэм, в отличие от своих предшественников, не верит в бога и не посещает церковь. В этом также ощущается модификация, внесенная в знакомый общественный тип XX веком. Но безразличие к делам духовным не мешает ей соблюдать нужные обряды, которые требует суверенная респектабельность и традиция. Она респектабельна до корней волос и кончиков пальцев. И именно поэтому в квартале, в котором она живет, ее никто не любит, но все уважают: миссис Моэм—образец того, как «надо» поступать и что «положено» делать по законам неписаного кодекса житейских приличий.

В доме Моэмов все безобразно и безвкусно, начиная от сервировки стола и неудобной, уродливой мебели и кончая одеждой, которую носят его обитатели. Воспитание, которое миссис Моэм дает своим детям, книги (их в доме немного) — «викторианские и по времени их издания, и по существу» — учат умеренности во всем, самоотречению и смирению. Кодекс мрачной морали отречения находит выражение в любимой поговорке миссис Моэм: «What cannot be cured must be endured» («Что нельзя исправить, то следует терпеть»).

Протест Клары против уродства ее «родного» дома показан Дрэббл весьма убедительно. Убедительна и ее ненависть к матери, которую она называет «проклятой старой садисткой и лицемеркой».

И все же разрыв происходит нелегко. Здесь опять Дрэббл верна правде. Еще ребенком, повторяя строки песнопения о «золотом Иерусалиме», Клара представляла себе не «хрустальные стены и золотые башни» небесного города, а земной рай, где «красивые люди в красивых домах говорят о красивых вещах». Она бунтует, не желая оставаться misfit — моральным уродцем.

Но даже вырвавшись из Нортэма, уже живя совсем другой жизнью, Клара говорит Габриэлю Дэнему о «связях, которые надо терпеть до самой смерти».

Была ли героиня Дрэббл свободна от преследовавшего ее многие годы чувства вины, когда согласилась по зову слепо любимого ею Габриэля покинуть умирающую мать? Вопрос этот в романе оставлен открытым, но важнее в нем, думается, изображение бунта жизни против смерти, любви и жизни против мертвых и бессмысленных запретов и табу. И отрицание «викторианства», бескомпромиссное и решительное.

Следующий роман Дрэббл, «Водопад» (пока последняя книга, написанная автором «Иерусалима золотого»),— значительно более сложный по замыслу, композиции и стилю,— снова обращен к главному для писательницы: конфликту молодой женщины с отжившим прошлым ради освобождения от власти предрассудков и застывших этических схем.

Содержание книги — захватившее Джейн непреодолимое чувство к Джеймсу Отфорду, которое ведет ее к протесту против того же викторианского «way of life», построенного на расчете, фальши и показных приличиях. Только чуточку больше снобизма и одной ступенькой выше на общественной лестнице...

«Они (родители Джейн) верили — или уверяли, что верят,— в бога английской церкви и во многое другое, столь же маловероятное и совершенно несовместимое: в моногамию, брак по любви, свободу воли, возможность умерять страсти, в добродетели разума и цивилизации. И я старалась верить во все эти истины,— пишет Дрэббл от лица Джейн,— потому что родители внушили мне представление, что, не веря в это, я совершила бы против них тяжелое преступление».

«Иерусалим золотой» — наиболее «открытый» из двух последних романов Дрэббл — по форме наиболее «традиционный». В «Водопаде» писательница пошла на различные формальные эксперименты, хотя и оставаясь в целом в рамках реализма или, может быть точнее, соскальзывая временами к натурализму. Если в предыдущих книгах эротические мотивы занимают сравнительно скромное место, то в «Водопаде», посвященном тщательному изображению психологии любовной страсти, «водопад» чувства, обрушившегося на Джейн Грей и Джеймса Отфорда — молодых людей, искалеченных (каждый на свой лад) воспитанием,— реакция на запреты и неудовлетворенность в личной жизни, своеобразная форма выражения протеста против все того же викторианства. Некоторые приемы писательницы интересны и оригинальны, в особенности стилизация повествования под прозу Остин, Бронте и Джордж Элиот, а местами пародирование их стиля, другие — несколько нарочиты.

«Водопад» воспринимается как произведение переходное. Сейчас трудно сказать, в каком направлении пойдет дальнейший поиск молодой писательницы.

2. Путешествие без карт и компаса

Джулиан Митчелл — писатель того же поколения, что и Дрэббл (ему сейчас 35 лет), но, в отличие от автора «Иерусалима золотого», душный и ханжеский плен викторианства для Митчелла уже не существует или если и существует, то лишь как атавизм, и он касается этого мотива редко, мимоходом. Сбросившие уже с себя груз прошлого, но не нашедшие пока никаких кон-

структивных идеалов, молодые люди с их исканиями, протестом, ощущением бездорожья и трагическим отчаянием, вытекающим из этого ощущения, в фокусе внимания Митчелла во всех его шести книгах. Молодым будет и герой задуманной им и только что начатой новой книги. Самостоятельность творческого почерка — при всей его изменчивости — становится очевидной в двух последних его романах: «Белый отец» (1966) и «Ненайденная страна» (1968).

Один английский рецензент романа «Тревожные влияния» (1965) совершенно справедливо писал: «Митчелл современен до мозга костей. Он будет большим художником». И действительно, Митчелла живо волнуют люди его времени и проблемы его времени, настойчиво ждущие решений. Он не перестает искать, и сложность этих поисков отражает очень стойкие противоречия его собственного сознания.

Среди персонажей «Белого отца», как всегда у Митчелла, есть молодой человек, хотя он и не является главной фигурой в романе. Чужой в доме своего отца — преуспевающего коммерсанта, участник нескольких политических демонстраций, привлекавшийся за это к судебной ответственности, беспрерывно ищущий, чуткий и очень ранимый, Эдуард Гилкрист — один из молодых людей, каких уже тогда, когда издавался роман, были тысячи во всех странах западного мира. Нет у него какой-либо программы, как не было в те годы у большинства бунтарей протестующих «новых левых».

Хотя Митчелл утверждает, что его интересуют не типы, а лишь характеры, в образе Эдуарда Гилкриста выступают все черты и даже приметы типа, сложившегося в 60-х годах Типичны и его речь, и манеры, и одежда, шокирующая родителей — конформистов и обывателей (опять викторианцы!), и его метания в поисках настоящего дела. В высказываниях Эдуарда часто слышна перекличка с героиней Дрэббл. «— Мои родители полагают,— говорит молодой Гилкрист в присутствии отца,— что мое предпочтение удобной одежды...— Замызганной! — прерывает его Гилкрист-старший,— ...мой мозг тоже должен быть... ну, скажем, «замызганным» (sloppy). Но мозг у меня превосходно работает, и если я вижу, насколько *они* замызганы... у них все слова, маскарад слов, никакой правды... Лучше уж ничего, чем эти усталые, старые басни, выступающие в маскараде буржуазной морали!»

Митчелл рисует Эдуарда мечущимся по жизни, очень одиноким, несмотря на видимость общения с другими подобными ему молодыми. «Они (то есть молодые люди.— *В. И.*) создали нечто похожее на культ отрешенности, морального нейтралитета,— говорит главному герою романа Шриву один из его бывших друзей Уэверби, чиновник Уайтхолла.— Они точно боятся во что-либо ввязаться. Они даже не так много и критикуют, но, кажется мне, ни во что не верят». Митчелл временами как бы прямо говорит от имени Эдуарда. Эдуард (за ним мог бы стоять сам Митчелл в начале 60-х годов), рассуждая о самом себе, говорит: «Кто ты? Если говорить о месте в обществе, то ты находишься среди одиночек — материально несостоятельных, огрубевших, бородатых. Если говорить о философии, то ты всегда искал только деструктивное, асоциальное. Ты не веришь ни во что, тебе ничто не дорого... Ты мог бы, конечно, делать нечто полезное. Полезное? Но для чего?..»

Эдуард — интересная фигура, хотя он и стоит на периферии романа. Характер книги определяет все же не он, а меткая, местами очень злая и чрезвычайно остроумная сатира на общественный строй и господствующие классы Англии. Роман написан если не под прямым влиянием Эвелина Во, то в очень близкой к нему манере.

Герой романа — неловкий, внешне несколько смешной отпрыск старой, хотя и не богатой британской фамилии (он тоже порой наводит на всяческие сопоставления с героями Во) — отнюдь не бунтарь и даже не реформатор. Маленький британский администратор в крошечной африканской колонии, он едет в Лондон, желая отстоять право на существование того племени, той горстки африканцев, отцом и покровителем которых себя считает (отсюда заглавие романа). Его подопечным угрожает ассимиляция, а в конечном итоге—уничтожение. Так начинается знакомство Шрива с теми, от кого зависит судьба его подопечных.

Сатира на чиновников Уайтхолла, на высший свет, оказывающий им поддержку, дает Митчеллу возможность показать распад Британской империи с ее былым колониальным могуществом.

Превосходно схвачен и характер нового «маленького человека» Мартина, служащего на предприятии Бракса. Коротко и выразительно переданы чаяния этого Мартина, делающего небольшую карьеру на предприятии американского образца. Холодея при виде своего шефа или слыша его голос, он угождает ему во всем, лишь бы удержаться на лестнице успеха. «Он был человеком скромных чаяний,— говорит автор.— Ему хотелось приобрести машину «бентли» кремового цвета с красной обивкой и собственными инициалами рядом с номером: Ф. М.—1. Он хотел черный «хамбер» для жены (Ф. М.— 2), «эстон-мартин» для сына (Ф. М.— 3) и что-нибудь совсем маленькое, но спортивное для дочери — «остин-купер»-мини может быть. Это был бы Ф. М.— 4. И еще был бы дом за городом — ну, скажем, в Хоршеме, вместо того, которым он владел сейчас в Ричмонде».

Достается и современной прессе. Митчелл иногда несколькими словами раскрывает цинизм владельцев газет и издательств, фикцию постоянно декларируемой свободы слова: «А я-то думал, что журналисты вечно ратуют за полную свободу слова!» Какова эта свобода, Шриву разъясняет Эдуард: «Все та же старая Англия, будь она проклята, разве что в новом колпаке. И разве не вошло уже в обычай, что владельцы газет диктуют всем свою политику?»

Система колониального владычества вызывает сарказм Митчелла: «— Зло берет, когда видишь, как нас сегодня выталкивают отовсюду,— громко возмущается м-р Гилкрист-старший, обращаясь к Шриву, у которого ищет сочувствия.— Возможно,— отвечает тот.— Но, право, не больше, чем мы это делали в свое время.— А где они были бы сейчас без нас? — Как вам сказать... владельцы копей сегодня, наверное, уже получили обратно свой вложенный ими некогда капитал, притом сторицей...» Мирно обсуждая дела в колонии со своим местным боссом Робинсоном, Шрив, за которым во многих случаях стоит сам автор, высказывает ту же мысль, притом полушутя-полусерьезно: «— Мы не берем с них (с африканцев.— *В. И.*) ни копейки, а они воображают, что мы здесь всего лишь циничное прикрытие гигантской капиталистической эксплуатации! — возмущается Робинсон.— А быть может, это так и есть? — спокойно отвечает Шрив.— Мы же никогда ни единым словом против нее... не возражали».

Шрив, приехав в Лондон после нескольких лет, проведенных в Африке без отпуска, приходит в замешательство от того, что видит в столице. Митчелл превосходно использует прием Вольтера, рисуя некоего простачка, не умеющего сразу сориентироваться в мире, который изменился до неузнаваемости и не укладывается в старые, усвоенные им в юности представления. При этом начинает звучать мотив, обладающий силой реалистического символа. Прибыв в столицу, Шрив оглушен ее шумом, ошеломлен ее новыми зданиями из стекла и бетона, «монополиями и империями», которые растут и раздуваются, и в то же время ощущает, как здесь же что-то крошится и распадается. Он бродит по Лондону с его новыми гигантскими зданиями, а ему почему-то видятся другие картины — закопченный город, город осевший и как бы сжавшийся... Что же это — невидимый расцвет или начало краха? — задается он вопросом.

Английская критика не без оснований высоко оценила этот роман. Роман значителен и по охвату жизненной картины, и по остроте сатиры, и по тонкости психологических наблюдений. Но позиция Митчелла остается противоречивой. Зоркий и тонкий наблюдатель, он видит реальное соотношение сил, дает себе отчет в том, кто и по каким законам правит в современном мире. Вместе с тем, он не только судит, но и вопрошает, часто не находя при этом ответа на свои вопросы. Отсюда лиризм, которого в романе, пропитанном сарказмом и насмешкой, так много, отсюда растерянность честного простачка Шрива, отсюда и метания Эдуарда, которым не видно конца.

Когда Уэверби, намного перегнавший своего бывшего друга на общественной лестнице, говорит Шриву, что неверие в себя характерно не только для молодежи («Мы потеряли веру в самих себя, потеряли веру в наше время»), тот невесело отвечает: «Видимо, немало оснований для того, чтобы не очень верить в настоящее. Да и в будущее тоже...» Словами Шрива здесь говорит автор.

Следующий шаг в поисках осмысления писателем настоящего и будущего — последний пока роман Митчелла «Ненайденная страна». Сам по себе роман — наиболее значительное из всего написанного до сих пор молодым автором, но искания его заходят здесь в тупик. Может быть, именно поэтому Митчелл в течение двух последних лет и не брался за перо и только сейчас начал новую книгу.

На суперобложке первого издания книги — мужская голова с двумя профилями. Этот символический рисунок точно передает главное в замысле автора. В романе два героя: один из них зовется по имени и фамилии автора, другой Чарлз Хамфрис — его товарищ с детских лет. Подружившись в подготовительной школе, мальчики вскоре надолго расстаются: сначала они учатся в разных школах, потом в разных университетах. Тот, что зовется Джулианом, ощущает, что, как бы порой далеко ни расходились дороги его и его школьного друга, они рано или поздно сойдутся навсегда. А тот, что зовется Чарлзом, видит в Джулиане свое alter ego, свою совесть, то лучшее, что в нем самом есть. Джулиан — человек, твердо стоящий на ногах и знающий, чего он хочет, как бы критичны ни были его взгляды на окружающее общество и людей; Чарлз — постоянный бунтарь, но бунтарь без программы и направления, скорей нигилист и потенциальный «аутсайдер». Джулиан психически уравновешен и нормален (впрочем, что есть норма? — спросил бы превосходно известный Митчеллу Р. Лэнг), Чарлз — очень часто подходит к границе, за которой начинается безумие. Джулиан остается жить, Чарлз исчезает, кончая жизнь самоубийством, которое родные тщетно пытаются истолковать как несчастный случай. Два пути и два лица... Но не одного ли человека хочет показать автор, человека, в котором спорят две личности и две сущности, то, что англичане называют identity — слово, ближе всего подходящее к нашему «личность». Впрочем, Митчелл предоставляет решение вопроса читателю, сохраняя до конца перекличку двух людей, очень похожих.

Митчелл категорически отрицает автобиографический элемент в романе, вместе с тем, как бы дразня читателя, воспроизводит в нем различные этапы своего жизненного пути: даже все имена друзей героя соответствуют реальной биографии автора.

Вымышлен ли Чарлз Хамфрис или в его образе тоже есть черты реально существовавшего (или существующего еще поныне?) человека — неизвестно, но это и не важно. Гораздо важнее тут другое: не потому ли так настойчиво Митчелл отвергает попытки видеть в этой книге черты его автобиографии, что изображаемая им сложная

В. ИВАШЕВА

ТРИ НОВЫХ ИМЕНИ

связь двух людей в большой мере раскрывает тайники его собственной личности? Не потому ли, что, передавая в художественно опосредованной форме ее противоречия, он рисует два возможных пути осмысления жизни?

Первая часть написана в традиционной реалистической манере и по жанру ближе всего походит на социально-психологический роман. Вторая, объявленная («задуманная» Чарлзом) подражанием «Сатирикону» Петрония, — фантастико-аллегорическое повествование, состоящее из слабо сцепленных эпизодов, написанных в манере, близко напоминающей некоторые эпизоды Джойсова «Улисса».

Даже из краткого пересказа книги видно, насколько она сложна — или, если угодно, затейлива —по форме. Другое дело, можно ли назвать удачным эксперимент Митчелла: осложненность формы здесь далеко не во всем и везде оправдана. Местами она прямо отражает противоречивость восприятия автором обстоятельств и отношений, которые он берется показать и комментировать.

И все же очевидно: какой бы неровной и отягощенной философскими шифрами и литературными ассоциациями ни была книга, взятая в целом, она, без всякого сомнения,— значительное явление в английской прозе последних лет. Развертываясь то в Англии, то в США, действие романа дает яркое представление о нравах и общественно-политических обстоятельствах 60-х годов. При этом — что важно — Митчелл концентрирует внимание на поведении и протесте разных групп мятежной молодежи — от битников и хиппи до тех, протест которых становится все более и более сознательным и целенаправленным.

Позиция самого Митчелла ясна. Он (как и Джулиан в романе) далеко не революционер, мечтающий об изменении существующей системы, хотя и человек, критически взирающий на то, что творится вокруг него. Джулиан утверждает право «маленькой Англии на то, чтоб отказаться от опеки США», он тянется к людям, живущим в Ист-Энде... «Почему ты не бываешь там никогда?» — упрекает он Чарлза. Еще будучи студентом он принимает участие в Ольдермастонском походе, убежденный в важности этой демонстрации.

Американские хиппи, естественно, вызывают в нем омерзение, его отталкивают их социально-политические устремления. Именно поэтому он так активен в желании вырвать из их содружества своего окончательно сбитого с толку друга Чарлза.

От второй части книги, названной «Новым Сатириконом», легче всего было бы отмахнуться, объявив ее модернистским бредом. Циничная в своей натуралистической откровенности и местами бестиальном физиологизме, она представляет собой вместе с тем беспощадную сатиру на все, что в первой части рисуется в сдержанной, почти лаконичной манере. К тому же нельзя, стараясь понять и оценить эту пародию, забывать о том, что написана она литератором с дипломом одного из старейших и наиболее консервативных университетов, писателем и литературоведом, не только знакомым, но и воспитанным на учении Фрейда и неофрейдистов, Р. Лэнга и других западных психологов и психиатров, на носящихся в воздухе идеях различных философов экзистенциалистского толка. Бесчисленные литературные реминисценции и пародии (от Джойса до Оруэлла) также не могут ни удивить, ни озадачить. Нельзя забывать и того, что «Новый Сатирикон» — построенная на фрейдистской основе пародия на Петрония. Невольно вспоминается Феллини, тоже обратившийся к этой хронике Петрония, рисующей распад древнего мира. Здесь подчеркнут эротизм и эротическая гротескность образов, но важнее не то, в какие формы облечена насмешка, а то, куда направлена сатира автора в этом, довольно мрачном, фарсе.

Приехав в неведомую страну, Хенри (он же Чарлз, «пишущий» роман) попадает в гостиницу, которая зовется «Западный мир». Здесь царит невообразимый хаос, полный распад и моральная деградация. Весьма многозначительна и афиша этой гостиницы, живо напоминающей публичный дом, охваченный безумием (образ которого, вероятно, навеян Вальпургиевой ночью из «Улисса» Джойса, но еще и заметно гиперболизирован):

Приветствую тебя, «Западный мир»!
Построенный самим всевышним.
Блестящий образец
Для обновления человечества.

В отрывочных эпизодах, почти лишенных связи, даются дерзкие пародии на поп-искусство и его носителей, театр жестокости и его творцов, популярные романы Флеминга и его главного героя, культуру, услаждающую обитателей гостиницы, «обширной и очень старой»... Хозяин — бывший колониальный чиновник — уже не может держать в руках бразды правления, и в «Западном мире» начинается гражданская война.

Что думал сказать Митчелл, изобразив неразрешимый конфликт между Кухней и Рестораном, нетрудно догадаться. Менее очевидно, в какую мишень направлены его стрелы в изображении суда Кухни, перед которым вынужден предстать Хенри. Пародию на суд, творимый восставшими угнетенными, можно истолковать двояко: то ли издевка над всеми терминами и приемами «холодной войны», то ли насмешка над хунвэйбинами и маоистским Китаем. Скорее второе, принимая во внимание увлечение некоторых представителей английской молодежи цитатником Мао.

Сам Митчелл назвал вторую часть своего романа «психологическим документом в сюрреалистической манере». «Новый Сатирикон» — социально-политическая аллегория с очень глубоким подтекстом, но аллегория, восприятие которой затруднено «мифологией» современного Запада. Бунт против западного мира и его цивилизации оказывается бесперспективным, ибо бесперспективна еще пока философия Митчелла, мно-

гое отвергающего, но неспособного ничего утверждать.

Хождение героя по кругам эротического ада кончается мрачным аккордом. «Черно... черно... черно...» — так обрывается «Новый Сатирикон» и, надо полагать, жизнь Хенри, пишущего эти слова.

Название романа — «Ненайденная страна» — точно передает замысел Митчелла и определяет впечатление, которое оставляет прочитанная книга. Митчелл, как и его герои, не нашел еще свою землю обетованную и бродит по пустыне западного мира без компаса и карт. Впрочем, книга писалась три года назад...

3. Глубокая разведка

Пиейрс Поль Рид — самый младший из трех молодых авторов, выдвинувшихся в 60-е годы,— ему только что исполнилось тридцать лет. Как и Дрэббл и Митчелл, он пришел в литературу из университета, и его книги обнаруживают тот груз разнообразной информации современного интеллигента, который порой нелегко нести на плечах: каждая из книг показывает и его знакомство с различными, популярными на Западе теориями, и его озабоченность многими научными проблемами, над которыми бьются сегодня лучшие умы человечества.

Английский критик Уильям Тревор назвал Рида одним из наиболее перспективных писателей молодого поколения. Другой — Уилфред де Ат — высказался еще сильнее. Рид «на несколько голов выше большинства создателей нынешней прозы,— заявил он,— и вне всякого сомнения встанет со временем в ряды крупнейших писателей наших дней». Не будем загадывать наперед: то, что сегодня Пиейрс Рид — заметная фигура на горизонте английской прозы, очевидно.

Уже «Юнкеры» (1968) — второй из трех написанных Ридом романов — был отмечен премией Фэбера, и в литературных кругах о нем сразу заговорили. «Монах Доусон», вышедший через год, озадачил своим заглавным мотивом, но по направленности мысли он продолжает поиск, начатый в «Юнкерах».

В романах Рида нет ни битников, ни хиппи, ни мятежных студентов, если не считать эпизодическую фигуру американского юнца Маршалла, отправившегося к партизанам Венесуэлы и там арестованного («Монах Доусон»). Но сам Рид воспринимается как один из ищущих молодых, притом не тех, что блуждают в лабиринтах протеста и нередко впадают в отчаяние (как Чарлз Хамфрис в романе Митчелла), а тех, что ведут глубокую разведку в верном направлении.

Сюжет «Юнкеров» навеян пребыванием автора в Западной Германии после окончания университета. Молодой английский дипломат, посещая одно из модных кафе Западного Берлина, заинтересовывается девушкой, которую постоянно встречает в обществе пожилого и представительного немца. Задавшись целью узнать, кто этот немец (муж Сузи или ее возлюбленный?), он начинает дознание, которое заводит его очень далеко и заставляет совершить путешествие в глубь прошлого.

«Юнкеры» — гораздо меньше история отношений двух молодых людей наших дней (она занимает в романе сравнительно небольшое место), чем сложное и многоступенчатое расследование жизненных путей трех братьев фон Руммельсберг — выходцев из старинной фамилии померанского юнкерства,— за которое берется и которое доводит до конца молодой англичанин. Переплетая экскурсы в годы первой мировой войны и время между двумя войнами, а затем третьего рейха и второй мировой войны с рассказом о настоящем Федеративной Республики Германии конца 60-х годов, Рид прослеживает историю заинтересовавшего его Гельмута фон Руммельсберга, бывшего гитлеровского дипломата. Одновременно выясняется постепенно и история двух других его братьев — активного нациста в прошлом Клауса фон Руммельсберга, ныне процветающего в ФРГ дельца, и другого Руммельсберга — Эдварда, в прошлом генерала вермахта, которого логика истории и собственный разум привели в коммунистическую партию, в ряды строителей социалистического государства ГДР.

«Юнкеры» — не историческое исследование истории Пруссии и ее юнкерства, хотя и соединяют в себе, если определять жанр книги, черты романа психологического, детективного, социального и исторического. Элемент вымысла, присутствуя в решении исторических эпизодов, едва ли может быть поставлен в вину романисту. Важнее мне представляется другое — его истолкование истории, и в частности нацизма, и верное понимание тенденции исторического развития.

Читая «Юнкеров», невольно сравниваешь роман с другой книгой, написанной почти одновременно и чем-то сходной как по тематике, так и по композиции. Я имею в виду роман западногерманского писателя Гюнтера Грасса «Под местным наркозом» (1968) — такой же многоплановый и сложный в замысле и построении, как и «Юнкеры». Действие его тоже происходит то в Западном Берлине наших дней, то в далеком прошлом военных и довоенных лет. Как и в «Юнкерах», историческая правда переплетается в нем с вымыслом, порой вызывающим и нарочитым. Как и там, действие перебрасывается из настоящего в прошлое и обратно, как и там, убедительно показано, что невозможно смыть печать прошлого с лица настоящего.

Сравнивая и сопоставляя, не можешь не увидеть преимуществ романа Рида — правда, менее зрелого и совершенного по форме, но более трезвого в своих конечных выводах. Роман Грасса противопоставляет два возможных пути — мятежного (если еще не

революционного) и конформистского: того пути, по которому хочет идти юный студент Шербаум, и того, на который встал его учитель Эбергард Штаруш. Противопоставляет и решает в пользу Штаруша. Отказавшийся от бунтарских исканий своей молодости, усталый и примирившийся с сущим, Штаруш зовет на тот же путь и Шербаума, и это ему удается.

Пиейрс Рид ведет к иным выводам. Гельмут фон Руммельсберг — человек, сумевший прийти к тихой пристани жизни эпикурейца путем бесчисленных компромиссов,— по сути лишь корабль, потерпевший крушение и брошенный на мель посреди бушующего океана. Клаус фон Руммельсберг — бывший военный преступник — сегодня процветающий делец и влиятельный общественный деятель ФРГ. Без нажима, даже как-то исподволь, Рид подводит читающего к той мысли, что правильный путь избран только одним младшим из братьев фон Руммельсберг — бывшим гитлеровским генералом, отрекшимся от своего прошлого.

Рид — антифашист. В отличие от других английских авторов, писавших за последние годы о двух Германиях (Ле Карре, Э. Холл), он с интересом и сочувствием говорит о строительстве новой жизни на немецкой земле. В его романе нет щемящей тоски Гюнтера Грасса. Следует добавить: в нем нет тем более и растерянного пессимизма «Ненайденной страны» Д. Митчелла.

Как же тогда понять появление следующей книги Рида, носящей интригующее название «Монах Доусон»? Зачем понадобилась автору фигура молодого англичанина, прошедшего путь от монастырской католической школы и деятельности католического священника к отречению от сана, неверию, к работе журналиста в самом сердце британской столицы, а затем возвращение в монастырскую обитель? [1] Поистине неожиданная биография для героя в книге писателя, за год до этого выпустившего роман, горящий проблемами современности!

Но так ли уж отличны по внутреннему смыслу две книги Рида, безусловно отличные по теме? Все зависит от того, как прочесть последний из двух романов.

Рассказанная от третьего лица (прием автора здесь ясен, он позволяет ему «смотреть со стороны») история Эдварда Доусона по композиции и стилю кажется предельно простой. Только очень внимательное чтение позволяет заметить переключение музыкального ключа и соответствующую разницу в стилях отдельных глав, скорее даже страниц книги. Нарочитая простота. Можно сказать, порой даже подчеркнутая.

Если Рид и рисует Эдуарда Доусона с мягкой снисходительностью (скорее, чем симпатией), то это снисходительность (если угодно, порой даже жалость) к человеку субъективно глубоко честному и чистому, но совершенно бессильному что-либо отстаивать или за что-либо бороться. Факты современной жизни и современные отношения — все то, что примелькалось и принимается за должное многими рядовыми англичанами, разучившимся думать, представляется странным и даже страшным человеку, посмотревшему на них широко раскрытыми глазами недавнего аскета, романтика и прекраснодушного (то есть совершенно абстрактного) гуманиста.

Перед бывшим священником, с детства мечтавшим нести в мир добро и служить людям, проходят неприглядные «реалии» подлинной жизни: ложь, лицемерие, утрата элементарной человечности. Встретившись с пресыщением и полным моральным падением, с продажностью и цинизмом (журналисты Элленби и Демут), наконец, с вопиющим и заведомым обманом (освещение забастовки в Оксфорде и настоящих целей и задач бастующих), Доусон ощущает себя раздавленным и сломанным. Для него альтернатива одна — самоубийство или вечное молчание в монастыре трапистов, что по сути одно и то же.

Мужественное сопротивление и уверенность в своей правоте, в справедливости своих действий коммуниста Маккеона — лидера бастующих рабочих — для него недоступны, даже непостижимы. Заметим, что мысль о самоубийстве приходит Доусону именно тогда, когда он оказывается не в силах выполнить данное Маккеону обещание сказать правду о забастовках, ее причинах и целях.

В романе мелькает много различных действующих лиц короткой трагедии Доусона. Это люди самых разных возрастов, профессий и общественного положения, с которыми приходится столкнуться сначала священнику, потом журналисту. Их портреты нарисованы эскизно, хотя и с большой убедительностью. Все они остаются в памяти, но один образ выделяется и один персонаж занимает совсем особое место в романе. Это Маккеон, который в разговоре с Доусоном утверждает, то главное — не объективная точность, а правда. В обрисовке Маккеона нет никакой плакатности, тем более схематизма. И симпатия Рида, в этом нет сомнения, целиком на стороне именно этого человека, в то время как Доусон с его либеральным прекраснодушием вызывает лишь горькое чувство жалости.

■

Брожение в умах, нелегкие искания и еще более трудные разочарования, порожденные глубокими противоречиями в сознании многих молодых, нашли свое отражение в книгах Маргарет Дрэббл, Джулиана Митчелла и Пиейрса Поля Рида — писателей талантливых и незаурядных.

Понять этих трех молодых писателей — значит понять многое в сложности, пестроте и разнородности молодежного протеста в Англии наших дней.

[1] Рецензию на роман «Монах Доусон» см. в «Иностранной литературе» № 12, 1970.

И. ЗОРИНА

КНИГИ И ВСТРЕЧИ

Из крови
наших
жгучих
ран
родилась
великая песня —
«Шивээ Хиагт»,—

говорится в поэме.

— Эта песня — начало народного творчества в огне революции, начало нашей современной поэзии,— говорит поэт.

И когда он вполголоса запевает, в музыке ее ты слышишь

звон
клинков.
А слова ее —
коней летящих
гривы.
Ритм ее,
отбитый
цокотом подков,
до сих пор
гремит
в Монголии счастливой.

(Перевод В. Сикорского)

На стол ложится монгольский текст, подстрочник (это для тех, кто не знает монгольского), перевод. В глазах у Далантайна Тарвы вопрос: «Ну как, если сравнить?» А сравниваешь ведь и с живой песней. Можно ли? Тогда надо, чтоб и в русском тексте песни слова были будто «коней летящих гривы...» (Услышишь песню и поймешь, как об этом верно сказал Д. Тарва в своей поэме «Шивээ Хиагт».)

В сборнике «От весны к весне. 1921—1971. Поэтическая летопись полувека», выпущенном издательством «Художественная литература» к 50-летию монгольской Народной революции, эта песня дана в новом переводе — Г. Ярославцева. Первый был сделан В. Сикорским около десяти лет назад. И надо сказать, что оба перевода принадлежат людям, для которых монгольская поэзия — предмет многолетней и весьма серьезной привязанности.

— Это вроде вашей «Смело, товарищи, в ногу»,— сказала Сономын Удвал.— Трудно переводить такое.

Песня «Шивээ Хиагт» — удивительная. Не только по красоте своей, свойственной народной песне, величавой и торжественной и вместе с тем имеющей характер походной песни. Удивительна сама история ее.

18 марта 1918 года войска Сухэ-Батора одержали первую победу, освободив Кяхтинский Маймачен, городок на севере Монголии. Эта победа стала началом Народной революции, началом изгнания из страны китайских милитаристов и белогвардейцев.

— А вечером 19 марта,— рассказывает Д. Тарва,— в пулеметном взводе, разместившемся на западной окраине городка, родилась песня «Шивээ Хиагт» — «Крепость Кяхта». Вокруг еще полыхало зарево пожарищ: гамины — китайские милитаристы, отступая, подожгли город, а в сердцах народных бойцов разгорались искры близящейся победы революции. Песня родилась сама собой. Ее складывали трое — командир взвода Дамдинсурэн и пулеметчики Гомбожав и Гавар, но, естественно, помогали всем взводом. В бесхитростных, казалось бы, словах они выразили радость по случаю первой одержанной революцией победы, воспели бесстрашие главкома Сухэ-

Батора, боевые дела своего отряда, дружбу с северным соседом. В песне картина боя воспроизведена с потрясающей точностью.

Читаешь стихи монгольских поэтов (а их за последнее время опубликовано у нас немало [1]), соотносишь их с самим обликом земли Монголии, с цветом ее неба, со свечением лиц людей, ее населяющих,— и уже понимаешь, почему Монголию называют страной синего неба, почему Рерих писал Монголию синим. «Синий» по-монгольски означает и «вечный». И уже совсем по-особенному звучат для тебя слова Дашдоржийна Нацагдоржа из его знаменитого стихотворения «Моя родина»:

Мне так мила и сердцу так нужна
Монголия — прекрасная страна.

(Перевод С. Болотина)

Эти слова берут за сердце еще сильнее оттого, что ты стоял в Улан-Баторе у памятника ему, основоположнику новой монгольской литературы, и слышал их на родном поэту языке.

Читаешь стихотворение «Война» Д. Гомбожава:

Война — это гибель всего родного:
кров без людей,
люди без крова.
Война — это черное, гнусное дело:
тело без ног,
ноги без тела.
Война — это тысяч разлук причина:
сын без отца.
отец без сына.
. . . . . .
Война — это кровь, эпидемия горя:
пороха дым,
селенья в огне...
Но вновь разгореться мы ей не дадим—
путь преградим
войне.

(Перевод С. Северцева)

— и ощущаешь, сколь самобытен голос этого безвременно умершего поэта. Здесь — и поиски новых изобразительных средств, и новое прочтение, новаторское использование всего того, чем богата народная поэзия Монголии.

Страстные строки «Поэмы, навеянной посещением Пискаревского кладбища» Д. Тарвы:

На каком обелиске
эти цифры кровавые
высечь?
Здесь
лежит под землей их —
шестьсот пятьдесят тысяч,—

заставляют вспомнить жизненный путь поэта, совсем юношей ушедшего добровольцем в Народную армию, участвовавшего в боях у Халхин-Гола и заявившего о себе в поэзии в 1940 году. Вспомнить и понять, отчего посещение Пискаревского кладбища, где спят вечным сном те, кто погиб во время блокады Ленинграда, старые и молодые, те, кто защищал город, и те, кого защищали,— рождает у Д. Тарвы стихи, исполненные горя и гнева:

Видеть — и не сойти с ума,
Только слезу уронить.
Стою над могилой, оцепенев,
В сердце смешались горе и гнев.

(Перевод А. Наймана)

— Это поэма, «найденная» на Пискаревском кладбище. Так в монгольском названии,— говорит Тарва и задумчиво добавляет: — Я — гражданский поэт. Очевидно, мое призвание — гражданская лирика.

Листаешь сборник его стихов «Родина моя» [1], и этому утверждению не противоречат такие прекрасные строки, переведенные Новеллой Матвеевой, с которой Д. Тарва вместе учился в Москве:

Мчусь верхом на коне,
и со мной наравне
и луга, и долины несутся.
А потом отстают,
а потом в стороне,
а потом за спиной остаются.
. . . . . .
Моя дорогая!
Ты слышишь, как быстро скачу я?
Догнать свое сердце,
моя дорогая,
догнать свое счастье хочу я.

Нередко во время встреч с писателями разговор о своеобразии монгольской поэзии переходил в разговор о ее переводе. Как передать на русском языке особенности монгольского стихосложения, коренящиеся еще в народной и классической поэзии? Нужно ли стремиться сохранить обязательные звуковые повторы в начале каждой строки? Эта аллитерация при наличии четко организованного ритма, возникающего из равносложия строк, словно бы исполняет роль рифмы. Есть же попытки сохранить в переводе на русский приметы монгольского стиха и приспособить его к русскому, в то же время рифмуя:

Совсем тот день обычен был и тих,
Светло, спокойно было все сначала,
Сверкало солнце в бликах золотых,
Снег ослеплял изломами кристалла.

(Из «Баллады о двух чабанах» Ч. Чимида в переводе Евг. Долматовского)

или:

Горный хрусталь — в Керулене вода,
Гордые гребни то светлы, то хмуры,
Горбится берег... Слышны тут всегда
Горние звуки искусного хура.

Ветер порывистый вдруг налетит,
Весело вест над девственной степью.
Вешнею радостной песней звучит
Вечному вольному великолепью.

[1] Кроме «От весны к весне» назовем и такие книжные издания: «К солнцу! Стихи монгольских поэтов». Составление, вступительная статья и биографические справки К. Яцковской. М., «Художественная литература», 1969; «Мелодии Монголии». Стихи. Составитель Е. Долматовский. М., «Правда», 1970; «Из современной монгольской поэзии». Составитель К. Яцковская. Редакция переводов и предисловие Вадима Сикорского. М., «Прогресс», 1971.

[1] Перевод с монгольского под редакцией В. Сикорского. М., Издательство иностранной литературы, 1962.

. . . . . .

Верю: и ты, о река Керулен,
Встретишь друзей, их улыбки и взоры.
Ветер, Халха[1], пронесет через горы
Весть о величье твоих перемен.

(Ц. Дамдинсурэн. «У реки Керулен». Перевод Г. Ярославцева)

А может, эту «начальную рифму» стоит просто перенести на более привычное для русского стиха место? Когда монгольские переводчики пытаются воссоздать рифмованный русский стих, то рифма нередко получается в виде конечной аллитерации.

Перевел же Явуухулан Есенина, передав рифму с помощью принятой в монгольском стихе аллитерации. Он рассказывал об этом, когда вместе с Л. Тудэвом находился в гостях в журнале «Иностранная литература». Поэт прочел свой перевод «Шаганэ», и было удивительно, как близка мелодия перевода есенинской интонации.

— Для монгольского уха так звучит привычнее,— объяснил наш гость и тут же добавил: — Не думаю, что здесь следует вводить какие-то правила и обязательные установления. Дело это творческое.

Однажды в кругу друзей М. Цэдэндорж читал свои стихи. Читал на родном языке, переводя их на русский:

Говорят: холодно,
Говорят: очень холодно.
Но разве бывает холод
Холоднее горя?

Говорят: жарко,
Говорят: очень жарко.
Но разве бывает жара
Жарче любви?

А потом эти стихи в переводе Г. Ярославцева встретились в книжке, в сборнике монгольских поэтов «К солнцу!»:

Мне кто-то говорил,
Что холод нестерпим.
Я не согласен
С выводом таким:
Попробуй
Горе с холодом сравнить
Что холоднее горя
Может быть?

Мне говорил другой:
Жары не выношу.
Я и другого
Все-таки спрошу:
С какой жарой
Любовь бы ты сравнил?

Мне кажется,
Что дважды прав я был.

Этим русским стихам нельзя отказать в изяществе, законченности... Но отчего все-таки они продолжают звучать для тебя так, как были услышаны впервые, из уст самого автора? И даже кажется, что ты — русский человек, не знающий монгольского языка,— повторяешь их по-монгольски.

Не та ли это напевность, плавность, идущая от народной традиции исполнять стихи под аккомпанемент хучира, подкупает здесь? Не тот ли лаконизм, свойственный некоторым формам восточной поэзии?

[1] Одно из названий Монголии.

Кстати о лаконизме. Вот два перевода монгольской пословицы.

Первый (из двенадцати слов): «Не спрашивай у того, кто плачет, а спрашивай у того, кто смеется»[1] (перевод З. Шевериной).

Второй (из семи): «Почему плачут — не спрашивай, почему смеются — спроси»[2] (перевод К. Яцковской). Тот факт, что эта пословица переведена не однажды — всего лишь пословица,— говорит о стремлении донести монгольское слово до советских читателей во всей его красоте и выразительности.

■

В 1920 году в статье «Монгольская литература» крупнейший советский монголовед, академик В. Я. Владимирцов писал: «Монгольская литература — создание кочевого народа, который, прожив бурно разные периоды своей истории, сумел, оставаясь все тем же кочевником, сохранять и поддерживать своеобразную культуру, одним из показателей которой является его литература. Условия кочевой жизни настолько неблагоприятны для всякого рода культурных занятий, в том числе и для литературных, что мы знаем чрезвычайно мало примеров появления у кочевых, настоящих кочевых, народов национальной литературы, и монголы представляют в этом отношении любопытнейшее исключение, потому что их литература живет и развивается не только в больших буддийских монастырях, не переходящих уже часто с места на место, но и в кочевых ставках и юртах».

И надо побывать в Монголии, в степи, заглянуть в юрту, чтобы убедиться: несмотря на века и века кочевой жизни, народ создал нечто такое, чем он заслуженно гордится, создал и сберег.

...Бежала степь под колесами машины: дороги, казалось, не было. Машина шла, забираясь вглубь, туда, в сомон, в сельскохозяйственное объединение. И как только тут не сбиваются с пути? И понимаешь вдруг, отчего у монголов нет понятий «направо», «налево»: попробуй в бескрайней степи руководствоваться ими. А между тем где-то слева (монгол, очевидно, сказал бы: «Там, на юго-востоке») обозначилась цепочка верблюдов.

— Юрта кочует...

Совсем как в седые времена пять верблюдов, запряженных вереницей, везли в кибитках снаряжение юрты. Старая женщина в синем шелковом дэле на меху и в лисьей шапке подошла, приветливо улыбнулась... Подскакал откуда-то мужчина на

[1] Из книги «Пословицы и поговорки народов Востока». М., Издательство восточной литературы, 1961.

[2] Из сборника повестей и рассказов С. Удвал «Первые тринадцать». Составление и предисловие К. Яцковской. Редактор П. Петров. М., «Прогресс», 1970.

И. ЗОРИНА

КНИГИ И ВСТРЕЧИ

крепкой, коренастой лошадке: «Отчего задержка?» Две черные точки, отделившиеся от отары — да там, оказывается, и овцы! — стремительно превращались в мохнатых собак, с лаем бросившихся вслед всаднику.

И уже идет разговор. И вновь ощущаешь это доброе, искреннее отношение к советским людям, которое неизменно встречаешь в этой стране.

Наконец сомон.

Население — 1500 человек. Одна тысяча гектаров — посевная площадь; двадцать пять тысяч — луга («косевная», как выразился наш переводчик). Скота — 100 тысяч голов. Председатель — человек с высшим образованием.

В центре сомона — восьмилетняя школа на 300 учеников. Это самое большое и красивое здание. Интернат, детский сад, ясли, гараж, больница, почта, библиотека из 5 тысяч книг, клуб.

Как ни инородны эти данные в такой статье, они, быть может, без лишних слов скажут о том, как живут сейчас простые араты-скотоводы, те, кто до революции составляли большинство населения, а потом в отсталой, феодальной стране построили основы социализма.

Здесь, в сомоне, особенно остро чувствуется, как в динамическом движении народа вперед меняется жизнь, психология людей, меняются слова. Как в тесном содружестве с передовыми достижениями культуры XX века живет и развивается народно-поэтическое творчество монгольского народа, то самое творчество, что на протяжении столетий рождалось в юртах, на кочевых стойбищах, в желтых песках Гоби и здесь, под степным солнцем.

Кто-то сказал: «Сейчас в клубе будет концерт самодеятельности». В самом деле, присутствующие услышали старые и новые песни, увидели народные танцы. И, когда молодой погонщик скота запел протяжную песню о белом верблюжонке, можно было представить себе, что вот так он поет ее в привольной степи, в то время как пасет своих овец, и голос его разносится далеко-далеко. А в звуках шанзы, которые опытной рукой извлекал убеленный сединами человек, слышался ветер, что свистел в ушах у всадника, мчавшегося на свидание с любимой.

Это не была самодеятельность в нашем привычном понимании. Народные инструменты, красочные костюмы вовсе не выглядели на маленькой сцене театрально,— те, кто сидел в зале, тоже были в ярких дэлах,— правда, не всегда таких же новых: это носится каждый день, и на ногах у них тоже подчас были гутулы, сапоги с загнутыми носами — черные, а иногда и из разноцветной кожи. Только украшений на женщинах было не так много.

И это ощущение, что искусство здесь является неотъемлемой частью каждодневной жизни народа, частью его быта, укрепляется, когда приезжаешь в гости на кочевье, к погонщику скота. В приветственном тосте хозяин говорил простые вещи. Говорил, что рад видеть у себя в юрте советских людей, что впервые принимает их, что знает — это настоящие друзья его народа. Он говорил, что счастлив за себя и своих детей,— в сороковых годах он, удзумчин, переселился сюда из Внутренней Монголии. И в том, как он произнес этот тост — а произнес он его в стихах,— и в том, как он предоставлял слово другим, выработанные традицией приемы причудливо переплетались с подлинным экспромтом.

Вообще вся встреча в юрте строго соответствовала здешним обычаям, в которых видна была эта тяга к искусству, что сообщалась человеку из поколения в поколение и являла собой одну из сторон народного интеллекта.

И вновь вспоминаются слова академика В. Я. Владимирцова о Монголии, обладающей древней культурной традицией, своеобразным искусством.

■

Побывав в степи, в сомоне, в юрте, уже легко было себе представить, как араты-кочевники после трудового дня собирались в одной из юрт и слушали сказки и былины, разгадывали загадки, проникали в смысл философских трехстиший («житейских или мирских три», как выразился М. Цэдэндорж, рассказывая об этом жанре устного творчества, существующего, пожалуй, только в Монголии). В этих афористических трехстишиях обычно сопоставляются какие-нибудь три жизненных явления:

Сон, хотя он ощутим,— пустой,
Мираж, хотя он виден,— пустой,
Эхо, хотя оно слышно,— пустое.

В молодости зубы — белые,
В старости волосы — белые,
В смерти кости — белые.

Устное творчество в Монголии не просто продолжает жить своей жизнью, оно наполняется новым содержанием, отражая новую жизнь страны. Ученые и писатели занимаются изучением и сбором сокровищ народного творчества. При Союзе писателей создана для этой цели «Палата сказаний», при музее Д. Нацагдоржа — фольклорная студия. Выпускаются сборники фольклора, где находят отражение особенности культуры народностей, населяющих Монголию, их обряды, обычаи; организуются своего рода состязания певцов, импровизаторов, сказителей, авторов благопожеланий и од. В институте языка и литературы издаются очерки по истории монгольской литературы начиная с XIII века и кончая современностью.

«В то время как в Китае уничтожаются культурные ценности, мы их собираем и храним» — эти справедливые слова одного из работников Государственной библиотеки в Улан-Баторе [1], разумеется, не объясняют возросшего интереса в Монголии к своим национальным корням.

Главное, очевидно,— в ином.

[1] Рассказ о том, какие уникальные книги, рукописи хранятся здесь, мог бы стать предметом отдельной статьи.

Стремление взять все лучшее из своего прошлого сочетается здесь с вниманием к мировой культуре, к культуре братских социалистических стран,— ее с увлечением изучают, пропагандируют. Конечно, в Монголии и прежде знали мировую литературу, в особенности восточную. В свое время определенную роль в этом сыграл буддизм, принеся с собой наряду с религиозной философией, проникнутой проповедью покорности своей участи, с мистико-магическими учениями, и великие духовные ценности Востока. Однако нынешние масштабы этого явления — а они общеизвестны — дают полное основание говорить о том, что революция приобщила монгольский народ — именно народ, а не только интеллектуальную элиту — к сокровищам мировой цивилизации. Дают основание говорить, что одна из основных тенденций современной монгольской литературы заключается в том, чтобы овладеть всем ценным и из своего наследия, и наследия мировой культуры.

В «обращении к своим истокам» есть у монгольских писателей сегодня внутренняя необходимость. И подобное явление плодотворно, оно расширяет их творческие возможности. Конечно, может возникнуть и такой вопрос: а не приводит ли это в отдельных случаях к уходу от действительности? На этот вопрос монгольские писатели отвечают своими творческими планами, своими книгами. (Невольно зазвучал голос одного монгольского друга: «Самые лучшие наши книги, быть может,— еще впереди...» Да, нельзя было не заметить: писатели трудятся с подъемом, у них хорошее, творческое самочувствие.)

Сономын Удвал, известная в основном книгами из жизни монгольского народа после революции, задумала два произведения на историческую тему.

— Герой одного из них,— рассказывала Удвал,— знаменитый полководец, борец против маньчжурского ига Хатан-Батор Магсаржав. Фигура эта сложная: Магсаржав не сразу стал под знамена революции. Он сражался вместе с Сухэ-Батором, вместе с ним получил советский орден Боевого Красного Знамени. В центре второго — монгольская Жанна Д'Арк. Она жила в XIV веке, воевала против иноземных захватчиков, мечтала объединить страну.

Я хочу на примере этих людей дать урок нашей молодежи, чтобы она была сильной, честной,— говорит писательница и добавляет: — Это самое главное и для мужчины, и для женщины.— Добавляет, очевидно, потому что она сама женщина, монголка.

Сономын Удвал извлекает из стола тяжелую старинную книгу. Плотные листы ее сложены стопкой и обернуты в старую желтую материю.

— Взяла в библиотеке. Это наш домострой, здесь обычаи тех времен. Как хорошо, что такая книга дошла до нас и все это можно изучить.

И какая-то внутренняя самокритика, требовательность к себе, которые так характерны для этого строгого и приветливого человека, чья нынешняя работа сложна (она и председатель Союза монгольских писателей, и член Президиума Верховного народного хурала, член ЦК МНРП), заставляют ее вдруг усомниться в своих силах: «Хочется написать хорошо. А это непросто».

Желание заново осмыслить прошлое, извлечь из него урок настоящему по большей части находило свое выражение у монгольских писателей в обращении к историко-революционной теме[1].

По справедливому утверждению К. Яцковской, развитие большой прозы в этой стране идет в основном по двум руслам: «Одно пошло по руслу историко-революционной темы, а другое вобрало темы современности, строительства социалистической Монголии, рождения нового героя».[2]

Художественное освоение исторического материала, естественно, у каждого писателя происходит по-своему. И порой «обращение к истокам» вовсе не означает в произведении лишь обращения к определенному моменту истории. В современной монгольской литературе можно наблюдать и несколько иной аспект этого вопроса. Можно привести один пример: роман недавно умершего Чадраавалына Лодойдамбы «Прозрачный Тамир», первую часть которого он опубликовал в 1962 году, вторую — в 1968-м.

Однако сначала — небольшое отступление.

Монгольские друзья часто говорят, что их литература, в частности проза, молода. И в работах советских исследователей эта мысль встречается нередко. Конечно, о молодости литературы страны с такими давними культурными традициями следует говорить с известными оговорками. Новая монгольская литература, рожденная революцией, рожденная социалистическими преобразованиями в стране, действительно переживает пору своей молодости. И не только жизненный материал, подход к нему новый, но и жанры, к которым она теперь обращается, подчас были ей несвойственны.

---

[1] За последние годы советские читатели познакомились с такими значительными произведениями на эту тему, как «Горный поток» Л. Тудэва (перевод и примечания Г. Матвеевой, вступительная статья А. Туркова. М., «Художественная литература», 1967); как «Прозрачный Тамир» Ч. Лодойдамбы (перевод А. Ринчинэ, предисловие П. Петрова. М., «Прогресс», 1969); как «Тревожные годы» Д. Намдага (перевод А. Ринчинэ. М., «Прогресс», 1970); «Путь» Н. Банзрагча (перевод Г. Матвеевой под редакцией Ф. Протасова. М., «Художественная литература», 1970). А роман старейшего монгольского писателя, академика Б. Ринчена «Заря в степи» готовится сейчас к публикации в издательстве «Прогресс»

[2] Цитируется по книге Г. Михайлова и К. Яцковской «Монгольская литература» (М., «Наука», 1969), в которой впервые у нас прослеживается вся история монгольской литературы — начиная с древних времен и кончая современностью.

И. ЗОРИНА
КНИГИ И ВСТРЕЧИ

Развиваясь по большей части в своеобразных формах, монгольская литература почти не знала, к примеру, жанра романа, хотя наряду с оригинальными произведениями, с разнообразными видами устного творчества и старой письменной литературы (монголам было известно книгопечатание уже около семи столетий назад) в Монголии довольно широко бытовали переводы китайских романов, произведения тибетской, индийской классики. Популярной была трилогия романов «Синяя книга» выдающегося монгольского писателя XIX века Инжанната, новые материалы о творчестве которого были обнаружены недавно.

И молодая литература в процессе становления черпает силы прежде всего в своих традициях, опираясь на фольклорные источники (как это было, например, у Лодойдамбы в романе «Прозрачный Тамир») или на традиции старой письменной литературы (специалисты называют здесь трилогию Б. Ринчена «Заря в степи»).

Итак, «Прозрачный Тамир», по единодушному мнению,— один из самых значительных романов, созданных сегодня в Монголии.

Действие заключено в определенные исторические пределы: от начала первой мировой войны до разгрома контрреволюционного восстания лам в 1932 году. Драматический, полный острейших коллизий период, когда Народная революция, победив влияние религии, веками угнетавшей сознание простых аратов в этой отсталой стране, пробуждает решимость «драться до последнего вздоха, пока в Монголии останется хоть один мужчина, хоть один конь».

Вбирая в себя множество личных судеб — здесь и Сухэ-Батор, и Магсаржав, и рядовые участники революции, и те, кто им противостоит, лица исторические, такие, как барон Унгерн, и вымышленные,— роман течет, влекомый ходом истории, отражая в своем чистом зеркале этапы борьбы за революцию, трудности строительства новой жизни. И читателя все больше и больше захватывает драматизм повествования, та особая интонация, в которой ведет свой рассказ автор.

Как некогда народный сказитель, обращаясь к слушателям, Лодойдамба выходит один на один с читателем, которого он словно бы видит перед собой в данный момент — живого, внимающего его словам.

Вот он представляет читателю нового героя: «Зовут этого человека Итгэлт. Он не стар, ему всего тридцать два года. Он и не знатен, никакого титула не носит. Но он очень богат... Жену его зовут Должин, десятилетнего сына Хонгор, а семилетнюю дочь Солонго».

«Широкогрудого зовут Бадарчи. Вот уже двенадцать лет служит он надзирателем у князя Луу-гуна при тюрьме... Это он, Бадарчи, в прошлом году поймал Тумэра, когда тот без чувств лежал на берегу Тамира. Он сам допрашивал и пытал смелого сайнэра и зашил его в бычью шкуру... и еще ни одному арестанту не удавалось бежать от него. Только Тумэр убежал. И, вспоминая об этом, Бадарчи от злости скрипел зубами».

Особенности характера героев писатель не только раскрывает в ходе развития сюжета, но и дает им свое объяснение:

«Итгэлт умел приручать людей. С теми, в ком он нуждался, он держался запросто, был ласков и даже одаривал небольшими подарками. А с теми, кто был ему не нужен или мешал выполнению его желаний, он был высокомерен и жесток. Своего он добивался любой ценой... В общем, он мог быть и телкой, и быком, щедрым и скупым, великодушным и жестоким».

А вот как Лодойдамба раскрывает психологию, мотивы поведения Должин, которая переживает измены мужа: «Она боялась его все больше и все же уехать к родителям ни за что не хотела. Ведь это такой позор. Она даже пыталась оправдать поступки мужа. Жизнь что река — не течет ровно, не бывает она одинаковой у всех. Каждая вещь со временем выходит из употребления... И Должин — такая же старая вещь, которой пользоваться уже не хотят, но и выбросить жалеют...»

А когда писателю надо рассказать о чем-то таком, что свершилось до момента действия, он с легкостью делает это:

«Эрдэнэ ехал по заданию Сухэ-Батора далеко, к Тамиру, туда, где он провел у Итгэлта около трех лет. Несколько дней назад его вызвал к себе Сухэ-Батор. Но до этого произошло еще вот какое событие» — и дальше, естественно, идет рассказ о нужном событии.

Иногда Лодойдамба считает необходимым напомнить читателю (так и хочется сказать здесь: «слушателю») о том, что это за герой,— ведь речь о нем шла давно: «Это был Балдан. Если читатель помнит, много лет назад он привозил Бато в Ургу к Эрэнчину».

Язык «Прозрачного Тамира», как это водится в монгольской речи, изобилует пословицами, поговорками: «Собрался в путь — узнай дорогу», «Ворон ворона за черноту не стыдит», «Он ему сейчас покажет, где пасутся дзерены...»

Совсем как в былинах или сказках, в романе «Прозрачный Тамир» происходят случайные совпадения, чудесное спасение героини, добро неизменно побеждает, а зло наказуется.

Чтобы так писать сегодня, как написал свой роман Лодойдамба, надо быть уверенным, что тебя услышат, что тебя верно поймут. Надо, по всей вероятности, чтобы все эти выработанные традицией композиционные и стилистические приемы были живыми для читателя. В противном случае писателя может ожидать упрек в стилизации, в литературщине. (Что, скажем, могло бы получиться у русского писателя, если бы он вдруг решился создать сегодня произведе-

ние на современную тему, используя стилистические приемы «Слова о полку Игореве»?) А монгольский писатель Чадраавалын Лодойдамба, опираясь на живые традиции монгольского народного творчества, создал глубоко современное произведение, убеждающее достоверностью детали, достоверностью интонации.

И в заключение — одна параллель.

— Когда читаешь вашего Айтматова, чувствуешь аромат жизни киргизского народа.

Можно ответить монгольскому другу, который произнес эти слова: «Когда читаешь вашего Лодойдамбу, тоже чувствуешь аромат жизни, аромат жизни монгольского народа».

И среди молодых писателей, уже успевших заявить о себе творчески, обретших свой голос, в Монголии называют имена лауреата Государственной премии С. Эрдэнэ[1], Д. Мягмара[2], П. Лувсанцэрэна[3].

■

Эти заметки, разумеется, не обнимают главных проблем, которыми живет сегодня литературная Монголия. В них, быть может, не удалось даже упомянуть о некоторых интересных явлениях, именах. Здесь всего лишь впечатления от тех встреч, которые были на земле Монголии, от тех книг, которые довелось прочесть.

Бывает такой момент в истории народа, когда он пытается найти себе опору в прошлом. Это можно было бы сказать о старой Монголии. Сегодня народ ее обретает опору в дне нынешнем и дне грядущем. Монгольские писатели в своем творчестве пытаются осмыслить суть того, что происходит в стране, и гордость землею предков сочетается у них с гордостью людей, чья родина — второе в истории человечества государство, вставшее на социалистический путь развития.

[1] Советские читатели знакомы с его творчеством по книге «Чистый источник» (составитель Г. Матвеева, М., «Прогресс», 1964), по отдельным журнальным публикациям и по сборнику «До новой встречи!» (составление и предисловие Г. Матвеевой. М., «Художественная литература», 1969), куда вошли рассказы видных писателей Монголии.

[2]) Его «Повести и рассказы» вышли в «Молодой гвардии» в 1970 году (составитель М. Гольман).

[3] Произведения этого «ясноглазого художника», как назвал Лувсанцэрэна его редактор и старший собрат по перу С. Даждооров, известны у нас лишь по переводам отдельных рассказов и еще ждут своего переводчика.

Публицистика

САМАРИЙ ВЕЛИКОВСКИЙ

БАСТУЮЩАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Три года назад, в мае—июне 1968, по Франции прокатилась мощная лавина забастовок, митингов, демонстраций, баррикадных схваток. Застрельщиками их выступили студенты, а через неделю бастовала вся трудовая Франция.

Размах происходившего ошеломил даже тех, кто еще помнил канун Народного фронта. На этот раз забастовщиков было по крайней мере втрое больше — к концу третьей недели событий их число перевалило за десять миллионов. Казалось, что в стране почти столетие спустя после Парижской коммуны снова оживает ее призрак...

Уже сама по себе небывалая широта движения — показатель того, что оно питалось от мощных и многочисленных источников недовольства. Протест впервые за долгие годы достиг поистине общенационального уровня. Тем самым он открыл полосу крупных общественных столкновений, какие несет с собой весьма болезненно протекающее во Франции ускоренное внедрение государственно-монополистических структур и научно-технической революции. В те дни в стране воочию обозначились возможные очертания единого лагеря всех, на чьи плечи тяжким грузом ложится построение «цивилизации всеобщего благоденствия», столь расхваливаемой верхами, но обреченной оставаться пропагандистским мифом. Это намечавшееся народное содружество складывалось исподволь, вопреки немалым помехам, вокруг надежного пролетарского ядра — промышленных рабочих. Именно они, имеющие за спиной полуторавековую историю французского рабочего движения, обладающие необходимой зрелостью, выдержкой и сплоченностью, в очередной раз подтвердили свое призвание и способность возглавить, вовлечь в освободительный поток самые разные отряды трудящихся, зачастую находившиеся прежде вдалеке от его стержня. Включая и почти втрое выросшую за последние полтора десятилетия прослойку тех, кто занят трудом умственным, чей рабочий инструмент составляют знания и культура,— интеллигентов. Среди прочих особенностей мая—июня 1968 года одна из самых примечательных — как раз это втягивание в забастовочную борьбу значительной части интеллигенции, причем не только молодой, студенчества, но и вполне взрослой, давно сложившейся.

Интеллигент-забастовщик, поддерживающий требования других работников своего предприятия, учреждения или отрасли промышленности,— фигура, встречавшаяся во Франции и раньше. Бастующая интеллигенция, не только протягивающая руку помощи рабочим, но и пробующая, пусть пока на ощупь, выдвигать программу своих требований в качестве одного из отрядов трудящихся,— такого страны Запада до сих пор почти не знали. Значение мая—июня 1968 года как поворотного момента в становлении протестующего самосознания интеллигентов Франции весьма велико, при всех, вполне справедливых, оговорках насчет сомнительности некоторых их лозунгов и поведения в иных достаточно ответственных случаях.

Французские коммунисты, тщательно анализируя уроки мая—июня 1968 года вообще, тогдашних интеллигентских забастовок в частности, приходят сегодня к важному заключению о том, что «отныне марксистско-ленинская партия должна мыслить свои отношения с интеллигентами уже не в прежних, закрепленных традицией понятиях: теперь для нее задача не просто в том, чтобы привлечь на свою сторону одиночек, а в том, чтобы вовлечь в боевой союз целые слои» [1].

Понятно, что столь знаменательный сдвиг заслуживает того, чтобы выделить его особо и вникнуть в существо дела во всей сложности. К такому разговору, сосредоточенному лишь на одной из сторон мая—ию-

[1] A. Casanova, Cl. Prévost, J. Metzger. Les Intellectuels et les luttes de classes. P., 1970, p. 11.

ня 1968 года, но зато рассматривающему ее по возможности пристально, побуждает еще и то важное обстоятельство, что именно по этому поводу ныне ведутся весьма ожесточенные споры как в самой Франции, так и за ее рубежами. Кое-кто поспешил провозгласить, будто знамя революции если еще не перешло сегодня, то перейдет завтра к «белым воротничкам», поскольку рабочие, мол, безнадежно омещанились, подкормлены «обществом потребления», у них пропала охота колебать устои. Подобные умозаключения, плод кабинетного сочинительства, часто, вслед за Маркузе, высказываются впрямую в потоке статей и книг, посвященных маю—июню 1968 года, еще чаще — подразумеваются, с чем сталкиваешься, скажем, в последних работах Роже Гароди. Однако во всех случаях широковещательные «коперниковские перевороты» в революционной мысли наших дней могут соблазнять своим остроумием только до тех пор, пока не сопоставлены с тем, как на деле прошло для французской интеллигенции это крещение классовой борьбой и что именно оно выявило.

Накануне мая 1968 года во Франции не было недостатка в разговорах насчет политического оскудения интеллигенции. Ее укоряли за общественное равнодушие, гражданскую вялость, усматривая в них возмездие за то, что она соблазнилась потребительскими и технократическими мифами. Кое-кто, вроде прошедшего выучку в американских университетах социолога Мишеля Крозье, с помощью историко-социологических выкладок пробовал доказывать, будто это и есть ее неотвратимая судьба в «индустриальном мире»: дескать, в пору научно-технической революции, когда даже сами правящие верхи нередко поддерживают открытость к новому и движение техники вперед, интеллигент получает простор для применения своего мастерства и дарований. Ничто, казалось бы, не мешает ему усовершенствовать науку, производство, само общество, и он с головой уходит в эти свои занятия. Ему уже недосуг метаться, корчиться от мук критической мысли, да и нет для этого вроде бы настоящей почвы. Конец кипению вечного недовольства. Мечтатели перековываются в менеджеров, обличители — в отладчиков шероховатостей, мятежные умы — в умы деловые [1].

Одних такое будущее приводило чуть ли не в восторг, других повергало в горькое уныние, но и тем и другим рисовалось тогда как неотвратимая необходимость. В результате множество левых французских интеллигентов подходит к рубежу 1968 года с твердым и горьким убеждением, что как бы худо и постыло ни было во Франции, поделать-то все равно ничего нельзя. Все выходы протестующей энергии накрепко закупорены, она подорвана у самых истоков, и если где-то на земном шаре еще возможны освободительные вспышки, то только в «третьем мире». Еще в самом конце апреля, выражая распространенное убеждение своих собратьев, один из почитаемых мэтров нынешнего интеллектуального Парижа, Ролан Барт, начал свою статью об очередных книгах писателя-структуралиста Соллерса словами: «Революционная идея на Западе мертва. Отныне она *в иных краях*... И как раз в этом *отдалении* от революции, отдалении совершенно несказанном, «неописуемом», Филипп Соллерс ведет свою работу и разворачивает свое творчество» [1]. До революции и в самом деле было не рукой подать, но до забастовки, снизу доверху всколыхнувшей всю страну, оставалось несколько дней.

В мае—июне 1968 года история в очередной раз не без язвительности посмеялась над печальниками, с тоской взиравшими на ее ход, не обнаруживая окрест ничего отрадного. Разразившись нежданно-негаданно, майско-июньские события тем не менее не были случайностью, но ознаменовали собой выход на поверхность протеста, годами копившегося в самых разных пластах французского общества. В частности — у работников умственного труда.

Поскольку социологический, а следовательно идеологический, облик интеллигенции всегда был и по сей день остается крайне пестрым, то в мае — июне 1968 года в ее среде, разумеется, нашлось с избытком откровенных охранителей, еще больше — осторожничающих и выжидающих скептиков. Иные из них носили довольно громкие имена. Как водится, раздраженно брюзжал и язвил со страниц «Фигаро» рядящийся в одежды либерала, но вечно оглядывающийся на консерваторов философ и социолог Раймон Арон; затем он продолжил это занятие в книжке-памфлете «Революция, которой не сыщешь» (1968). Андре Мальро, когда-то прославленный писатель и боевой командир эскадрильи республиканских самолетов в Испании, потом — отрядов французского Сопротивления, теперь шествовал в первых рядах проправительственной демонстрации на Елисейских полях в окружении чиновников-голлистов, крупных предпринимателей, лавочников, взбешенных беспорядками, и дюжих молодчиков погромной внешности. Верноподданническое ослепление Мальро-министра, впрочем, по-своему парадоксально уживалось с проницательностью Мальро-мыслителя. В майских потрясениях он уловил крайне для него прискорбное и пугающее «проявление серьезнейшего кризиса западной цивилизации... Встреча студенческой стихии со стихией пролетарской — факт беспрецедентный. Всеобщая забастовка — это нечто гораздо большее, чем просто забастовка» [2]. В этих словах проскальзывает

[1] M. Crozier. La Révolution culturelle. «Preuves», N 180–181, 1966.

[1] «Le Nouvel observateur», N 181, 1968, p. 31.
[2] «Le Nouvel observateur», N 189, 1968, p. 13.

чуть ли не апокалипсическое уныние, которое можно понять: для Мальро зашатавшийся кумир голлизма уже давно сделался воплощением самого духа Франции и всего Запада.

И все же, как бы громко ни оповещали о своих страхах просвещенные «мандарины» — высокопоставленные и преданные слуги режима,— как бы ни колыхалось в молчании опасливое интеллигентское «болото», отнюдь не они определяли лицо французских работников умственного труда в бурные майские дни.

Поначалу, при всей пылкости откликов, какими сопровождали левые интеллигенты старшего поколения взрыв студенческого бунтарства, они были весьма далеки от проникновения в его природу и еще дальше от возможности помочь ему трезво осознать себя, обрести нужное русло. Вспышка молодого непокорства застигла их врасплох: ее не только не ожидали, но и духовно не были готовы к тому, чтобы хотя бы на ходу вооружить своих будущих преемников сколько-нибудь четкими, продуманными установками.

Отчасти из-за этого в ближайшие дни кое-кто из седовласых ветеранов, устыдившись своей недавней близорукости, принялся искупать грех отставания совершенно несуразно Так, Сартр в своих беседах с левацким вожаком студенчества Кон-Бендитом старался быть еще большим анархистом, чем его метавший громы и молнии юный собеседник. Отцы и недавние наставники, испытывая чувство какой-то неполноценности, поспешили отправиться на выучку к собственным детям: Сорбонна, университеты в других городах превратились в места паломничества для интеллигенции. Она ходила туда брататься со студентами и окунаться в купель «революционного празднества».

Дав себе труд распознать действительную насущную потребность, выразившуюся в первые дни по-карнавальному причудливо и как будто «несерьезно» в этом опьянении взрослых юношеской раскованностью и радужными грезами, нельзя не заметить, что здесь по-своему преломились и запросы достаточно существенные, коренящиеся где-то в житейской толще и сокровенных пластах духовно-личностного бытия. «Карнавальная» вольница, забурлившая в мае 1968 года на улицах и площадях Парижа, была сумбурным заразительным вызовом общественному мироустройству, нуждающемуся не в личностях и гражданах, а в усердных производителях, послушных подданных и не слишком разборчивых потребителях.

В многолюдной сутолоке испарялась иерархическая скованность и воцарялось равенство. Победа над мертвящими запретами, хозяевами жизни, ложными кумирами, всем кичливым в своих величественных замашках и претензиях на священную непогрешимость казалась совсем близкой, стоит лишь протянуть руку. Зажатость, эгоистическая замкнутость в себе, привычка держаться настороже с соседом сменялись щедрым великодушием, открытым чистосердечием: «толпа одиноких» заново обретала выветрившийся в скудных буднях вкус к братству. У всегдашних исполнителей чьих-то приказов возникала надежда внести свою лепту в предложения по перестройке всего и вся, которые обсуждались на разных митингах и заседаниях. Избиратель, долгие годы примирявшийся с участью быть обманутым очередным политиканом, ощутил себя гражданином, тоже причастным к решению судеб страны. Те, кого поглощала горячка приобретательства, на минуту очнулись, получив возможность взглянуть со стороны на свою иссушающую погоню за вещами. В кипении уличного праздника, подобного разве что дням после освобождения Парижа от гитлеровцев в августе 1944 года, холодная рассудочность оттеснялась непосредственным порывом чувств. Страсть, с какой в печати и на собраниях говорилось о враждебности человеческому счастью цивилизации XX века, включая ее культуру, быт, досуг, по своей неподдельности сравнима разве что со щемящей тоской позднейших устных и письменных воспоминаний о майско-июньских днях, когда, казалось, бастующие французы рвали стеснительные путы и устремлялись навстречу чему-то подлинному, окрыляющему, «другому». Все это указывает на проступавшую в тогдашнем «карнавале» тягу, немаловажную для народных движений в промышленно развитых странах Запада, к перестройке не только существующих экономических, социальных и политических устоев, но и всего уклада жизни.

Однако майский «праздник», увы, воплощал эти запросы словно бы понарошке, отчасти возмещая невозможность их удовлетворить прямо. И потому он сбивал с толку, был обманчив и обречен в конце концов на стремительное соскальзывание до уровня никчемной забавы и бесплодных словопрений. Тем не менее в своей самой ранней вспышке он, по крайней мере для значительной части французских интеллигентов, послужил встряской, толчком к пробуждению от усталого гражданского равнодушия, которое сковало их в предыдущие годы, когда режим «личной власти» клонился к своему закату. Втягиваясь в атмосферу открытого деятельного возмущения, левые интеллигенты снова обретали полузабытое со времен алжирской войны желание что-то делать сообща, а не просто растравлять себя саркастически-горькими разговорами дома и в кругу знакомых.

Больше того, уже тогда отчасти было задано направление поискам тех целеустановок, которые в ближайшие дни постараются выразить в своих требованиях работники умственного труда. Окольно сказавшееся на первых порах стремление избавиться от оков «отчуждения», дать выход созидательным возможностям свободной личности и тем обеспечить ее счастье вскоре выльется в лозунги и предложения, так или иначе ратующие за победу порядков, где бы человек не находился в небре-

жении, бюрократической кабале и полной зависимости от чуждых ему интересов государственно-монополистической верхушки.

В промежутке между 13 и 20 мая совершается поворот в поведении достаточно широких кругов интеллигенции: простая поддержка ею студентов, затем заводских рабочих перерастает в вереницу забастовок в учреждениях, где она составляет большинство. Теперь бастуют конструкторы и врачи, ученые и градостроители, хранители музеев и социологи, актеры и учителя. Для очень многих из них это было вообще первое испытание классовой борьбой. Не удивительно, что они на каждом шагу оступались, шарахались из стороны в сторону или слишком забегали вперед. Удивителен скорее пыл, с каким они взялись за выработку лозунгов.

Знакомство с их требованиями неизменно обнаруживает один и тот же общий знаменатель: напряженную тягу к демократическому укладу трудовой деятельности, который бы позволил развернуться творческому дару каждого и, следовательно, сделал бы работу источником высокого удовлетворения для личности. Среди их лозунгов есть и такие, как повышение зарплаты, сокращение рабочей недели, гарантия занятости, упорядочение социального страхования, права профсоюзов на предприятии. Однако удельный вес подобных лозунгов в забастовочных платформах интеллигентов скромнее, чем у других категорий трудящихся. Зато огромной притягательностью для французской интеллигенции обладали лозунги само- и соуправления на всех уровнях того или иного учреждения, вплоть до самых высших. В перестройке управления снизу доверху на началах полномочного участия в самых ответственных решениях она усматривает залог избавления от застоя, неразберихи и крохоборческой узости, от опеки безграмотных чиновников, неразумной и малоподвижной организации труда, от произвола хозяев и их погони за хищнической краткосрочной выгодой, без учета подлинных потребностей общества, широко понятых нужд самого дела и тех, кто в нем занят [1].

Трезвая социально-политическая оценка всех этих лозунгов предполагает отделение двух далеко не во всем и не всегда совпадавших уровней — уровня глубинного их содержания и уровня их выражения. Между значением и знаком, между тем, *что* сказалось, и тем, *как* сказалось, тут существует явный зазор. Искренний и страстный вызов государственно-монополистическому укладу, уходящий корнями в самую толщу противоречий этого последнего, вместе с тем зачастую переживался и особенно осмыслялся самими носителями недовольства превратно. И потому он охотно прибегал к языку технократического реформизма либо пылкой, но расплывчатой утопии левацкого толка. Упор на политико-управленческой стороне дела заслонял необходимость коренной перестройки всей структуры общества; с другой стороны, приглушенность у интеллигентов-забастовщиков собственно материальных требований доводила их нетождественность с требованиями других трудящихся до чрезвычайной резкости. А это мешало столь необходимому сплочению всех бастующих, нередко вело к необоснованным и вредным нападкам на организации рабочего класса. Они же, в свою очередь, были вынуждены давать отпор как тем, кто тянул назад, плетясь в хвосте движения, так и тем, кто безоглядно забегал вперед, требуя немедленного учреждения власти трудящихся и даже свершения революции вооруженным путем тогда, когда к тому не было серьезных предпосылок и когда подобные авантюры неминуемо завершились бы разгромом.

И все-таки, если самоуправленческая устремленность интеллигенции сплошь и рядом не находила себе закрепления в надежных, обоснованных лозунгах, то в своей основе они не только не исключали, но и даже особенно заостряли мысль о личной ответственности каждого за ход дел на данном предприятии, в данной отрасли, во всей стране. То, что иногда при первом, поверхностном взгляде выглядит оттенком анархического своеволия, на поверку несет в себе немалый заряд коллективистской гражданственности. Показательно, скажем, заявление градостроителей, которые так заключали обзор положения дел в своей области: «Мы вскрыли причины провала капиталистической технократии. Мы обнаружили несостоятельность бюрократической централизации. И мы ясно видим, что только подлинная демократия может устранить многостороннее отчуждение, демократия, при которой каждому дано участвовать в руководстве на соответствующих уровнях и которой сильнее всего препятствуют монополии и государственные ведомства. Каковы бы ни были превратности политики, благом является все то, что подрывает позиции частного капитала, вынуждает исчезнуть «мандаринат» и побуждает самих жителей требовать участия во власти и брать ее в свои руки» [1]. Здесь крайне важно, что выход из существующего беспорядка мыслится не самодовольно-технократически, а насквозь демократически; составители настаивают не на передаче всей полноты решений в их области только им самим, но и на подлинной увязке их знаний и умения с широким и многогранным сотрудничеством жизненно заинтересованного в этом населения. Схожие документы принимались в мае 1968-го учеными, врачами, конструкторами, библиотекарями, работниками музеев.

Забастовочная борьба в мае 1968 года французских инженеров, преподавателей,

[1] «Sociologie du travail», N 3, 1970.

[1] S. Zegel. Les Idées de Mai. P., 1968, p. 149.

САМАРИЙ ВЕЛИКОВСКИЙ
БАСТУЮЩАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

ученых, градостроителей, больничных врачей — само по себе событие незаурядное. Но она хоть как-то была подготовлена и облегчена их сведенностью в более или менее крупные коллективы. Поэтому, быть может, об испытанном тогда интеллигенцией толчке на свой лад особенно выразительно свидетельствует поведение тех ее прослоек, где самый характер труда побуждает к обостренной заботе о неповторимости творческой личности и где либо вовсе нет привычки к действиям сообща, либо это чувство локтя распространяется на очень узкий круг лиц.

Май сумел и тут пробудить потребность не только предпринять шаги к сплочению, не только заняться нуждами, трудностями и заботами работников той или иной отрасли культуры, но и поставить на шумных собраниях вопрос о судьбах последней, о ее подлинном назначении.

Резкая критика духовно-идеологических установок и стилевой окостенелости буржуазного искусства возникла во Франции отнюдь не вчера, а имеет свою давнюю историю, восходящую еще к романтикам. До сих пор, однако, эта критика редко выходила за пределы собственно теоретико-эстетического ряда и воплощалась в сменявших друг друга художественных «бунтах» очередных авангардистских школ. Все они писали поначалу на своих знаменах крайне запальчивые лозунги, но довольно скоро добивались одобрения верхов, охотно распахивавших перед «бунтовщиками» двери музеев, академий, государственных театров, частных собраний. Приемы и механика подобного «приручения» ныне настолько гибки и отлажены, что иные шумные «мятежи», замахивающиеся на полный переворот в художественном мышлении, оказываются закупленными на корню, как это было недавно с поп-артом. Крепко-накрепко спеленутые еще в колыбели, они теперь чуть ли не с первых своих шагов официально опекаются, служа поставщиками броского своей новизной и потому особенно ходового товара. При сегодняшнем широчайшем размахе культурной индустрии, где запущены на поток не одни дешевые поделки, но и изделия для «посвященных» ценителей, обнаженнее, чем когда бы то ни было, всемогущество рынка сбыта, на котором плоды духовной деятельности обращаются как простые товары наряду с прочими предметами потребления и обихода. Очевиднее и зависимость от государства, самого богатого и влиятельного мецената [1].

С другой стороны, в обстановке все более резкого размежевания культуры элитарной и псевдокультурного ширпотреба четко обозначается неравенство перед культурой. Оно становится одной из предпосылок к тому, чтобы надежно закреплялось и воспроизводилось существующее расслоение общества на господствующих и подчиненных. В мире, где знания и культура — все более важный залог продвижения по служебной и житейской лестнице, доступ к ним неодинаков, прямо зависит от материальных возможностей и социального уровня.[1] Отсюда—заметное перемещение в последние годы самых острых и ожесточенных споров по поводу искусства на Западе вообще, во Франции в частности, из плоскости замкнуто эстетической в плоскость социологическую. Под огонь критики в первую очередь попадает сам способ бытования искусства в качестве одного из общественных институтов, по-своему преломляющих в себе данный уклад общества. Именно этот поворот, а не отмечавшееся не раз наблюдателями [2] оживление различных анархистски-авангардистских поветрий, по преимуществу сюрреалистской окраски, является самым существенным в майских выступлениях творческой интеллигенции. Отсюда — ее попытки перейти от слов к делу, ее озабоченность тем, чтобы не столько выдвинуть неожиданную художественную платформу, сколько наметить пути перестройки сложившейся системы обращения искусства и статута его создателей.

Здесь не обошлось, как водится, без приступов разрушительного иконоборчества, доходивших подчас до «прямой увязки между уничтожением эстетических ценностей как понятия и необходимостью и возможностью социальной революции»[3]. Так, орава горлопанов, захватив здание театра Одеон, приняла постановление «саботировать все, что относится к «культуре»: театр, искусство, литературу и прочее», и считать чуть ли не контрреволюцией любое зрелище внутри театральных стен, а не на площадях и перекрестках поблизости от баррикад. Один из живописцев, Жан Дюбюффе, тогда с наивной и опасной лихостью заявил: «У революционных интеллигентов, которые желают быть революционерами, есть только один путь: отказаться быть интеллигентами — я подразумеваю здесь признак, обозначаемый этим словом, а именно: особый явный отпечаток культуры, лежащий на мышлении, особого рода стеснительную умственную обусловленность» [4]. Позже Дюбюффе пространно развивал эти идеи, вдохновленные «культурной революцией» по цитатнику, в книге «Удушающая культура» (1968), где всерьез обсуждаются замыслы неких «институтов раскультуривания, своего рода гимназий нигилизма», призванных «дать нации корпус основательно подготовленных отрицателей, отказавшихся быть интеллигентами».

Однако устремления и деятельность самых разных кругов художественной интел-

[1] R. Moulin. Le Marché de la peinture en France. P., 1967.

[1] P. Bourdieu et J. A. Passeron. Les Héritiers: les étudiants et la culture. P., 1964.

[2] См., например, сб. Art et contestation. Témoins et témoignages. Brux., 1968, p. 133; Cl. Prévost. Les Etudiants et le gauchisme. P., 1968. pp. 108—110, а также статью: Ю. Давыдов «Сюрреалистический революционаризм Герберта Маркузе». «Вопросы литературы» № 9, 1970, стр. 84—85.

[3] A. Jouffroy. Que faire de l'art. in: Art et contestation. p. 180.

[4] «La Quinzaine littéraire», N 52, 1968, p. 11.

лигенции в мае 1968 года вовсе не сводимы к подобным диковатым пересадкам на западную почву «культурной революции» из иных краев, где одним махом скосили распустившиеся было «сто цветов», предложив взамен вирши «великого кормчего».

Приветственные отклики писателей с первых дней сопутствовали студенческим и рабочим выступлениям. Постепенно созревало и желание самим перейти к делу, хотя и получившему скорее оттенок публичного вызова. В ночь на 20 мая кучка левых писателей вторглась в особняк Масса, где помещалось официально покровительствуемое властями Общество литераторов. Над зданием был вывешен красный флаг, учрежден комитет связи со студентами, провозглашено создание Союза писателей, имеющего задачей определить «новый статут писателя в новом обществе». 28 мая состоялось первое собрание всех, кто примкнул к Союзу (их насчитывалось больше ста), было избрано руководство и принят устав, где, в частности, заявлялось: «В меру своих возможностей Союз намерен содействовать построению нового общества социалистического типа, которое основывается на коллективной собственности на средства производства и демократическом управлении ими, не находится в подчинении у бюрократического аппарата и не устремлено к одному лишь потреблению» [1]. Возникнув столь стихийно, Союз оказался тем не менее достаточно устойчивым, чтобы, несмотря на разногласия внутри него, не распасться в ближайшие месяцы и до сих пор поддерживать накал гражданского самосознания в левых писательских кругах.

Среди музыкантов попытки присоединиться к майскому движению натолкнулись на резкий отпор влиятельной элиты. И все же 19 мая в амфитеатре Декарта в Сорбонне состоялась многочисленная чрезвычайная ассамблея музыкантов, бросившая призыв к забастовке. Он получил отклик прежде всего у хористов и оркестрантов музыкальных театров, певцов кабаре.

Живописцы и графики заняли старую литографию Училища изящных искусств и приступили к выпуску и распространению злободневных афиш. Сначала они расклеивались в Латинском квартале, потом по всему Парижу и даже за его пределами. Выпуск их с нескольких десятков вскоре достиг нескольких тысяч в день. Работа шла круглосуточно. Каждый набрасывал свой рисунок к тому или другому лозунгу и предлагал на рассмотрение постоянному общему собранию; получив одобрение, афиша изготовлялась. Часто плакаты выполнялись по прямому заказу забастовочных комитетов или комитетов действия в кварталах. В Париже и по сей день ведется эта «война настенных надписей и рисунков» [2].

В театрах подобный уличный «агитпроп» также нашел своих приверженцев: некоторые парижские и особенно провинциальные труппы (в Гренобле, Сен-Дени, Гавре, Вильжюифе, Экс-ан-Провансе и др.) выезжали на заводы как с уже шедшими прежде спектаклями, так и наскоро подготовленными представлениями на злобу дня.

Наряду с этим в театральной области развернулось и собственно забастовочное движение. 21 мая французский профсоюз актеров, входящий в ВКТ, на собрании в битком набитом зале постановил начать забастовку во всех театрах Франции. Несмотря на несогласие некоторых «звезд» (Ален Делон и другие), она быстро охватила даже Оперу и Французскую комедию, которые находятся на государственном содержании. Большинство бастующих, прежде всего младший театральный персонал, чье материальное положение сравнимо во Франции разве что с участью чернорабочих-поденщиков, требовало повысить им зарплату и обеспечить полную занятость. Одновременно комиссия, возглавленная крупными режиссерами А. Барсаком и Ж. Меркюром, разработала предложения по перестройке театрального дела в стране.

Несколько дней в конце мая длилось в Виллербанне, где находится прославленный театр Роже Планшона, совещание руководителей также бастовавших Домов культуры и народных театров при них. Около тридцати участников съехались на него со всех концов страны, среди них были Ж. Вильсон, Г. Реторе, М. Саразен, Г. Монне, А. Жансон. Документ, принятый ими, выдвигает задачу изменить самую суть культурной работы во Франции, где огромный пласт населения обречен довольствоваться поделками псевдокультуры, рассчитанными на самого невзыскательного потребителя. Вывести эту многочисленную, по словам составителей, «не-публику» из «гетто» бескультурья можно лишь тогда, когда с подмостков и экранов с ней заговорят на понятном ей, но отнюдь не примитивном языке о том, что ей близко, что прямо ее касается. «Вот почему всякое усилие в области культуры останется, на наш взгляд, тщетным до тех пор, пока оно открыто не осмыслит себя как инструмент политизации, пока оно не будет неустанно поставлять этой «не-публике» поводы для того, чтобы она политизировалась, свободно выбирала саму себя вопреки чувству бессилия и абсурда, которое не перестает внушать ей общество, где люди практически лишены возможности сами совместно творить собственную человечность» [1]. Независимость от торговцев развлечениями и опеки властей рассматривается в документе как основной залог превращения театра в орудие пробуждения в зрителе гражданина и личности.

Весьма решительным и разносторонним был замысел перестройки культуры, выдвинутый применительно к своей области ра-

[1] L'Union des Ecrivains. P., 1969.
[2] J. Besançon. Les Murs ont la parole (mai 1968). P., 1968.

[1] S. Zegel. Les Idées de Mai. p. 224.

САМАРИЙ ВЕЛИКОВСКИЙ
БАСТУЮЩАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

ботниками кино. Их движение началось одновременно в парижской Сорбонне, где 15 мая группа молодых техников кинопромышленности создала комиссию для обсуждения необходимых реформ, и в Канне, где 18 мая, по настоянию французских участников, очередной международный кинофестиваль был прерван в знак солидарности с забастовщиками. Вскоре в Париже возникли «Генеральные штаты кино» с ежевечерней ассамблеей всех желающих для подготовки программы преобразований. Среди возглавлявших эту реформаторскую деятельность были К. Шаброль, А. Рене, Ж.-Л. Годар, Л. Маль, Р. Вадим, М. Карне, К. Лелуш, Ж.-П. Ле Шануа, М. Курно — цвет французской кинорежиссуры.

Исходным для выработанного кинематографистами «Проекта новых структур», оглашенного вечером 5 июня на столь же многочисленном и бурном собрании, служило признание того факта, что во Франции культурная жизнь, «призванная быть постоянным оспариванием, критикой, пробуждать умы, на самом деле в ее нынешних формах не отвечает глубоким потребностям социального целого». Помеха здесь прежде всего в том, что «при системе, определяемой погоней за прибылью... фильмы расцениваются не как результат творчества, а как доходные товары» [1]. Оздоровить французское кино может поэтому, согласно проекту, лишь образование и всемерное расширение в нем «самоуправляемого общественного сектора». Последнему предстоит завести собственную сеть кинозалов, освободиться от правительственной цензуры и наладить гибкое сотрудничество с телевидением. Некоторые сторонники реформ, не получившие, впрочем, одобрения, заходили даже так далеко, что предлагали сделать кино бесплатным и погашать расходы из налога на население; по их расчетам, было достаточно, чтобы ежемесячный сбор с каждого француза равнялся примерно плате за одно посещение кинотеатра. В конечном счете всепроникающее самоуправление мыслилось и в кино как залог полной творческой отдачи кинематографистов, с одной стороны, и удовлетворения подлинных запросов кинозрителей — с другой.

Самое мощное из майско-июньских выступлений работников умственного труда во Франции — пятинедельная забастовка тринадцати тысяч сотрудников радио и телевидения (92% всего состава). Она сразу же приобрела общефранцузское значение, поскольку каждый вечер напоминала о себе в любом доме потухшим голубым экраном.

Управление радиовещания и телевидения Франции (ОРТФ) давно уже вызывало нарекания. Недаром во Франции моментально, едва он был произнесен, сделался ходовой поговоркой язвительный афоризм одного из журналистов: «Голлизм — это личная власть плюс монополия телевидения».

[1] S. Zegel. Les Idées de Mai, pp. 233—239.

В первые недели мая 1968 года низведение общенациональной информационной службы до пропагандистского придатка пошатнувшихся властей обозначилось со скандальной очевидностью перед всей страной. На улицах Парижа строились баррикады, «отряды безопасности» дубинками и слезоточивыми газами разгоняли студентов, мчались подожженные машины, останавливались заводы, страницы печати заполняла хроника ошеломляющих фактов, ползли невероятнейшие слухи, а телезрителя и радиослушателя пичкали успокоительно-развлекательными передачами и в лучшем случае рассказами о происходившем... из уст полицейских чинов. 10 мая хроника студенческих волнений, подготовленная и заранее объявленная, была снята перед самым выпуском. 13 мая тысячи журналистов, актеров, операторов, технических работников ОРТФ в знак протеста влились в ряды демонстрантов с заводов и учебных заведений. 14 мая по телевидению был все-таки передан добротный репортаж о событиях в Латинском квартале, туда была включена беседа журналистов со студенческими вожаками. Затем на передачи об «уличных беспорядках» был опять наложен запрет. Зато увещевания, угрозы и призывы правительственных глашатаев потоком хлынули в эфир. 17 мая ОРТФ было оцеплено полицией. И тогда, с 19 мая, всеобщая бессрочная забастовка почти полностью парализовала многоэтажный Дом радио в Париже.

Суть забастовочных требований сводилась здесь к тому, чтобы резко увеличить в руководстве телевидением влияние самих его работников и зрителей. Телевидению и радиовещанию на службе буржуазного правительства противостоял лозунг правдивой информации на службе всего народа [1].

Понятно, что забастовка под таким лозунгом получила широчайший отклик и поддержку во всей стране. Каждый день к круглому Дому радио стекались многотысячные колонны студентов, рабочих, служащих учреждений, ученых, деятелей искусства, чтобы пройти вокруг здания с плакатами в знак поддержки забастовщиков (это называлось «операция «Иерихон»). В свою очередь, радио- и тележурналисты выступали на бастующих заводах и в других учреждениях, разъясняя причины и смысл своего недовольства. Концерты-митинги организовывались актерами и журналистами телевидения в театрах и публичных залах Парижа и других городов. Меняя ответственных чиновников Управления, правительство пыталось сломить забастовку, приглашало за бешеные деньги журналистов и техников из частных компаний, шло на незначительные уступки. Однако туманные обещания были отклонены межпрофсоюзным комитетом забастовки как совершенно неудовлетворительные. Она продолжалась вплоть до конца июня. Позже правительство учинило жесточайшую «чистку»,

[1] S. Roumette. Aide-mémoire. «Les Temps modernes», N 265, 1968, p. 153.

под разными предлогами уволив десятки слишком «строптивых» журналистов. Однако вопрос о судьбе радио и телевидения Франции остается и поныне открытым и чрезвычайно острым.

Сложность забастовки ОРТФ, как и множества других выступлений интеллигенции в мае—июне 1968 года, состояла в том, что общедемократическая оболочка (отстаивание одной из традиционных либеральных свобод) имела здесь стихийно-социалистическое наполнение. А это вводило в заблуждение прежде всего самих участников, позволяя им питать иллюзии, будто самоуправленческая независимость достижима в ряду прочих политических свобод без коренного слома самого буржуазного мироустройства и перехода всех жизненно важных отраслей и ведомств в руки народа. Утопия некоего коллективистского островка, образованного вулканическим толчком забастовки посреди государственно-монополистического моря, приводила к навязыванию завышенно-непомерных задач тому виду борьбы за частичные улучшения, который требует очень трезвого учета наличных возможностей и очень четких лозунгов.

Поражение подобных не слишком продуманных начинаний заложено уже в их исходных посылках, и пролетариат за полтора столетия своей стачечной истории это твердо усвоил.

Коль скоро сами забастовщики-новобранцы в мае—июне 1968 года склонны были воспринимать собственные лозунги превратно, не вникая в их скрытую суть и не осмысляя до конца их социалистической подоплеки, то от них ускользала и опасность разрыва между надеждами на предпринимаемое действие и тем, что оно в состоянии дать. Разрыв этот сказался самым прискорбным образом, когда полоса стачек к середине июня сменилась предвыборной кампанией. В платформах крупных левых партий самоуправленческие лозунги отсутствовали по той простой причине, что ни одна из них, опасаясь неосторожного забегания вперед, и не ждала от победы на данных выборах непосредственно социалистических результатов: важно было сплотить как можно более широкую оппозицию режиму «личной власти». Интеллигенция же, толковавшая самоуправление в общедемократическом ключе, в большинстве своем поспешила обвинить левых политиков в робости, в нежелании добиться даже того, что, по ее мнению, вполне умещается в рамках развитых буржуазных структур. Зато голлисты, особенно их либеральное крыло, ловко подбросили в нужный момент свой лозунг «участия». Он означал приглашение самих трудящихся к сотрудничеству в развитии капиталистического производства, но при этом хотя бы внешне смахивал если не на самоуправление, то на соуправление.

В итоге многие работники умственного труда, насколько возможно об этом судить, в лучшем случае вовсе не пошли к избирательным урнам тогда, когда, в частности, и от их голосования зависело, быть или не быть важным для страны переменам. А в худшем случае они и вовсе отдали свои голоса приверженцам де Голля.

Победа сторонников «порядка» на выборах в июне 1968 года, а затем, летом 1969, относительно спокойный переход власти к прямым преемникам де Голля не могли, в свою очередь, не породить в интеллигентской среде разброд, продолжающийся и поныне. Многие из тех, кто совсем недавно метал громы и молнии, требуя полного переворота с сегодня на завтра, впадали затем в скепсис и уныние, корили себя за былое прекраснодушие, отрекались от всяких надежд на ломку сложившихся порядков и уповали на то, чтобы врачевать их исподволь и потихоньку. Вчерашние «мятежники» раскаивались и благословляли безыдейность. Другие—число их незначительно, но разговоров о них хоть отбавляй—с отчаяния бросились в столь головокружительное истеричное буйство мысли, что проповедуют теперь подпольную партизанщину, зачастую смыкающуюся, впрочем, с хулиганскими выходками, в которых всякий, кто знаком с русской историей, без труда замечает перепевы нечаевского заговорщичества. Именно здесь находят себе приверженцев бесчисленные троцкистские, маоистские, анархистские кружки, расплодившиеся в сегодняшней Франции. Оба эти течения в последние годы принесли немало вреда. Они препятствуют и затрудняют, хотя и не могут прервать совсем распространение в широких кругах демократических интеллигентов той социально-преобразовательной установки, которая так ярко дала о себе знать в мае 1968 года.

Такой исход первого массового выступления работников умственного труда Франции на поприще классовых сражений на свой лад свидетельствовал о крайней насущности шагов, которые бы помогли перевести их стихийное недовольство и устремления в русло революционной идеологии. «Важно отметить,— говорил уже в июне 1968 года на пленуме ЦК ФКП Вальдек Роше,— что гораздо более значительная, чем прежде, часть инженеров, административных кадров и техников приняла участие в борьбе рядом с рабочими и служащими. Это признак того, что они все яснее осознают, что их интересы наемных работников и их функция творцов нового толкают их к солидарности с рабочим классом. А это выдвигает перед нами новые задачи»[1]. Через полгода, в январе 1969 года, в парижском пригороде Пантен коммунисты провели теоретическое собеседование, посвященное работе среди инженерно-технической интеллигенции. Здесь особенно подчеркива-

[1] W. Rochet. Les Enseignements de Mai-Juin 1968. P., 1968. p. 68.

лось, что выдвигаемая компартией во главу угла своей программы передача народу основных отраслей хозяйства, путь к социализму через установление передовой демократии как раз и дает твердую опору требованиям, столь существенным для работников умственного труда. Смысл и плодотворность линии, отстаиваемой коммунистами против анархистских заигрываний с интеллигенцией «слева», равно как и технократических соблазнов справа, состоит в том, чтобы, отправляясь от особых ее запросов, вместе с тем способствовать широкому вовлечению ее в союз всех трудящихся, возглавляемый рабочим классом. И тем самым открыть перед ней уже не утопически-сбивчивый, а надежно выверенный путь к будущему.

Для французской интеллигенции маю 1968 года суждено было стать важной вехой в ее истории. Отныне уже не отдельные ее «блудные сыновья» в одиночку переходят на сторону угнетенных и восставших против своего удела. Отныне она сама, как таковая,— как часть всех наемных тружеников, на себе испытывающая тяготы их общего положения эксплуатируемых, сколь бы ощутимы тут ни были различия в заработке и строе жизни, уже не распыленная, а собранная на больших предприятиях для совместного производства знаний, изобретений, информации, культурных благ,— втягивается в борьбу против государственно-монополистических структур. Отныне забастовка, испытанный инструмент пролетарского движения, берется ею на постоянное вооружение — еще несколько лет назад об этом трудно было даже помыслить. После 1968 года интеллигентские забастовки становятся если не слишком привычным и обиходным, то достаточно постоянным явлением в жизни Франции.

Таков ответ интеллигентов на научно-техническую и управленческую рационализацию капитализма, проводимую ему на потребу и только в той мере, в какой это ему выгодно. И даже если сегодня отнюдь не подавляющее большинство их созрело для того, чтобы твердо сказать это «нет», а тем более осмыслить его существенное значение, все равно после Мая радикальная несовместимость потребностей и запросов «мыслящих пролетариев» и социального уклада, для которого их мысль — один из товаров, перестала быть тайной.

Работники умственного труда напряженно, болезненно чутки к искажающей саму его природу подгонке строго под нужды заказчика, будь то жаждущий только скорейшей прибыли хозяин или заинтересованное в сокрытии истины буржуазное правительство. Бюрократическая власть на заводах, в лабораториях, культурных учреждениях, ведомствах информации — во всей стране является непосредственным проводником подобного подхода к знанию, навыкам, поиску. И потому эта власть оказывается тем врагом, на котором демократическая интеллигенция сосредоточивает свой огонь. Утопические примеси в этом доводимом нередко до анархических крайностей желании разбить вдребезги жесткую иерархию тут очень заметны, поскольку вся тяжесть протеста переносится на политико-управленческую надстройку, капиталистические устои же, ее подпирающие, зачастую упускаются из поля зрения. Однако анализ был бы, в свою очередь, весьма непроницателен, не улови он того, что сплошь и рядом ускользает от самих носителей этого протеста,— его глубинную укорененность в бунте творческого труда, получившего небывалый размах в пору научно-технической революции, против стеснительной узости подминающих его под себя социальных отношений со всеми приемами государственно-монополистического хозяйственного руководства и политической власти.

Не менее резкое возмущение рождает у интеллигента бездуховная нелепица капиталистической цивилизации, которая обладает огромными материальными возможностями, но на каждом шагу попирает вековые человеческие ценности, опошляет культуру, выхолащивает свободу и правду, маскируя ими скрытое насилие и стыдливую ложь, обращает изобретения в проклятье — словом, повсюду обнаруживает нравственную несостоятельность, подмену бытия суетной возней или убогим прозябанием. Нередко в такого рода тоске по осмысленной, полной жизни усматривают блажь сытых, но голод перестал быть повальным бичом на Западе, а накормленные неизбежно помышляют не об одном хлебе насущном. И тогда «прихоть умников» оборачивается вдруг лозунгами забастовки. Им необходимо вдумчивое социально-политическое «заземление», но такая кропотливая и хлопотная работа наверняка не напрасна уже сегодня, а завтра и подавно. Как показал французский Май, захвативший широкие круги трудовой интеллигенции, в XX веке духовно-личностный момент — уже не услада келейных книжников, не исключительное достояние идеологов, а забота самых что ни на есть рядовых стачечников.

Конечно, такое потрясение, как майский взрыв, не обошлось, да и вряд ли могло обойтись без досаднейших подчас издержек. Трудности стремительного приобщения к политике тех, кто еще вчера ее чурался как постылой суеты сует, нередко столь ощутимы, что даже наблюдатели, прежде клеймившие склонность просвещенных мещан к «башням из слоновой кости», ныне иной раз приходят в крайнее замешательство. За накипью, за всплесками игры в самую что ни на есть «решительную» (на словах) революцию они перестают замечать благотворность идущего из глубины гражданского пробуждения широких кругов демократической интеллигенции.

Пожалуй, наиболее заостренно, с очевидной броскостью плоды слишком резкого полевения сказались в участившихся вспышках застарелой детской болезни левизны, как она преломляется в отношении

к духовному производству. Именно здесь, в этой области интеллигент выступает в качестве непосредственно производящего и все яснее осознающего себя эксплуатируемым работника. Он вынужден по-своему обслуживать враждебный ему уклад, присваивающий плоды его деятельности, чтобы обратить их в орудия собственного укрепления. Интеллигент приходит то в уныние, то в ярость от классового присвоения того, во что он вложил умение, страсть, знание и что, по его замыслу, призвано способствовать всеобщему освобождению, а не закрепощению. Будучи столь ловко обобран и на первых порах еще не докопавшись до социальной сути этого «мошенничества», он склонен распространить свое раздражение, стихийное недовольство и на само свое дело, его инструменты и результаты, кажущиеся ему наделенными каким-то колдовским коварством. Здесь источник того ошеломляющего и безответственного интеллектуального луддитства, которое в Мае и после Мая сбило с толку во Франции не одних безусых, хотя бородатых юнцов, но и немало крепких, умудренных возрастом голов.

Поветрие это приняло в теперешней Франции самые разные обличья, от культурофобии, замешанной на сциентистки-семиотических дрожжах, до разносов, учиняемых всей сплошь западной цивилизации под лозунгами сугубо лирического прорыва к чему-то вроде дикарской первозданности и нутряного надсадного наития. И во всех случаях культура, техника, рационалистическое мышление, веками складывавшиеся в Европе нравственные ценности и все прочие достижения человеческого духа со слепым рвением обвиняются в неискоренимом смертном грехе буржуазности, поскольку буржуазная идеология их в самом деле старается основательно пропитать. Но это последнее и несомненное обстоятельство истолковывается фетишистски и побуждает чересчур запальчивых, не успевших разобрать что к чему сокрушителей к вульгарному отождествлению цивилизации, как таковой, с ее использованием определенными социальными силами, а затем и к попыткам, хотя бы на словах, ее всю чохом отвергнуть.

Весь этот ужасный р-р-революционаризм, повторяющий, сам того не ведая, зады пролеткультовщины былых времен, походил бы на скверный анекдот, не изобилуй подобные сногсшибательные откровения и в расхожей публицистике, и в самых что ни на есть наукообразных трудах, выходящих ныне в свет во Франции. И, что еще более существенно, не находи эти причуды смятенной мысли для себя почвы, одновременно питающей и поддерживающей, в диковатом политическом «бесовстве», которому предаются по преимуществу в разномастно-пестрых, скорее шумных, чем влиятельных, студенческих кружках. Не затронув широкий пласт интеллигенции, оно все-таки подталкивает какую-то часть ее к нервозной нетерпеливости лозунгов, взвинченному сверхрадикализму, искусам анархистского разрушительства в ущерб терпеливой работе на поприще действительной истории.

Тут нельзя не вспомнить старую истину, гласящую, что чужое прошлое мало чему учит: отдельным людям, как и целым социальным слоям, приходится самим проделать полное зигзагов и подвохов восхождение от стихийного недовольства к осмысленной революционности. Им нужно выстрадать на собственной шкуре те же уроки, какие на схожих дорогах и задолго до них ценой трудов и потерь уже постигли однажды другие. Для понимания того, что на наших глазах происходит с работниками умственного труда Франции, да и других стран Запада, сохраняют всю свою точность слова, сказанные некогда Лениным: «...втягивание новых слоев трудящейся массы неизбежно должно сопровождаться шатаниями в области теории и тактики, повторениями старых ошибок, временным возвратом к устарелым взглядам и к устарелым приемам» [1]. Май 1968 года во Франции в очередной раз подтвердил эту истину, засвидетельствовав, что интеллигенция стихийно, только изнутри самой себя чаще всего вырабатывает либо технократическую, либо «лево»-утопическую идеологию. Поэтому внесение в эту среду революционного сознания — одна из насущнейших сегодняшних задач.

У рабочего движения во Франции есть, однако, достаточно богатое прошлое, оно располагает сегодня мощными и умелыми организациями, чтобы ускорить обретение социально-политической зрелости одним из своих бурно и, как видим, не без серьезных трудностей растущих союзников, помочь ему найти себя в рядах всех борющихся трудящихся. Такому становлению и такому сплочению май 1968 года дал сильный толчок.

Разумеется, здесь и завтра возможны, даже, пожалуй, неизбежны, и свои срывы, и свои полосы разброда. И все-таки, если не мерить происшедшее краткими отрезками отливов и усталости, а мыслить его широко, исторически, есть все основания полагать, что сдвиги, обозначившиеся в дни «красного Мая», необратимы.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 65.

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

«ЛИТЕРАТУРА ДОЛЖНА СТАТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ...»

Молодая литература социалистической Кубы, вступившей в свое второе десятилетие, переживает сложный и животворный период становления. Еще на начальном этапе революции в выступлениях ее руководителей на Первом конгрессе писателей и деятелей искусств Кубы (1961 г.) подчеркивалось, что партия не собирается указывать, какими именно художественными средствами и формами должны пользоваться художники в своем творчестве; единственное, что требовалось, это служить главной революционной цели и неустанно добиваться высокого совершенства своих произведений. Провозглашая необходимость чуткого и бережного отношения к представителям художественной интеллигенции, партия стремилась к тому, чтобы они

> «нашли в революции поле для применения своих творческих способностей и чтобы их творческий дух — даже если они не являются революционерами,— получил возможность свободы выражения».

С тех пор прошло десять лет. Количество книг отечественных и иностранных авторов, издающихся на Кубе, радует ее друзей и удивляет беспристрастных наблюдателей. Однако поток художественной литературы, которую при наличии разнообразных литературных манер должен освоить и «переварить» новый кубинский читатель, настолько неоднороден по эстетической ценности и идейной глубине, что с особой остротой встает вопрос о развитии литературной критики.

Этому и был посвящен цикл открытых для широкой публики докладов, который был проведен в Гаванском университете с целью способствовать оживлению критической мысли и с марксистских позиций еще раз определить содержание и задачи литературно-критического труда. Одним из главных докладчиков выступил Хуан Маринельо, виднейший деятель культуры социалистической Кубы, критик и литературовед, пользующийся признанием на всем американском континенте. Его доклад, названный «Наша литература должна стать частью нашей революции», был опубликован в журнале «Боэмия».

Литературный критик, считает Маринельо, должен уметь «объяснять, ориентировать и творить». Объяснение дает сведения о содержании произведения, информацию о его авторе и о связи той или иной книги с общей культурной атмосферой, в которой она создавалась. Ориентация — особенно важная на настоящем этапе кубинской революции и тесно связанная с правильным объяснением произведения — придает критике необходимый уровень и идейный смысл, способствуя в то же время возникновению полемики, оплодотворяющей всякое критическое суждение. Высшим же достоинством критика является его способность творить.

Формулируя главную задачу кубинской критики в свете этих положений, Маринельо пишет:

> «Если мы еще не можем похвастаться обилием гениальных критиков, то мы, по крайней мере, можем и должны стремиться прежде всего к оценкам литературного процесса с точки зрения новых путей, открытых нашими революционными преобразованиями; нам нужно иметь такую критику, которая бы

в определении плюсов и минусов опиралась на понимание настоящего и будущего литературы, чтобы она была не только подведением итогов созданного, но и существенным шагом в нашем общем движении вперед».

Для этого на Кубе сейчас есть все возможности; давно не существует частных капиталистических издательств с их коммерческими интересами, чуждыми интересам подлинного искусства; отсутствуют враждебные литературные группы; между критиками и писателями нет антагонистических идейных противоречий. Одним словом, без ущерба для индивидуальности художника, без навязывания тем и стилистических манер создана атмосфера творческого сотрудничества во имя общих и высших целей. И все же, как отмечает Х. Маринельо, уровень критики не соответствует ее возможностям и задачам. В чем же причина? По мысли Маринельо, одной из наиболее общих причин наблюдаемого «кризиса критики» следует считать ту кардинальную ломку общественных отношений, которую осуществила кубинская революция.

«Речь идет о периоде определенного вакуума, который в свое время должен быть заполнен, но заполнен без спешки, ибо спешка чревата обычно потерей нужного направления... Прибавим к этому, что выяснение взаимосвязи между революционными преобразованиями и развитием художественного творчества — не такое уж простое дело, чтобы его можно было решить двумятремя громкими фразами».

Вторая, более частная и конкретная причина отставания кубинских критиков от нужд момента заключается, по мнению Х. Маринельо, в отсутствии у многих из них должной идеологической подготовки, высокой общей культуры и исчерпывающей информированности в профессиональных вопросах. Без этих качеств критик всегда рискует увязнуть в трясине общих фраз или, в лучшем случае, превратиться в простого пересказчика, не имеющего собственной точки зрения. Маринельо проводит интересное, хотя, с нашей точки зрения, несколько спорное, противопоставление творчества писателя и творчества критика:

«Создать художественное произведение совсем не одно и то же, что оценить созданное. Для того чтобы написать хорошие стихи или сочинить оригинальный рассказ, уходящий корнями в сложную действительность, для того, чтобы создать острый и впечатляющий очерк, чтобы перенести на сцену конфликты, порожденные борьбой нового со старым в душе всякого чувствующего человека, достаточно иметь соответствующий талант и способность к восприятию... Процесс художественного творчества... вовсе не предполагает полной поглощенности писателя вопросами идеологии и не требует от него полного и исчерпывающего представления о созданном. Дело критиков — измерить высоту лука, из которого сделан тот или иной удачный выстрел. Совершенно немыслим — тем более сейчас — литературный критик, который бы не находился на уровне (так и хочется сказать — выше уровня) той специальной информации и общей культуры, которых требует от него время».

Слов нет, писатель и критик выполняют разные задачи. Поэтому в деятельности писателя должны преобладать моменты чувственного восприятия и художественного синтеза, в деятельности критика — моменты интеллектуального осмысления и научного анализа. Но и тот и другой должны обладать передовой для своего времени идеологией (или, по крайней мере, ее существенными элементами), ибо ее отсутствие чаще всего ведет к искаженному видению и толкованию мира.

Если с Маринельо и можно спорить, когда он делает известное послабление писателям, которым, по его мнению, не обязательно углубление в вопросы идеологии, то, полагаем, он безусловно прав, когда говорит о том, что в нашу эпоху, эпоху победившей Октябрьской революции и ожесточенной борьбы между двумя системами, не может быть идеологически нейтрального критика, какой бы блестящей и разносторонней ни была его общая культура и профессиональная эрудиция.

Разбирая причины нынешнего отставания кубинской литературной критики, Хуан Маринельо рассматривает еще один фактор, тормозивший развитие прогрессивной критической мысли на Кубе. Речь идет о длительном и пагубном влиянии североамериканского империализма, влиянии, которое в открытых и замаскированных формах отрицательно сказывалось не только на кубинской культуре дореволюционного периода, но, как угасающий отзвук навсегда ушедших времен, продолжает сказываться и в наши дни среди некоторой части национальной интеллигенции.

«Вспомним, что ветер с Севера (имеются в виду Соединенные Штаты.— **С. М.**) не только убивал наши лучшие традиции, но и, проникая во все щели, мешал своевременному появлению прогрессивных и революционных веяний на ниве общественной мысли и искусства. И все это — именно в те полвека, когда осуществились глубочайшие изменения в истории человечества».

Сложные идеологические процессы, происходящие в самое последнее время среди кубинской творческой интеллигенции, находятся в центре внимания Кубинской

компартии, которая считает, что сегодня особое значение приобретают художественные произведения, насыщенные революционной идейностью и служащие на благо новому обществу. Поэтому весьма актуально звучат те места из выступления Х. Маринельо, где он предостерегает против проникновения на Кубу буржуазной идеологии и формулирует некоторые «профилактические задачи критики».

«Было бы наивным полагать, что в такой области, как литература, не сохранится корней прежних заблуждений, упрямо дающих побеги, подобно весенним сорнякам. К этой неизменной угрозе прибавляется еще одна, не менее постоянная: угроза со стороны многочисленных чужеземных доброхотов, цели которых чаще всего противоречат задачам нашей революции. Дело нашего критика — обнаружить и разоблачить этих новых колонизаторов в доспехах, которые своим обманчивым блеском все еще ослепляют некоторых крупных писателей».

В своем докладе Маринельо отнюдь не призывает к духовной изоляции молодой социалистической республики или к недооценке достижений мировой эстетической мысли. Его беспокоит лишь то псевдооригинальное и малозначительное, что занесено на Кубу «модными» течениями современного модернизма и что, несомненно, ослабляет творческий потенциал революции. Отдавая себе отчет в том, что некоторые кубинские литераторы, видимо, увлеклись литературным трюкачеством, Маринельо пишет:

«Я уверен, что когда-нибудь нас упрекнут — и упрекнут по заслугам — в том, что мы в ходе одного из величайших и благороднейших процессов на нашем континенте пытались привить у себя вкус к мишуре, быстро выходившей из моды даже там, где она впервые появилась. С этим дешевым новаторством происходит то же самое, что с далекими звездами, которые давно умерли и чей свет доходит до нас с большим опозданием».

Конечно, писатели, сделавшие доминантой своего творчества поиски новых, революционных форм (на Кубе они получили название «экспериментализм»), руководствуются похвальным желанием создать новое, «невиданное» искусство и «поднять» массы до его понимания. Но, как правильно отметил в свое время известный кубинский критик Х. А. Портуондо,

«они не замечают, что формы, которые они считают новыми и революционными, возникли и развиваются в недрах распадающегося буржуазного общества и обычно выражают «кризис сознания».

Другой, противоположный уклон в кубинской словесности, на опасность которого указывает Х. Маринельо, связан с литературным течением так называемого «популизма». Лозунг «популистов» — создать литературу максимально понятную народу, иными словами «опустить» литературу до уровня масс путем крайнего упрощения и огрубления языка.

«Наш сегодняшний критик,— пишет Маринельо,— должен говорить о никчемности той «разговорной поэзии», которую нельзя назвать ни разговором, ни поэзией; он должен сказать свое «нет» той вызывающей массе нецензурных слов... которые, подобно камням, летят в читателя со страниц многих нынешних произведений. Он также должен объявить войну мещанскому смакованию примитивных инстинктов, изображая которые, кое-кто безуспешно пытается спасти от забвения свою поэзию или прозу».

И не случайно уже упоминавшийся нами критик Х. А. Портуондо при оценке «экспериментализма» и «популизма» проводит историческую параллель.

«Мы,— писал Портуондо в 1965 г.,— на пятом году нашей революции еще находимся на том этапе, когда отсутствие марксистско-ленинского мировоззрения, правильного видения действительности — что характерно для многих критиков и писателей — привело нас к повторению устраненных в свое время крайностей Пролеткульта и «Серапионовых братьев».

Хуан Маринельо, справедливо считая, что литературное дело является важнейшей частью революционного процесса, в заключение своего выступления призывает критиков и писателей слить свои усилия с усилиями кубинского народа, строящего новое общество.

«Но для этого,— говорит он,— писатель должен добиваться мудрой, доступной для всех ясности. В достижении понятной всем новизны — величайший подвиг художника. И пусть это качество станет достоянием всех тех, кто хочет на крыльях литературы подняться до уровня нашего великого времени. И пусть не забывается другая важнейшая истина: «завербованное» время требует

«завербованной» литературы. Но эта «завербованность» должна сопровождаться неустанной заботой о непреходящих качествах произведений, о мастерстве писателя на уровне той эпохи, которой он служит».

Хуан Маринельо верит, что критическая мысль «станет завтра составной частью невиданного взлета национального самовыражения»,— для него расцвет критики неотделим от общих выдающихся успехов революционных сил на американском континенте и является лишь вопросом времени.

С. МАМОНТОВ

ШАГ ЗА «НИЧТО»

Два нью-йоркских журнала напечатали материалы, удивительно похожие по своей проблематике и даже по направлению, хотя вообще эти журналы — «Диссент» и «Харперз мэгэзин» — отнюдь не принадлежат к одному лагерю. Первый ориентируется на «левизну» и радикализм, второй откровенно консервативен.

В центре обоих выступлений — русское слово «нигилизм» и проблемы, связанные с ним сегодня.

Большое эссе Дж. Эллиота в «Харперз» называется «Never Nothing»; тут явный контртезис «Ворону» Э. По, его «Nevermore» («никогда больше» — «никогда ничто»).

Дж. Эллиот начинает издалека; его волнует философско-религиозная ипостась проблемы. Он говорит об особенностях христианского мировоззрения, по его мнению, породивших ситуацию нигилизма, духовного вакуума в позднем европейском обществе, он сравнивает христианство и дзен-буддизм и приходит к выводу, что нигилизм не может быть вечным состоянием, что это скоропреходящий этап человеческого самосознания: «распад связей» не может быть вечным.

Выявляя первое четкое выступление нигилизма, автор, конечно, вспоминает Руссо, и Вольтера, и всю вообще атмосферу XVIII столетия в Европе:

«Нигилизм, как я понимаю дело, есть этический импульс: он вскармливает, выражает, оправдывает гнев тех, кого рационализм лишил веры в христианство. Это темная сторона Просвещения. Когда наука приземлила абсолют, кое-кто не мог отделаться от ощущения, что его предали: божественность была смыслом вещей, Христос был любовью и надеждой, жизненный рубеж и возмездие определялись богом, было что-то, куда можно было умирать. Юм потряс людей, а Вольтер насмеялся над ними в их потрясенности».

Лайонел Абель, автор статьи «Два нигилизма» в «Диссенте», не затрудняет себя философскими выкладками, он берет быка за рога:

«Мы живем во времена нигилизма, культурного нигилизма... Есть ощущение, что ты прав, только атакуя, что бы ни атаковал, и не прав, только защищая, что бы ни защищал».

«Всякого вида сепаратизм проявляется сильнее: французы против англичан в Канаде, черные против белых и белые против черных в нашей стране и по всему миру, женщина против мужчины, мужчина против женщины, дети против родителей, студенты против преподавателей, и даже... город Нью-Йорк против штата. Прилагательные «красный», «коричневый», «черный», «желтый», и «белый» неожиданно стали более важными, чем первичное «человек»... В двадцатые годы романисты интересовались техникой того, что называлось «чистым» романом, и поэты интересовались поэзией, по возможности свободной от всех прозаических элементов, и среди драматургов шли толки о «чистом» театре, и в новом искусстве — о «чистых» фильмах. В наше время, в нашем возрасте— а я имею в виду период, начавшийся со взрывов над Хиросимой и Нагасаки,— не «чистый» роман возымел место, а отрицание романа, разрушение романа. И эти отрицание и разрушение были названы антироманом. В поэзии было провозглашено антистихотворение; в театре сначала была поставлена «абсурдная» пьеса, а потом, так как та еще недостаточно разрушала драматическую форму,— антипьеса... Вы непременно заметите, что я соединяю два явления: сепаратизм, яростный сепаратизм в политике, и свирепую атаку на все формы художественного творчества. В обоих случаях есть утверждение частного, чье право на жизнь как раз и требует оправдания, против единственной вещи, которая могла бы оправдать его, против целого».

Итак, Л. Абель прямо и даже несколько прямолинейно связывает социальные и культурные факторы, в частности сепаратизм, центробежность в жизни, в политике и нигилизм в отношении к культуре.

Словом, он куда более остер и публицистичен, чем Дж. Эллиот.

Однако и Л. Абель вспоминает Руссо и Вольтера; при этом, как человек, более четко идущий к цели, он «ищет» свою идею уже и в первоистоках явления. Он — в общем, справедливо — считает, что Руссо и Вольтер — явления разного порядка, что Вольтер более нигилистичен, он более Мефистофель, дух отрицания в собственном смысле, чем несколько сентиментальный, проникнутый идеями единства с природой и благодати естественной жизни, деятельный Руссо; нигилизм Руссо — по сути не только нигилизм, он отрицает окружающую жизнь, но не отрицает жизни вообще.

Но что же такое нигилизм? Что значит сие понятие, вновь выплывшее из тени архивов на свет боевой публицистики?

Для выяснения современного наполнения этого слова, мелькающего ныне на страницах разных изданий в разных концах мира, оба автора, вновь как бы сговорившись, обращаются к русской литературе XIX века. И это опять-таки показательно; наша классическая литература, и прежде всего Достоевский, в последнее время вызывает в мире особое внимание многих и многих. Несомненно, что это связано, в частности, с ростом молодежного движения, принимающего часто форму «нигилистического» движения.

Дж. Эллиот обращается к авторитетам Тургенева, Достоевского. Из Тургенева он выписывает самое определение нигилизма, совершенно верно решив, что для расшифровки понятия нужно сначала дойти до его исконного, первого смысла.

> «Нигилист,— говорит Аркадий в «Отцах и детях» (и ему хорошо бы знать, что само это слово вошло в обиход главным образом как тургеневское название для него и его наставника Базарова),— нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип».

На примере печально знаменитого героя Достоевского Дж. Эллиот говорит об опасной логике последовательного и фанатичного нигилизма:

> «Нигилисты — секта миссионеров. Веря в ничто, сомневаясь во всем, кроме собственного мнения, они также хотят, чтобы и вы верили в ничто, во всяком случае, во всем сомневались. Воистину лишь немногие не ищут учеников; это солипсисты вроде Кириллова в «Бесах» Достоевского. Веря, что единственная реальность — это то, что он знает, он оказался способным заставить мир перестать существовать через прекращение своего знания о нем. Он застрелился. Но немногие идут так далеко по тропе солипсизма — этого еще одного приближения к абсолютному нулю. Большинство нигилистов и все нигилистические писатели, увязнув в челюстях противоречий, верят в пустоту и распад связей, но при этом нуждаются в общении...»

Л. Абель берет явление не в косвенном, а в прямом его выражении; ему не до «художественных отражений». Перед ним — характер Дмитрия Писарева как образца нигилизма. И опять: он даже и в этом характере, внутри его, видит некую двойственность. Приведя известные слова Писарева о том, что все, что может быть разрушено, должно быть разрушено, и только то, что выдержит эти удары, останется жить,— Л. Абель останавливает нас:

> «Я должен заметить здесь, что этот оптимистический нигилист дважды покушался на самоубийство...» (После четырех лет одиночного заключения.— **В. Г.**).

Но, конечно, главное, что волнует обоих авторов,— это не происхождение и ранний смысл явления, а его нынешнее значение, состояние. И тут оба автора расходятся терминологически — но удивительно сходятся по существу:

> «В давние дни, когда Запад был еще только в процессе упадка, чувства, подобные чувствам Стивена (героя Джойса.— **В. Г.**) и Аркадия, выглядели достаточно устрашающими, устанавливали что-то вроде последнего рубежа, предела. Но для нас... эти романтические нигилисты кажутся высокоумными денди: как сатаниты на черной мессе, они вызывают к себе отношение, которое не совершенно свободно от жалости...»
>
> «Романтические нигилисты, не обладая героическим размахом Джойса, были в общем и целом не стойки в своих желаниях; часто они сворачивали на примитивность простой ненависти. Беда для них была в том, что они не могли не ненавидеть многие вещи, достойные ненависти,— несправедливость, лицемерие, злоупотребление силой, фальшивые идеалы. На какой же они были стороне? На обеих; в этом была дилемма. Они желали исцелять общественные раны, но, увидев размеры этих ран, отчаивались осуществить свое желание. Чтобы избежать дилеммы, они искали конец несправедливостей не в учреждении лучшего порядка, а в разрушении его любыми способами; от политического убийства до интеллектуального обличения. И все-таки для нас, кто видел в лице Германии великую нацию, пародийно управляемую сектой принципиаль-

ных нигилистов, отрицающих добро и любящих все низкое, романтические нигилисты кажутся архаичными и почти родными по духу: как-никак они мечтают; как-никак если мы разрушаем достаточно добросовестно, то любовь, братство, добро уж как-то заявят о себе в истории. Сам я уже не слишком верю в этого феникса; но я испытываю известные родственные чувства к тем, кто верит» (Дж. Эллиот).

Л. Абель выступает перед воинственно настроенными студентами Колумбийского университета; он не разделяет разрушительного пыла своей аудитории, но в то же время сочувствует ей и поэтому немного хитрит:

«Один теолог различал молитвы утреннюю и вечернюю.... Нигилизм, который я назвал нигилизмом утра, нигилизмом активным, экстатическим, дерзким и разрушительным...— не для нас, не для нашего века, ибо мы знаем ныне нечто, чего не знал Писарев, а именно: что нет ничего на этой земле, что невозможно разрушить; мы знаем даже, что и сама земля может быть разрушена. Должны ли мы сказать в этом случае, что и земля не имеет права на жизнь? Нет, я думаю, мы должны сказать, что нигилизм утренний, каким бы привлекательным он ни казался, не имеет права на жизнь. Он как раз из тех вещей, которые несомненно должны быть разрушены».

Таким образом, Л. Абель сочувствует здоровым разрушительным ветрам, но опасается, как бы они не задули слишком уж резко; поэтому он и к Писареву относится с симпатией, но не без опаски, поэтому и в тех местах своей речи, где он говорит о нигилизме вечернем, старческом, лишенном жизненной силы — о нигилизме его собственного поколения,— он в глухом подтексте не может не упрекнуть молодежь за ее розовые иллюзии, ее утопизм, ее экстремизм.

Итак, главное для обоих — это то, что существует два нигилизма, нигилизм конструктивный и нигилизм опустошительный, нигилизм, оправдывающий свое название, нигилизм, стремящийся в ничто и к ничто.

Для доказательства этой-то идеи — и Руссо, и Вольтер, и русский «нигилизм» XIX века, и все остальное.

Правда, в интерпретации этой идеи есть любопытные разночтения. Так, Дж. Эллиот — как и во всем своем эссе — акцентирует духовную сторону дела, он считает, что чистый нигилизм опаснее всего в сфере духовных ценностей; он склонен к пафосу и в своем призыве к духовному возрождению человечества обращается к тени великого флорентийца:

«Данте держался за Вергилия, который должен был прижаться на некоторое время к Сатане, поскольку не было другого способа пройти мимо него... Затем... они ушли, покинув ту темную пещеру, которая всегда там пребудет и в которой им уже нечего было делать: в ушах больше не звенело от воя тех, кого проклял бог,— этих ложных детей в мертвом лоне; и они выбрались назад в мир света, где солнце и другие светила сияют незатененно, где братство возможно».

Л. Абель в целом более конкретен и социален. Говоря о «вечернем» нигилизме, он подразумевает не только индивидуумов, но и общество, и культуру. Он говорит о том, что еще в конце XIX века западное искусство приблизилось к «ничто». Он с горечью ведет речь о своем поколении, которое питало иллюзию, будто можно прожить этим чистым «ничто», одним лишь ощущением абсурда, распада, заката, и делает вывод, что так же как реальный человек не выдерживает этой ситуации и меняет ее или поворачивает газовый кран (вспомним опять и Кириллова!), так и новое поколение, и культура стоят перед выбором: «ничто» или...

«Возможно, вы создадите новый век с новыми альтернативами. Будет ли он хуже или лучше этого века? На эту тему вы будете говорить сами. Но в любом случае вы должны освободиться от иллюзии, которая связывала многих из моего поколения. Я утверждаю — и вы должны усвоить это теперь, при начале вашей деятельности,— что единственный вид нигилистического образа жизни, реальный для вас, является совершенно бездуховным: затхлый нигилизм, усталый нигилизм, плохой нигилизм; это не для молодых идеалистов — он годится лишь для старых циников».

Словом, нельзя разрушать без оглядки, но и нельзя жить нулем, чистым отрицанием, «абсурдом», как все те в обществе и культуре, от имени которых говорит Л. Абель.

Конечно, обе статьи — во многом плод испуга западного интеллигента перед нарастающими катаклизмами классового общества, разнообразного современного мира; призыв к умеренности, к «разрушению, но в меру» — не впервые слышен среди людей. Будь жив Писарев, он бы ответил Л. Абелю все, что следует. Ведь Писарев по сути не был нигилистом, он был революционером, рыцарем истины, рационалистом в строгом и светлом смысле слова, и поэтому всякие сравнения с ним в рас-

суждениях о нынешнем нигилизме выглядят явной натяжкой. Но справедлива тревога думающих людей на Западе об этом сегодняшнем нигилизме — о нигилизме, связанном с комплексом безысходного отчаяния или с полным отрицанием каких-либо ценностей.

И все-таки явление это более сложно, а совпадения у столь разных авторов не случайны; за страхом, за разговорами о христианстве и дзен-буддизме, за остротами по адресу современных шатаний, разброда в людях и непоследовательности тех или иных социальных деятелей видно нечто искреннее и крепкое — жажда позитивной программы, как сказали бы мы, стремление выработать какие-то новые социальные и духовные ценности, чтобы не стоять после грохота разрушения с пустыми руками и душами.

Многие на Западе чувствуют, что эта работа так же важна, как и само разрушение.

ВЛ. ГУСЕВ

«СВОБОДНЫЕ ПИСАТЕЛИ», «НАДОМНИКИ» ИЛИ...

Чрезвычайно характерный для современной западногерманской литературы рост интереса к социально-классовой проблематике проявляет себя не только в книгах, статьях или публицистических выступлениях. Ему сопутствует своеобразный сдвиг в самосознании многих писателей. Впервые за долгие годы начав по-настоящему вглядываться в жизнь рабочих и других представителей наемного труда, в их отношения с предпринимателями, в механизм манипулирования людьми и мнениями, они одновременно как бы по-новому увидели самих себя, свое собственное место и положение в индустриальном капиталистическом обществе.

Этот сдвиг писательского самосознания явственно продемонстрировал состоявшийся в конце прошлого года в Штутгарте первый съезд Союза писателей ФРГ, ход и итоги которого продолжает комментировать пресса как в Западной Германии, так и в ГДР.

Все пишущие о съезде отмечают не совсем обычный для такого рода собраний характер обсуждавшихся на нем проблем — проблем прежде всего организационно-экономического характера. В то же время наиболее серьезные комментаторы стремятся различить за спорами о материальном положении литераторов, пересмотре авторского права и т. п. более глубокую, политическую подоплеку. Впрочем, об этом прямо говорилось и на самом съезде.

> «Лишь банкиры могут быть настолько наивны,— саркастически заметил в своем выступлении Генрих Бёль,— чтобы думать (или делать вид, что думают), будто деньги аполитичны. Писатели так думать не могут».

Обозреватель еженедельника «Зоннтаг» (ГДР) Петер Пахнике в статье, озаглавленной «Конец одного табу. Новое самосознание западногерманских писателей и Штутгартский съезд», пишет по этому поводу:

> «Первый писательский съезд... был настолько мало похож на творческий вечер или на дискуссию об антиискусстве, что рецензент «Франкфуртер альгемейне цейтунг» заявил столь же уничижительно, сколь и возмущенно: «Там говорят об одних деньгах!» Но действительно ли для трех тысяч западногерманских писателей речь шла только о золотом тельце или целью такого рода газетных оценок было скорей затушевать политический характер проблем, которые обычно кроются за дискуссиями о деньгах?»

Весьма показательным в этом смысле автор статьи считает развернувшееся на съезде обсуждение вопроса о вхождении Союза писателей ФРГ в Объединение западногерманских профсоюзов. Рассматривались две возможности: коллективное вступление в профсоюз работников печатной и бумажной промышленности и создание собственного единого профсоюза работников культуры, в который, помимо писателей, вошли бы также художники, журналисты, кинематографисты и другие.

Прежде чем остановиться на особенностях обоих предложений и на разнице между ними — несколько слов о том, что значит вообще для западногерманских писателей, этих «общеизвестных индивидуалистов», как назвал их в своей речи на съезде Гюнтер Грасс, перспектива такого объединения.

Войти на известных правах в сложившуюся систему профсоюзов — значило бы для них прежде всего официально определить свое место среди прочих наемных

рабочих. На съезде очень часто и полемически подчеркнуто литераторы определялись как «работающие по найму, вроде надомников», как «работники гигантской индустрии», продающие предпринимателям свой труд. Профсоюз, таким образом, должен был бы более надежно, чем до сих пор, отстаивать их социально-экономические права и интересы.

В то же время подобный шаг предполагал и определенные обязательства. Для людей, традиционно называющих себя «фрайшаффенде шрифтштеллер» — «свободные писатели»,— во всем этом было немало новизны и неясности.

> «Способны ли писатели на элементарную солидарность, на которой зиждется профсоюз?..— спрашивал на съезде тот же Грасс, сторонник вступления в профсоюз работников печатной и бумажной промышленности.— Способны ли мы к тарификации и готовы ли мы к тарификации?.. Готовы ли мы к забастовкам?»

Что и говорить, для писательских собраний слова о забастовке звучат, пожалуй, несколько непривычно. Да пока еще и достаточно абстрактно. (Последнее время стали известны, правда, случаи забастовок литературных работников — например, сотрудников франкфуртского издательства «Зуркамп» и итальянского издательства «Саджаторе», но то скорее все-таки служащие, а не «фрайшаффенде шрифтштеллер».) Существенно, однако, что этот вопрос ставится на повестку дня во многих писательских организациях Запада. О праве на забастовку говорилось на одной из прошлогодних ассамблей Национального синдиката писателей Италии. Одновременно в разных странах выдвигаются требования об ограничении власти издательских монополий, об участии деятелей литературы в издательской политике и т. п. Логика таких требований поневоле выводит писательские объединения за рамки чисто профессиональных — творческих или материальных — забот. Так произошло и в ходе дискуссии о профсоюзах на Штутгартском съезде.

В тезисах, предложенных съезду группой виднейших западногерманских писателей, необходимость скорейшего вступления в профсоюзное объединение обосновывалась следующим образом:

> «Быстро прогрессирующая монополизация средств массовой информации, в частности издательского дела, усиливает идеологическую и политическую власть хозяев индустрии мнений. Поскольку писатели вынуждены продавать предпринимателям продукты своего труда, они находятся в зависимости от монополий... Эта экономическая зависимость, влияющая и на сознание писателей, может быть ослаблена или преодолена лишь в том случае, если писатели организуются».

По этому поводу Петер Пахнике пишет в «Зоннтаге»:

> «Потребовался процесс почти полной монополизации западногерманской культурной индустрии, чтобы вывести писателей из непробудного сна либерального мышления».

Но масштабы этой монополизации одновременно показывают явную недостаточность чисто экономических, синдикалистских средств защиты. Писателям монополизация грозит не просто материальным закабалением. Это одновременно монополизация идей, направлений, вкусов. Гигантские концерны, поставщики массовой информации (а по данным одного западногерманского справочника, в 1969 году более 40 процентов книжной продукции ФРГ приходилось на долю 2,5 процента всех издательств), располагают разнообразными возможностями для формирования читательской аудитории — в направлении, вполне определенном. И серьезные, дорожащие своей независимостью художники действительно рискуют оказаться одиночками, затертыми на обочину, лишенными реального влияния на культурную жизнь страны.

Уменьшит ли эту опасность простое присоединение писателей к одному из производственных профсоюзов? Обеспечат ли им подлинную независимость более выгодные условия договоров с издателями или другие подобные достижения?

По мнению автора статьи в «Зоннтаг», многие писатели ФРГ уже осознают необходимость более серьезных перемен. Особое внимание он обращает на те выступления участников съезда, в которых прозвучал призыв не ограничиваться защитой частных интересов, а добиваться активного, действенного участия писателей в управлении средствами производства культуры.

Именно в этом видит Петер Пахнике главный смысл выдвинутой Мартином Вальзером идеи объединенного профсоюза работников культуры.

> «Мы, работающие в культурной индустрии или на нее,— говорил Вальзер,— должны по меньшей мере привести нашу организацию в соответствие с той стадией экономической концентрации, которая у нас существует. В то время как наши партнеры или противники стремятся захватить все средства массовой информации, нам, писателям, журналистам, композиторам... актерам, художникам, смешно действовать разрозненными группками».

Объединенный профсоюз, по мысли Вальзера, был бы способен в дальнейшем создать свои собственные средства производства и тем самым во многом изменить ситуацию в культурной жизни ФРГ

Позиции Гюнтера Грасса и Мартина Вальзера представляются Петеру Пахнике олицетворением двух принципиально разных подходов к профсоюзному объединению писателей: чисто синдикалистского и более глубокого, политического. Он пишет:

«Называя проект Вальзера весьма интересным с точки зрения отдаленных перспектив, но в настоящее время вряд ли реалистичным, Грасс затушевывал его главную, антиимпериалистическую суть: борьбу за контроль писателей над монополиями мнений и за ликвидацию этих монополий, что является условием демократизации средств массовой информации. Конечно, Грасс прав, когда он говорит, как трудно будет организовать всех деятелей культуры, он прав, когда говорит, что гораздо легче поднять 3000 писателей на борьбу за социальное обеспечение в рамках профсоюза работников печатной и бумажной промышленности, чем на борьбу за проведение в жизнь коренных демократических и экономических требований. Но такого рода прагматизм оставляет в стороне главное — борьбу против причин несвободы и манипулирования в западногерманской культуре».

Пахнике называет это реформ-оппортунизмом, характерным для социал-демократов — партии, глашатаем которой является Гюнтер Грасс. От того, как будет развиваться дальше борьба этих двух тенденций, во многом зависит, по его мнению, судьба будущего профсоюза.

Пока что идея Вальзера не нашла поддержки у большинства участников съезда. Не было принято также и предложение о немедленном вступлении Союза писателей в профсоюз работников печатной и бумажной промышленности. Одобренная съездом резолюция предлагала правлению до 1972 года (то есть до следующего съезда) лишь «выяснить условия», при которых возможно будет вхождение в один из производственных профсоюзов.

Такой исход дискуссии вызвал в печати весьма разноречивые отклики. Западногерманский еженедельник «Цейт», отмечая чересчур необязательный, расплывчатый характер принятой съездом формулировки, тем не менее пишет:

«Значение этого предварительного решения нельзя недооценить: немецкие литераторы... эти «общепризнанные индивидуалисты», осознали свое зависимое положение и готовы вступить в профсоюз».

Дискуссия и решение съезда по поводу вступления в профсоюз вряд ли дают пока основание выносить обобщающие суждения о политической ориентации большинства членов Союза писателей ФРГ. Ситуация во многом остается еще открытой. Однако уже сейчас можно со всей определенностью говорить о наличии новой тенденции в умонастроениях западногерманских писателей. Обозреватель «Зоннтаг» считает в конечном счете важным сам факт появления этой тенденции.

«Решение съезда писателей вести переговоры с Объединением западногерманских профсоюзов о создании профессиональной организации,— пишет он,— было уже само по себе политическим шагом, попыткой солидарности».

Стремление к политизации писательских объединений становится все более характерным для многих западных стран. Призыв содействовать коренным социальным преобразованиям записан в уставе Союза писателей Франции. Незадолго до Штутгартского съезда итальянский еженедельник «Ринашита» писал о новых веяниях в Национальном синдикате писателей Италии.

«Можно... предвидеть,— говорилось, например, в статье Марио Лунетта,— столкновение между теми, кто придерживается устаревших взглядов на миссию и назначение писателей, и теми, кто стремится добиться подлинного участия писателей в жизни страны и всего мира. Большинство писателей видит, как оскорблено и унижено их достоинство в буржуазном обществе и как изменилось понятие о долге писателя и долге интеллигента... Сегодня деятель культуры работает в новой сфере, политической по своему характеру. Осознание этого факта привело к пробуждению от летаргии, в которой пребывала писательская организация».

Слова эти, написанные в иной стране и по иному поводу, вполне могли быть произнесены в ФРГ. Видимо, само время ставит перед деятелями культуры Запада эту проблему.

М. ХАРИТОНОВ

Изобразительное искусство за рубежом

Из экспонатов музея изобразительных искусств Монголии в Улан-Баторе

Г. Занабазар (1635—1724). Благозвучие (бронза).

Пунцагосор. Ритуальная маска. XIX в. (папье-маше).

У. Ядамсурэн.
Девушка, играющая на шанзе.
1959 г. (гуашь).

У. Ядамсурэн.
Старик сказитель. 1958 г. (гуашь)

3. Хасгомбо. Деталь аппликации. XIX в.

У. Ядамсурэн. Я. Люня. Призыв. 1967 г. (аппликация).

Ч. Базарваань. Оазис. 1968 г. (масло).

Ц. Будбазар. На выборы (масло).

Отклики, встречи, впечатления

Е. КНИПОВИЧ

ГЕНРИХ МАНН И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Столетие со дня рождения Генриха Манна — великого гуманиста и демократа, одного из классиков немецкой и мировой литературы XX века,— было широко отмечено общественностью ГДР.

На торжественном заседании, состоявшемся 13 марта этого года в Берлине, был зачитан доклад главы юбилейного комитета Вальтера Ульбрихта, в котором содержится глубокий и всесторонний анализ творческого и общественного пути художника.

Немецкая академия искусств почтила память первого своего президента, посвятив его творчеству специальную сессию, участниками которой стали видные литераторы и ученые ГДР, СССР, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Румынии, Франции, ФРГ, Японии.

Работу этого представительного международного форума определил неукротимый боевой дух того, кому он был посвящен. Четыре основных доклада — Александра Абуша, Вильгельма Гирнуса, Александра Дымшица и Зигрид Бок — осветили разные стороны живой и современной сущности творческого и общественного подвига немецкого писателя.

Связь творчества Генриха Манна с народными революционными традициями, разоблачение им основ капиталистического общества, пафос последовательной и действенной борьбы против фашизма и военной угрозы, подлинный патриотизм и интернационализм, братская преданность героям-борцам, антифашистам Германии, любовь и уважение к Стране Советов — вот о чем говорили четыре основных доклада и многочисленные рефераты и сообщения. Они свидетельствовали об актуальности и живой силе наследия Генриха Манна, о влиянии его на литературу и общественную жизнь многих стран, о том, какую светлую и благодарную память оставил он в сердцах своих друзей и соратников.

Коллективная работа сессии раскрыла творческий путь Генриха Манна как пример служения большого художника и борца подлинным интересам своего народа и передовым идеям современности.

Мы печатаем в этом номере выступление на сессии Е. Книпович, посвященное восприятию творчества Генриха Манна в Советском Союзе.

Когда в связи с празднованием столетия со дня рождения Генриха Манна возникла необходимость оглянуться назад — в 30-е годы — те годы, в которые особенно тесна была связь этого замечательного художника с литературной общественностью и периодикой Советского Союза,— мне очень захотелось поговорить с кем-нибудь из наших товарищей, у которого осталось личное впечатление о великом гуманисте и демократе.

Естественно, память подсказала одно из наизначительнейших событий в истории совместной борьбы мастеров культуры разных стран против фашизма и угрозы войны — Парижский конгресс писателей в 1935 году.

Советская делегация на конгрессе была очень большой и представительной. Но годы есть годы. И за прошедшие с тех пор тридцать шесть лет ушли из жизни почти все члены советской делегации. Однако глубокое личное впечатление об этой междуна-

родной встрече сохранилось в памяти одного из советских делегатов — большого поэта и крупнейшего деятеля движения в защиту мира Николая Тихонова. Когда он поделился со мной своими воспоминаниями, главным в его рассказе — очень живом и ярком — оказалось то, что в сознании его, Николая Тихонова, сущность конгресса, знак, под которым он прошел, воплотились именно в выступлении Генриха Манна. Генрих Манн, поднявшийся на трибуну, немолодой, спокойный, полный достоинства человек, произвел сначала на молодого в ту пору русского поэта впечатление скорее ученого, чем художника, мыслителя, привыкшего логически развивать свои положения перед слушателями, не проявляя эмоций и не воздействуя на чувства других. Но когда в его речи, посвященной величию разума и свободы, дело дошло до фашизма, до тех, пользуясь выражением Брехта, свершителей исторических преступлений, чье иго легло на немецкий народ, в словах, голосе, в самом строе речи зазвучал тот гнев спокойного и сильного, который раскрывает самую сущность последовательного до конца участника борьбы.

Значительных, глубоких и бескомпромиссных в своей антифашистской направленности выступлений было на конгрессе очень много. Если говорить только о немецкой делегации, то блестящая диалектика речи Бертольта Брехта добиралась до самых основ фашистского режима. Не менее ярка была и речь Анны Зегерс об истинном и ложном патриотизме. Превосходны были речи Эриха Вайнерта и выступление Ганса Марквицы, в котором прозвучали слова о том, что на фашистских кострах вместе горели книги увенчанных славой старших мастеров культуры и книги молодых революционных пролетарских писателей.

Мне кажется, что речь Генриха Манна так глубоко запала в память русского поэта не только потому, что в ней раскрылась исключительность самой личности оратора, но еще и потому, что в речи этой действительно была сконцентрирована самая сущность конгресса — тот одновременный процесс дифференциации и консолидации «мыслителей и поэтов», который определяло само время — грозные и великие 30-е годы нашего века. Фашизм достаточно шумно и уверенно выходил на мировую арену, отрабатывая приемы незаконного захвата чужих территорий в Австрии и в Чехословакии, методы ведения агрессивных войн на полях республиканской Испании. Но это же время показало большую активность народных масс, потому что в эти годы произошло восстание шуцбундовцев Австрии, образовался Народный фронт во Франции, вел героическую борьбу народ Испании. К этим годам, думая о творческом и общественном пути Генриха Манна, обращаешься еще и потому, что именно тогда отчетливо раскрылись новые грани его огромного дарования. Да, мы знали и до этого, насколько блестящи возможности Генриха Манна — эссеиста и публициста. Но мы имеем право сказать, что в 30-е годы, наряду с Горьким и Ромэном Ролланом, Генрих Манн вырос в подлинного трибуна антифашизма, организатора и собирателя тех сил, которые противостоят историческому и социальному злу. Годы эти открыли для нас новые грани и в творчестве Генриха Манна, расширили наше представление о нем.

Генрих Манн был для нас всегда писателем огромным по своему дарованию и глубоко современным, обладающим искусством «думать вперед», каким отмечено и творчество Брехта и Бехера. Действие романа «Большое дело» происходит в 1929 году, а свет книга увидела в конце 1930-го. Но «Верноподданный» задуман в 1906 году, а жгучая актуальность книги, написанной в 1914-м, стремительно возрастала на протяжении последующих десятилетий, когда становилось все более очевидным, что облик Дидериха Геслинга — это наиреальнейший реализм, жизненная правда, воплощенная средствами, близкими к гротеску. Из этого следует, что острое чувство современности сочеталось в творчестве Генриха Манна с тем даром предвидения, о котором точно и справедливо говорит в одной из своих речей Томас Манн: «Ты произнес слово «демократия», когда еще мы все мало понимали, к чему оно, и провозгласил целостность человеческого, включающую в себя политическое, в произведениях, которые в одно и то же время являются высоким искусством и пророчеством. Разве мы не воспринимаем сегодня такие книги, как «Верноподданный», «Учитель Гнус», «Маленький город», как исполнившееся пророчество? Если гений означает предвосхищение, предвидение, страстное воплощение того, что будет,— то твое творчество носит печать гениальности и помимо своих художественных дерзаний представляет собою нравственный феномен». Эти черты творчества Генриха Манна отмечала в своих работах начала 30-х годов советская критика. Статьи И. Анисимова «Господин Геслинг», «Мелкий бес Германской империи» А. Старцева и другие говорили именно о той силе предвидения, каким отмечена и вся трилогия «Империя», и прежде всего «Верноподданный».

Позже, в одной из советских работ 50-х годов, была проведена параллель между романом «Голова» — последним в трилогии — и романом замечательного советского писателя Константина Федина «Города и годы». Острое чувство наступления событий до того, как они произошли, выражено в двух этих книгах двух писателей разных стран и разных народов с большой убедительностью и силой. Тема человеческого одичания в империалистической Германии, которое уже было формой войны, моральной подготовкой к ней, со всей силой прозвучала в двух этих книгах, увидевших свет одновременно. Поистине, в дни, непосредственно предшествующие началу войны 1914 года, герой Федина — Андрей Старцов — на улицах городка Бишофсберга скользит в еще не пролитой крови, как и герой Генриха Манна — Терра. На это могут сказать, что предчувствие здесь ретроспективно. Но это не так— оно оставалось в силе и для последующих

лет, оно звучало как сигнал бедствия и во второй половине 30-х годов, непосредственно предшествовавших второй мировой войне.

Но самый горячий и братский отклик получило в советской печати творчество Генриха Манна в 30-е годы, годы, когда были созданы те шедевры антифашистской художественной публицистики, которые затем вошли в книги «Ненависть» и «Мужество». В эти же годы были созданы и два замечательных произведения немецкой и мировой литературы «Юность» и «Зрелость короля Генриха IV». Сам Генрих Манн в статье «Памятное лето» говорит о неразрывной связи боевой атмосферы 30-х годов с образным воплощением темы воинствующего гуманизма, активной защиты разума, свободы, достоинства человека, всего того, что входит для него в понятие «добра», против сил исторической косности, жестокости, реакции. Вместе с Генрихом IV и его молодыми друзьями, которые с мечом в руке встали на защиту будущего страны и народа, в творчество Генриха Манна вошел воинствующий гуманизм, горьковский гуманизм, чей смысл братски близок литературе Страны Советов. И если для утверждения норм и идеалов этого гуманизма Генрих Манн отошел на четыреста лет назад, то никакого отступления от современности в этом не было, потому что сила утверждения права и правды воинствующего гуманизма в его романах питалась тем гневом, ненавистью к фашизму и тем восторгом перед мужеством борцов-коммунистов Германии, каким полны его произведения тех лет, все то, что создал Генрих Манн — боец и публицист — за эти годы.

С благодарностью и любовью помним мы, что Советский Союз, строительство социалистического общества встречали братское понимание Генриха Манна, что он — с первых дней существования нашего государства — отдавал дань уважения и преклонения перед личностью и делом Ленина. Но и наше общество не оставалось здесь в долгу: полистайте пожелтевшие страницы «Правды», «Известий», «Литературной газеты», русского издания журнала «Интернациональная литература» тех боевых лет — и вы увидите, сколько публицистических и художественных произведений Генриха Манна, сколько работ о нем напечатано в эти годы. Вы найдете на этих страницах статьи И. Анисимова «Ненависть», Т. Мотылевой «Генрих Манн — антифашист» и многие другие; они раскрывали для советского читателя сущность новых творческих и идейно-политических побед великого писателя. Я счастлива, вспоминая о том, что мне довелось в 1938 году на страницах «Правды» дать высокую оценку роману «Юность Генриха IV», сказать о теснейшей связи, которая существует между образом гуманиста с мечом в руках и ощущением величия подвига современных борцов с фашизмом. И в 1939 году мне, как заместителю ответственного редактора журнала «Интернациональная литература», довелось непосредственно заниматься публикацией перевода «Зрелости короля Генриха IV» и выступить на страницах журнала со статьей о романе, озаглавленной «Тема воинствующего гуманизма». Я разрешу себе процитировать несколько строк из этой статьи тридцатидвухлетней давности:

«Угасание чувства историзма, уверенности в объективном существовании и объективном значении истории теснейшим образом связано с тем разрывом между гуманистической и революционной традицией, который произошел в сознании буржуазных идеологов во второй половине прошлого века. Именно тогда великий образ человека, созданный искусством и философией прошлого, оторвался в сознании большинства художников Запада от тех реальных исторических условий, которые его породили, от своей народной основы. Именно тогда принципы гуманизма стали отвлеченными и «вечными» и из исторических концепций исчезло представление о творческой роли масс в создании всех культурных и общественных ценностей прошлого... Все особенности, отличающие «Юность» и «Зрелость...» от других исторических романов писателей-гуманистов, порождены именно тем сознанием неразрывной связи революционной и гуманистической традиции, которая выделяла Генриха Манна среди большинства художников Запада с самого начала его творческого пути... Не надо доказывать, что книги Генриха Манна ближе и дороже нам, чем другие исторические романы последних лет. Они современны в самом подлинном, самом лучшем смысле этого слова. Они мудро и закономерно связывают современный гуманизм с великими гуманистическими традициями прошлого. Эти книги мог написать только трибун Народного фронта Германии, только человек, который сам знает, как создаются герои и как в повседневной черной работе рождаются великие исторические дела».

От этих слов, написанных тридцать с лишним лет тому назад, я не отказываюсь и сейчас. Но в этой временной перспективе становится особенно ясным пророческое в этих книгах предвидение всей важности для свободной социалистической страны темы вдохновенного и вместе с тем повседневного строительства нового общества, новой культуры, новых человеческих отношений. Генрих Манн не только великий писатель немецкого языка, он великий писатель Германской Демократической Республики, он, классик XX века, стоит у истоков молодой литературы ГДР. Так по праву воспринимаете его вы — немецкие товарищи, и так воспринимаем его и мы.

Наши гости

ЗАХАРИЯ СТАНКУ

ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ

(Захария Станку и Александру Ивасюк в «Иностранной литературе»)

Знакомая атмосфера ожидания интересной встречи, литературных новостей. С ролью «круглого стола» по-прежнему отлично справляется низкий треугольный столик. И неудивительно. В подобного рода встречах, ставших традицией в редакции «Иностранной литературы», всегда представлены три группы участников: хозяева, гости и... вы, дорогие читатели.

В низких красных креслах — наши гости из Социалистической Республики Румынии: академик Захария Станку, председатель Союза румынских писателей, и Александру Ивасюк, секретарь Союза писателей. Оба — авторы произведений, отмеченных читательской любовью, причисляемых к лучшим достижениям современной румынской литературы. И каждый из них «един в двух лицах»: З. Станку — поэт и прозаик, Ал. Ивасюк — прозаик и критик.

Беседа завязывается легко и просто, минуя стадию «протокольных» вопросов.

— Я счастлив,— говорит академик Станку,— что мой роман «Как я тебя любил» появился в переводе на русский язык на страницах «Иностранной литературы». Обычно я пишу большие книги, серии романов, объединенных общими героями. Работаю над ними долгие годы. А это произведение — одно из немногих исключений. Замысел возник как следствие горестной потери — смерти моего старшего брата. Мне нужно было написать этот роман, чтобы хоть в какой-то мере освободиться от тяжести пережитого...

У этого высокого, прямо сидящего человека грустные, чуть настороженные глаза много изведавшего труженика. Кажется, он все время прислушивается к чему-то внутри себя. Поневоле вспоминается, что одно из его многотомных произведений называлось «Горькие корни», что в своих стихотворениях он часто пишет о «горьком материнском молоке». Выходец из семьи бедных крестьян, литератор, переживший концлагерь, преследования фашистов, он ныне не только руководитель писательской организации, но и государственный деятель. Однако незыблемым остается в его творчестве постоянное обращение к истокам, ощущение прочной связи с миром крестьянства.

— Это самая дорогая для меня книга,— продолжает академик Станку.— И нетрудно понять, как меня радует тот факт, что она уже переведена на русский язык, что почти готовы к выходу в свет ее немецкий и французский варианты.

Мы знаем, что румынская проза — и прежде всего роман — обогатилась в последние годы рядом ярких произведений, принадлежащих перу таких ведущих художников, как М. Преда, З. Станку, Ф. Нягу, Ал. Ивасюк, Н. Бребан и другие. Роман возмужал, разнообразнее стали маршруты психологического поиска, шире, богаче — духовный мир героев. Шагнула вперед и новеллистика, завоевавшая в лучших творениях Д. Р. Попеску, Н. Вели, Ш. Бэнулеску и других новые высоты реалистического изображения.

И все же румынская критика неоднократно отмечала, что в литературе последнего времени еще мало произведений, по самой своей сути, по-настоящему созвучных эпохе. Произведений, чьи авторы страстно

искали бы ответа на самые острые, злободневные вопросы жизни.

Каковы в этом плане последние достижения прозы СРР?

— Знаменательным в этом отношении,— отвечает З. Станку,— представляется мне выход в свет в минувшем году романа Ал. Ивасюка «Птицы». Это, несомненно, произведение современное в глубоком смысле слова. Ал. Ивасюк — художник, чье внимание постоянно приковано к важным аспектам сегодняшней действительности, к глубочайшим нравственным поискам строителей новой жизни. Диалектическое соотношение необходимости и свободы в нашем обществе — вот основная проблема романа. Социализм — сила глубоко динамическая, устремленная в будущее. И люди, строящие его, должны быть устремлены в будущее. Прийти к осознанной необходимости могут лишь те, кто остается постоянно связанным с жизнью и ее трудностями, кто постоянно обновляет свою жизнь, заново перестраивая себя после каждой неудачи во имя большой цели.

— Положительной оценки заслуживают многие произведения последних лет,— замечает Ал. Ивасюк.— В этой связи мне бы хотелось сказать несколько слов о том процессе плодотворных поисков, который происходит ныне в литературе и искусстве нашей страны. Это сдвиг не только в области содержания. Многое меняется и в форме произведений. Важнейшим аспектом этого процесса, как мне думается, является то, что плечом к плечу с молодыми художниками и с так называемым «средним поколением», к которому — увы! — я вынужден причислить и себя, шагают наши маститые писатели — З. Станку, Дж. Богза, Э. Жебеляну, Р. Боуряну и другие. Это сделало возможным появление ряда значительных произведений в прозе, поэзии, критике. Мы видим в этом следствие той атмосферы новаторского поиска, свободного обмена мнениями, которая существует в последнее время в нашей стране.

— Да, это был хороший период,— подтверждает З. Станку,— хотя еще не такой хороший, какой хотелось бы. Главное — создать климат доверия к художнику. Мы терпеливо, не жалея усилий и времени, разъясняем молодым писателям их ошибки, неверные увлечения, предостерегаем от чрезмерного экспериментирования. Огромным стимулом для нас является постоянная забота со стороны руководства партии, постоянная готовность помочь нам и словом и делом.

Разговор незаметно перемещается в звонкие пределы поэзии. Вспоминаем стихотворение З. Станку, прозвучавшее в переводе К. Ковальджи на вечере братской дружбы социалистических литератур в Центральном доме литераторов в Москве 30 января 1971 года.

Нет, уже не хочу я с тобой унестись
на луну,
Уже ни с кем унестись не хочу я, ни
с кем,
Лето в разгаре. Созрели хлеба...

АЛЕКСАНДРУ ИВАСЮК

— Я пишу стихи с юных лет,— говорит З. Станку.— Но вот уже долгое время мною не опубликовано ни одного поэтического сборника. Книга, из которой взято это стихотворение, называется «Песни шепотом» и вышла в 1970 году. Процитированный отрывок, пожалуй, довольно точно отражает общий настрой всего произведения. Теперь работаю над новым поэтическим сборником. Он будет называться «Лебединая песнь». После чего... начну сначала.

Мы спрашиваем академика Станку о его переводческой деятельности.

— Еще в тридцатые годы,— отвечает он,— появились мои первые переводы стихотворений Сергея Есенина. Должен подчеркнуть, что из всех зарубежных поэтов Есенин — самый мне близкий. В связи с празднованием его семидесятипятилетия редакция румынского журнала «Секолул 20» предложила мне сделать ряд новых переводов. Я представил четырнадцать стихотворений. Теперь остается сделать следующий шаг: перевести то, что еще не переведено до сих пор, показать румынскому читателю всего Есенина. Этим я теперь и занят.

— Вам, наверно, известно,— говорит Ал. Ивасюк,— что в последние годы в нашей поэзии сосуществуют различные направления. Среди них можно назвать «поэзию размышления», наиболее ярким представителем которой является Никита Стэнеску. Он, несомненно, большой поэт, хотя некоторые считают его стихи чрезмерно абстрактными. Существует также поэзия, которую у нас называют «онирической», представленная наиболее талантливо творчест-

вом Л. Димова. Это поэзия «сна», нарочитой таинственности.

Не стояла, однако, на месте и поэзия большого социального звучания. Среди ее наиболее последовательных адептов я бы назвал Марина Сореску, Адриана Пэунеску, Иона Георге... В последнее время выдвинулся молодой поэт Эмил Брумару, стихи которого все больше привлекают внимание читателей и критики. Брумару продолжает линию Сореску, однако истоки его поэзии — в городском фольклоре.

Таковы несколько «тонов», что ли, румынской поэтической полифонии сегодня,— заключает Ал. Ивасюк.— Но мне хотелось бы подчеркнуть при этом отрадную тенденцию: все шире становится круг реальных, жизненных, социальных явлений, к которым обращаются наши поэты.

— В период таких оживленных поисков особая ответственность ложится на плечи критиков,— замечает академик Станку.— Думаю, что работа, проделанная ими в последние годы, тоже заслуживает доброго слова.

Напоминание З. Станку более чем своевременно. Действительно, в румынской критике происходят интересные процессы. Нельзя, например, пройти мимо того факта, что некоторые крупные литературоведы и критики совершенно неожиданно проявили себя как талантливые... романисты (Ал. Пиру, М. Кэлинеску, П. Джеорджеску). С другой стороны, наблюдается и обратный процесс: талантливые прозаики, поэты, драматурги все чаще пробуют силы на поприще критики (Ал. Ивасюк, М. Сореску, И. Константин). Такое «братание», очевидно, идет на пользу обеим сторонам. Отрадным фактом является и то, что в последнее время появился ряд обобщающих работ, принадлежащих перу как признанных критиков, так и молодых.

Вместе с тем в выступлениях некоторых румынских литераторов отмечалось, что еще далеко не всегда в полной мере ощущается направляющая роль критики, не всегда она является тем компасом, пользуясь которым художник слова может, даже при самых смелых поисках, оставаться на твердых позициях марксистско-ленинской эстетики.

Мы спрашиваем гостей, чем знаменателен в этом отношении литературный процесс в сегодняшней Румынии.

— Дискуссиями, оживленным и заинтересованным обменом мнениями,— отвечает Ал. Ивасюк.— Встречами «за круглым столом», встречами с читателями, полемическими выступлениями ряда критиков. Основная тема этих дискуссий — роль социального в литературе, проблема насыщения произведения живым дыханием жизни, правильной оценки достижений минувших десятилетий и использования всего лучшего, что было создано за эти десятилетия.

Я тоже участвовал во многих подобных дискуссиях,— продолжает наш гость,— и неоднократно подчеркивал, что считаю себя автором политических книг. Убежден, что именно на пути ангажированности, гармонического слияния эстетического и социального наша литература сможет создать подлинно непреходящие ценности.

— 1971 год,— заключает академик З. Станку,— год пятидесятилетия Румынской коммунистической партии. Оберегая право художника на эксперимент, на самостоятельный поиск лучших форм выражения, партия постоянно призывает нас обращаться к конкретной жизни, к сегодняшним делам строителей новой Румынии. И мы надеемся, что наши художники — и старые и молодые — откликнутся творениями, достойными славной истории нашей коммунистической партии.

Под знаком этих добрых надежд и закончилась наша интересная и полезная встреча.

М. ФРИДМАН

Среди книг

Издано в СССР

ПОЭЗИЯ ВЕНГЕРСКОГО МАРТА

Март 1919. Сборник стихотворений венгерских поэтов. Перевод с венгерского. М., «Художественная литература», 1971. 173 стр.

Немногие месяцы 1919 года — март и следовавшие за ним — стали для нескольких поколений венгерских поэтов главным событием жизни. Они запомнились навсегда — поденно, почасно. Точно так же как Пушкин всю жизнь возвращался к лицею и писал стихотворение за стихотворением к его годовщинам, 19 октября, Андор Габор всю жизнь возвращался к Марту. В книге помещены два его стихотворения «На годовщину (21 марта 1923 года)» и «На годовщину (21 марта 1925 года)» — тогда в стране уже свирепствовал хортистский режим,— они переведены Николаем Стефановичем прекрасным пушкинским ямбом:

Восстанья дни, чем дальше вы от нас,
тем ближе к нам, тем зримей ваши цели.
Великий свет не только не погас,
но ярче стал, и видим мы сейчас,
чего тогда увидеть не сумели.
Не разберешься сразу же во всем,
свой кругозор мгновеньем ограничa,
и лишь теперь минувшее величье,
как чудо из чудес, осознаем.

Вновь в рабстве ты, тебя терзает кнут,
погонщики твои, теряя удерж,
опять тебя и мучают, и бьют,
но вольности, но светлых тех минут
ты никогда уже не позабудешь.
И тот свободы жаждет горячей,
кто раз уже вкусил ее напиток,
кто изнемог от голода и пыток,
от ярости жестоких палачей.

Вспоминая о дне, который сделал его руководителем театров Венгерской советской республики, а вслед затем узником, а вслед затем эмигрантом, поэт шесть лет спустя пишет: «Здесь прошлого суровая могила, здесь радости грядущей колыбель».

И для Йожефа Таша, который профессиональным революционером не был, день 21 марта — это День, когда «в полночь громадной кометой забагровела победой своей Диктатура». Для убежденных пролетарских революционеров и для «революционеров чувства» (как называл Ленин Эптона Синклера и как можно было бы назвать многих вкладчиков этой книги) день начала революции стал Днем с большой буквы.

Примерно за год до этого Блок писал: «Что ж задумано? Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью».

Вслед за Россией все начало переделываться, переворачиваться, меняться и в Венгрии.

Образом времени стал образ стремительного движения к будущему.

В России тогда пели: «Наш паровоз, лети вперед! В Коммуне остановка». В Болгарии юный Смиренский слагал стихи «Красные эскадроны»:

Ах, летите же сквозь сечу в ливнях
огненной картечи,
разъяренные предтечи дней безоблачной весны.
Сбросив рабские оковы, в бурях,
в молниях багровых,
мчитесь красными волнами,
непреклонны и сильны.
(Перевод А. Гатова)

А редактор венгерской газеты для батраков Ференц Беньямин печатал в своей газете свое же стихотворение «Красный караван»:

Сгрудясь, идет караван по пустыне.
Вихри напастей, волны страданий
В лица бросает сухой океан...
Но, над кровавыми рея слезами,
Песни все горе сжигают, как пламя,—
Красный идет караван!
(Перевод В. Корчагина)

Наш паровоз, красные эскадроны, красный караван устремились к неведомому и грозному будущему. В этом порыве целого народа, более того — всего мира, было столько величавой поэзии, что она захватила многих и многих стихотворцев.

Революция пришла после долгих лет войны, для Венгрии к тому же проигранной. Революция означала мир.

Революция отдала заводы рабочим, несказанно возвеличила класс пролетариев. Золтан Шомьо писал:

А знаете ли вы, кто он таков —
Тот, в чьих устах стал громом стон веков,
Чьи руки превращают грязь в алмаз?
Вот он и есть рабочий класс...
...Пусть бури еще треплют белый свет —
Одно священно: тирании нет!
Ее разбил вожак народных масс —
Вот он и есть рабочий класс.

(Перевод В. Корчагина)

А для венгерских крестьян Март отобравший землю у помещиков, у владельца двухсот тысяч гектаров герцога Эстергази, был прямым продолжением дела Дьердя Дожи — венгерского Разина, венгерского Пугачева. Освобождение пришло для всех. Этим и объясняется грандиозность мажора мартовской поэзии.

26 лет спустя, в 1945 году, мне пришлось наблюдать демонстрацию венгерских рабочих, впервые свободно праздновавших годовщину своего Марта. Они вынимали из сундуков праздничные костюмы, пролежавшие в нафталине более четверти века. Большим и светлым праздником был Март и для народа и для поэтов.

Времени было мало. Счет шел на недели, потом на дни. Язык новой поэзии вырабатывался позднее — в подполье, в тюрьмах, в эмиграции. Покуда новых слов было еще мало, для санкционирования, одобрения, благословления происходящего пригодились старые слова.

Еще до Октября, летом 1917 года, Арпад Пастор писал:

Пришел второй Христос. Сейчас он
с нами, рядом,
Его измерить мы не можем взглядом
И шепчем лишь в священном умиленье:
Ленин! Ленин!

(Перевод В. Корнилова)

Разве не тот же Христос «в белом венчике из роз» благословлял поход блоковских Двенадцати? И сомнительным верующим — Белому, Есенину и бесспорному безбожнику Маяковскому — грандиозные образы обоих Заветов понадобились в какое-то мгновенье для того, чтобы сказать свое «Да!», свое «Хорошо!» революции. Для этого же понадобились они и венгерским поэтам.

С тех пор как Михайлов более ста лет назад начал переводить Петёфи, линия связи между нашими поэзиями не прерывается.

Рецензируемое издание подготовлено трудами многих поэтов.

Эндре Ади, не дождавшийся Марта, умерший за несколько недель до него, но тем не менее воспитавший целое поколение революционной интеллигенции, представлен образцовыми переводами Мартынова и Тихонова. Другой крупнейший поэт, Аттила Йожеф,— переводами Мартынова, Самоилова и Левика. Большой отрывок из поэмы Дюлы Ийеша выполнен патриархом нашей школы поэтического перевода — Михаилом Зенкевичем.

Мощная революционная поэзия венгерской эмиграции, много лет работавшая бок о бок с московскими поэтами и много сделавшая для взаимопроникновения обеих литератур, представлена переводами Корнилова, Коржавина, Горской, Николая Чуковского, Нейштадта, Миримского.

Антологии удаются, когда их предваряют многие монографические книги. Составителю О. Россиянову удалось создать книгу, страницы которой дышат историей и поэзией.

Венгры много сделали для издания и пропаганды поэзии советских народов. «Март 1919» — наша благодарность венгерским поэтам.

БОРИС СЛУЦКИЙ

ГОЛОСА ВАГАНТОВ

Лирика вагантов в переводах Льва Гинзбурга. М., «Художественная литература», 1970. 191 стр.

В чарующей французской песне-сказке XIII века об Окассене и Николетте рассказывается о молодом рыцаре из знатного рода, полюбившем простую девушку-пленницу. И тщетно пугают Окассена, что он будет гореть на адском пламени, если не откажется от Николетты. Окассен не боится ада, сколь страшным он бы ни представлялся в традиционном воображении средневекового человека. Сказки о рае и аде не для таких отважных и пылких умов. «А я хочу попасть в ад,— говорит Окассен,— потому что там и пытливые ученые, и доблестные рыцари, павшие на турнирах и в грозных сечах, и храбрые воины, и благородные люди...»

Как бы ни был узок и условен мир средневековья с его ограниченными космографическими и религиозно-аскетическими понятиями, все же на протяжении столетий не замирала струя жизнелюбия, жажды земных радостей и бесконечного расширения человеческого знания. Мертвая схоластика, проповедь умерщвления плоти как бы ледяным панцирем сковывали реку жизни, но она где-то внутри неугомонно бурлила под своим покровом, порой вырываясь наружу. И поэтому нельзя односторонне представлять средневековье как сплошной мир грубой силы и кулака, черствого эгоизма и оцепенелого равнодушия социальных низов, веривших, что войны, мор, эпидемии, жестокие расправы рыцарей — лишь божья кара за грехи. Часто из глубины этого темного «земного ада» слышались мужественные молодые голоса, резко осуждавшие пороки и несовершенство жизни. Кто были они, эти **искатели какой-то своей правды, не знавшие**

к ней путей? Их звали бродягами, вагантами (по-латыни — vagantes, vagi). По пыльным дорогам средневековой Европы шли они в одиночку и толпами, ища прибежища в жизни. Пестрым был их состав, противоречивы стремления, надежды и поиски. Первыми вагантами были клирики, оставившие свою церковь в надежде на лучшее местечко или обиженные высшим духовенством. Суровые меры, предпринятые соборами начиная с V и VI веков, не могли пресечь существование таких «акефальных» клириков. В их среде рождались антиклерикальные, вольнодумные песни и сатирические рассказы, уличавшие служителей церкви во многих смертных грехах. Распри антипап, честолюбие, низкие страсти кардиналов и прелатов, наглость монахов «нищенствующих орденов», торговля индульгенциями или выгодными церковными должностями (симония) — все становилось сатирической мишенью для клириков-вагантов. Позднее (с IX—XII веков) в беспокойную массу вагантов вливаются школяры и студенты, бродяжничающие из страны в страну, от университета к университету. Молодые, горячие умы протестовали против узости теологической науки и формальной логики как способа ее изложения. Наряду с антицерковными мотивами возникают и другие — лирические, элегические, пародийные. Эта поэзия — непосредственная, простовато-грубоватая — отражала мысли и настроения людей, не связанных с преклонением перед авторитетом церкви. Читая сборники лирики вагантов (особенно «Carmina burana»), удивляешься богатству образов и жанров. Тут и жалобные раздумья наивного юноши, попавшего в тенета лжи и обмана, и озорные песни, и гневные инвективы на алчность священников и купцов, и пародийные гимны, и призыв к раскрепощению духа и плоти.

Трудно даже классифицировать эту своеобразную поэзию, порожденную избытком духовных сил, клокочущих в юных сердцах.

Конечно, мятущиеся поэты-бродяги, и одаренные, и посредственные, находились в самой гуще жизни и не могли не видеть страданий, надежд и чаяний простых людей, с которыми они общались в харчевнях и таверн, на рынках и ярмарках, в дни карнавальных шествий и горячую пору деревенской страды.

Несомненно, поэта-переводчика Л. Гинзбурга, острого писателя-публициста, привлек демократический дух лирики вагантов, ее «плебейский», простонародный характер. Можно смело сказать, что в работе Л. Гинзбурга-переводчика вообще преобладает именно это начало. Мог ли без ясного чувства историчности возникнуть под его пером воссозданный «Лагерь Валленштейна» Шиллера, существовавший до сих пор в бесцветных, запыленных временем русских переводах? А вот мы узнали какого-то нового, страстного, молодого Шиллера («Мужицкая серенада» и «Вытрезвление Бахуса»), связанного не только с движением «Бури и натиска», но и с немецким народным творчеством. В переводах Л. Гинзбурга явлением русской поэзии стали и немецкие народные баллады, и поэзия Тридцатилетней войны (сборник «Слово скорби и утешения»). В этих работах выявился индивидуальный почерк переводчика, определился его вкус ко всему подлинно живому, демократическому, часто порожденному драматизмом событий в истории немецкого народа.

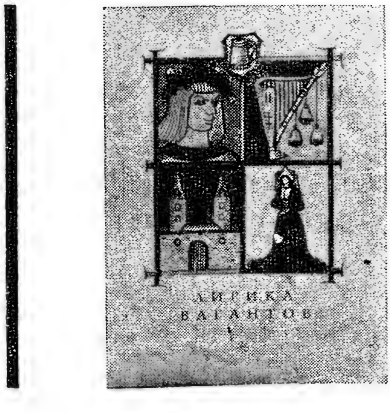
Раскроем «Лирику вагантов», и с первым же стихотворением мы войдем в оригинальный и заманчивый мир средневековых бродячих певцов:

«Эй,— раздался светлый зов,—
началось веселье!
Поп, забудь про часослов!
Прочь, монах, из кельи!»
Сам профессор, как школяр,
выбежал из класса,
ощутив священный жар
сладостного часа.
Будет ныне учрежден
наш союз вагантов
для людей любых племен,
званий и талантов.
Все — храбрец ты или трус,
олух или гений —
принимаются в союз
без ограничений.

Разумеется, никакого ордена вагантов не существовало, это как бы пародия на уставы монашеских орденов. Но сколько здесь бесшабашного веселья, полемического задора и желания, позабыв темную аудиторию университета или монашескую келью, отдаться наслаждению быстробегущей жизни. Не только эта, но и другие песни вагантов, вошедшие в сборник, как бы предвосхищают поэтическую декларацию Возрождения, сочиненную Лоренцо Медичи:

О, как молодость прекрасна,
Но мгновенна! Пой же, смейся,
Счастлив будь, кто счастья хочет,
И на завтра не надейся.

Что сулит это «завтра» бедным школярам, «мученикам науки»? Десять лет скитаний по университетам, годы долгой зубрежки и хмельных пирушек, невинных плутней в поисках куска хлеба и случайных любовных похождений.



Плачет швабский юноша, расставаясь с родным краем, мерзнет от холода нищий студент, добродетельная девушка сетует на обманщика, юноша воспевает «кабацкое житье». Воскресают в песне образы седой старины. Шутка мгновенно превращается в горькую иронию над самим собой, серьезный, полный символического значения миф об Орфее и Евридике приобретает пародийный отсвет, «спор между Вакхом и пивом» становится смелой издевкой над схоластическими церковными диспутами. В небольшом сборнике лирика вагантов предстает перед русским читателем впервые в таком разнообразном, ярком виде и звучит почти современно. Стих у Л. Гинзбурга крепок, точные рифмы почти щегольски подчеркивают изящество и четкость ритмического рисунка. В этом-то и состоит мастерство переводчика: за кулисами остается большая и кропотливая филологическая работа, изучение текстов в разных вариантах — латинском и средневерхненемецком, что видно из обстоятельной вступительной статьи автора перевода. С большой и естественной радостью читаешь страницу за страницей эту удивительную книжку. Вот в нескольких строфах нарисован портрет бездомного ваганта:

Я — кочующий школяр...
На меня судьбина
свой обрушила удар,
что твоя дубина.
Не для суетной тщеты,
не для развлеченья —
из-за горькой нищеты
бросил я ученье.
На осеннем холоду,
лихорадкой мучим,
в драном плащике бреду
под дождем колючим.
В церковь хлынула толпа,
долго длится месса,
Только слушаю попа
я без интереса.
К милосердию аббат
паству призывает,
а его бездомный брат
зябнет, изнывает.
Подари, святой отец,
мне свою сутану,
и тогда я наконец
мерзнуть перестану.
А за душеньку твою
я поставлю свечку,
чтоб господь тебе в раю
подыскал местечко.

Такая лаконичность вовсе не характерна для многословной книжной поэзии средних веков. Но народная песня всегда держится на одном дыхании, и связь вагантов с простыми людьми придает неповторимую расцветку их лирике, где сочетаются книжные элементы из греко-римских классиков с непосредственным ощущением действительности. Недаром юноша шваб опасается, как бы его не задушила схоластическая премудрость. Прощаясь с друзьями на родине, он уже мечтает о своем возвращении:

Всех вас вместе соберу,
если на чужбине
я случайно не помру
от своей латыни,
если не сведут с ума
римляне и греки,
сочинившие тома
для библиотеки...

Существует большая филологическая литература на разных языках о поэзии вагантов и значении ее для последующих поколений. Ученые спорят об истоках поэзии вагантов, «макаронизме» их стиха, где латынь вливается в местные диалекты, образуя комическое целое. Л. Гинзбург приводит для примера стихотворение «Я скромной девушкой была...», где в переводной стих вкраплены латинские строки. Это лишнее доказательство бесспорного художественного чутья переводчика. Вчитываясь в лирику вагантов, все больше увлекаешься этим проявлением вечного торжества человеческой природы над мертвыми схемами религиозно-схоластических догм. И наконец, нельзя не отметить, что в помощь поэту-переводчику пришли искусство художника Г. Клодта и великолепное полиграфическое исполнение. Не только книголюбы будут искать эту изящную книжку. Она принесет радость нового открытия всем любителям мировой поэзии.

АЛЕКСАНДР ДЕЙЧ

Издано за рубежом

ШАГ НАДЕЖДЫ

Nabile Farès. Jahia, pas de chance. Paris, Editions du Seuil, 1970.

Набиль Фарэс — один из тех писателей Алжира, которые вместе со своей страной прошли трудный путь героической борьбы за ее свободу и утверждение суверенитета. Автор небольших рассказов, с которыми знакомят своих читателей алжирский еженедельник «Альжери актюалитэ» и выходящий в Париже журнал «Африк литтерэр э артистик», он недавно выпустил и первый роман — «Неудачник Яхья».

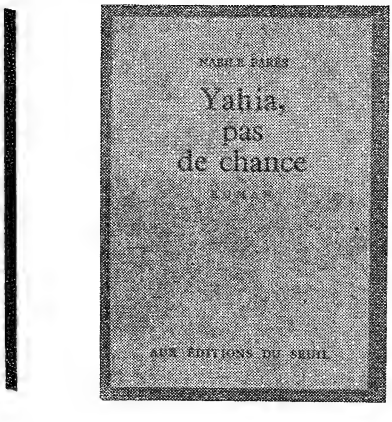
Книга Фарэса, человека, увлеченно изучающего кабильский фольклор и занимающегося исследованиями жизни кочевников-туарегов, продолжает традиции магрибинского реалистического романа, который сформировался прежде всего как «роман воспитания». Показ становления личности, «испытания души» на фоне ярко выписанной жизни страны был характерен для магрибинской прозы первой половины пятидесятых годов. Но от романов тех лет книга Фарэса отличается тем, что «воспитание чувств» алжирского юноши, а вернее приход к нему зрелости, происходит не в его родной стране, а в чужой, враждебной — во Франции, которая вела тогда свою последнюю кро-

вавую битву за сохранение господства в «заморском департаменте» — Алжире.

Вот почему тема «столкновения миров» в сознании героя, так горько и страстно звучавшая в романах магрибинских писателей старшего поколения (Д. Шрайби, А. Мемми, М. Диба, М. Ферауна и др.), в книге Фарэса приобретает иной характер: зрелость наступит у героя в условиях французской действительности, и тем яснее и острее он почувствует необходимость помочь своей стране, освободить ее от угнетения и бесправия, хотя осознание это и пройдет через горечь утрат и потерь. Его сверстники — герои других магрибинских романов — чаще «порывали с прошлым», искренне и горячо «освобождались от оков» того традиционно-патриархального мира, который порой заставлял их ощущать свою неполноценность перед «лицом Запада». Они устремлялись навстречу Европе, проклиная все то, что осталось за морем, а через несколько лет с утраченными иллюзиями и горькими разочарованиями либо возвращались к себе в страну, либо навсегда оставались в добровольном изгнании на чужбине, тоскуя об утраченной родине.

Яхья попадает во Францию в разгар алжирской войны. Деревню Акбу, откуда родом его семья, оккупировали французские парашютисты. Мальчик в этот момент находился там у своего дяди Саддека, которого вскоре арестовали и навсегда увели из дома — он помогал партизанам. Яхью с двоюродным братом Мокраном с трудом переправили в Париж. Мокрана — чтобы продолжать изучать медицину, а Яхью — учиться в версальском лицее.

Эти летние месяцы в Акбу Яхья не забудет никогда — они были для него началом открытия мира, началом ужасным, жестоким и беспощадным. Он был свидетелем террора, убийств, измены и мести. На его глазах были зарезаны предатели, он видел, как парашютисты уводили на муки ни в чем не повинных людей, на его глазах разрушался привычный и уютный мир детства, в котором тетушка Алула кормила мальчика разными сладостями, пела ему и рассказывала чудесные сказки. Арест Саддека, безмерное горе Алулы, потерявшей сразу и мужа, и сына — юного партизана Али Саида, убитого в горах,— все это неожиданно ворвалось в жизнь Яхьи и застряло в нем тупой и глухой болью.



Жизнь во Франции была совсем другой. Поначалу — непривычно сумрачной, отчужденной и спокойной, если не считать полицейской облавы, в которую, едва приехав, попали Яхья и Мокран. Потом, в Версале, где стал учиться Яхья, безразличие и отчужденность окружающих будут ощущаться все меньше и меньше, появятся друзья — Клодин и Жан-Поль, которые скрасят своей добротой его жизнь на чужбине. А будничная суета и учение постепенно затянут его, и холодный, надменный Версаль в зимнем уборе из серых кружев больше уже не будет наводить на Яхью печальные и грустные мысли. Казалось, все уже позади и Яхья далек теперь от пережитых тревог и опасностей.

Его родную Кабилию в то время бомбили. «Вам повезло»,— говорила ему Клодин. Ей представлялось действительно удачей то, что Яхье удалось выбраться из Алжира до начала «ужасных бомбардировок». Но сам Яхья знал другое.

Он знал, что война не минует его, что «однажды ему надо будет решать», надо будет сделать свой выбор.

Родина жила в его душе древними поверьями и легендами, звучала тихими и ласковыми аккордами мандолин, звучала старинными напевами, и сказками, и песнями, которые слагали и пели Алула и Саддек и которые завораживали, увлекали кружением слов и ритмов. Родина осталась в памяти его белым силуэтом в темной ночи — это мужчины из окрестных селений уходили в горы к партизанам, и их белые бурнусы, хранившие тепло рук, любовно соткавших эти одежды, мерцали во тьме как огоньки надежды.

Но в сердце Яхьи жила еще и любовь к Клодин. И однажды оказалось, что эту любовь невозможно совместить с тем, что потребовала от него его родина,— с участием в революции.

Сбор средств для Фронта национального освобождения, политзанятия и обучение грамоте эмигрантов-алжирцев, ютившихся на окраинах Парижа, риск, опасность — постоянно приходилось скрываться от полиции — все это было частью и его жизни, и надо было не щадя сил работать вечера и ночи напролет, помогая своему народу.

Яхья знал, что Клодин не выдержит, и заранее предвидел ее уход. И все-таки он выбрал путь борьбы. Колебался ли он, прежде чем сделать этот выбор? В отличие от Али Саида, который, не задумываясь, устремился навстречу буре, Яхья делает этот свой шаг через осознание утраты, через преодоление той боли, которую несла с собой потеря уже привычного и уже любимого им мира — а Клодин была его частицей.

СРЕДИ КНИГ

Нет, Яхья не боялся идти на битву. И горькая ирония его упрека, обращенного к Мокрану, однажды постучавшему в дверь, чтобы позвать Яхью туда, где он был нужнее всего,— это не страх, не опасения, не разлад его души, а защита права на любовь, даже если мир охвачен пожаром.

Он спросил тогда Мокрана, слышал ли тот когда-нибудь пение соловья и знает ли его «Организация», о чем поет соловей... «Что-то вроде тью-тью»,— ответил ему Мокран. Нет, песня его совсем не о том, возражал Яхья. «Я не помню уже точно слов песни, но уверен,— говорил он,— что соловью однажды не повезло... Он запутался в зарослях дикого виноградника, что зеленел по весне там, где соприкасались два мира... и это так далеко от тью-тью... и так близко к тому, что мы есть теперь: наполовину страх, наполовину — сила».

Яхья — в чем-то антипод Али Саида, для которого и борьба, и смерть были радостью. Недаром автор, вопреки мусульманским традициям, вводит в роман аллегорический танец матери на могиле сына. В этом танце ее и песнопении — не безумный экстаз потерявшей рассудок женщины, но своеобразный гимн борцу, чья жизнь и смерть были посвящены торжеству счастья. Не могильные плиты — как хочет этого автор,— но радостное ликование свободного народа должно быть лучшим памятником павшим в революционной борьбе. Для Яхьи борьба — не только радость, но и боль. Ибо в его душе любовь и ненависть сливались воедино. И преодолеть эту боль, возможно, помогли Яхье услышанные в Акбу, когда «пара» вошли в деревню, слова муджахида Си Мохтара: «Они больше не уйдут. Они уничтожат эту деревню — всю до последнего мужчины... и молодых истребят тоже... Надо найти способ ответить на это убийство, и я не знаю другого, как маки.. Главное — чтобы мы существовали...»

Вот почему Яхья займет место в этой борьбе, место своего отца, которого постигла участь Саддека. Он уедет в Алжир. «Главное — чтобы мы существовали...»

«Клодин, любовь моя,—напишет он.—Я не знаю, что случится со мной, но ты должна знать, что я не умру...» И подпись: «Яхья, неудачник».

Но, может быть, французское pas de chance не такое уж «застывшее» выражение? Ведь французское «pas» может значить не только отрицание «нет», но и «шаг». В названии книги видится и «шаг надежды», и «шаг удачи»... Да и сам автор оставляет нам возможность такого его толкования. Во всяком случае, Яхья нам не показался неудачником. Его судьба, описанная поэтично и просто очевидцем и современником, бывшим партизаном и бойцом Армии национального освобождения Набилем Фарэсом, дала нам еще одно яркое свидетельство, еще одно серьезное раздумье о людях и их таких разных и таких непохожих, но таких неизбежных путях в революцию.

С. ПРОЖОГИНА

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА...

Iris Murdock. A Fairly Honourable Defeat. London, Chatto & Windus, 1970.

Пятнадцатый по счету роман Айрис Мердок «Вполне пристойное поражение» — еще одна философская притча о человеке, о зле и добре в этом мире. С подобными проблемами мы встречались и в предыдущих романах. Однако во «Вполне пристойном поражении» они не только ставятся, но и решаются. И в этом смысле последний роман писательницы можно рассматривать как некоторое подведение итогов, завершение поисков, начатых в «Милых и хороших» и «Сне Бруно». Уже в этих романах был поставлен вопрос, кто же воистину добр и что такое доброта, то есть вопрос, который так или иначе волнует всех героев «Вполне пристойного поражения».

Руперт Фостер, крупный чиновник, счастливый семьянин, пишет исследование о добре и любви. Руперт мечтает о том, что эта воплощающая его собственный опыт книга будет не отвлеченным философским трактатом, а эдаким практическим руководством и пособием по «добру». Вопрос для Руперта достаточно ясен и прост: он знает, что добро — это любовь к людям, правило, от которого, как ему и окружающим кажется, он не отступал в своей жизни.

Сестра его жены, Морган, тоже полна всевозможных идей о добре и природе любви. Филолог-лингвист, занимающаяся сложными философскими аспектами языка, она не может разобраться даже в азбучных истинах человеческих отношений. Чувства Морган заменяет теориями, которые при первом же соприкосновении с действительностью лопаются, как мыльные пузыри. Такова ее теория «свободной невинной любви», которая якобы откроет новую эру в жизни Морган. Так свободно и невинно, а точнее — эгоистично и бездумно она собирается любить своего племянника Питера и мужа родной сестры — Руперта.

Морган не умеет видеть дальше своего «я», не умеет ставить себя на место другого, и поэтому она полагает, что «Питеру нужно немного любви». Ей и в голову не приходит, какую травму она может нанести юноше, для которого любовь не теория, а чувство, дающее ему силы жить в мире, теряющем у него на глазах смысл.

Эта проблематика в романе А. Мердок перерастает в вопрос о действенном добре и действенной любви, о сущностях, а не субстратах. Мир, в котором живут А. Мердок и ее герои,— реальность, лишенная ценностей, в которой каждый старается избрать свой путь бегства от действительности в любовь, в занятия лингвистикой, или философией, или еще чем-то. Некоторые из ее героев считают, что «основа структуры абсолюта пуста» и поэтому понятие добра — иллюзия, выдумка. А если это так, то все позволено: категории добра и зла непри-

ложимы, поскольку первая лишена какого-либо значения. Для Джулиуса Кинга, одного из главных героев, это именно так.

В романах А. Мердок мы не раз встречались с персонажами, которые несли в себе неисчерпаемый потенциал зла. Но если в ранних произведениях зло было лишь сгустком отрицательной энергии, существующей в мире, то теперь оно «заземлено», показаны причины развития и конденсации этой энергии в ее носителе — в данном случае Джулиусе Кинге.

Джулиус Кинг, на руке которого стоит несмываемое клеймо лагеря смерти, прошел через горнило многих ужасов XX века и сам может свидетельствовать, что нет предела злу в человеке. Он считает, что нет такой силы во вселенной, которая могла бы остановить поток надругательств, жестокости, бессмысленности.

Для А. Мердок Кинг — это дьявол XX века, очень похожий на черта Ивана Карамазова, иными словами, материализовавшаяся проекция темных сторон человека. Убеждение, что корень зла лежит прежде всего в самом человеке, дает Кингу возможность проделывать циничные опыты над окружающими людьми.

Он решает разрушить представление, которое существует у Руперта о самом себе, и показать всю фальшь исканий Морган и непостоянство даже тех крепких связей, что существуют в семье Фостеров, разрушить отношения двух других героев — Симона и Эксела.

Выдумки Кинга, действительно, сродни дьявольским. Искусно используя любовные письма Морган к нему и письма Руперта к его жене Хильде, которые он выкрал из его письменного стола, он решает «влюбить» друг в друга Морган и Руперта, заставить их поверить в чужие, не для них написанные слова. Замысел его с успехом осуществляется. После первой же встречи, также организованной Кингом, Морган, полная идей о любви, и Руперт, теоретик добра, удивительно легко попадают в расставленную ловушку. Их связь основывается не на чувстве, а на тщеславии и эгоизме и поэтому кажется особенно отталкивающей.

Оправдывается расчет Кинга и в отношении Хильды. Она тоже, хотя не так быстро, как муж и сестра, оказывается во власти слов: несколько оброненных Кингом вскользь замечаний, и даже Хильда, меньше, чем все остальные, живущая во власти слов и понятий, превращается в куклу, послушную движениям режиссера. Ее роль предполагает отчаяние обманутой жены, и она искренне разыгрывает ее. Узнав о связи Руперта с Морган, Хильда, даже не поговорив с ними, уезжает из Лондона, тем самым лишь ускоряя надвигающуюся трагедию. Руперт, увидев, что мир, казавшийся ему столь ясным и добрым, лежит в обломках, не выдерживает такого столкновения с реальностью и кончает с собой.

Но на совести у Джулиуса Кинга не только трагедия семьи Фостеров. В прошлом ему принадлежат, вероятно, еще более страшные деяния в лагере смерти. А. Мердок ничего не рассказывает о времени, которое Кинг провел в Бельзене. Еврей по национальности, приговоренный бесчеловечной логикой фашизма к смерти, Кинг выходит невредимым из Бельзена и, более того, в разговоре бросает как бы случайно следующую фразу: «У меня была уютная война». Читатель может предположить, за какие заслуги была сохранена жизнь крупному биохимику Джулиусу Кингу. Эти предположения подкрепляются дальнейшими сведениями из его биографии. После войны Джулиус Кинг продолжал свои исследования, и теперь они субсидировались военным ведомством и использовались в военных целях.

Однако Джулиус Кинг — фигура отнюдь не однозначная. Циничные поступки сочетаются у него со страстной мечтой о справедливости и, более того, о справедливом судье, «перед которым он готов преклонить колени и ноги которого он готов целовать».

Эта неоднозначность Кинга особенно проявляется в отношениях с его нравственным противником Тэллисом, мужем Морган.

Герои романа относятся к Тэллису различно, но все они сходятся на том, что в этом неопрятном, неустроенном, несамолюбивом и как будто ничем не выдающемся человеке есть нечто такое, что ставит его на ступень выше их всех. И это «нечто» может быть определено как отсутствие эгоизма, действенное отношение к добру и любви.

Сцена, в которой Симон, Эксел, Кинг и Тэллис становятся свидетелями избиения ямайца в китайском ресторанчике, весьма показательна для характеристики этих людей: Симон хотя и неуверенно, но встает на защиту, Эксел пытается вразумить, Кинг занимает позицию наблюдателя, и только Тэллис бьет хулиганов, бьет без разговоров, потому что ситуация, в которую он попадает, требует от него не потока пассивных рассуждений, а действия. Да и преподавательская работа Тэллиса, не заметная с виду, на деле имеет гораздо большее практическое значение, чем, скажем, занятия Морган глоссемантикой. Морган, живущую в мире идей, абстракций, которые оборачиваются злом и эгоизмом, когда ей приходится действовать, раздражает этот человек, не умеющий и не желающий философствовать. Но для Тэллиса многие понятия, которые потеряли смысл для других, продолжают оставаться значимыми. Слова: «муж», «отец», «брак», «любовь» — не просто абстракции, это понятия, за которыми стоят люди, требующие определенного действия и отношения

Когда Джулиус Кинг рассказывает ему о своих «опытах» с Рупертом, Тэллис не разражается ни проклятиями, ни длинной отповедью, но, выяснив ситуацию, действует, пытаясь предотвратить трагедию. Он заставляет Кинга позвонить Хильде и объяснить ей, что происшедшее — неправда, ви-

димость, дурной сон, созданный его воображением и поступками. Но Хильда не верит Кингу до тех пор, пока Тэллис не подтверждает истинность его слов.

Конечно, Тэллис — это не «справедливый судья», но сила, способная удержать мир от полного хаоса и кошмара. И именно поэтому Питер, уйдя из дому, поселяется у него. Этот юноша, принадлежащий к поколению западной молодежи, которое выросло в мире, где «умер не только бог, но и все понятия, созданные им», инстинктивно чувствует, что в грязной и неуютной квартире Тэллиса он ближе к истинному бытию, чем в комфортабельном, но затянутом паутиной благопристойной лжи доме родителей.

Тэллис — это герой, о котором, используя терминологию самой писательницы, можно сказать, что он «хороший»: его нельзя запутать или сбить с намеченного пути, нельзя втянуть в ловушку, подобную той, в которой оказываются Руперт и Морган.

Почти все эпизоды, в которых участвует Тэллис, происходят в его кухне, полной мусора и отбросов. Кухня Тэллиса — это аллегория, олицетворяющая грязь мира, грязь, внесенную рупертами, морганами, кингами. Сцена, когда элегантный и всесильный Кинг, засучив рукава, моет и чистит кухню Тэллиса,— одна из самых важных в романе. Ведь Кинг разгребает прежде всего собственную грязь и тем самым в философском плане признает нравственную силу своего противника.

А. Мердок не делает вывода, что сила добра побеждает зло: все ее герои так или иначе терпят поражение. Не предлагает она и программы, следуя которой можно было бы исправить мир. Но в этом очень сложном философском романе писательница создает образ человека пусть несколько ущербного, но все же внутренне способного противостоять абсурду и безумию мира, который его окружает.

Е. ГЕНИЕВА

ВРЕМЯ БЕГСТВА НА СЕВЕР

Ат-Тейиб Салих. Мавсим аль хиджра лиш-шимал. Каир, Аль Хиляль, 1969 (на арабском языке).

В 1969 году популярный египетский журнал «Аль Хиляль», представляя читателям повесть начинающего суданского прозаика, приводит о нем весьма скудные биографические данные. Ат-Тейиб Салих родился в 1929 году, живет в Лондоне, получил образование в английском высшем учебном заведении. «Время бегства на север» — его первое крупное произведение. Но уже сегодня некоторые критики склонны оценивать творчество писателя как выдающееся явление в современной арабской литературе.

Повесть «Время бегства на север» — небольшое произведение; в нем немногим больше ста страниц. Но по своей художественной структуре она приближается к роману — жанру, становление и утверждение которого интенсивно происходит в литературах арабского Востока. Однако значение повести Ат-Тейиба Салиха не исчерпывается этим: она симптоматична для литературного процесса в целом. Медленно вызревавший интерес к социальной проблематике здесь как бы полемически вынесен в название повести. Время бегства на север — удачно найденное определение для процесса, происходящего во многих развивающихся странах, в том числе и в Судане. Судьба арабов, получающих образование за рубежом, становится проблемой государственного значения и в то же время проблемой нравственной, в которой, как в фокусе, собирается ряд особенностей исторического и социального развития в странах, недавно вставших на путь самостоятельного развития.

Автор, много лет проживший в Англии, но сохранивший тесные связи со своей родиной, пишет о том, что стало частью его личного опыта. Можно смело говорить об автобиографичности повести. Личные мотивы здесь несомненны.

Повесть охватывает период от тридцатых до конца пятидесятых годов — те два десятилетия, на протяжении которых из Судана ушли англичане, страна обрела независимость.

В небольшую деревню на берегу Нила возвращается после семилетней учебы в Европе молодой учитель. Рассказ ведется от его имени. В деревне все по-прежнему. Кажется, что ветер социальных перемен, пронесшийся по африканскому континенту, не коснулся размеренной, веками устоявшейся жизни глухой деревеньки, расположенной в двух днях пути от столицы.

В этом забытом богом селении некоторое время назад появился Мустафа Саид, купил небольшой надел земли, женился на дочери односельчанина и стал своим человеком в деревенской общине. Известно о нем совсем немного: занимался торговлей и вот теперь, оставив Хартум и столичную

жизнь, решил провести остаток своих дней в деревне, вдали от городской суеты. Все у него спорилось в хозяйстве, среди односельчан он быстро стал заметной фигурой. И все-таки крестьяне чувствовали, что Мустафа не тот человек, за которого он себя выдает. И однажды, пригласив к себе учителя, Мустафа открыл ему свою тайну.

Родившись в Хартуме, Мустафа Саид в тридцатые годы уехал учиться в Каир, затем в Лондон, побывал в ряде стран. Он занимался поэзией и философией, политэкономией и критикой, изучал религии. Великолепно владел английским языком, что открывало широкие возможности для продвижения по служебной лестнице... Все шло прекрасно, пока не появилась роковая обольстительница. Мотив «роковых страстей», занимающий немалое место в повести, представляет собой симбиоз арабских и европейских влияний. Сексуальная тема, типичная для современного европейского романа, разработана в свойственной старой арабской литературе натуралистической традиции. Но, отдавая дань этой традиции, автор вместе с тем исконный мотив греха и расплаты, связанный с женщиной, этим «сосудом дьявола», распространяет на героя-мужчину. В конце концов Мустафа совершает убийство и попадает под суд. Вся его дальнейшая жизнь вплоть до трагического конца есть расплата за грехопадение. Самое понятие греха автор выводит за рамки религиозного содержания. Трагическая вина Мустафы в том, что он предал свою родину, свой народ и его интересы. Истинная картина падения Мустафы открывается уже после его загадочной гибели, которая наводит на мысль о самоубийстве.

Проходят годы после смерти Мустафы. Учитель становится инспектором начальных школ, каждая поездка открывает ему что-то новое о Мустафе Саиде. Постепенно, деталь за деталью, возникают подлинные очертания этой судьбы.

Сын мелкого торговца, рано осиротевший, Мустафа Саид был первым суданцем, которого послали учиться за границу. Ему прочили большое будущее, а за глаза называли «черным англичанином». Описывая годы, проведенные Мустафой в Англии, автор дает политический фон, на котором развертывалась жизнь африканца, оказавшегося в чуждой ему среде. Со знанием дела писатель разоблачает действия английской администрации в колониальной стране. Женившись на англичанке и получив английское подданство, герой повести становится деятельным помощником своих хозяев и по сути дела разделяет их политику в отношении Судана. Мустафа готов к тому, чтобы до конца ассимилироваться среди англичан, но в их обществе он все-таки остается «пришельцем с юга», словно совершенное им внутреннее предательство — все еще недостаточно большая плата за право считаться европейцем.

Салих беспощадно разоблачает лживость и нравственное падение Мустафы. Сначала автор делает это устами самого героя. Затем он восстанавливает объективную картину. Потом он вводит в художественную ткань произведения письма Мустафы, завершая этой исповедальной нотой портрет человека, который был «не в состоянии ни принять счастье, ни дать его».

Мустафа Саид оказался в изоляции от общества, к которому так стремился. За убийство своей любовницы Мустафа получил в Англии семь лет тюрьмы. А вернувшись на родину, он был вынужден скрывать свое прошлое и остался внутренним эмигрантом. Он уповает лишь на то, что тяжелый крестьянский труд искупит его грехи.

Для автора принципиально важно отношение его героя к своему народу. По концепции Салиха, Мустафа потому и деградировал морально, что потерял связь со своим народом. Арабская культура чужда этому знатоку английской поэзии. В его личной библиотеке не нашлось места хотя бы для одной книги арабского автора. Его кабинет в доме, построенном в глухой арабской деревне, был все-таки кабинетом англичанина.

Мустафа Саид — новый образ в арабской литературе, возникший на стыке нескольких тенденций. Салих отнюдь не выступает апологетом национальной ограниченности. Образ учителя, от имени которого ведется повествование, не оставляет сомнений в широком взгляде автора на проблему связей европейской и арабской культуры. Судьба учителя, откровенно напоминающая судьбу самого писателя, проясняет пафос вещи в целом. Это пафос ответственности гражданина перед родиной.

Герой-интеллигент — не новая фигура для арабской прозы. Достаточно вспомнить творчество крупнейшего романиста Нагиба Махфуза. Принципиальная удача Салиха состоит в том, что в повести о судьбах двух интеллигентов он предложил отчетливую позитивную программу. Человек существует как личность до тех пор, пока он сохраняет живую связь со своей родиной, со своим народом. Сочно описанная народная жизнь и деревенский быт служат активным фоном повествования о падении человека из народа, оборвавшего связи с землей предков.

Обращает внимание смелая, вопреки традициям, трактовка женского образа в романе. Вдова Мустафы, преступив законы шариата, восстает против родительской воли и отказывается от нового замужества. Брак, на который ее вынуждают, приводит к новой трагедии. Мусульманка убивает мужа, а затем убивает себя. В селе никто и не понял этого отчаянного поступка, даже Махджуб — председатель кооператива, человек, олицетворяющий прогрессивные перемены в суданской деревне. Автор же трактует этот жест отчаяния как самоутверждение личности, как апофеоз женщины, впервые, может быть, осознавшей свое право быть человеком.

Ат-Тейибу Салиху нельзя отказать в точности портретных зарисовок, в тонком опи-

сании природы, в цепкой наблюдательности. В повести отлично схвачены мелкие детали специфического деревенского быта. Не все, правда, удалось в равной степени. Автор порой сентиментален, порой натуралистичен. Однако Салих обнаруживает склонность к психологическому анализу, к раскрытию диалектики души своих персонажей. Его повесть густо населена, но у каждого из действующих лиц — своя характерность. По манере письма Салих близок к Юсуфу Идрису — одному из самых зрелых египетских прозаиков. Вслед за Идрисом он пытается сблизить литературный и народно-разговорный язык, пользуется разговорной лексикой.

Суданская проза обрела интересного мастера, одаренного писателя-реалиста. Как и его старшие коллеги — известные новеллисты Абу Бекр Халид и Ат-Тейиб Заррук,— он полон стремления глубоко проанализировать путь, на который вступила его ныне свободная родина.

ВЛАДИМИР ШАГАЛЬ

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

ВОКРУГ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ

К немногим литературным премиям, существующим в Англии, прибавилась еще одна. Примеру ромовой компании «Букер бразерс энд Макконел», учредителю самой крупной премии (5 тысяч фунтов стерлингов) за лучший английский роман, последовала пивоваренная фирма «Уитбред». Премия Уитбредов будет присуждаться ежегодно за лучший роман, биографию и сборник стихов. Первые лауреаты новой премии будут названы в октябре нынешнего года. Присуждение премии будет осуществлять Ассоциация книготорговцев, которая уже утвердила состав жюри. В него вошли Дж. Б. Пристли (председатель), Маргарет Дрэббл и Энтони Твейт.

Основное условие, которому должно отвечать произведение, претендующее на премию Уитбредов, заключается в том, что автор

На сцене «Виктория-тиэтр» в гор. Стоук-он-Трент режиссером Питером Чизменом осуществлена инсценировка романа Томаса Харди «Тэсс из рода Д'Эрбервиллей». На снимке: сцена из спектакля. В роли Тэсс (слева) — Кэрол Дринкуотер, в роли Алека Д'Эрбервилля (справа) — Алан Дэвид.

(Еженедельник «Санди таймс»)

должен придерживаться «главного русла английской литературной традиции». Дж. Б. Пристли, выступая в качестве председателя жюри новой премии, заявил, что она не будет присуждаться за «синтетические бестселлеры». Литературные обозреватели подчеркивают, что Пристли выразил точку зрения Ассоциации книготорговцев, которая печется как о литературных достоинствах произведений, претендующих на премию, так и о возможности их сбыта.

Как видно, не всем это пришлось по вкусу: в редакционной заметке, опубликованной на страницах «Таймс литерари саппльмент», появился следующий иронический комментарий: «Вполне вероятно, что мысль о тысяче фунтов стерлингов вернет на путь истинный писателей-еретиков, которые в своем творчестве отступили от этой традиции... Очевидно, Уитбреды не желают рисковать, опасаясь, что их фонды пойдут на поддержку приверженцев авангардистских экспериментов».

Литературный обозреватель «Морнинг стар» Боб Лисон, положительно оценивая сам факт появления новой премии — особенно в области поэзии, высказался за право авторов на широкое экспериментирование в литературе. Он выразил также свою обеспокоенность положением романа и рассказа в национальной литературе. По единодушному признанию издателей, отметил он, художественная литература не пользуется ныне тем же спросом, что до войны. Если в 30-е годы новинки художественной литературы составляли 13 процентов всех названий, выпускавшихся издательствами, то в 1970 году их количество уменьшилось до 6,9 процента.

Некоторые обозреватели приветствуют нововведение жюри премии Уитбредов, заключающееся в том, что произведения на ее соискание принимаются в течение круглого года. Литературные конкурсы, проводимые, например, в Италии и Франции (это же относится и к премии «Букер» в Англии) «в конце литературного года», затрудняют работу издательств и жюри, а также лишают возможности читателя составить правильное представление о том, какие книги действительно достойны премии.

БЕЛЬГИЯ

ПОЭМА О В. И. ЛЕНИНЕ

В брюссельском издательстве «Эспас» вышел сборник произведений бельгийской поэтессы Барбары Фламан, в который включена ее поэма «Памяти В. И. Ленина». Поэма состоит из трех частей и эпилога.

Барбара Фламан относится к числу молодых прогрессивных бельгийских поэтов, для творчества которых характерно сочетание лиризма с острой социальной и классовой направленностью. В своих стихах поэтесса протестует против подавления свободы личности в капиталистическом обществе. Именно эта тема была главной в ее сборнике, выпущенном в 1968 году во Франции издательством «П.-Ж. Освальд».

БОЛГАРИЯ

РАССКАЗЫ МОЛОДЫХ АВТОРОВ

Издательство «Народна младеж» в серии «Смена» выпустило несколько сборников рассказов молодых авторов, о которых пишет обозреватель еженедельника «Литературен фронт».

В книге молодого писателя Банко Банкова «Длинный день» затрагиваются актуальные проблемы технической интеллигенции в жизни современной Болгарии. Излюбленный герой автора — молодой инженер (сам автор по профессии — инженер), активный строитель новой жизни. Книга Банко Банкова «Длинный день» получила название по одному из лучших рассказов, пишет обозреватель.

Герои произведений Стефана Чирпанлиева — тоже наши современники. В числе лучших обозреватель называет: «Захар и другие», «Деревенский Мефистофель», «Жестокий человек».

Критик приветствует дебют Димо Димовского, автора сборника «Ведро, из которого пьем». Автор, по словам критика, увидел и «сумел талантливо рассказать о новых явлениях жизни, создать яркие образы тружеников села и реалистические картины быта».

ВЕНГРИЯ

ФАКСИМИЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ РАДНОТИ

Издательство «Венгерский Геликон» отметило двадцатипятилетие со дня гибели известного поэта Миклоша Радноти выпуском факсимильного издания его последних стихотворений. Они были найдены более четверти века назад в окрестностях деревни Абды в Западной Венгрии, где была обнаружена могила с останками людей, расстрелянных гитлеровцами. В кармане плаща, в который был завернут труп Радноти, нашли записную книжку. В ней была записка на венгерском, сербском, немецком, французском и английском языках: «В этой записной книжке — стихи венгерского поэта Миклоша Радноти. Нашедшего просят отправить ее в Венгрию приват-доценту Дюле Ортутаи по адресу: Будапешт, VII район, ул. Хорански, дом 1, первый этаж». На книжке были ржавые пятна крови и след пули, убившей Радноти.

Десять стихотворений поэта, содержавшихся в найденной записной книжке,— это его стихотворное завещание. Они были написаны в условиях страшных унижений и физических страданий (Радноти попал в трудовой батальон, который гитлеровцы при отступлении уводили с собой).

Будапештский театр им. Мадача впервые осуществил постановку пьесы Ласло Немета «Матушка Боднар», созданной в 30-е годы. Критик газеты «Непсабадшаг» пишет, что автор «с огромной художественной силой воссоздал в драме пропасть, которая существовала в ту эпоху между интеллигенцией и простым народом». Постановка осуществлена режиссером Отто Адамом. На снимке: сцена из спектакля.

(Еженедельник «Фильм-синхаз-мюжика»)

Среди них были короткие стихи — так называемые «открытки», которые Радноти назвал сербским словом «разгледницы». В них поэт прощается с женой, с жизнью. Стихи эти вызвали в Венгрии особый интерес.

Последнему изданию стихов Радноти предпослана статья Дюлы Ортутаи — близкого друга погибшего поэта.

ГДР

НОВЫЕ РАССКАЗЫ ГЕРБЕРТА НАХБАРА

Ростокское издательство «Хинштorф» выпустило сборник рассказов известного писателя ГДР Герберта Нахбара, автора романа «Свадьба на Леннекене» (см. «Иностранную литературу» №№ 11—12, 1961).

«Нахбар повествует о людях Северной Германии, немногословных, замкнутых, самобытных,— пишет рецензент газеты «Берлинер цейтунг».— Герои его очень человечны, и это объединяет такие непохожие рассказы сборника. Писатель говорит о людях скупо, сдержанно, не упрощает их, старается показать всю сложность и противоречивость их характеров».

Герой рассказа «Миллионы Кнута Брюммера», давшего название сборнику, во время войны с риском для жизни спас от фашистов коммуниста, человека совершенно ему незнакомого. Двое подростков, которые отказываются вступить в «гитлерюгенд» и бегут от преследований нацистов,— герои второго произведения, вошедшего в сборник. Парень и девушка случайно встречаются на улице, знакомятся и вместе пытаются найти свое место в трудной послевоенной жизни — таков сюжет рассказа «Улицы 1950 года». Героиня последней новеллы — старая крестьянка, много лет батрачившая, сознание которой никак не может освободиться от груза пережитого.

«Мысли, чувства людей побережья, их характерная речь — вот чему посвятил свои новые произведения Герберт Нахбар,— пишет в «Литературе-71» Вернер Нойберт.— Тот, кто прочтет эти рассказы, о многом задумается, а это — лучшая награда для писателя».

ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ ВЕЙГЕЛЬ

«Смерть Елены Вейгель — большая потеря для всех нас,— говорится в некрологе Центрального Комитета Социалистической Единой партии Германии.— В ее лице мы потеряли видного деятеля социалистического искусства, чьи жизнь и творчество были тесно связаны с немецким революционным движением».

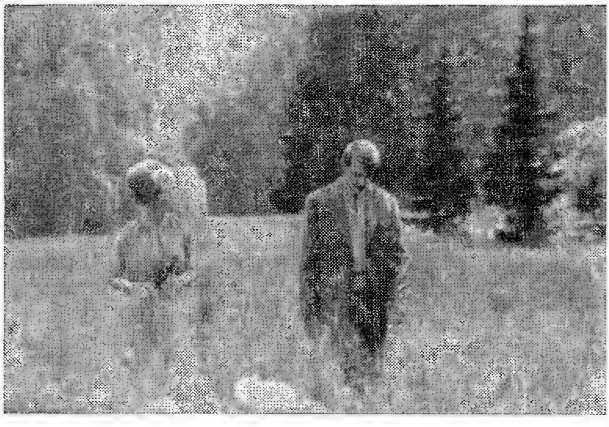
Творческая деятельность Елены Вейгель началась в содружестве с крупнейшим немецким драматургом Бертольтом Брехтом, который был ее мужем. Вместе с ним она работала в Германии до прихода к власти гитлеровцев, вместе с ним была вынуждена покинуть фашистскую Германию.

После окончания второй мировой войны деятельность Б. Брехта и Е. Вейгель была неразрывно связана с театром «Берлинский ансамбль», которым руководил Брехт, а после его смерти — Вейгель. Она сыграла там много ролей в пьесах Брехта и других известных авторов. Широко известен спектакль «Мамаша Кураж и ее дети», в котором Елена Вейгель создала образ исключительной драматической силы; зрители надолго

В берлинском издательстве «Фольк унд вельт» вышел исторический роман Ануара Алимжанова «Стрела Махамбета» в переводе Лизелотте Ремане. На снимке: обложка книги.

На экраны ГДР вышел фильм «Красная капелла», который рассказывает об антифашистском подполье в гитлеровской Германии (см. сообщения в «Иностранной литературе» № 6, 1970). Здесь воспроизводятся кадры из этого фильма.

(Газета «Нейес Дейчланд»)



запомнят ее Ниловну в пьесе Брехта по роману М. Горького «Мать».

Елена Вейгель была крупным общественным деятелем. Она была членом Всемирного Совета Мира, много раз участвовала в международных форумах борцов за мир.

Германское социалистическое государство высоко оценило деятельность Елены Вейгель. Она была удостоена многих орденов ГДР, несколько раз ей присуждалась Национальная премия, а недавно, в связи с 70-летием, ей был вручен серебряный орден Звезды дружбы народов.

ИНСЦЕНИРОВКА «ТИНКО»

Известный роман Эрвина Штриттматтера «Тинко» получил недавно новое воплощение — на сцене «Театр дер фройндшафт» поставлена пьеса Ганса-Дитера Шмидта по этому роману.

«Заслуга театра состоит в том, что он показал юным зрителям трудное послевоенное время, когда после разгрома фашизма деревня только начинала оправляться»,— пишет рецензент газеты «Нейес Дейчланд». История мальчика Тинко, которому приходится выбирать между старым и новым, образ старика Аугуста Краске — его дедушки, дети, с их переживаниями,— все это ожило на сцене в поэтической, живой форме и сделало роман Штриттматтера более понятным и доходчивым.

«Оправдались ли надежды мальчишек и девчонок, которые увидели на сцене своих любимых героев? Судя по темпераментной реакции и бурному одобрению, господствовавшим на премьере, на этот вопрос можно ответить утвердительно»,—пишет в заключение рецензент.

ЗАП. БЕРЛИН

«УРОК НЕМЕЦКОГО» — НА ТЕЛЕВИЗИОННОМ ЭКРАНЕ

Западноберлинское телевидение показало фильм режиссера П. Бове по роману Зигфрида Ленца «Урок немецкого», публикацию которого «Иностранная литература» заканчивает в этом номере. Напряженное действие романа по-новому раскрыто в фильме. «Эпос стал драмой,— пишет рецензент газеты «Франкфуртер альгемейне цейтунг».— В описании последних лет войны, в конфликте художника Нансена и участкового инспектора Йепсена, «выполняющего свой долг», отчетливо проявилась политическая направленность книги».

ГРЕЦИЯ

ОТМЕНЕНЫ ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ

Второй раз за непродолжительное время афинский театр «Акрополь» вынужден был отменить заранее объявленную премьеру. «Спектакль «Говорится — не говорится» не получил разрешения цензуры» — гласила надпись у входа в театр, куда в положенное время пришли зрители.

По сообщению корреспондента газеты «Харавги», цензура столь значительно урезала новое эстрадное

тьи Э. Раймонди «Литература и миф у Д'Аннунцио», Дж. Контини «Язык Песколи», Ч. Сегре «Латинский язык и вульгарная латынь в литературе XV и первой половине XVI веков».

Несогласие авторов многих рецензий вызывает, однако, классификация, предложенная составителями сборника, в частности, раздел «Структуралистская критика»: как справедливо указывают рецензенты, структуралистским может быть метод критики, а не сама критика как определенное направление философской и эстетической мысли. Высказывая ряд замечаний в адрес составителей, авторы посвященных сборнику рецензий признают его полезность для изучения современного итальянского литературоведения и критики.

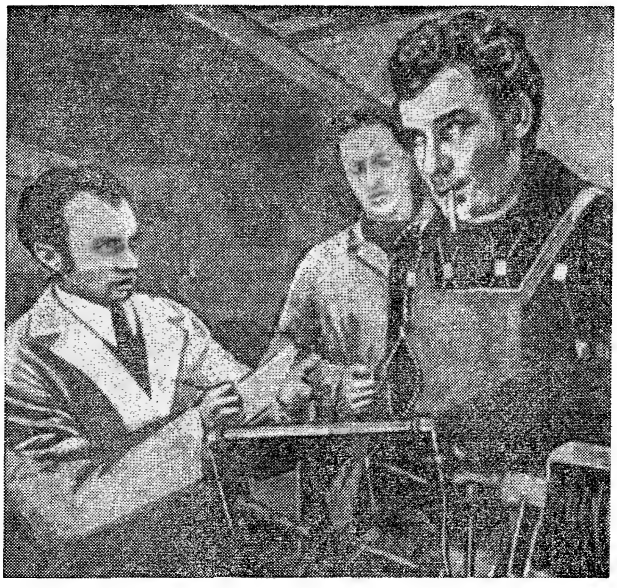
НАЙДЕН ЕЩЕ ОДИН КОНЦЕРТ ПАГАНИНИ

По сообщениям печати, в Италии обнаружено неизвестное до сих пор произведение — Концерт № 3 для скрипки с оркестром — великого итальянского скрипача и композитора Никколо Паганини. Оно было написано 145 лет назад и исполнялось только самим автором.

Два крупнейших итальянских музыковеда после тщательного изучения партитуры подтвердили, что концерт действительно принадлежит Паганини. Он состоит из трех частей и написан в присущей этому выдающемуся музыканту виртуозной манере.

Два первых концерта Паганини для скрипки были опубликованы лишь после смерти композитора и прочно вошли в мировой репертуар. Было известно, однако, что Паганини оставил еще три концерта для скрипки. Написанный в 1829 году Концерт № 4 был найден и опубликован лишь в 1954 году. А Концерт № 5 — обнаружен всего год назад. Концерт № 3 был найден мексиканским скрипачом Генриком Шерингом.

Творческое наследие Паганини не было должным образом сохранено и систематизировано, так что до сих пор в нем много неясностей. После смерти великого музыканта в 1840 году усыновленный им барон Аркиллино унаследовал вместе с состоянием и все его рукописи, в том числе — неопубликованных произведений. Впоследствии он их распродал различным издателям.



Кинорежиссер Элио Петри снимает фильм под названием «Рабочий класс попадет в рай». По отзывам печати, это — одно из немногих произведений итальянского кино, целиком посвященных жизни и труду рабочих. В главной роли — Лулу, который постепенно превращается в рабочего активиста, — снимается популярный актер Джан Мария Волонте (на снимке — справа).

(Газета «Унита»)

МОНГОЛИЯ

ИЗДАНО К 50-ЛЕТИЮ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ

Полувековой юбилей Народной революции в Монголии отмечен выпуском многих новых литературных произведений. Среди них — роман «Утренняя звезда» С. Дашдэндэва, одного из старейших монгольских писателей, лауреата премии Д. Нацагдоржа; роман «Девушка Дзая» З. Баттулги, известного советским читателям по книге «За черным занавесом», и другие.

* * *

Государственное издательство МНР за годы, прошедшие после победы Народной революции, выпустило большое количество переводных книг. Среди них значительное место занимают произведения русской и советской классики.

В 1971 году вышли роман «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, четвертая книга романа «Тихий Дон» М. А. Шолохова, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Севастопольская страда» С. Н. Сергеева-Ценского, «Детство Тёмы» Н. Г. Гарина-Михайловского.

На монгольский язык переводятся лучшие произведения литератур народов Советского Союза. Монгольским читателям полюбилась, например, проза Чингиза Айтматова. Все новые произведения киргизского писателя публикуются на страницах литератур-

ного журнала «Цог», а затем выпускаются отдельным изданием. Недавно Госиздат МНР выпустил книгу Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». В периодической печати уже публиковались фрагменты из книги Расула Гамзатова «Мой Дагестан», творчество которого пользуется в Монголии большой популярностью.

ПЕСНЯ — РОВЕСНИЦА НАРОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Недавно в Улан-Баторе был торжественно отмечен полувековой юбилей первой монгольской революционной песни «Шивээ Хиагт» («Крепость Кяхта»). В часы командиры создали эту песню, в которой в эпической форме воссоздается картина освобождения Маймачена от китайских милитаристов.

Председатель Союза монгольских писателей Сономын Удвал, выступавшая на торжественном вечере, сказала, что если взятием Маймачена в Монголии началась Народная революция, то созданием «Шивээ Хиагт» была начертана первая строка новой монгольской поэзии.

На празднестве присутствовал Дашэдзвэг-гуай, один из свидетелей создания песни, сподвижник Сухэ-Батора.

ОАР

МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

В каирском районе эль-Гезира недавно проходила Третья международная книжная выставка, которую обозреватель египетского журнала «Ат-Талиа» назвал «крупнейшим культурным событием на Среднем Востоке».

Первая международная книжная выставка в Каире состоялась в 1969 году. Ее открытие, пишет обозреватель, было большой политической победой. Несмотря на давление произраильских кругов на иностранных книгоиздателей с целью помешать им прибыть на выставку, в ней приняло участие около 450 издательств, представивших миллион книг из 26 стран.

Как подчеркивает обозреватель, каирская книжная выставка играет значительную роль в развитии научного и культурного международного обмена. Она способствует развитию издательской и переводческой деятельности в арабских странах, ознакомлению их с достижениями мировой культуры и науки. Во время Второй выставки, например, было заключено соглашение с итальянскими издательскими фирмами о переводе на арабский язык и издании большого количества литературы для детей, в том числе детской энциклопедии. Было подписано соглашение с Польшей о переводе произведений выдающихся египетских писателей на польский и английский языки. Иностранные издательства опубликуют также труды египетских ученых.

С каждым годом растет число участников каирской книжной выставки. В этом году в ней участвовало 750 издательских фирм из 34 государств. Число экспонировавшихся книг достигло полутора миллионов. Большой раздел выставки составляли советские книги. Отличительной особенностью последней выставки был рост числа книг научно-прикладного характера, а также книг для детей. Особенно много детской литературы самых разнообразных видов и жанров было представлено Японией.

ИЗУЧАЮТСЯ ДРЕВНЕЙШИЕ РУКОПИСИ

Ученые нескольких стран занимаются в настоящее время изучением рукописных книг, найденных в 1946 году недалеко от Луксора. Местные крестьяне обнаружили в земле глиняный сосуд, в котором было тринадцать томов рукописей в переплетах из мягкой кожи. Страницы этих рукописей были сделаны из папируса.

Вначале эти манускрипты были распроданы по частям по смехотворно низкой цене, впоследствии все они были приобретены правительством страны.

Ученые сразу же пришли к выводу, что сделано сенсационное открытие: манускрипты оказались самыми древними из известных образцов рукописных книг.

Было установлено, что они — наследие мистической секты гностиков, существовавшей на Ближнем Востоке на рубеже нашей эры. Гностики утверждали, будто нашли путь к познанию тайн бытия. Их учение подрывало культ богочеловека, поэтому его проповедники жестоко преследовались христианами, а их рукописи уничтожались. Дальнейшее изучение этих текстов поможет глубже понять философию гностиков, о которой до сих пор ученые могли судить лишь по враждебной гностицизму поздней церковной литературе.

Только шесть томов найденных рукописей сохранились хорошо, другие — значительно повреждены и состоят из сотен обрывков папируса, которые переданы сейчас для анализа экспертам. Как выяснилось, в тринадцати переплетах собрано более пятидесяти текстов на коптском языке, которые до сих пор были почти полностью неизвестны. Они датируются III—IV вв. нашей эры, но некоторые из них могут быть более древними.

Как сообщает информационный бюллетень «Новости ЮНЕСКО», в скором времени появится факсимильное издание этих книг, подготовленное международной группой ученых, созданной под эгидой ЮНЕСКО и правительства ОАР. Публикация займет два года, за ней последует издание переводов рукописей сначала на английском, а затем на французском языках.

В ПЕРЕВОДЕ НА АРАБСКИЙ

Как сообщает обозреватель журнала «Аль-Адиб», египетский литератор и пе-

реводчик Радван Ибрахим «завершил перевод на арабский язык нескольких ценных книг по востоковедению», написанных советскими и чешскими учеными. Среди подготовленных им к печати работ — книга об историко-философских взглядах знаменитого средневекового тунисского ученого Ибн Хальдуна «Человеческая цивилизация в «Мукаддиме» молодого ленинградского востоковеда С. Бациевой и популярный очерк «Тунисская литература» чешского ученого С. Пантучека. Обе книги будут опубликованы в Тунисе. Кроме того, Р. Ибрахимом переведены книги «Философ из аль-Фурейки Амин ар-Рейхани» З. Левина и «Современная египетская проза» В. Борисова. Предисловие к арабскому изданию труда Борисова написал известный египетский писатель Махмуд Теймур.

ПОЛЬША

ПОСЛЕДНИЙ РОМАН МАРИИ ДОМБРОВСКОЙ

По сообщению журнала «Польская литература», варшавское издательство «Чительник» выпустило последний роман «Приключения мыслящего человека» покойной польской писательницы Марии Домбровской.

Рецензент Зенона Мацужанка пишет на страницах журнала, что этот объемистый том (более девятисот страниц) представляет собой лучший образец поздней прозы писательницы, который дает возможность еще глубже ощутить талант Домбровской.

Первые главы романа посвящены жизни семьи польских мелкопоместных дворян в Калише до начала второй мировой войны. Затем автор прослеживает судьбы отдельных членов этой семьи, которых вместе с другими представителями польской нации военная буря разметала по всему свету. В центре внимания Домбровской — представители польской интеллигенции, которых страдания и жертвы, принесенные на алтарь отечества, заставили глубоко задуматься над тем, какой должна стать послевоенная Польша. Многие герои повествования Домбровской, в том числе обрисованная с наибольшей симпатией Эва, приходят к выводу, что новая Польша должна быть демократическим государством со справедливым социальным строем, при котором всю полноту власти будет осуществлять народ. Герои Домбровской не оставляют родину в трудные годы послевоенного восстановления, они остаются с ней, чтобы строить будущее.

З. Мацужанка обращает внимание на то, что каждая глава этого обширного романа представляет собой как бы самостоятельное произведение, построенное по своим внутренним законам, и обладающее особым стилем. Произведение в целом проникнуто духом интернационализма, идеей дружбы всех народов.

Вслед за другими критиками З. Мацужанка пишет о глубоком оптимизме, присущем этому эпическому произведению Марии Домбровской.

ЧЕМ ЖИВЕТ ПОЛЬСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ

Под таким заголовком в газете «Трибуна люду» опубликована статья Яна А. Щепанского, в которой, в частности, говорится: «В связи с проводимым ежегодно Международным днем театра мне хочется обратиться к главному вопросу: к взаимоотношениям драматургии и театра... Каково положение современной польской драматургии и ее конкретное место в конкретных польских театрах в 1971 году?»

Ян А. Щепанский отметил, что в современной польской драматургии появляется довольно много неравноценных по своим достоинствам произведений. «С одной стороны, существует немалая группа драматургов, выпускающих ежегодно много пьес, которые можно назвать средними. Хотя они и не войдут в историю литературы, но играют положительную роль, и ими не следует пренебрегать, особенно если в них содержатся фактические сведения о современной Польше, о ее жизни. Как правило, они рассчитаны на один сезон, пользуются значительным успехом, но «живут» довольно долго. Таких пьес у нас много. Достаточно назвать пьесы Гавлика, Сцибора-Рыльского, Юрандота, Доманского... Некоторые из них удовлетворяют вполне естественную тягу к развлечению. А почему театр, подобно кино и телевидению, не может служить этому важному делу? Жаль только, что у нас сравнительно мало комедий.

А с другой стороны—пьесы высокого класса. Говорят: лучшие — это Брылль и Ружевич. Не только. Так, вслед за «годом Брылля» вырисовывается «год Иредынского» — премьеры четырех пьес этого автора позволят нам познакомиться с его талантом.

Есть и другие более или менее одаренные писатели. Успех Рымкевича не ограничивается пьесой «Король Мясопуст»; готовится еще одна премьера — «Похищение Европы». Развивается и крепнет талант драматурга Бордовича, интересным был дебют Кайзара, любопытным представляются пьесы Терезы Любкевич-Урбанович, напечатанные в журнале «Диалог». Думаю, что мы по-прежнему можем рассчитывать на творчество Брошкевича и Карповича, Гроховяка и Красицкого. Могут нас порадовать и другие авторы.

Так, недавно неожиданную радость принес мне Ежи С. Сито, известный до сих пор своими эссе и переводами Шекспира. В «Диалоге» опубликована его пьеса «Страсть доктора Фауста». Это произведение, надеюсь, не пройдет неза-

«Кто верит в аистов?» — такое название носит фильм Ежи Стефана Ставинского, поставленный им совместно с женой Еленой Амираджиби-Ставинской. Герои фильма — «трудные» подростки Филип и Данка, которые однажды решают бежать из дома и жить самостоятельно, вдали от взрослых... В роли Филипа снимался Лешек Лотоцкий, в роли Данки — Мариоля Кукула.

(Еженедельник «Фильм»)

меченным и в театре. Смело могу сказать, что в некоторых отношениях это удивительное произведение. Еще раньше приятным сюрпризом был дебют Лубенского. Польская драматургия живет — как в своих скромных, так и в выдающихся произведениях».

* * *

В настоящее время в Польше работает 69 драматических театров и 24 кукольных. Кроме того, существует 8 так называемых экспериментальных сцен.

В 1970 году все театры располагали 32 195 местами, а кукольные театры — 4 555 местами.

В 1970 году театры дали 19714 спектаклей (365 премьер), которые посмотрело 7,6 миллиона зрителей.

Кукольные театры поставили в 1970 году 84 новых спектакля для 2,5 миллиона зрителей.

США

О ЛИТЕРАТУРЕ «ЧИКАНОС»

Литературе и искусству «чиканос» — эксплуатируемого мексиканского меньшинства в США — посвящена статья Понсе Адальберто Герреро в журнале «Сьемпре». «Движение протеста «чиканос» в США,— пишет автор статьи,— это не только социально-экономическое движение, оно получило свое развитие и в искусстве этого народа, а особенно в литературе».

Автор статьи представляет писателей «чиканос»: поэта, преподавателя литературы Аристео Брито, обратившего на себя внимание поэмой об императоре ацтеков Монтесуме; Мигеля Мендеса, выступившего с поэмой в прозе «Мастерская образов»; поэтов Ника Вака и Октавио Романо; прозаика Ричарда Васкеса, опубликовавшего романы «Малорослый» и «Чикано», а также других литераторов.

«Мы пока лишь импровизируем в литературе,— говорит поэт Мигель Мендес о писателях своего поколения,— но уверены, что завтра появятся настоящие литераторы, которые докажут, что наши литературные опыты опираются на глубинное искусство народа».

У всех писателей «чиканос», отмечает автор статьи, «мы находим глубокую тревогу за свой народ, придавленный несправедливостью американского общества... Здесь искусство объединяет интеллигента и рабочего».

Статья Понсе Адальберто Герреро содержит литературный анализ произведений «чиканос», автор делает вывод, что они составляют «прочный фундамент, на который сможет опереться зрелая литература».

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ В ТЮРЬМЕ

Эти скульптурные портреты были вылеплены в одной из нью-йоркских тюрем. Их автор — молодой американский негр, участник движения за гражданские права Джеймс Лайтбэрн, проведший в общей сложности почти 5 лет в полицейских застенках, причем власти не смогли предъявить ему никаких обоснованных обвинений.

Тюремщики всячески мешали Дж. Лайтбэрну заниматься творческой работой. Но художник был непреклонен: он сам научился изготовлять папье-маше (смешивая мыльную пасту с газетной бумагой и горячим чаем), из которого лепил скульптурные портреты.

Сейчас Дж. Лайтбэрн на свободе. Ему помогли выйти из застенка «Культурный совет Гарлема», многочисленные друзья. Его работы, которые удалось переправить на свободу еще до того, как он сам вышел из тюрьмы, экспонировались в гарлемской публичной библиотеке «Каунти-Каллен».

Портретные изображения Дж. Лайтбэрна, по словам корреспондента газеты «Дейли уорлд», проникнуты гуманизмом, чувством сострадания к людям.

Скульптурные портреты Джеймса Лайтбэрна.
(Газета «Дейли уорлд»)

«ДОС ПАССОС — АМЕРИКАНЕЦ НА МЕЛИ»

Так озаглавил свою статью, появившуюся в американском журнале «Атлантик» в связи с посмертным изданием книги Дос Пассоса «Восточный остров: остров загадок» известный историк американской литературы Марк Шорер. В ней он поделился с читателями мыслями о своеобразии и поучительности писательской судьбы Дос Пассоса.

«Восточный остров» — сборник, в который вошли уже опубликованные материалы об одном из островов Тихого океана и новые заметки о последнем посещении этого острова писателем.

«Книга эта не открывает ничего нового в творчестве Дос Пассоса,— пишет Шорер.— Его проза мертва, но символическое значение этих очерков Дос Пассоса заставляет нас вновь обратиться к его примечательной писательской судьбе, последним аккордом которой стала эта книга».

Дос Пассос, подобно многим выдающимся американским писателям, всю жизнь пытался понять и ответить своим творчеством на главные вопросы жизни, создать свою «Большую книгу». Ирония судьбы заключается в том, пишет Шорер, что Дос Пассос, отстаивавший человеческую индивидуальность в борьбе с механической цивилизацией, не смог даже в трилогии «США» создать ни одного полнокровного характера: «Ему удавались типы, порой великие, но характеры — никогда».

Шорер характеризует последние четыре романа писателя как «пространные, проникнутые тоской, маниакальные книги». Для понимания эволюции Дос Пассоса характерным, по мнению Шорера, представляется его объяснение разрыва с Хемингуэем, которое он дает в своих мемуарах: «На пути к зрелости человек отбрасывает все больше возможностей, предоставляемых ему жизнью, это касается и друзей». «Он отбросил больше возможностей, чем это может себе позволить писатель,— пишет Шорер.— До конца своих дней он продолжал путешествовать, но, как это ни странно, все более отдалялся от окружающей его жизни, все реже попадал в ногу со временем.

...Книга «Восточный остров» знаменательна не своим содержанием, а тем поразительным образом самого американского писателя, который встает с ее страниц,— человек семидесяти с лишним лет, он стоит в раздумье перед непостижимыми, молчаливыми и странными загадками каменного века на затерянном островке Тихого океана — еще один американец, выброшенный на мель».

ТУРЦИЯ

«СИНАН» — НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В Стамбуле недавно открылось новое издательство — «Синан». Его основатель — известный публицист, генеральный председатель Союза театральных и музыкальных критиков Турции Хаяти Асылязыджи. Он также — один из основателей созданного в 1970 году прогрессивного Союза работников искусств Турции. Хаяти Асылязыджи за последние годы дважды побывал в Советском Союзе, написал серию статей о советском театре и многонациональной советской культуре.

Первым детищем издательства «Синан» стал сбор-

ник рассказов Максима Горького, в который вошли «Макар Чудра», «Челкаш», «Однажды осенью», «В степи», «Двадцать шесть и одна», «Мальва» и др. Вслед за этим были изданы «Воспоминания и размышления» Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Весь тираж этой книги разошелся буквально в несколько дней, и было предпринято второе издание.

«Синан» планирует серию художественных и документальных публикаций о Великой Отечественной войне Советского Союза. Одновременно в ближайшие месяцы предполагается осуществить перевод на турецкий язык таких произведений, как «Что делать?» Чернышевского, «Накануне» Тургенева, «Обрыв» Гончарова. В плане издательства также — повести и рассказы Чехова, Куприна, Успенского, а из советской литературы — «Чапаев» Фурманова, «Звезда» Казакевича, «Мой Дагестан» Расула Гамзатова и другие произведения.

ИСЧЕЗАЕТ ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО

Почти шесть столетий теневой кукольный театр Карагёз был одним из самых излюбленных народных зрелищ в Турции. Каждая эпоха давала свои сюжеты, но всегда неизменными оставались их главные герои — Карагёз и Хадживат.

Существует предание, будто их прототипами послужили реальные люди — кузнец Карагёз и каменщик Хадживат, жившие в XIV веке и работавшие на строительстве мечети в городе Бурсе. Эти два друга-острячка своими шуточными ссорами и всякими проделками постоянно отвлекали от работы других строителей, о чем было донесено султану Орхану. Разгневанный султан приказал их казнить, но потом раскаялся в своей жестокости. Тогда некий шейх Куштари для его утешения «оживил» Карагёза и Хаджината на экране театра теней. С этого события, как утверждают историки и мастера Карагёза, и начал свое существование теневой театр в Турции. Впрочем, они признают, что здесь не обошлось без влияния китайского или индийского театра теней.

Карагёз — человек из народа, живущий своим кузнечным ремеслом, неграмотный, но наделенный живым умом и острым языком. Он несколько грубоват, но всегда весел и не теряет самообладания в самых трудных ситуациях. Его друг—антипод Хадживат, напротив, весьма учтив и вежлив, воспитан в духе старой культуры, знает правила «высшего света». Он считает себя всезнающим, и на все случаи жизни у него есть свои советы и рецепты. Однако все попытки Хаджината поразить Карагёза и остальных своей «ученостью» кончаются неудачей. Он так и остается смешным и одураченным псевдоинтеллигентом, а неграмотный Карагёз побеждает его своей жизнестойкостью, смелостью и находчивостью.

В наши дни театр Карагёз уже практически «сошел со сцены». Чтобы предотвратить окончательное исчезновение этого древнего искусства, несколько старейших мастеров сцены в 1970 году объединились в Общество Карагёза, имеющее целью обучение молодежи тонкостям теневой игры. В то же время в новаторских театрах (театр-кабаре «Верблюд» прогрессивного режиссера и драматурга Халдуна Танера; театр известного сатирика Азиса Несина; некоторые представления новых молодежных «театров улиц» и др.) с успехом используются многие элементы традиционного театра, в том числе — театра теней.

ФИНЛЯНДИЯ

КНИГИ ЮНЫХ АВТОРОВ

Финский писатель и издатель Осмо Лампинен в качестве эксперимента подготовил и начал выпуск 35 книг, написанных юными авторами в возрасте от 12 до 18 лет. Книги выходят в серии «Контакт» и предназначаются как для детей, так и для взрослых.

По мнению издателя, книги, написанные детьми, дают ключ к пониманию мира подростков, помогают взрослым найти правильный подход к молодежи в «критический» момент ее перехода к отрочеству.

Осмо Лампинену и его сотрудникам пришлось проделать немалую работу по отбору текстов, наиболее заслуживающих внимания. Обычно сочинеиия детей поступают на радио- и телеконкурсы, лучшие из них отмечаются премиями. В данном случае Лампинену пришлось прочитать около 50 000 страниц. По его мнению, дети способны создавать вполне приемлемые литературные произведения. При этом речь идет не о «вундеркиндах», а о самых нормальных подростках.

В конкурсе Лампинена участвовало около тысячи юных авторов со всех концов Финляндии.

ФРАНЦИЯ

ПЕЧАТНОЙ КНИГЕ — 500 ЛЕТ

В парижской Национальной библиотеке экспонируются первые печатные французские книги, выпущенные в период 1470—1472 годов в Сорбоннской типографии под руководством приора Жана Элена и богослова Гийома Фише. Особенно интересна первая печатная книга, вышедшая тиражом в 100 экземпляров. Это — сборник писем итальянского гуманиста Гаспарино Барицца, названный «Epistolae».

В 1972 году, провозглашенном Международным годом книги, Национальная библиотека проведет большую выставку, посвященную развитию книгопечатания во Франции.

«ЗОЛОТО И КРОВЬ»

В издательстве «Эдисьон франсе реюни» вышел новый роман Пьера Гамарра

«Золото и кровь». Сюжетно он является как бы продолжением предыдущего романа писателя «Тайны Тулузы», время действия которого относилось к моменту подготовки государственного переворота Луи Бонапартом. Действие романа «Золото и кровь» развертывается в период, предшествующий падению Второй империи и возникновению Парижской коммуны.

Главный герой обоих романов — крестьянин по прозванию Жак Солнце. Критики отмечают, что до сих пор во французской приключенческой литературе положительные герои никогда еще не были представителями трудового народа, поднявшегося на борьбу со своими угнетателями. Жак Солнце — сын крестьянина, восставшего против Второй империи, сосланного и погибшего затем на каторге. Цель жизни Жака — борьба за справедливость, за счастье трудового народа.

Критик еженедельника «Франс нувель» отмечает мастерство, с которым писатель воссоздает исторический период, когда начинает пробуждаться самосознание французского пролетариата. Четко обрисованы исторические реалии, определены социальные и политические условия, которые подводят Жака Солнце к пониманию целей и задач I Интернационала.

СОЗДАЕТСЯ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Как сообщает бюллетень «Новости ЮНЕСКО», в Париже, в районе Бобур, там, где находятся Лувр, квартал Марэ и Городской театр, намечено создать Центр современного искусства. Центр будет состоять из приемных помещений, библиотеки и отдела изобразительных искусств. Вокруг него будут открыты художественные галереи, мастерские художников, книжные магазины и т. д. В приемных помещениях художники будут иметь возможность непосредственно общаться с посетителями. В распоряжении творческих работников будут необходимые для работы разнообразные технические средства.

Значительное внимание будет уделено современной музыке: проектируются зал, оборудованный необходимой аппаратурой, лаборатория, служба документации.

Библиотека, оснащенная электронным оборудованием, будет располагать обширной информацией по вопросам культуры.

Отдел изобразительных искусств будет носить характер открытой для всех постоянной выставки. В нем будут выставляться также коллекции Музея современного искусства, организовываться временные экспозиции. Предполагается создание кабинета рисунков, службы документации, экспериментальных галерей, экспонаты которых отразят все течения и направления мирового искусства.

Почетное место в Центре будет отведено отделу промышленной эстетики: будет создан ретроспективный музей образцов промышленных изделий, начиная с 1880 года, и организованы выставки новейших промышленных проектов и предметов.

К разработке Центра современного искусства привлекаются архитекторы всего мира. Международное жюри, в состав которого входят Оскар Нимейер, Фрэнк Фрэнсис, Филипп Джонсон, Мишель Лаклот, Сандберг, Атцон, Прувэ и Г. Пикон, объявит победителя конкурса летом 1971 года. Строительные работы начнутся в 1972 году, их завершение предусмотрено к 1975 году.

Популярная киноактриса Брижитт Бардо послужила скульптору А. Аслану прототипом символа Франции — Марианны. Этот бюст его работы будет установлен в мэриях французских городов.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬМА МИШЕЛЯ ДРАКА

На экраны Парижа вышел фильм «Элиза, или Настоящая жизнь», поставленный молодым французским режиссером Мишелем Драком по одноименному роману Клер Этерелли, удостоенному в 1967 году премии «Фемина» (роман опубликован в Советском Союзе).

С самого начала работы над фильмом режиссер столкнулся с серьезными препятствиями — продюсеры отказались финансировать съемки фильма, в котором осуждалась война в Алжире. Друзья помогли М. Драку связаться с алжирской киностудией, которая взялась за реализацию его замысла. Чтобы покрыть свою долю расходов, режиссеру пришлось распродать все свое имущество, а также квартиру в Париже.

Действие романа, как известно, частично развертывается на автозаводе. При съемках этих сцен возникли немалые трудности. Дирекции автокомпании «Симка» и других фирм отказались разрешить съемки на своих предприятиях. Эти кадры были отсняты в Алжире, в сборочном цехе завода «Рено».

Когда съемки фильма были, наконец, завершены, возникли значительные

Кадр из фильма «Элиза, или Настоящая жизнь».
(Газета «Юманите»)

трудности в отношениях с кинопрокатными фирмами. Владельцы последних отказались пустить фильм М. Драка в прокат, хотя до этого он уже демонстрировался на фестивале в Канне и получил положительные отзывы критики.

В результате фильм «Элиза, или Настоящая жизнь» год пролежал на полке. Затем, одолжив значительную сумму денег, М. Драк арендовал четыре небольших парижских кинотеатра, где начал демонстрировать свой фильм. Лишь после этого перед фильмом М. Драка открылись экраны других кинотеатров Парижа.

Кинокритики дали фильму М. Драка высокую оценку, назвав его большой творческой удачей режиссера.

В связи с злоключениями фильма «Элиза, или Настоящая жизнь» многие газеты пишут о том, что фильмы на социальные темы не без труда попадают во Франции на экран (по данным журнала «Кайе дю синема», 10 процентов всех фильмов, производимых во Франции, вообще не доходит до зрителя). Главная причина такого положения — препятствия, чинимые владельцами крупных прокатных фирм.

ЧИЛИ

«СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА» — НА СЦЕНЕ

Молодежный рабочий театр чилийского города Антофагасты осуществил инсценировку романа известного колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 6—8, 1970).

Критик Хосе Родригес пишет в газете «Меркурио де Антофагаста», что роман Маркеса необычайно труден для инсценировки. Тем не менее коллективу театра удалось это сделать, причем, как отмечают многие критики, с несомненным успехом.

В центре инсценировки — те главы романа, где повествуется о проникновении в страну американцев, создавших банановую компанию. Особое внимание при постановке было уделено изображению нечеловеческих условий, в которых жили батраки, подвергавшиеся нещадной эксплуатации со стороны плантаторов. Остроумно сделаны сцены, в которых американцы пытаются обратить свободолюбивых жителей Макондо в свою веру. В финале спектакля — появление первых объединений батраков, заседание комитета одного из таких объединений, на котором обсуждается план совместного выступления против «Юнайтед фрут компани».

Во многих рецензиях отмечается, что стремление молодых актеров сделать роман Маркеса близким и понятным для всех заслуживает уважения и благодарности. Некоторые критики говорят даже о «втором рождении» романа «Сто лет одиночества».

Молодежный театр покажет этот спектакль в столице страны — Сантьяго на фестивале рабочих театров.

ЮГОСЛАВИЯ

СОТРУДНИЧАЮТ ПИСАТЕЛИ

В Загребе подписано соглашение между союзами писателей Югославии и Польши. В рамках соглашения ведется работа по совместной подготовке изданий переводов польской литературы в Югославии и югославской — в Польше.

Соглашение предусматривает взаимную популяризацию литератур обеих стран, обмен журналами, а также редакционными работниками и переводчиками.

Союз польских писателей примет участие в вечерах поэзии и литературных дискуссиях в ходе работы международного съезда писателей в Югославии, который будет посвящен 220-летию со дня смерти выдающегося черногорского поэта Петра-Петровича Негоша.

ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ «ЧЕРНОГОРЕЦ»

В январе 1871 года в городе Цетинье вышел первый номер газеты «Черногорец». Первым редактором газеты был писатель и журналист Симо Попович. Многие из публиковавшихся им материалов призывали черногорский народ на борьбу

с турецкими поработителями.

Газета имела литературное приложение, которое фактически было первым литературным периодическим изданием в Черногории. В нем среди других материалов публиковались произведения И. С. Тургенева.

В газете активно сотрудничали такие литераторы, как Йован Суедечич, Ристо Милич, Степан Бузолич, Никола Джуркович и другие.

Общественность Черногории торжественно отметила столетний юбилей газеты.

ЯПОНИЯ

НОВОЕ В ТЕАТРЕ КАБУКИ

Прославленный японский театр, представляющий собой причудливое сочетание жеста, слова, музыки, хора и танца,— театр кабуки — по-прежнему остается одной из главных достопримечательностей культурной жизни страны. Для европейского зрителя, как пишет обозреватель бюллетеня «Новости ЮНЕСКО», этот древнейший японский театр представляет много странностей: поиск изысканности, преувеличения в костюмах и жестах, неестественные «потусторонние» голоса, необыкновенно выразительная пантомима, отсутствие женщин на сцене (как известно, женские роли играет специально подготовленный актер — оннагата).

Анахронизм театра кабуки, пропасть, отделяющая его творческую концепцию от мировоззрения современного человека, объясняют периоды его упадка и отсутствие к нему интереса со стороны широкой публики. Первый кризис театра наступил после революции Мейджи, породившей современную Японию. Ему удалось тогда преодолеть кризис лишь благодаря самоотверженной работе театральной труппы Шохику, поставившей себе целью возрождение традиционной японской драмы. Послевоенная промышленная революция в Японии снова вызвала угасание театра кабуки. Около 1960 года зал театра угрожающе пустовал, отсутствовала не только молодежь, но и представители других поколений, предпочитавшие древнему японскому театру более доступные виды развлечений: кино, зарубежный театр, телевидение.

Положение театра кабуки резко меняется по прошествии десяти лет. В наши дни наблюдается небывалый подъем традиционного театра, он снова переживает период возрождения. Этому содействовало японское правительство, создавшее субсидируемый государством театр, оснащенный современным оборудованием.

Одновременно готовились новые творческие кадры, поскольку выдающиеся актеры предшествующей эпохи — Кикугоро, Коширо, Кихиемон, Даньюро — постепенно сошли со сцены. Следуя древней японской традиции, мастерство актера передается от отца к сыну, и таким образом оно сосредоточено в руках примерно двадцати «семейств кабуки», свято хранящих тайну и монополию искусства кабуки. Преемственность обеспечивается не только кровным родством, но и талантом: зачастую знаменитый актер усыновляет своего лучшего ученика.

Театр кабуки недавно получил неожиданную помощь и поддержку со стороны телевидения — благодаря его техническим возможностям аудитория театра увеличилась во много раз.

Авторы этого номера

ЗОЛТАН ГАЛАБАРДИ — GALABARDI ZOLTAN (псевдоним Золтана Хорвата; род. в 1928 г.).

Венгерский писатель, лауреат премии имени Аттилы Йожефа Родился в бедной крестьянской семье, в детстве батрачил. Уйдя на заработки в столицу, работал подсобным рабочим, учился. После Освобождения страны несколько лет находился на партийной работе, затем был сотрудником венгерского радио и киностудии «Паннония».

Многие произведения З. Галабарди посвящены жизни венгерской деревни. В романах «Не все масленица» («Parsajt», 1958), «На чужой каравай рот не разевай» («Cigányút», 1959), «Аспид» («Kigyókö», 1960), «...где раки зимуют» («Móres», 1964) получила отражение общественная и политическая жизнь Венгрии 50-х годов. В 1969 г. вышли в свет две его повести: «Одиножды один» («Egyszeregy») и «Замечу...» («Megjegyzem...»).

Мы знакомим читателей с творчеством Золтана Галабарди, публикуя его повесть «Так устроен мир» («A világ rendje», 1963).

БЭГЗИЙН ЯВУУХУЛАН (род. в 1929 г.).

Монгольский поэт, лауреат Государственной премии МНР. Высшее литературное образование получил в Советском Союзе. Начал печататься в 40-х годах. Автор многих книг стихов, в том числе «Наша мечта», «Под необъятным голубым небом», «Луна, которая ночевала в степи», «Стоянка Тэхи» и др. В русском переводе издана его «Лирика» и сборник стихов «Звон серебряной уздечки».

ТОМАС КЛЕЙТОН ВУЛФ — THOMAS CLAYTON WOLFE (1900—1938).

Известный американский писатель. Родился в семье резчика по камню в небольшом городке Ашвилле. Окончил университет штата Северная Каролина. Преподавал английскую литературу в Нью-Йоркском университете. В 1929 г. вышел в свет его первый роман «Оглянись на отчий дом, ангел» («Look Homeward, Angel»), принесший ему большой успех и признание. Второй роман «О времени и реке» («Of Time and the River») и сборник повестей и рассказов «От смерти к утру» («From Death to Morning»), в котором были напечатаны публикуемые в этом номере повести «Паутина земли» и «Смерть — гордая сестра», появились в 1935 г.

Посмертно были изданы романы «Паутина и скала» («The Web and the Rock», 1939), «Домой не вернешься» («You Can't Go Home Again», 1940) и сборник «За холмами» («The Hills Beyond», 1941), в который вошли рассказы и незаконченный роман.

Томас Вулф был забыт почти на двадцать лет, и лишь недавно его произведения прозвучали с новой силой и привлекли к себе внимание современного читателя. Романы Вулфа во многом автобиографичны: рассказывая историю жизни одной семьи, автор повествует о социальных потрясениях своего времени, воссоздает широкое полотно жизни Америки.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**
Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 06115. Сдано в производство 4/V-71 г. Подписано к печати 9/VI-71 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. листов 27,35. Зак. 1580.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394